

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

12

1986

12

НОВЫЙ
МИР

1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1986 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Круги, стихи	3
ЮРИЙ СТЕФАНОВИЧ — Два рассказа	7
ЮЛИЯ ДРУНИНА — Стихи	29
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Тридцать шесть и шесть, роман. Окончание	34
БИДЗИНА МИНДАДЗЕ — Стихи. Перевел с грузинского Владимир Дагуров	112
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ — Поэт и муза. Факир, Серафим. Рассказы	113
ДЖОН АПДАЙК — Кролик разбогател, роман. Окончание. Перевела с английского Т. Кудрявцева	134

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕВАЗ МАРГИАНИ — Стихи. Публикация Н. А. Маргиани. Перевела с грузинского Елена Николаевская	186
--	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Комбайн просит и колотит...	190
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. СУРКОВ — Сколько было Гамлетов?	212
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ — «Районные будни». К тридцатилетию выхода в свет	231

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	241
Сергей Костырко. Обретения и издержки публицистичности.	
Андрей Битов. Прорвать круг.	
Эдуард Пронилов. Связующая нить.	
<i>Политика и наука</i>	254
Г. Кузнецов. По следам одного преступления.	
С. Неретина. Образ минувшего.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Иван Панкеев.—А. Тарасов. Болотный марш. Роман. ✦

Л. Звонарева.—Иван Киуру. Неунывающий клевер. Книга стихов. ✦

Ст. Рассадин.—М. А. Гордин. Жизнь Ивана Крылова. ✦

Владлен Котовсков.—А. Старков. Ступени мастерства. Очерк творчества Константина Федина. ✦

Ян Френкель.—Джеймс Линкольн Коллиер. Становление джаза. Популярный исторический очерк. ✦

Г. Федоров.—Г. А. Федоров-Давыдов. Монеты — свидетели прошлого. Популярная нумизматика. ✦

М. Вашкевич.—Алла Гербер. Судьба и тема. Этюды об Инне Чуриковой. ✦

Сергей Ананьин.—Василий Ардаматский. Туристская поездка в Англию. Невыдуманная повесть

260

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1986 ГОД

266

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

На торжественных обложках
снег
не тает.

Из него торчат
железные
цветы...
Жили авторы.
Старались.
Мельтешили.

То в хандру впадали,
то — в слепой азарт...
Эти двое
не здоровались при жизни,
а теперь
спокойно рядышком
лежат...

Не о том я,
что порой мы спорим зряшно,
суедемся,
подгоняя карусель.
Уходить с земли обидно,
но не страшно:

там,
в земле,
уже полным-полно
друзей!..

Только жаль,
что там не будет этой выси.
Трижды жаль,
что станет некуда спешить...

И смеюсь я вслух
от очень странной мысли,
что до смерти
еще надобно
дожить!



ЮРИЙ СТЕФАНОВИЧ

★

ДВА РАССКАЗА

В свое время Юрий Стефанович работал у меня в семинаре в Литературном институте, и я до сих пор сохранил радость общения с этим интересным человеком. Ю. Стефанович до поступления в Литературный институт уже имел специальность биолога, вернее даже ботаника, работал в экспедициях по разысканию лекарственных растений на Дальнем Востоке. Одним словом, он пришел в Литературный институт зрелым, вполне сформировавшимся, хорошо знающим жизнь человеком и самобытно складывающимся писателем со своим языком и характером стиля.

В силу причин, о которых критически говорилось на нашем последнем писательском съезде, в частности в выступлении Григория Бакланова — он сказал также и о Стефановиче, — рассказы этого писателя долго и трудно пробивались к читателю. Но вот в прошлом, 1985 году в коллективном сборнике, изданном «Советским писателем», появляется повесть Ю. Стефановича «Снега», написанная еще в 1973 году, еще в институте и рассказывающая о людях, которые прокладывали линию электропередачи на Сахалине. В сентябрьском номере «Литературной России» опубликован его рассказ «Голос», написанный, мне помнится, в те же годы. И наконец вот эти два, тоже давню уже написанные, рассказа — в сегодняшнем номере «Нового мира».

Я думаю, что по этим публикациям читатель увидит и разделит мое давнее мнение о Юрии Стефановиче как об очень серьезно работающем прозаике.

Василий СУБОТИН.

Хуже нет

Кошка царапалась в сенную дверь, просилась в дом. Старуха, с трудом наклонившись, налила в блюдце молока и впустила ее. Кошка прошла мимо, села прямо посреди кухни и начала водить согнутой лапкой вокруг носа — заумывалась.

— Опять кого-то нечистая принесет. Не дай бог орсовских, ведь недавно совсем были. Понапьются только, делов-то своих не делают. Сами с грязи чуть не лопаются, один раз вытрутся полотенцем — и уж ровно голенище, опять стирай...

В доме, кроме нее, никого не было. Дочь в эту неделю с утра, с восьмью работала; внучка пошла в музыкальную школу; Вовка, постарше внук, тоже на занятиях был. Зять Алексей получал товар на базах, но о нем, о зяте, она даже не подумала, вздохнула только тяжело:

— Бог с ним, как хочет, так пусть и живут...

Плакать у нее сил уже не хватало. Да и толку-то от слез этих мало: хоть плачь, хоть нет, а собираться надо. Она присела на табуретку, заправила выбившиеся волосы под платок и взяла с подоконника будильник, повернула к свету.

— Одиннадцатый уж пошел...

Вон как время-то летит, подумала тревожно, и успеть, считай, ничего не успела — посуду вымыла, в буфет составила, постели при-

брала, по воду два раза сходила (хоть и рядом колонка, через дорогу, а все равно — чуть больше полведра не унесешь), полы во всех комнатах подмела, веник подвязала шпагатом, ломаться стал, да вот тесто на оладьи завела — всего ничего, а тело, ровно чужое, не слушалось, поясницу ломило.

Закипело, затрещало масло на сковородке. Она снова подошла к плите, подняла одну оладью, вторую — испеклись, на другую сторону перевернула. Чтоб не забыть, сразу и банку со сметаной из тумбочки достала, а начатый вилок капусты убрала, — Вовка с Леной придут, чаю попьют с оладьями, а дочь с работы вернется, пусть сама варит что хочет, хоть борщ, хоть суп, а то что ни стовошь, все не угодишь...

Теста не на одну и не на две, а на все три сковороды оказалось, но она быстро пекла, только успевала переворачивать да снимать — в печи жару много было, ни разу даже и дров не подложила. Печку у них хорошо сложили, не то что у Кати — она вспомнила о своей второй дочери, — у ней плохо, дров да угля зимой целую пропасть надо. Они хоть, правда, на плитке все варят летом, им, двоим-то, немного надо. Это на семью не больно на плитке наготовишь...

Вот и последние испеклись, готовы. Она широким ножом подняла одну, другую, третью, вилок поддерживая, переложила в глубокую, наполненную с верхом чашку, еще раз полила сверху сметаной, покрыла горку оладий чистой глубокой тарелкой и сдвинула чашку — чтобы не простыли и не усохли — поближе на край плиты. И сразу же прибрала со стола, все вымыла, остатки муки смела на газетку.

Самой есть не хотелось, но со вчерашнего вечера и крошки во рту не было, и она все-таки надорвала, отломила горячую оладушку — маленькую самую взяла. Поваляла меж десен, запила кипяченой водой и отставила все в сторону: в горле как ком стоял, будто милостыню прости ты, господи, горькую ела...

Она еще раз обвела кухню взглядом, не забыла ли чего сделать. Чайник выключила, печку на прошлой неделе подбеливала, половники изо всех комнат собраны, на веранде лежат. По давней привычке хотела большой нож кухонный сунуть в печь от греха подальше, да вдруг вспомнила: из умывальника ведро со вчерашнего утра не выносила, через край уж небось льется. Она открыла железную дверцу, ведро было не полно еще, но она решила вынести, а то ведь зять придет, как начнет хлюпать, так весь пол зальет, знай подтирай за ним...

Встала, раскатала рукава на платье, кнопки на манжетах застегнула, шаль старенькую на плечи накинула и вышла с ведром.

На веранде у стенки к чулану стояло мешков восемнадцать с картошкой, половиками накрытые. Уж неделю, считай, как выкопали, а еще не только не ссыпали в погреб, но и не перебрали даже. А если б, как у людей, все было, так она потихоньку, хоть по мешку в день, а уж половину перебрала бы. Резаную да мелкую в сторонку, а крупную да целую в мешки и в погреб. Желоб-то пара пустяков сколотить, две доски и надо-то сбить, да уж больно зять расшумелся, как сказала. Не лезь, закричал, не в свое дело, без тебя обойдется. А чего шуметь, того и гляди мороз ударит, пропадет добро.

Она спустилась по ступенькам с крыльца, прошла через двор к заплоту, опростала ведро. Купавшиеся в золе куры подбежали, завозились в помоях. Она пересчитала всех, и старых и летних, инкубаторских: все были на месте, второй раз считать не стала.

Она поежилась. Вышла только, а уж замерзла. Надо было хоть фуфайку накинуть. Конец сентября, первый месяц осенний, а ночи стояли холодные, и нынешнее утро не теплей, пасмурное, ледяное. И зачем в рань такую, ни свет ни заря, сарай открывать? Только холоду напустить. Все равно голуби его и не слетали наружу, гулькотали в клетках да на жердочках. Старуха прошла в сарай. Затхло пахло птичьим пометом, гнилой соломой, пыльными дровами. Коротко хрюк-

нул в загоне боров, засопел, не проснулся. Она зачерпнула большим совком пшеницы из ларя, позвала за собой: «Гули-гули...» — сыпнула перед порогом потихоньку, чтоб куры не видели. Несколько голубей слетело, воды попили из тазика, врытого в землю, стали клевать зерно.

Он все о голубях своих заботится. А от них ни толку, ничего. Только гадят да летают. И корму не меньше двух мешков за зиму сжирают, не смотри что маленькие. Ох ты господи, и ведь взрослый человек, думала она о зяте, лысина через всю голову, а все гоняет. Да лучше эти тридцать — сорок рублей Семену с Виктором отослать, на стипендию-то ихнюю не больно разгуляешься, а копейку лишнюю им тоже взять негде...

И она заторопилась к воротам, к почтовому ящичку, давно от внуков не было писем, месяц уж скоро сровняется. В прорези ящика, однако, ничего не белело, и она решила, что письмоноска новенькая не проходила еще сегодня. Попозже посмотрит во второй раз, как уходить будет. Она вернулась было в дом, но тут Норка, овчарка старая, пошла от будки к воротам, зарычала.

С улицы, рукой чьей-то поднимаемая и опускаемая, позвякала, как позевала, щеколда.

— Норка! Ну-ка иди на место! Кто тут? — Старуха подошла.

— Теть Дань, это я. — Голос с улицы был женский и знакомый, но старуха не признала сразу чей. Откинула крючок.

— Раиза! Ох ты господи, а ведь я только, ну, может, с минуту назад подходила, нет ли писем, смотрела. Ну проходи, не бойся, я подержу собаку-то.

Старуха провела свояченицу на веранду, свет в сенцах зажгла и выключила за ней, а из коридорчика сразу в кухню дверную полувинку открыла.

— Я уж тебя, Раиза, не зову в комнаты, там кавардак такой, что...

Но в комнатах все прибрано было и чисто. Не хотела она, чтоб Раиза пианино, что в зале стояло, увидела, ни к чему совсем, разводит каждому, что живут богато, пианино купили...

— Теть Дань, я ведь ненадолго, только с автобуса, к тебе первой зашла, дай, думаю, попроведаю.

— Ну и хорошо сделала, что зашла. Уж давно ты не была у меня. — Старуха суетилась по комнате, кошку прогнала со стула, махнула по тому месту тряпкой, чтоб волос не осталось, потом не отчистишь, липкие не знай какие. — А у меня сердце ровно чувствовалось: зайдет кто-то свой. Да и кошка вон прибежала, давай умываться. Ты проходи, Раиза, садись вот тут.

Она смотрела: Раиза в сторонке от порога опустила сумку — потертую, кирзовую, с заржавевшей «молнией», — рядом же и сетку прислонила — в сетке, в цветастой наволочке, то ли крупа, то ли еще что, не разберешь. А когда Раиза нагнулась тапочки свои синие спортивные снять, старуха чуть не подбежала, за рукав дернула.

— Что ты, понимаешь, надумала, хоть бы пол мытый был, а то... — Она усадила свояченицу на стул между столом и буфетом и, сказав: — Грейся, я на минутку... — пошла скорей в комнату взглянуть на часы: не дай бог раньше времени Алексей вернется, увидит, не знай что будет... А у нее и самой-то ничего еще не собрано. Зять хоть раньше трех и не должен быть, да кто знает... Не вовремя пришла Раиза, да ведь и она не знала ничего. Ну ладно, семь бед — один ответ, успеет. Поговорят и разойдутся.

Решив так, она обрадовалась сразу приходу свояченицы — привыкла Раизу так называть — и огорчилась тут же: вот как врасплох зашла, и угостить нечем. Вернулась в кухню.

Раиза сидела на стуле, шерстяные, толстой вязки носки на ногах поправляла. Тапочки, один к другому, стояли у порога.

— Разулась? Ой ты какая... Ну давай я их посушу хоть маленько, плита-то еще горячая, я ведь только с оладушками кончила.

— Да нет, тетя Дань, не надо, ты сядь лучше, посиди. Как ни найду к тебе, ты все крутишься.

Но старуха все-таки взяла тапки и положила на плиту вверх подошвами.

— Как ты ходишь только в резиновой обуви, да еще октябрь месяц скоро? Это же не лето, ревматизм легче легкого заработать, а потом будешь по врачам таскаться...

— Ой, тетя Дань, мне чем сапоги или ботинки, тапочки лучше всего. Я в них весь город за день обегу, всех знакомых. А что холодно, так у меня ж носки видишь какие теплые, из шленки вязала.

Она засмеялась, а у самой переднего зуба во рту не было. Опять, наверно, Ефим ударил, мерзавец, решила старуха; но ничего не спросила, поднялась со стула.

— Да какие ни носки, а здоровье все равно беречь надо, его ни за какие деньги не купишь... Ну ладно, мы хоть чаю с тобой попьем, варить-то я ничего не варила сегодня.

— А я и не хочу совсем. Мы в столовой позавтракали вдвоем с женщиной, вместе в автобусе ехали.

Старуха не слушала, собирала на стол.

— Где это ты там завтракала, с автобуса только... Да и обед скоро, время-то идет.— Варенье вишневое достала, сметану, хлеба белого нарезала, две чашки чайные с блюдцами, оладьи. В электрический чайник воды долила, провод в свет включила.— Все. Он быстро греется, минутное дело.

И снова села к столу, на Раизу посмотрела. Вот, бедная, дожилась. Кожа да кости одни остались. Руки на стол положила, чуть не по локоть вылезли из кофты, жилы все насквозь видны. Да ведь сама виновата. думала, все не так в совхозе будет тяжело, как в городе. А там ни молока, ни хлеба, полгода из долгов не могла вылезти, привыкла по-городскому — все по двадцать аванс берут, а она по тридцать, иногда и больше, а в получку и получать нечего, только занимать и остается...

— Худая ты какая стала, Раиза...

Та засмеялась. Невесело было старухе смотреть на этот смех.

— Что ты, тетя Дань, какая была, такая и осталась, что со мной сделается? Это на тебе лица нет, ходишь сама не своя. Или случилось что?

— Да что случилось? — Она не знала, говорить или нет: зачем сор из избы выносить? Кому какое дело, мало ли что в семьях бывает... Но свояченица смотрела на нее, будто знала что, и старуха ответила уклончиво, поймет — хорошо, не поймет — тоже ладно: — Что всегда случается, то и случилось, что ж еще-то? Я ведь у Алексея тридцать лет скоро живу, у Кати не помногу оставалась.

— Неужель опять?

— Опять, Раиза.

— А я ведь, тетя Дань, сразу заметила, как вошла, да смолчала — зачем, думаю, расстраивать...

— Эй, Рая, что ж тут расстраиваться? Марты уж не было, она к восьми на дежурство уходит. Ну, я возьми и выйди во двор, а Алексей увидел меня да как шибанет ногой по ведру! Собирайся, кричит, к такой матери, чтоб духу твоего здесь не было. А сам аж трясется весь, не может. Сколько раз, кричит, сказывал — не выноси на ночь собаке, пусть ведро в кухне стоит. Мне бы не надо ничего говорить, повернуться и уйти, а я возьми да и скажи, черт меня дернул, что не выносила. Я ведь и вправду не выносила, как вечером все слила после ужина, так и поставила вон там, у тумбочки. А вынесла уж перед тем как давать, утром, — он ведь сам всегда кормит и собаку и голу-

бей. Вот. Он увидел — ведро в сенцах стоит, и давай шуметь. Ну, слово за слово — собирайся, кричит, приеду в три часа, чтоб тебя здесь не было. Вот так, Раица, а ты говоришь, расстраиваться лишний раз.

Раица сидела напротив, молча слушала, только, завернув край клеенки, перебирала в пальцах кисти скатерти.

— Эх, не умрешь — много горя увидишь. Правда говорится: бедному Ванюшке всю жизнь камешки. А мне-то давно пора в могилевскую губернию, зажила, ведь семьдесят восьмой год пошел. К чему столько? И ни к чему она, жизнь такая. То гонит в три шеи, то зовут обратно: пошли, бабка, дома некому быть. Вернешься, поживешь, глядишь — опять собирайся. А кроме как к Кате и идти некуда... Да и там не больно принимают. Алексей этот хоть накричит-накричит, да и опять тихо, а Игнатий Катин, тот — нет. По месяцу с Катей не разговаривает, молчит, слова не скажет, и все потому, что я к ним пришла жить. А ведь я и у того и у другого детей вынянчила. Алексеевых так всех, ты и сама знаешь: Семена с Виктором еще в войну, а Вовку с Леночкой и после войны, а все равно ведь не без призору росли. И не умер никто, болели-то и то редко. А у других как мухи мерли. Добро, оно не шибко помнится... Ох, я уж тебе, наверно, все уши прожужжала. У тебя своего горя хоть отбавляй. Чай-то наш как?

— Теть Дань, — свояченица понюхала воздух, — паленым вроде пахнет, не слышишь?

Старуха встала — и охнула, заругала себя:

— От дура старая, ну куда это годится! Я ведь, Рай, сдуру провод не тот включила, от плитки. И как пожар не наделала? Ох ты господи, час от часу не легче. Я сейчас включу, он быстро греется, плитка сама остывает.

— Не нужно ничего, теть Дань, я пойду, засиделась. — Раица встала было.

— Сиди-сиди. — Старуха опять усадила ее. — Нельзя же так, ты ведь не часто ко мне ходишь. Да и о себе ничего не рассказала, живешь как.

— И-и... — Раица махнула рукой костлявой, села. — Хорошо живу, никто не завидует. Вот с Ефимом недавно подрались. — Она снова засмеялась, прикрыв рот ладонью. — Это он мне, паразит, зуб вставил, синяки на всем теле только-только прошли. Мало того, теть Дань, что не работает уже третий месяц, права отобрали, так он последнее время из дома тащит да пропивает. Я, помнишь, в марте, как бы не со- врать, к тебе последний раз заходила, тогда же и взяла поросенка домашней. Мне говорили девки наши: что с ним делать будешь, маленький такой. А он и правда — в варежку положи, не видно, но жоркий да умный оказался, только замешивай успевай. Ей-бо! Выкормила, он уж на задние ноги не вставал, вот-вот колоть. А в позапрошлую смену осталась на ферме, Фроську Продубнову подменила на ночь. И все домой рвалась — Ефим-то пьет, я же знаю, а он, когда пьет, иногда даст кабану, иногда сам, как свинья, пьяный валяется. И на ферме то одно, то другое, к шести утра только и вырвалась. Обычно, когда не кормленный, он, кабан, орет — удержу нету, а тут ничего, тихо все. Ну, думаю, слава тебе, господи, — про Ефима-то думаю, — хоть не работает, да зато дом не забывает, накормил. Ей-бо, не вру, так и подумала. Зашла в сараюшку — как нарочно, зайду, думаю, посмотрю. Зажгла спичку, да сперва не разглядела, а потом ахнула: батюшки мои, кабан-то нет! Я в избу скорей к Ефиму, а Ефима нет. Я туда-сюда — нет, по соседям — нет. Бегаю, ищу, а Ефим, оказывается, с друзьями — пить-то надо на что-то — увезли, подлецы бессовестные, да и продали в Семиозерке. И денег уж с полсотни осталось. Я последние у него забрала, а он драться кинулся...

Раица засмеялась тихо, но тут же оборвала смех.

— Так вот и живу, тетя Дань, приехала вот девчонкам хоть купить кой-чего. Ваську-то моего, четвертого, в армию берут, уж повестку прислали. А Ефим пусть как знает, разве это отец, у детей последнее забирает да пьет. Я ему так и сказала, пусть идет куда хочет, он уж сколько лет собирается. Без отца плохо и это не отец.

Чайник зашумел. Со дна тихо сквозь шум нарастало тонкое пение.

— Что это вы все ровно с ума посходили? Семерых детей народили, вырастили, теперь расходиться вздумали. Мало ли что в семье бывает, перемелется — мука будет. Давай чаю вот поьем с тобой. Хоть с горем пополам, а закипел. И то правильно: с грехом пополам — равно с сахаром. Тебе, Рай, заварки крепкой налить или нет?

— А все равно, тетя Дань, какой нальешь, такой и выпью. — Раица стеснялась за столом, волосы поправляла, короткие рукава на кофте одернула.

— Я тебе тогда покрепче налью, а себе только закрашу, чтоб не вода голяная. Это Алексей, считай, одну заварку пьет, так у него сердце не хуже железного.

Свояченица отхлебнула из чашки, обожглась. Старуха будто и не заметила.

— Марта вон чуть не после каждого дежурства валерьянку пьет. На работе наработается, того и гляди упадет, да по дому еще... А ведь работа, ее сколько ни делай, меньше не становится. — Она говорила, сама прихлебывала из блюда старенького, с желтыми трещинками, дула на чай. — Что ты стесняешься, ей-богу? Варенье-то почему не накладываешь? Где ты бойкая, а тут руки протянуть боишься. Нельзя же так.

Но Раица допила скоро, чашку от себя отставила, стала подниматься.

— Все, тетя Дань, наелась-напилась, пойду теперь.

— Что ж ты, Раица, и не притронулась ни к чему? Ведь неизвестно, когда еще зайдешь.

— Да я и не кушать приходила, попроведовать только.

— Ну, как ни проведовай, а отказываться нехорошо. Ну смотри сама. Спасибо, что пришла, поговорили хоть немного. Ты к Лодяным-то зайдешь?

— Не знаю, как управлюсь, тетя Дань. — Раица встала, твердыми пятками стуча, пошла к порогу одеваться. — Мне еще в больницу поспеть надо, да в магазины, да девчат застать дома — делов много.

— Ну, привет всем передавай от меня. Я у Лизы, грешница, давно не была, чуть не с год. Скажи, приду, мол, как-нибудь, пусть не серчает.

Свояченица в носках стояла у двери, надевала пальто из твердого грубого полусукна.

«Ну, даст бог, не обидится. — решила старуха, — да и ничего в этом особенного нету». И пошла к плите тапки подать...

— Теперь согрелись хоть немного, все не холодные обувать... Ой, Раица! Сожгла ведь я, сожгла! — Побежала к умывальнику, водой из ладони на тапки поплескала, притушила. — Да что это за напасть такая! — Она смотрела на тапки: синяя парусина порыжела, в двух местах истлела до ниток, разошлась. — Куда их теперь? Выбросить только... Ты уж не ругай меня, дуру старую, ей-богу! Что же делать-то теперь, господи? Обожди-ка, я сейчас...

Раица и не поняла ничего толком, а старуха уже вернулась, поставила к ее ногам туфли желтые, без каблука, тупоносые.

— Ну-ка примерь, тебе они в аккурат будут. Это Мартины, не чьи-нибудь, она и не носит их, отекают у ней ноги, может, раз пять всего и надела, не больше... Обувай-ка, сначала этот, потом на правую...

Раи́за руками зымахала.

— Нет, тетя Дань, не возьму я!

Старуха сама к полу нагнулась.

— И не вздумай! Мне и так стыдно, понимаешь, не знай как! Тапки сожгла, пожар чуть не наделала. У них хоть подошва не кожаная, а кожмитовая, зато не резина.

Раи́за надела, шнурки желтые завязала, распрямилась.

— Ох, тетя Дань, какая ты...

Старуха и не смотрела на нее.

— Ну ты, Раи́за, выдумашь... Разве я стану добро портить, жечь? Я б тебе и так предложила, зачем мне нужно обманывать тебя, я ведь старая уже...

— Не знаю, как и идти теперь.— Раи́за (старуха смотрела на нее, высокая не знай какая, как каланча прямо) покраснела и чуть не плакала.

— Да так и иди, как же еще? А то ведь мы с тобой чай пили-пили, а мне ж тоже манатки свои немудреные собрать надо. Того и гляди Алексей нагрянет. Я тебя провожу до ворот, дальше-то не пойду, дом ведь нельзя бросать.

Они вышли, у ворот свояченица задержалась.

— Тетя Дань, завтра ж базарный день. Ты скажи Марте, может, что вынести надо, я все равно на барахолку приеду.

— И что тебе, Раи́за, по базарам да барахолкам делать? — Старуха уже калитку открыла.— Не военный год, ты своими делами занимайся. А у нас что продавать? Старое и не нужно никому, а новое зачем покупать, если не носишь?

— Ну, пойду тогда, спасибо за все.

— Что ты благодаришь все? Хорошо, хоть не отругала. Заходи чаще.— Она проводила свояченицу, а сама в дом заторопилась, в угловую комнату, к окошку, тюлевую занавеску отдернула — посмотреть.

Свояченица шла уже по другой стороне улицы, мимо детсадика проходила и скрылась вскоре из виду.

Потом два школьника маленьких прошли с портфелями из школы, а она все стояла у окна, смотрела. Поправила боковой подзор на внучкиной постели и тут же присела на покрывало.

Вот ведь мученица какая — все не шла Раи́за из головы,— кто и выдержал бы еще такую жизнь, как она прожила. Сколько горя перевидала, не дай бог никому другому. Семерых, считай, одна вырастила, дочери уже все на ногах, взрослые, сына в армию берут. Всю жизнь только и знала что работать на себя да на других — от мужа не больно-то помощи дождешься. Он и сейчас вон сидит не работает. Да и жизнь, правда, лучше стала, не то что в войну. Тогда, бедная, как мучилась: пятеро на руках один другого меньше. Тем и спасались, что ларек хлебный рядом с домом был, стенка в стенку. Они и занимали все шестеро — она одна и их пятеро — очереди за хлебом. Простоят с вечера, и всю ночь, и до утра, толкутся, кто в чем одет, позамерзнут — а хлеба-то и утром нету, его еще только в обед привезут, обещают. А уж привезут, так они липнут к ней, жмутся, боятся, чтоб не вытолкали. Да их каждый знал. Ведь и тогда богатые были, они и всегда будут. Им-то, кто побогаче жил, холодно всю ночь стоять, да и спать охота. Вот они и подходили к Раи́зе, когда очередь ее близко, деньги передадут, она и брала на себя да на девчонок — шесть весов. И никто им не говорил ничего. Народ-то, он видит, не слепой, кого нужда гонит. А если кто и скажет что, так другие промолчат молчком, и все. А уж как от прилавка выберутся, прижмут хлеб к животенкам, свой ровно. До двора своего не донесут, отдадут, кому мать скажет. Они хоть и маленькие, а знали — доведски им будут, стоят и не просят, а не уходят, ждут. Ох намучилась она...

Часы — старуха вздрогнула — из залы полпервого пробили. Она спохватилась, вспомнив о себе, заторопилась в кухню. Вот-вот внук должен был из школы прийти. Как раз, пока он пообедает, она и соберется.

Она выдвинула из-под кровати чемодан свой фанерный, обклеенный розовой бумагой, открыла и сразу увидела, что все внутри перевернуто. Заругалась на внука: опять нос свой сует где не надо. Сложила все как было, по порядку — рубашки нательные, отрез ситцевый, белье смертное, платок головной, шаль тонкую шелковую, которую она только в большие праздники надевала, мелочи всякие, фотокарточки старые, с поломанными краями, — сложила все, кое-что свое вынув, и опять задвинула. Фартук завязала — тесемки развязались, мешали собираться. На кровати лежали вехотка с мылом, полотенце, платье коричневое, перекрашенное, на смену, кофта теплая — это она с собой брала. Теперь сапоги с калошами не забыть, они тоже под кроватью, в ногах стояли; она наклонилась, чтобы достать. А когда выпрямилась — опять тесемки от фартука болтались.

— Вот руки-крюки, только же завязывала, хорошо не наступила, так бы и загремела.

И — будто взгляд чей почувствовала, обернулась.

За спиной Вовка, внук, стоял — щеки толстые тряслись от смеха. Форма новая, первый год пошел, а уж и брюки и гимнастерка мелом перепачканы.

— Здоров, бауш!

Бабушка отвернулась, складывая вещи.

— Ба! Ты что не слышишь, здорово, говорю! — внук чуть не в ухо закричал, уже уминал оладью со стола схватил.

— Здоров не здоров, бороться не будем. Где это ты выгваздался так? — Она отстранилась.

— Физра была последняя, в футбол играли. А че ты фартук развязала? — спрашивал, а сам, видя, что бабушка занята, из портфеля два листа тетрадных в печку, в огонь сунул.

— Так ты же и развязал, больше некому. Нашел ведь подружку, я же ровня тебе.

— Не сердись, ба, я тебе воды натаскаю. Есть че похавать?

— Что это за слово такое — похавать? Садись, на столе все. А воды я и без тебя натаскала, один раз да другой сходила. Неужель ждать буду, когда принесешь? Да и принесешь ли, языком больше ходишь.

Внук заглядывал в чашки на столе, банки открывал, сметану к себе придвинул.

— Ба, у нас был кто-нибудь?

— Был. Тетя Рая была.

— Чья тетя Рая?

— Ну что тебе все знать надо? Жуй лучше, не торопись, на работу не гонят. Родственница она наша далекая, давно у нас не была. Ты вот лучше другое скажи: зачем по чемоданам лазишь? Что тебе там нужно?

— Это Ленка, ей и говори.

— Ты не ври вот давай! Она и не откроет без спросу.

— А ее не было? Опять мне за хлебом идти? Ну я ей дам, придет!

— А неужель развалишься, если сходишь? Она же в двух школах — простой да музыкальной, когда ей ходить?

— Какая там ей музыка! У нее пальцы кривые. Дуре такой еще пианино купили..

Внук сидел, подложив под толстый зад ногу, большой ложкой носил в рот сметану, оладьями заедал. Бабушка посмотрела на него.

— Да уж не дурней тебя. Она только на пятерки учится, а ты вон троечки да двоечки знай приносишь. Не сказал, что у вас родитель-

ское собрание было? А учительница взяла да и позвонила матери. Скажи спасибо — отец не знает, он бы тебе шкуру быстро спустил.

— А что там делать, на собрании? Я ж дневник показываю.

— А вдруг натворил что?

— Натворил бы, так исключили.

— Тебя не переговоришь, ешь лучше... — Она ждала, когда внук выйдет хоть на минутку или отвернется, — ей нужно было сверток из-под матраса достать, старшим внукам приготовила по паре белья. Давно купила, а отослать не собралась. Но Вовка вертелся на стуле как верченый.

— Бауш, что-то сегодня оладьи вкусные.

Она подождала немного да и вытащила так сверток, не таясь, — Вовка и не заметил.

— Еще бы не вкусные. Я ведь сметаной их полила. Испекла и полила сверху, тарелкой накрыла, они и пропитались. Ты хоть Леночке да матери оставь.

— Все Леночке вашей! Она все равно их не ест.

— Как это не ест? Ты разве один в доме? И так вон как на дрожжах ровно...

— Ладно тебе... На дрожжах... — внук обиделся.

— А что ты обижаешься, или не правда? Мать тебе, твоя мать, сколько раз говорила — умеренней надо пищу есть. Вырастешь, как Гук вон, отцов начальник, будешь. К чему это?

— Тебе жалко? Не ты же зарабатываешь.

— Да и ешь на здоровье, чего мне жалеть?

Она все уже собрала, в узел связала, взвесила на руке: килограммов пять, чуть не половину всего сапоги одни потянули. Теперь надо было переодеться, и она с новым, раз только стиранным платьем прошла в другую комнату.

Когда переоделась и вернулась в кухню, Вовка уже старые ботинки надел.

— Ты куда это засобирался?

— Надо. Скоро приду.

— Не пойдешь никуда, отец велел, чтобы ни на шаг за ограду...

— Ага, буду я здесь сидеть, нам сказали на репетицию прийти!

— Делать там нечего, каждый божий день репетиции. Дома некому быть, слышишь?

— А ты на что? В баню опять?

— Тебе что за дело? Я к тете Кате собираюсь.

— Ну и иди. Мало тебя папка гнал, еще выгонит!

— Ладно, бог с вами, живите.

— И проживем!

Старуха замигала морщинистыми белыми веками и отвернулась к окну: мал он еще видеть слезы; постояла какое-то время, пока и стекла оконные, и двор за окном, и землянка соседская не прояснились. Потом повернулась к внуку, сказала тихо:

— Весь ты в отца растешь.

Она надела пальто, взяла узел, кусок хлеба серого со стола захватила и, у порога обернувшись, наказала внуку, хоть и не хотела:

— Не вздумай на замке дом оставлять, товару полон чулан, да и отец твой, того и гляди, подъедет. Да матери помогайте, не дай бог сляжет, вы ведь одни останетесь, не кто-нибудь.

Внук отвернулся к окну, будто не слышал, и старуха, плотно притворив входную дверь — все не жечь дрова лишний раз, на белый свет не натопишься, — вышла.

Вышла из дому и поехала: от низкого темного неба веяло холодом, солнца не было. «Никак где снег выпал, — подумала, — похолодало-то как. До покрова еще больше двух недель». Посмотрела на мешки с картошкой — пропадет добро, так и ссыплют не перебрав.

Она бросила кусок хлеба к будке, но собака не двинулась с места, только глаза приоткрыла.

— Ну и модная стала, хлеб не берешь. Не изголодалась, значит.

И хоть из-за собаки получилось, что стояла она теперь с узлом посреди двора, но она подняла кусок, сдула с него и положила совсем рядом.

— Ешь, Норка, ешь.

И заторопилась со двора: неровен час зять подъедет, опять шуму не оберешься.

Сошла она с автобуса у базара, прошла два квартала по Ташкентской улице и у садика бруцеллезной больницы остановилась, опустила узел на желтую сухую травку у заборчика. Деревянный дом из шпал, под железной крышей, где жила ее старшая дочь, напротив стоял, на углу. Сверкали чистые стекла, синие крашенные ставни чуть виднелись сквозь густые тополя и клены, разросшиеся в палисаднике,— зять каждую субботу летом пригонял бензовоз с водой, поливал под деревьями из шланга.

Время обеденное еще не вышло, и она все ждала, смотрела, не подъедет ли машина за ним увозить с обеда. Но никто не подъезжал, перекресток был пуст, только слышались беготня и крики мальчишек с заброшенной стройки. Подождав еще минут пять, она перешла улицу, но не к дому дочери, а к соседней землянке.

В щелку забора виднелось, как дочерина соседка стояла на завалинке и промазывала выходящие во двор окна,— на табуретке стояла и чашка с промазкой.

— Фень! — старуха позвала негромко.

Та услышала сразу и подошла.

— А, тетя Даня! Проходи, я вот к зиме уж готовлюсь, промазываю.

— Я не зайду, Фень. Я тебя вот об чем попросить хочу.— Она понизила голос.— Ты сходи к Кате узнай, дома Игнатий иль нет, ну, спроси чего-нибудь, хоть шабалу какую или соль. Если дома, ты Катю вызови потихоньку: мама, мол, пришла, зовет. А я здесь посижу, у тебя на завалинке.

Соседка не спросила ни о чем, ушла и вернулась скоро.

— Одна она, тетя Даня, иди.

— Ну хорошо тогда.

Старуха уже взялась за узел, но не стала поднимать. Одна дома и не вышла к матери? Она испугалась, вспомнив сразу, как приходила она к зятю последний раз, этой весной, пожить просилась, пока Алексей успокоится. Как зять отказать не отказал, а ушел в другую комнату, и, пока она жила у них, слова от него не слышала: ровно ее и не было. И жила она почти целый месяц, без двух дней, хуже чем в пост любой: к куску хлеба боялась притронуться, чуть живая потом вернулась к младшей дочери.

— А не болеет она? — спросила тихо.

— Да нет вроде, из сарая выходила.

— Ну ладно. Я у тебя, Фень, оставляю узел ненадолго?

— Ой, боже мой, давай, конечно!

— Да ты не заноси в избу-то, я скоро...

Она вошла во двор, тихо звякнула щеколдой, прикрывая дверь в тесовых воротах. Собачонка черная на цепке бегала и не брехнула даже. Дочь шла навстречу — полная, тяжелая от нездорового жира. Сальник на животе выпирал, натягивал вишневое платье, а голова, как у молодой, красивая была: нос прямой, губы тонкие, на белом лице и морщин почти не было. Черные гладкие волосы были собраны в узел на затылке, только седая прядь на левом виске — это как Лев-

ку, сына младшего, подлеца такого, в тюрьму посадили, с тех пор так и осталась.

— Здравствуй, Катя.— Они встретились на середине дорожки.

— Здравствуй, мама. Ты что ж это прячешься, как чужая? Заходи...

— Почему это как чужая?

— А я уж звать тебя хотела присмотреть по дому. Назавтра с Левой свидание разрешили, я и передачу собрала. Пока поедешь, да там неизвестно, сколько ждать, да обратно — целый день и уйдет...

— Ну вот, и звать не нужно, пришла я.

— Пошли, что ж мы стоим? Холод-то какой сегодня!

Они дошли до крыльца, и тут мать остановилась.

— А Игнатий-то где? На работе?

— Да он еще — когда же? — да во вторник прошлый улетел, на курорт путевку взял.

— И что это он все по курортам разъезжает, а ты дома сидишь? Или у него здоровье хуже твоего? И надолго?

— На месяц. Пойдем, мам, я уж замерзла.

Старуха посмотрела на дочь. Не могла она зайти, пока не скажет.

— Мне, Кать, за узлом сходить надо к Фене. Я скоро.

— Я и сама возьму, иди в дом.

— Катя, а я ведь насовсем пришла, знаешь?

— Ну и что ж что насовсем? Поживешь, пока Игнатий приедет, а там что-нибудь придумаем. Я схожу за вещами.

Дочь ушла. Старуха прислонилась к стене. Вон ведь какие мудрые — придумают они... Нет уж, она сама поговорит с Игнатием, как тот вернется. Да и много ли ей осталось, зажила, давно пора в могилевскую собираться... Нет, никуда она больше не пойдет, здесь до весны и останется.

Решила так, но ничего возвратившейся дочери вслух не сказала, смолчала.

Хуже нет — наперед загадывать.

Последние дни бича Плецкого

I

Плецкий проснулся совсем рано, еще не светало, и по тому, как легко, немо отнялся от сна, понял, что не заснет больше, выпался.

Хотелось встать и выйти наружу, но терпеть еще можно было, и он лежал не шевелясь, вслушивался. Ночь была темная, теплая, и никаких звуков, кроме приглушенного шума ключа из распада да вязкого писка мыши, царапавшей консервную банку, не доносилось.

Усталость прошла во сне, но плечи и спина ныли. Плецкий потянулся, поворочался, разминаясь, и от первого же движения засосало под ложечкой — курить захотелось. Нащупав сигареты, он откинул край брезентового плаща, висевшего на входе в шалаш, и, не надевая сапог, прямо в обмотанных шпагатом портянках — укладываясь на ночь, думал, холодно будет — выбрался.

В темноте светлело пятно на земле, он шагнул, разгреб веткой пепел. Угли тлели розовым мертвым светом. Он бросил собранной еще вчера трескучей полыни, наверх положил поленьев и отошел недалеко.

Вернувшись, он поддул слабо занимавшийся костер, посмотрел на часы — четыре, начало пятого, воду ставить рано — и, раскачивая перед собой черную тень, влез в шалаш, пошаркал ступнями, сбивая сор, и снова лег.

Поленья загорелись, сквозь петли висевшего на входе плаща проникал свет, и на голенищах лежавших тут же резиновых сапог дрожали острые блики. Плечкий пошевелил пальцами ног — созревшая от резины и пота кожа зудела. Мыться после работы времени почти не оставалось, только ужин успевал сварить, а чай уже в темноте допивал, да и вода вон в ключе была холодная нестерпимо — по утрам подогретой умывался.

Собрать все, пересмотреть, уложить — все это и другие накопившиеся мелочи он откладывал на сегодня, знал, что в последний день не работа. Да и не к чему — он прикинул: десять мешков, под завязку набитых мелко нарубленным корнем, уже лежали за хлыстами, в обочине дороги. килограммов по тридцать — сорок в каждом, и вчерашние килограммов шестьдесят, которые не стал рубить, принес только, — этого и на билет хватало, и одеться в новое, и протянуть первые месяц-два.

И с этой жизнью будет покончено. Послезавтра он сядет в самолет, пристегнется ремнями как положено, и когда наберут высоту, он подзовет бортпроводницу и спросит: «А «ТУ» в ту сторону летит или не в ту?» Она засмеется, и он попросит сто граммов коньяка, потом откажется от обеда, будет смотреть в круглое холодное окно и думать.

Плечкий открыл последнюю припасенную пачку «Трезора», из кармана лежавшей в головах штормовки вынул японскую газовую зажигалку, пепельницу, вишнево сверкнувшую, и закурил. И снова давняя, слишком уж хорошо знакомая ему тоска будто стиснула, сжала его, и он, не имея больше сил сопротивляться, заскользил навстречу тому горькому, далекому времени.

Перед распределением он валялся в кровати, днями бездельничал, читал, вставая только для того, чтобы спуститься в институтскую столовую, а возвратившись, снова читал. И тогда, в тот день, в него вонзилась та запись. Он помнил, как поднялся и, куря одну сигарету за другой, не успевая проветривать комнату от дыма, ходил до удивления потрясенный, ходил из угла в угол своей блочной комнаты. Потом за ночь написал вялый, плохой рассказ о пепельнице. Главное, тайное несчастье ее жизни состояло в том, что о ней хотел, мог написать великий писатель и не написал. Она меняла хозяев, трескалась, пылилась, тускнела, чуть дольше обычного гасила бесконечные папиросы, спички, сигареты. Иногда их оставляли зажженными, и тогда дым от нее поднимался тонкой голубоватой стружкой.

Он порвал те листки, а пепельницу, купленную тогда же на Серпуховке, увез с собой. И все три года это было его единственным наслаждением — вынуть дорожную сигарету, затянуться раз и другой и легко обломить белый пепел в овальное вишневое стекло.

Детство его было легким, здоровым и не запомнилось, будто смазалось в памяти. Но было что-то, видимо, в этом его детстве, тайна какая-то, всеми в доме скрываемая и замалчиваемая, и он воспринимал ее как притаившуюся беду, рос с этим ощущением; рос и взрослел, не просто теряя детскость и чистоту, взрослел все надвигавшимся, разраставшимся в нем ощущением, и пониманием, и приближением какой-то большой беды, не домашней, не близкой. Но — минуло, не коснулось; и будто внезапно разверзшуюся земную твердь перемахнув — он уехал навсегда от матери, из городка своего пыльного азиатского. И мать почему-то такой и запомнилась: стоит у дувала, рот зажат ладонью и в глазах — то ли крик, то ли опережающее благоговение ему далекому, взрослому. Может быть, он все это придумал, как многое придумал для своего детства; он знал это за собой: тихо и сладенько помечтать, пожалеть себя, словно набирая недостающих духоподъемных силенок. Так к нему, он считал, и главное пришло, он решил. Он хотел писать хорошую, свою прозу и он понял, что

необходимы опыт, знание жизни и — страдание. Страдание не мучительное, не мешающее работать, но тихое, тайное — для себя. Оно было невозможно без одиночества, глубокого, полного одиночества. и он решился. Уехал.

В Свободном, небольшом грязноватом городке перед Благовещенском, он сменил фамилию (удалось это, как ни казалось ему странным, легко, хоть и не быстро) и попал в бригаду сантехников. Работа была простая: окрашенные суриком трубы утеплять стекловатой и, обернув еще толем, перетягивать проволокой. И как можно больше погонных метров. Он научился варить, подменяя, когда хотелось, вечно пьяного сварщика. А через месяц, в августе, теплотрассу сдали, и он, получив расчет, уехал дальше, в Приморье, в один из леспромохозов.

Участок был самый дальний, бригады жили в тайге, в огромном добротном срубе, в каждой половине которого стояло по шестнадцать коек. Он довольно скоро узнал многих, с кем рядом работал, чьи койки стояли неподалеку от его. Лу Фин, страдавший язвой кореец, с ним они спали рядом, в углу; два бывших уголовника; молодые парни; случайные, быстро исчезающие мужики; закоренелые бичи; выгнанные из семей пьяницы — бывшие шофер, инженер, два моряка, краповщик, плотник...

На делянках работали они с мрачным, непонятным ему остервенением, но умело — валили и валили кубы, перекрывая дневную норму в полтора-два раза. В конце недели все разъянилось: в день аванса на деляны никто не вышел. В поселок погнали за водкой машину — голенький, без прицепа лесовоз — и с утра ждали.

К вечеру, устроившись кто где — на кроватях, на плите, по углам, за столом, — радостно, возбужденно накачивались. Пьянели быстро, поднимался крик, шум, пьяный гогот и плач, мелкие драки.

Он лежал в своем углу — некуда было деться — и спокойно, с пустым интересом рассматривал все это, заставляя себя запоминать глаза, позы, движения людей, пока они не превращались в вялые, бесвязно бормочущие тени и не засыпали.

Утро началось тем же, и за два дня они спустили с себя все, до ненужных пока телогреек и бушлатов. Потом появилось начальство, инспектор по кадрам, кого-то выгнали, кому-то выговорили, и снова, страдая от прерванного запоя, они давали план, прорываясь к месячным премиальным.

Сучкорубом он проработал всю зиму и в конце марта с раздробленной левой стопой попал в районную больницу. Там он пролежал больше месяца, но выписываться не спешил. Его перевели из палаты в коридор. И здесь по ночам он начал писать. Грубо, не отцеживая, боясь, что виденное и пережитое внезапно иссякнет. Но в сознании всплывали сцены, люди — даже те, на кого он не обращал внимания как на неинтересное, — они влетали в необходимое место, и фраза жила, подрагивала, казалось, пружинила. Плечек гнал от себя радостное чувство, понимая, что приходит...

Карандашики его быстро стачивались от этих воспоминаний там, в больничном коридоре, и блокноты будто тяжелели...

С благодарностью и болью — не возратить! не повторится никогда! — вспоминал он первое свое экспедиционное лето. Тот хотя бы день перегона; весь день они ехали в крытой машине на юг, к Владивостоку, ехали, пока зной постепенно не сменился душным сначала, потом вдруг резко похолодавшим вечером. Но они все еще ехали, и сумерки все гущались, и скоро стало заметно темнее, и темнело с каждой минутой, и все реже слышался шум встречных или обгоняющих машин — трасса пустела. Километра через два они притормозили, и сначала всех повело влево, а потом вперед, в глубокий ныряющий наклон — машина спустилась по крутому откосу с шоссе.

Проселочная дорога была узкой, и по кабине, по бортам будки било с шелестом ветками, ломко хрустели сучья, то и дело коротко, твердо подбрасывало на корнях деревьев — ездил здесь нечасто. Вскоре они остановились. Послышался долгий деревянный скрип — кто-то открывал, относил широко жердевые створки воротца, видимо, и шофер легонько, показалось — чуть таинственно, подал машину вперед и заглушил мотор. С шумом все попрыгали из будки, и шаги удалились и слышны были уже где-то на крыльце домика, и только тогда он спустился, ощущая холод железной стремянки, на землю, на траву.

Спустился на траву и, оглушенный, сначала не понял, не заметил, не услышал ее.

Невиданная стояла тишина!

Он ощущал, казалось, как остывает рядом, обливаясь горячими струями, мотор, слышал, как впереди из радиатора прямо и редко и все реже — падают, бьют капли по твердому листу, наверное, подорожника; не мог слышать, но все-таки слышал этот расслаивающийся, оседающий, оттаивающий гул их машины — и все-таки нет, не тихо было, — но тишина стояла безмерная!

Он развел чуть в стороны руки, чтобы не шуршать штормовкой — этой же самой, что в головах у него сейчас лежала, — и плавным, текущим шагом отошел от машины, от горячих запахов масла и бензина. Он поднял голову и не увидел ничего над собой, будто был слеп; и только усилием, одним и другим, продлевая взгляд, истончая до боли, почти выламывая хрусталики, всматривался. И они обозначились — сначала неясно, неохотно, — одна, и вторая, и еще несколько, отдаленные, где-то там, в долгой отрешенной дали, и даже не звезды еще, а лишь игольчатое, легкое подрагивание их лучей. Он продолжал всматриваться, не давая им исчезнуть, уйти в темноту, и вскоре заметил над чернотой ночи и еще выше, над ее темнотой, неясно льющий, не исчезающий, неведомый ему свет.

Он видел и будто понимал этот благодный свет совсем недолго, но много позже, через годы, вспоминал его и был всегда благодарен тому состоянию отрешенности, благодарен наднебесному свету, сомкнувшему под собой темноту ночи.

И еще одно давнее утро он часто вспоминал, тоже экспедиционное, в Кедровой пади. Хорошим оно было, ясным, прохладным, почти предосенним, и прохлада, и неверно высветленный лес, и лесной подорожник в тяжелой росе, и травы — все будто набухло чистой свежестью. По ближайшему склону он поднялся на гребень сопки, спустился кося по распадку и, пробравшись через заросли леспедешника, поднялся на склон уже другой сопки, сделал два пробных, для себя, описания, разметил стометровую площадку. Многому он тогда научился в ботанической экспедиции, многое уже умел... Он легко, по-утреннему работал. В подлеске хорошенький был бересклет, жасмин, неугнетенны, сочны копытень, похожий на европейский, кислица с нежным, тончайшим листом, и маленькие осочки, и случайно врезавшаяся сюда черная чемерица, огромная, чуть не до пояса, и — он еще не замечал такой — белая геранька с коленчатым ветвлением, еще цветущая кое-где, с единственной фиолетовой прожилкой по лепестку.

Возвращаясь в лагерь, он быстро спускался по узкому, почти ущельному распадку, прыгал с камня на камень, а выйдя из последнего, могильно нахолодавшего за ночь каньона, остановился вдруг. Впереди шагах в пятидесяти стояло, грелось на солнышке небольшое стадо. Когда они еще только собирались сюда, в заповедник, все говорили, что здесь вполне можно встретить оленей — не диких, но вольных, не загонных.

Казалось, их было не четыре, а больше. Может быть, потому, что узкие, тонконогие самки перемещались, поворачивались, переходили

и длинные их тени то сливались, то разъединялись. Но их было именно четыре, и ни одна, будто двигаясь в медленном плавном танце, не приближалась к самцу, стоявшему поодаль, матерому, сухозадохому, с мощной, словно раздутой грудью и тяжелорогой настороженной головой.

Он долго смотрел на оленей; видя живых впервые, он только и запомнил их полет, именно полет, а не бег. Вспугнутые, они замерли, застыли, и через мгновение коричнево полыхнувшие в воздухе тела их исчезли, а он все видел, как легко, словно дыханием подняло их над папоротниками в стремительно недвижимое падение, и снова подняло, и еще раз, и они пропали; только покачивались ветки приполянных кустов, подрагивали по-утреннему тяжелые листья да топоток кучный будто в землю впитывался, стихал.

А каким тяжким, тяжелым, душным, парным был тот вечер в лесу, под Барабашем. Не заснуть было в палатке, зудящей от комарья, он выбрался наружу отдышаться, остыть. В августовской ночной темноте глаза не обывкали, и вроде помстилось ему — свет слабенький вдалеке, за деревьями. Он пошел, неестественно высоко поднимая ноги, чтобы не запнуться, не оступиться; тихо было и безветренно. Светлевшее впереди пространство приближалось, он обходил деревья, будто разводя руками стволы, и неожиданно, сразу увидел мощный свет на поляне. Конусом резким, широким свет бил в глухую, без оконца стену дощатого сарайчика. Он некоторое время стоял в тени, не решаясь подойти ближе, стоял и смотрел.

Рефлектор с лампой на столбе направлял голубоватый напряженный луч на сарай, и насекомые — от точно мелких до крупно порхавших — роились над лампой, кишмя кишели в ярком свете, вылетали, будто подрезанные чернотой, из светлого конуса, и другие влетали, бронзово вспыхивая, искрясь, мелькая, иные касались раскаленного стекла и тотчас падали — медленно, как черный снег на черную же зелень ночной травы. На стене он не сразу увидел экран, натянутое белое полотно, — на него падали бабочки и жучки, мелкие прозрачнокрылые твари, мотыльки, падали, садились и ползли, сводя и разводя крылья, снимались иногда и улетали в темноту. Он подошел к экрану, и полотно будто закипело, зашевелилось от обилия насекомых; в тишине он услышал это незнакомое, чуть жутковатое скопище звуков — неясный шорох, попиливание, тоненький верезг, шелест, сухое потрескивание складываемых надкрылий и беззвучие мягких, нежнейших крыльев, тугие плотные удары пикирующих на полотно... Две-три бабочки в каком-то нервном замоте бились о непонятную соблазнительную преграду и, обмяв, измочалив крылья, смазав с них пыльцу, валились на траву и уползали в междосочные щели, лезли под экран, в близкую свою темноту. И новые летели и летели на этот белый пыточный свет, пикировали на свою огромную и тотчас накрываемую тельцем тень — и все копошилось, замирало, подергивалось, обрывалось, цеплялось в беззвучии давящего света.

Он попятился прочь от этого странного, иномирного, агонизирующего танца неведомых тварей. Минувя столб, увидел на нем белый, плохо натянутый провод, всползавший вверх, к лампе, увидел и черный, сиротливо-домашний здесь, в ночи, выключатель.

Нажми только — и нет света, чернога, темень, ничего нет и не было.

Затачивал он тогда, в больничке той районной, свои карандаши... Однажды, уже под вечер, он проснулся в непонятном каком-то волнении, будто снился — и неприятно — кому-то. Рядом стояла его врач, хирург. Плечкий видел ее выжженные перекисью, крупно уложенные волосы и спелые, казавшиеся фиолетовыми губы.

— Тебя послезавтра выписывают.

Она ушла, а он остался лежать, придвинувшись к слабо гревшей батарее, и медленно засыпал, различая в начинающемся сне белое пустынное поле, которое пересекают красивые молодые люди, одинокие и седоволосые. Он тянется к ним, но они, перемешиваясь и хромо припадая, будто уплывают навстречу густому красному снегу и исчезают.

Он ушел из больницы следующим утром и запил. Иногда только смутно виделась ему какие-то зеленые доски с глубокими щелями, зябкий ветер, мелькали чьи-то фигуры в красном и синем, испсанные листки и рядом его шапка с привинченным институтским ромбом, вяло входящие в лицо удары, звяканье казенных ключей и гул удаляющихся по шоссе машин.

Он пришел в себя в каком-то рисосовхозе, стал жить и кормиться у старухи Палаги, по ночам выгребавшей у него мелочь из карманов, неумело и молчаливо работал на разных работах до приезда шабашников. С ними он ворочал на стройке все лето и в начале сентября в рваном костюме и дешевых плетенках улетел на юг, к морю.

Там он поднимался рано, шел на безлюдный рынок, потом спускался к морю, стоял на берегу. Верхние тропинки вели к дальним бухтам, и он уходил туда, где не было палаток дикарей, обнесенных гирляндами из консервных банок, где не попадались раздавленные картонки из-под «Поморина» и где скалы были чисты и не испачканы красками художников.

Приходя на место, Плецкий раздевался и входил в воду, плавал, нырял, подолгу лежал на крупной гальке, бездумно и отрешенно слушая шум накатывающихся волн, чувствуя, как тончайшие солнечные лучи вонзаются в кожу и обламываются и легкий ветер сносит их со спины и плеч.

Вечером он обливался в дощатой кабинке, устроенной на задах хозяйского сада, обедал где подешевле и где есть хлеб на столах, выпивал стакан-другой вина и направлялся к набережной. Отыскав пустую скамейку, садился и, раздражаясь тихими разговорами прогуливающих, умилялся своим несчастьем, бездомностью и одиночеством.

Деньги кончились, и он уехал в Евпаторию. И там однажды, перенося за пляжным фотографом штатив, витринку с образцами, резиновых надувных лебедей, он внезапно остановился. Нет, не обознался — в двух шагах от него сидел брат. Он опирался левой рукой о песок, а другой подбрасывал и ловил камешки, изредка отрываясь, чтобы сделать ход, — играл с кем-то в шахматы. Плецкий отошел быстро за полотняный зонт и с колотящимся сердцем наблюдал за ним. Но брат не обернулся, раз только, подняв голову от доски, что-то сказал стоявшей неподалеку худой женщине, и она пошла в тень.

Возвратился он на Восток в начале октября. Здесь шли дожди. Старуха Палага не вставала с постели, болела, охала, поминая неубранный огород. Плецкий собрался, выкопал картошку, ссыпал в подполье, срезал и перевез в сарай на вешала кукурузник. Палага замолчала, медленно, тихо поправляясь.

Сразу и прочно легла зима, и теперь в его комнате было светло, холодно. Когда смеркалось, он садился к окну, отдергивал занавеску и смотрел на укатанную пустую дорогу, на плавные линии сопков по горизонту, серо-синему и безразличному. Иногда ночами он уходил в лес, в ближние сопки, ходил по сухо шуршащим неопавшей листвой дубнякам, подолгу стоял где-нибудь в тени дерева и, забыв обо всем, окоченевший, смотрел на фиолетово зернившийся снег, думал.

Он все чаще вспоминал о матери, но как-то однообразно: ему представлялось, как она умирает — крупное лицо твердеет, волосы цвета бурого пепла становятся толще, взгляд высыхает, останавливается...

В конце января, в самую стужу, Палага привела участкового, и он ушел с квартиры. Конец зимы он бичевал по лесоучасткам, поселкам, появляясь то в одном месте, то в другом, ночевал на фермах, жил впроголодь, пил, если подавали. Он опустил, рваная одежда и щетина на щеках, появившаяся сутулость скрывали возраст, к нему относились недоверчиво, настороженно. Он нашел легкий ночной заработок — скальвал наледи в общественных уборных, и делал это без отращения, тщательно.

Издали, оплывая сопки, накатывались упругие, почти ощутимые волны — могуче и страстно трубил, звал излюб. Плецкий вяло посмотрел на часы, на скачущую секундную стрелку и понял, что вставать надо, половина седьмого, рассвело.

Он сел, порвал — узлом вчера в темноте завязал — шпагат на портянках и перемотал наново, плотно, надел сапоги. Захватив булку черствого хлеба, пачку чая и сахар, вылез.

Воздух был влажен. Утренний туман белыми клоками сползал со склонов и плыл вниз по долине — последний день тоже обещал быть солнечным, бездождным. Он раздул костер, подвесил, выловив мелкие соринки, закопченный котелок, с вечера наполненный, и пошел умыться.

Вода уже кипела, когда он вернулся, выплескивалась на шипящие черные головешки. Он бросил в котелок щепоть чая, открыл и поставил к огню тушенку — варить ничего не стал, макароны и рис надоели. Да и на месте быть поскорее хотелось, приготовить все до девяти часов, расчистить площадку и потом уж не отрываться надолго, только для перекура.

Сало быстро растопилось, шипело по стенкам банки. Плецкий нарезал трещавший хлеб и, отминая ложкой куски горячего мяса и зачерпывая понемногу бульона, поел, запивая густым — пересыпал заварки — чаем.

Ни о чем, кроме работы, он уже не думал. Сразу две-три площадки расчистит и к двум часам килограммов пятьдесят наберет, и если крупно порубить, то мешка полтора, а то и два наполнит. В один из них топорик с ножом втиснуть можно будет (рукавицы он бросит, истрепались), а кирка, он прикидывал, не войдет, великовата, еще раз придется подниматься.

Плецкий убрал у костра, надел штормовку, сигареты положил, и нож, и топор — топорик, конечно, зря вчера прихватил, все равно не рубил, — завернул все в мешки и сквозь ивняк вышел на старую лесовозную дорогу.

Сразу же за хлыстами, сваленными к обочине и уже сгнившими, свернул на просеку, пробитую когда-то трелевщиками и теперь заросшую высокой, по грудь, полынью и дикой малиной, но выделяющуюся в густом дымчатом осиннике четким коридором.

Подъем был почти незаметен, впереди сильно уже шумел ключ. Плецкий шел, глядя под ноги, и слушал, как ширкают намокшие от росы, потвердевшие рукава штормовки, — брошенную где-то здесь в первый же день пачку от сигарет он просмотрел.

Осинник кончился. Пошло низкое место, за которым — от трех аралий с шапками семян наверху — нужно было сразу взбираться по крутому склону: просека уходила влево, на старые поруба.

Плецкий остановился и посмотрел вверх, выбирая, где кустарник пореже и без винограда.

Взобравшись, он присел на поваленную сухую пихтину и отдышался. Теперь метров сто опять полого — до польхающего красной листвой клена, — а там уже он протоптал тропу заметную к двум кедром. Неподалеку от них и начинались заросли, на давней гари.

Придя на место, Плецкий снял штормовку — вспотел от ходьбы — и бросил рядом с киркой. Посмотрел на часы — хорошо пришел, половина восьмого, солнце еще было за темной, казавшейся холодной сопкой. Рядом, через валежину, начиналась густая заросль и большая, но сплошь обвитая актинидией и ярко плодоносившим лимонником. Гроздь красных ягод обвисали, тяжелили ветки на редкость высокого элеутерококка — больше двух метров. Лимонник жаль было портить, и Плецкий пошел поискать еще, но дальше склон начинался и элеутерококк рос низкий и тонкий, а вправо поредел сильно. И он вернулся.

Брезентовые верхонки, по две на руку, проволгли за ночь и стояли комом, и Плецкий кирку поднял, поставил, чтобы ручка подсохла. Он еще раз осмотрел хорошие, густо росшие кусты. Лист опал уже, а ягоды еще висели по концам ветвей черными шаровидными зонтиками. И он начал.

Топорик был острый и в меру тяжелый и с одного — вкось — взмаха легко срезал главный от корня стебель в топорнице толщиной, но лианы только мочалил, вминая в опавшие листья. Плецкий рубил куст за кустом, осторожно. Тонкие иголки сплошь усеивали ветки, прокалывали рубаху и обламывались в коже. Отбросить в сторону нарубленное пока еще нельзя было, все переплелось и держало одно другое, и он лишь, сапогом наступая, наклонял и раздвигал в разные стороны. Освободив немного места, он рубил теперь по кругу, сдвигая срубленное к центру, но то и дело накальвался то спиной, то плечами, то марля на голове цеплялась за ветки, и приходилось снова повязывать. Неприятная это была работа, и он раздражался — искололся весь и, главное, пальцы занозил, за топор теперь не возьмешься, пока не расковыряешь и не высосешь. Он подумал бросить, выкопать что есть, но оставалось не так уж много, кустов пятнадцать — двадцать, да и свободнее стало, и он скоро срубил до той границы, что наметил, сдвинул все в сторону, подмял сапогами. Площадка была готова, редкая кое-где трава не помешает.

Солнце поднялось и прогрело воздух. Плецкий сел в тени, снял с горевших ладоней рукавицы, вытер лоб марлей. От вырытой земли — он сидел на вчерашней делянке — пахло свежо и влажно. Изорванные мелкие коренья валялись вокруг и тоже горько ипряно пахли, и от разворошенных прелых листьев шел затрудняющий дыхание запах, но сидеть было хорошо в прохладной тени и тишине. Только над головой дробил по стволу дятел, но Плецкий не поднимал голову, чтобы посмотреть где — неохота было.

Он закурил и затаился глубоко. Теперь начиналось самое тяжелое: выкорчевать, вырыть корни, стараясь не обрывать и не оставлять в земле.

Первая усталость быстро прошла. Плецкий, докурив, поднялся. Верхние рукавицы уже можно снять — иголки ближе к корню мягкие, не прокалывали, на иных кустах их и вовсе не было.

Плецкий перешагнул валежину, пошатал ногой торчавший рядом комель. Этот не уходил глубоко, и он поддел его киркой, легко вывернул. Боковые корни тянулись в стороны, и Плецкий обрубил их. Еще один, под валежину уходивший, отсек и отбросил в сторону без усилий, а дальше пошли мощные, переплетавшиеся один с другим, килограммов по четыре-пять каждый. Такие не выворачивались сразу, и Плецкому приходилось плоским концом кирки разрывать землю вокруг, расшатывать; поддевая, освобождать и расходящиеся боковые, тоже толстые и длинные.

Солнце стояло уже высоко, было безветренно и жарко. Плечи и спину уже тянуло, и Плецкий снял мокрую от пота рубаху, теперь после второго-третьего отброшенного корня отдыхал недолго, все чаще поглядывал на те, что остались, оглядывал росшую в сторонке ку-

чу. Во рту у него пересохло, пить хотелось, но к ручью спуститься и подняться обратно — минут сорок потерять, не меньше, и Плецкий продолжал разрывать и отбрасывать, обрубать тонкие корни, поддевать киркой в круто скрученном месте и с трудом — устал уже — рывками выворачивать; над губой вдруг поползло щекощущее тепло. Он провел рукавицей — красное. Сел на подсохшую землю, запрокинул голову и слотнул, выплюнул соленый комок.

Когда он спустился со вторым и тоже почти полным мешком, было три часа пополудни. Он развел костер, повесил котелок и кастрюльку — есть хотелось и устал. Вытряхнул сегодняшний корень из обоих мешков ко вчерашнему (там, наверху, он быстро его порубил, крупно, чтобы вместились только) и принялся измельчать, косо и чуть от себя наклоняя щеку топора — так обрубки не отлетали далеко, — и когда собирал готовый корень в мешок, сора всякого прихватывал меньше. Чуть сладковатого приятного запаха корней он не замечал — устал и привык.

Вода скоро закипела, Плецкий всыпал горсть риса и продолжал рубить, изредка поднимаясь, чтобы помешать в кастрюлке.

Пообедав, он посидел, прислонясь к громадному кедру, покурил и решил остатки рубить не так мелко, удлиняя отрезки, — в общей куче приемщик не заметит.

Плецкий закончил, и впереди еще было часа четыре свободных, машина раньше не придет, а дел почти никаких: вымыть в ключе корень, самому приготовиться и ждать.

Он пошел к ключу, и это было самое приятное — загребать в ладони небольшие охапки, перетирать в потеплевшей воде и бросать молочно-желтый отмытый корень вперед, в запруду, и оттуда, стяхнув хорошо, в мешки.

К тем десяти, что лежали в ивняке за хлыстами, Плецкий перенес и сегодняшние четыре мешка и все четырнадцать, плотно набитые, приподнимая один за другим, взвешивал на руке — ровно тянули, не меньше чем килограммов по сорок каждый, а последние и потяжелее казались, может быть, и от усталости. Завязав мешки, он вымыл топор и кирку, вычистил внутри и снаружи котелок с кастрюлкой — все это было не его, отдавать надо.

Осталось самому теперь вымыться, и Плецкий, складывая все чужое в бумажный мешок, спохватился: посуду почистил, не в чем воду согреть для бритья. Но невдалеке валялась банка консервная, и он подбросил в тлевший костер сухих веточек.

Зеркала не было, и он побрился на ощупь, прощупывая пальцами тонкую кожу на скулах и подбородке, плеская горячей водой на ладонь и к щетине прикладывая, распаривая. Побрившись, он захватил с собой мыло и пошел вниз по дороге, чтобы не лазить по кустам. Метров через двести ключ перетекал дорогу.

Грязную рубаху, сапоги, синие штаны от матросской робы и трико под ними — все, в чем работал, он снял и выбросил. Вымыв голову, белую спину, грудь, долго отгирал твердым зеленым хвощом руки, потом присел и, едва терпя холодную все-таки воду, весь вымылся. Кожа меж пальцев ног слезла, и молодая порозовела от холода; он еще раз намылил руки, сполоснул и побежал обратно, смешно искривляя тело и припадая то на одну ногу, то на другую — острая галька колола ступни. Красное предвечернее солнце уже на треть диска вошло в сопку, и впереди Плецкого, пока он бежал по дороге, длинная тень мелькала.

В шалаше он переделался в поношенный костюмишко, другую рубаху, обулся и, перевернув бязевую подстилку чистой от лапника стороной наверх, лег.

Чувствовал он себя легко и свободно, усталости как не было. Перед глазами плыли, хоть он и думал о другом, образы того, что он делал все эти дни: длинный треснувший корень, не выворачивающийся из земли, и от него — густая бахрома бесцветных, прозрачных; или иголка, косо уходящая под кожный узор на ладони; или цвет и форма какого-нибудь листа; или отшлифованное лезвие топора, обе зубрины на плоском конце кирки — глубокая с рваным краем и рядом мелкая, треугольная. Но это все мелькало, стушевывалось и не мешало думать о том, что позади тяжелая работа, что завтра до обеда он сдаст корень, получит в совхозной кассе деньги — он прикинул: по восемьдесят копеек за килограмм, больше четырехсот рублей набегало, — получит деньги и улетит куда-нибудь на запад, и жизнь наладится, переменится. Он найдет не отнимающую много сил работу, но и не халтурку, чтобы только на хлеб хватало, станет жить тихо и просто и будет как на ладони у самого себя. Потом, может быть, если хватит сил и желания, он начнет снова то, ради чего ушел от всех, но что там еще впереди будет, кто знает...

Недокуренная сигарета потухла сама собой и выпала из пальцев — он заснул. Через полчаса донесся слабый, чуть отслоившийся от тишины звук работающего мотора, но Плецкий пока его не слышал.

II

Вечером он стоял у кассы спиной к залу. С мокрых волос на плечи и за поднятый воротник дешевого плаща, тоже насквозь мокрого, стекали капли дождя — он только что вошел в здание аэропорта. Оформлявшая билет кассир спросила его о чем-то, и он, забормотав, вдруг быстро отошел, но тотчас вернулся за оставленным у кресел маленьким рюкзачком и снова ушел — в конец зала.

Он стоял у автомата-расписания — мелькали, листались алюминиевые пластины с цифрами и ценами, — но думал только о том, что сейчас чуть не проговорился, чуть не назвал, отвечая кассирше, настоящую свою фамилию — Богданов, осекся вовремя. Она, конечно, запомнила его, ну да ладно, в паспорте у него все нормально. Он еще долго бродил по залам, останавливался у ларьков, киосков, а потом все же пошел к кассе, где уже скопилась небольшая очередь...

Ресторан был полон. Плецкий сидел за угловым заказным столиком — его посадили только поесть. Он попросил официантку унести казенную пепельницу, вынул из рюкзака свою, вставил последний баллончик в зажигалку и закурил. Напротив за служебным столиком обедал экипаж, чуть подальше шумела веселая уже компания, в зале было тускло и дымно, шумно очень.

Плецкий сидел спокойный — билет взял. Удачно доехал он на попутной из совхоза до Уссурийска, там зашел в универмаг и приоделся и снова на попутную — сюда, до Угловой, до поворота к аэропорту. Здесь уже шел дождь, только посильнее.

Официантка принесла, гнусь прыщавая, все сразу — графинчик, два пива, кальмара на закуску и горячее. Он не спеша приступил; улетал ночным рейсом и намеревался просидеть здесь до закрытия, а до посадки продремать где-нибудь в кресле. Можно было — он неожиданно вспомнил — зайти к той женщине, у которой прожил два дня и потом улетел на юг, она недалеко жила, работала здесь же, в аэропортовой службе. Но за окнами дождь лил не переставая, и уходить из тепла никуда не хотелось.

Стол, за которым сидели летчики, уже был свободен, и он посматривал на компанию. Он выпил еще и еще и стал что-то чертить на салфетке невнятным уже почерком, не слушал подходившую дважды

официантку. Потом появились двое моряков с девушкой, заказавшие столик, и Плецкий рассчитался, но не уходил, требовал, чтобы выбросили из его пепельницы окурки. Официантка отказалась, послала, видно, за милицией — все поглядывала нетерпеливо на двери. Они и появились вскоре, двое ребят в форме, но за ними он увидел, узнал знакомую прошлогоднюю — не дойдя до него нескольких шагов, она повернула обратно к выходу.

Старшина ввел улыбавшегося Плецкого в дежурную комнату, провел за барьер. Прощупав карманы, вытащил и положил перед капитаном на стол документы, билет и деньги в почтовом конверте и пепельницу.

Плецкий говорил без умолку, раскачиваясь и жестикулируя. Он поднялся было с лавки, но старшина подтолкнул его — на место — и Плецкий заулыбался.

— Ну, старшина, манерами мы не блещем, правда, капитан, можно, я так буду называть для краткости, товарищ капитан?.. А тульские мастера были такие, тоже называли Петькой, Гришкой, Палашкой, так быстрее, капитан, и политэкономичней...

Капитан пересчитал деньги, просмотрел документы и, заперев в сейф, спросил старшину:

— Где он мог взять, в ресторане же нет таких?

— Говорит, что его.

— Это историческая пепельница, капитан.— Плецкий разобрал, что о нем говорят.— Это наследство моей бабушки графини Плисецкой, и еще о ней хотел написать великий Чехонто, капитан, великий человек хотел проследить психологию этой штуки, но, капитан, никакого следа не оставил, и она погибла в грязном людском мусоропроводе. Самый интеллигентный писатель тоже выходил из себя и однажды напечатал великий роман на десяти страницах — пари,— который мне очень нравится.

— Фамилия? — Капитан писал протокол.

— Богданов, капитан, в другой транскрипции читается как Плецкий, но это дела не меняет... Капитан, меня не надо никуда отправлять, я полечу сейчас...

Зазвонил телефон, и капитан, махнув Плецкому рукой — помолчи, дескать, сядь,— поднял трубку.

— Дежурный капитан... — Он вдруг переменял официальный тон.— Здесь. Да вон сидит... Ну хорошо, забирай... — Он положил трубку и внимательно посмотрел на Плецкого.

— Откуда ты, гусь такой?

— Так, капитан,— Плецкий подумал и не стал отвечать,— так самбо заменяет нам благородные манеры...

Он продолжал что-то говорить, с трудом, роняя голову, удерживался на лавке. Капитан будто размылся в плавающее синее пятно, потом появилось еще одно рядом, женским голосом спрашивало откуда-то издали, и ему казалось, что он уже слышал этот голос раньше, давно...

Под дождем он протрезвел немного, но качался, запинаясь. Она поддерживала его, молча вела в темноте и привела к себе, раздела и постелила ему, а потом пошла за нашатырем к соседям. Плецкий выпил этой гадости, и голова скоро перестала болеть, прояснилась, но тело оставалось чужим и непослушным. Он позвал ее к себе и только измучил.

— Ты далеко опять собрался? — Она будто не заметила его немоши.

Он не ответил и вдруг вспомнил, что пиджак был легким, когда раздевался, пепельница не тяжелила карман. Он потянулся к стулу, на котором висел костюм,— полы пиджака легко болтались.

Плецкий кое-как, спеша в темноте, одевался. Она включила свет и смотрела на него зло и безразлично, даже будто выжидала.

Он толкнул дверь из квартиры и бегом, цепляясь за перила, сбегал вниз и упал у подъезда. Поднявшись, вымыл в луже руку и, вытирая о полу плаща, побежал к полыхавшему за деревьями зеленому зареву — к аэропорту.

Ресторан уже закрыли, и гардеробщица не пускала его, а он, говоря, что забыл на столе пепельницу, просил позвать официантку. Гардеробщица ушла за дверь, он сел на стул, брюки были забрызганы грязью — нагнувшись, стал чистить, оттирать.

Вышла его официантка.

— Какую тебе пепельницу, ты же взял.

— Слушай, извини.— Он вытащил и протянул ей четвертную.— Дай без сдачи, капитан просил, а?

Она брезгливо взяла деньги и ушла, ее долго не было, и он забыл о ней. Кто-то помогал ему встать, но он не хотел и опять говорил, бесильно поднимая голову, водил мутным взглядом по собравшимся:

— Не надо мне помогать, я сам встану и полечу сейчас к матери моей... А если она мертвая, я скажу: мама, вставай, твоему сыну плохо, твой сын подлец и проходимец.— Плецкий не замолкал.— И моя мама встанет, вы ее не знаете, у вас нет матерей, потому что все вы родились партеногенетическим путем и не знаете, что такое партеногенезис... Но не надо больше милиции, это не так уж плохо, это беспорочное зачатие... из ребра Адамова..

Из ресторана выходили, приостанавливались у зеркала, спускались вниз. Плцкий наконец побежал за кем-то, но упал, потом сразу оказался у выхода и пошел по лужам через площадь к скверу — там они всегда ночевали в экспедиционной будке, но он никого будить не станет, пусть спят вечным благородным сном...

У гостиницы под дождем ждал кого-то случайный человек, и Плцкий остановился.

— Послушайте, товарищ, я, конечно, не гомосек, но мне совершенно необходимо сказать, что вы необыкновенно благородный, прекрасный человек.

Тот не ответил, и Плцкий прошел под окнами, качнулся за угол. Дождь не переставал. Плцкий скользил по глине, несколько раз падал, вставал, но потом где-то сам лег под куст. С мокрых веток капало, он натянул плащ на голову и, раздвигая плечом мягкую глину, устроился поудобнее, поджал ноги и заснул.

ЮЛИЯ ДРУНИНА

★

* * *

Кричу, зову — не долетает зов,
Ушли цепочкою, шаг в шаг впечатав,
Как будто на разведку в тыл врагов,
Солдат Сергей Сергеевич Смирнов,
Солдат Сергей Сергеевич Орлов,
Солдат Сергей Сергеич Наровчатов.

Зову. Опять лишь тишина в ответ.
Но и она кричит о побратимах...
Кто говорит — незаменимых нет?
Забудьте поскорее этот бред,
Но помните, что нету заменимых!

У костра

Хороводились звезды. Стреляли поленья.
Отступил в темноту энтээрковский век...
«Жаль мне ваше наивное поколение»,—
Очень искренне вдруг произнес человек.

То выглядывал, то в тучу прятался месяц.
Наши спутники спали и видели сны...
Был моложе меня лет на восемь, на десять
Собеседник и, значит, не видел войны.

Он во всем преуспел. А какую ценою?
Для иных не имеет значенья цена...
Кто умение жить посчитает виною?
(Если только наружу не выйдет она!)

Насмешила меня суперменская жалость,
Я с полслова ее поняла до конца.
Только вера в людей мне в наследство досталась
От хлебнувшего лиха работяги-отца.

По горячей земле пол-России протопав,
Хлебанув свою толику в общей беде,
Я, как ценный трофей, принесла из окопов
Только веру в людей, только веру в людей!

Жить бы дальше без драки. Не тронешь — не тронут
Те «умельцы», кому помешать я могу.

Те, что жаждут занять всевозможные «троны»,
С исполинскою плоской спеша к пирогу.

Но не стану молчать — это сердца веленье.
Поднимаюсь в атаку опять и опять...
Жалко тех мне из вашего поколения,
Кто умеет на подлость глаза закрывать.

Укором всем

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

Некрасов.

И вышел на трибуну как-то боком
С немодною бородкой человек.
Поправил микрофон, потом заокал,
Как спринтер, прямо с места взял разбег.
Его вполуха слушали вначале,
Но очень скоро стало ясно мне,
Что людям нес он не свои печали —
Его душа болела о стране.
О тех краях, что росчерком единым
Хотят на растерзание отдать
Не ведающим жалости машинам,
Заставить реки повернуться вспять.
Опять природу жаждем покорять.
Опять стада бульдозеров покорных
Рванутся в деревеньки, на таран...
Морей нам, что ли, мало рукотворных,
Что превратились в лягушачий стан?
Зачем, кому такое было надо?
Иль родина иным не дорога?..
Укором всем затопленные грады,
В болота превращенные луга.
Нет зарослей веселых, камышовых.
Они, кормильцы рек, осушены.
Теперь там свалки, целлофана шорох —
Пейзаж луны, захламленной луны...
Природа! Ты отплатишь нам жестоко,
Не постоишь ни за какой ценой...
Ушел с трибуны человек, что окал,
Как весь мой Север окает родной.
Ушел, ершистый и не горбя плечи,—
Как бы на марше, собран и угрюм.
Но тут же встал товарищу навстречу
Другой поэт, другой властитель дум.
И столько было в голосе накала,
В глазах такая затаилась боль!..
О, как внимали рыцарю Байкала!
Байкал, Байкал! — мы все больны тобой.
Мы все болеем родиной — Россией,
С нее влюбленных не спускаем глаз.
Когда земля защиты попросила,
Забыли, что уволены в запас
Фронтовики — святой эпохи дети.
Им, все познавшим, с теми по пути,
Кто хочет от грядущего столетья
Лавину равнодушья отвести.

«Без вести пропавшие»

Полицай не пропадад «без вести»,
 Пропадад без вести партизан.
 Может, он погиб на поле чести,
 Может, в хате лесника от ран...

Полицаи сроки отсидели
 И вернулись на родимый двор.
 Сыновья «пропавших» поседели —
 Рядом с ними тенью брел Укор:
 Ведь без вести —
 Это как без чести...
 Может, хватит им душевных ран?
 Полицай не пропадад «без вести»,
 Пропадад без вести партизан.

Вышло время формуле жестокой,
 Нынче «без вести пропавших» нет.
 Пусть они вернутся —
 К локтю локоть,—
 Те, что сорок пропадали лет.
 Пусть войною согнутые вдовы
 На соседей с гордостью глядят:
 Вышло время формуле суровой —
 Нет «пропавших без вести» солдат!

...Здесь застыли в карауле дети,
 Здесь молчим мы, голову склоня,
 И глядим, как раздувает ветер
 Скорбный пламень Вечного огня...

Поэт

Не рвался на высокие трибуны
 И не мечтал блистать за рубежом.
 Нет, не завидовал современным, юным
 Он — скромной гордостью вооружен.
 Вернулся из войны. Давно не молод.
 И никогда «не требовал венца».
 Нет, не сумел блокадный мертвый холод
 Обледенить солдатские сердца.
 Писал. И в том была его награда.
 За строчкой строчку. Трудно. Не спеша.
 В тени... В нем билось сердце Ленинграда
 И трепетала Питера душа.
 Он помнил — Пушкин, Достоевский, Ленин
 Дышали белым маревом Невы...

Седой поэт, застенчивости пленник,
 Идет, не поднимая головы,
 В президиум, в последний ряд садится,
 Прищурил близорукие глаза.
 И освещаются неволью лица,
 И благодарно замирает зал,
 Когда поэт выходит на трибуну,
 Когда берет, робея, микрофон.
 И далеко запрятанные струны
 Неволью в душах задевает он.

Мы снова верим, что в наш век жестокий,
 Который всяким сантиментам чужд,
 Еще становятся бинтами строки
 Для раненых, для обожженных душ.

И встретились женщины эти...

*Болгарской поэтессе Е. Багряне,
 дважды встретившей комету Галлея*

Пленительней не было стана,
 Победнее не было глаз —
 Багряна, Багряна, Багряна
 Кометой по жизни неслась.

А в небе насупленном где-то,
 Приметив наш дом голубой,
 Другая блистала комета,
 Свой шлейф волоча за собой.

Все грады и все деревеньки
 Тревогою были поаны.
 Случилось такое давненько —
 До первой великой войны...

И встретились женщины эти —
 Комета с Багряной опять.
 Ничто не сумело на свете
 Свиданию их помешать.

Прошла не сдаваясь Багряна
 Бездонные пропасти лет —
 Мерцание телеэкрана,
 Стихов неслабеющий свет.

А в небе насупленном где-то,
 Покинув наш дом голубой,
 В другое столетье комета
 Уносит свой шлейф за собой.

Польнь

Этой темы касаться — словно раны кровавой.
 Я о тех, кто сражался в библейской войне,
 Тех героях, что в адском горели огне,
 Но пока что не слишком обласканы славой...
 Нет страшней, чем с невидимой смертью бороться,
 Заслоняя планету собой.
 Пляшут, вырвавшись, атомы — злые уродцы,
 Но пожарные приняли бой.
 Нет, не все измеряется лишь орденами.
 Хоть, должно быть, отыщут и вас ордена...
 Вижу, встав на колено, солдатское знамя
 Преклоняет пред вами страна.
 Мы пред вами в долгу, и до самого гроба...
 Выйду в степь, в раскаленную синь, —
 Я не ведала ране, что словом «Чернобыль»
 Называли славяне польнь...

Почему?

Трудно, чтобы такое не тронуло душу,
Если даже бесчувствен ты:
Почему-то выбрасываются на сушу
Повелители моря — киты.

Ударяются в камни могучею грудью,
Разбиваются, как корабли.
И противятся добрым встревоженным людям,
Что спасать великанов пришли.

Я на телеэкране слежу за китами,
За бедой, не подвластной уму.
Почему? Почему? — нераскрытая тайна...
Сколько в жизни таких «почему»!

Лесная сказка

Ходили по лесу толки,
Что главная там беда
Не злые, как черти, волки,
А стая шакалов. Да!

В той стае убийц трусливых
Был главный палач-шакал.
С ним встретившись, не могли вы
Зловещий забыть оскал.

Все лыбился он, подранков,
Играючи, муча всласть...
В лесу подлецы всех рангов
Его воспевали власть.

Все ведали — будет крышка
Любому, кто ослабел.
Однако один зайчишка,
Им загнанный, не сробел.

Лежал на спине. Мигая,
Глядел на зубастый рот,
И вдруг, как ножом, ногами
Убийце вспорол живот.

Лишь взвизгнул шакал. И взмыло,
Чтоб снизиться, воронье...
Отчаянье — тоже сила,
Страшись разбудить ее!



АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

★

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ*

Роман

10

Он еле высидел рабочий день и кинулся со всех ног в парикмахерскую.

Лайма оказалась на месте, и от одного ее взгляда — не слишком сурового, а даже сочувственного — у него отлегло от души, свалился камень с сердца: и впрямь, ну чем он виноват?

Очереди не было, но в кресле перед зеркалом расположился клиент: набриолиненные волосы уже забраны сеточкой, а физиономия вся в мыльной пене, даже рот залеплен, одни глаза наружу — внимательные, хваткие, они буквально с порога вцепились в Алексея и теперь неотступно следили за ним в зеркале.

Но разговор, ради которого примчался Алеша, не терпел свидетелей и третьих лиц — оставалось ждать.

Присел в сторонке, взял со столика газету, погрузился в столбцы: хотелось выглядеть занятым и степенным человеком, не обнаруживать цели своего визита — что он пришел сюда не стричься и не бриться, а к знакомой парикмахерше. Но, на беду, газета оказалась «Северной звездой», которую он еще вчера прочел от корки до корки, и больше ничего существенного или занятного в ней вычитать было нельзя.

Он невзначай вскинул взгляд — и опять столкнулся в зеркале с глазами этого типа, хитровато сощуренными и даже насмешливыми.

Между тем Лайма, склонясь, изогнувшись в талии, снимала опасной бритвой мыльные заструги, и, по мере того как шло лезвие, обнажались худощавые смуглые щеки, острый подбородок, Алеше вдруг показалось, что ему знакомы эти черты, что ему вообще давно знакомо это совершенно незнакомое лицо... Но мало ли он перевидал всяких лиц в своих бесконечных разъездах, командировках.

Кто бы это мог быть?

Но когда Лайма, оттянув кверху кончик носа клиента, четкими движениями освободила от мыла его губы и отерла краешком салфетки, незнакомец растянул их в приятной улыбке и сказал:

— Здравствуйте, Алексей Николаевич.

— Здравствуйте... — растерянно отозвался Алеша.

Он так и не мог вспомнить ни кто это такой, ни откуда, ни как звать. Однако ему не мог не доставить удовольствия тот очевидный факт, что совершенно незнакомые люди узнают его в лицо, ловят его взгляд, искательно улыбаются, почтительно здороваются с ним, зна-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 10, 11 с. г.

чит, вот как широко он известен в этом северном крае и, может быть, даже за краем — Алексей украдкой не без гордости покосился на Лайму, и она ему незаметно кивнула, давая понять, что оценила.

Но кем же мог быть этот человек?.. У него оставалось лишь несколько минут, чтобы подумать, чтобы вспомнить — когда лицо незнакомца скрылось в удушливой мороси распыленного пульверизатором одеколona, а затем окуталось белым облачком пудры, — но он так и не вспомнил.

Лайма торжественно сдернула простыню, как она обычно это делала — будто полотнице с памятника, — любуясь своим искусством.

Незнакомец положил на мраморную доску сизый четвертной, встал и направился прямо к Алеше.

Он был великолепен: легкий, с иголочки курортный костюм из шелестящей чесучи, рубашка с богато расшитой грудью и завязкой на помпонах, кремовые штиблеты.

— Вы не узнали меня, Алексей Николаевич? — Он протянул руку с крупным перстнем на безымянном пальце. — Но ничего, я напомним: Вадим Сергеевич Хвощинский, из Тундры, администратор музыкального театра... вспоминаете?

— Ну да, ну конечно. Здравствуйте.

Алеша почему-то вдруг засуетился и стал прилежно трясти протянутую руку, хотя никакой особой радости от этой встречи он не испытывал, а просто чувствовал неловкость: вот действительно не узнал знакомого человека.

— С приездом, я очень рад! — суетился он, сердясь на самого себя и сожалея, что это видит Лайма и может все истолковать не в его пользу. — Какими судьбами?

— Да как же, Алексей Николаевич? По вашему приглашению... если помните, минувшей зимой я спрашивал у вас совета, где провести отпуск, — и вот, как видите, всецело доверился вашим рекомендациям, приехал в Город-на-Реке. Я уже прогулялся по улицам заглянул в парк и на пристань — здесь так много зелени хотя и Север, а какая красивая река, как хорошо и чисто дышится! Да, вы были правы: очень милый и приятный городишко...

Больше всего Алешу испугало то, что Хвощинский сейчас заявит о своем намерении поселиться у него — ведь это он приглашал и звал и теперь был обязан проявить гостеприимство. Но в его комнате ничего не было, кроме тощего односпального тюфячка на полу, и его стесняла даже мысль о том, что придется делить это скудное ложе с таким вальяжным гостем.

Кроме того, после вчерашнего скандала, учиненного Серафимой, у него была причина опасаться, что она встретит и этого гостя недостаточно любезно, вытолкает его взашей, а назавтра опять беги извинаясь.

Наконец, Хвощинский мог застрять здесь, и надолго — ведь говорят, что у тех, кто работает в Тундре, двухмесячные отпуска, — и тогда рушилась последняя надежда, умолив Серафиму или обманув ее бдительность, снова залучить к себе Лайму.

Надо было прежде всего выведать планы Хвощинского.

Но Алеше не хотелось затевать этот деликатный разговор в присутствии Лаймы, и он увел гостя из душной парикмахерской в прохладный затененный вестибюль.

Вадим Сергеевич опередил его вопросы.

— Может быть, мы поднимемся в номер? У меня двухкомнатный люкс, прилично обставлен... Вы были правы: здесь неплохая гостиница, хотя и странно, что она никак не называется.

— Ах, так вы уже устроились? — У Алеша вырвался вздох облегчения, но он постарался не выдавать до конца своих чувств, а, наоборот, изобразил на лице укор. — Что же вы не сообщили мне заранее,

не известили телеграммой или звонком? Я бы достал вам броню — поверьте, для нашей редакции это не представляет сложности, хотя в этой гостинице и бывает чертовски сложно получить номер...

— Спасибо, Алексей Николаевич, большое спасибо. Но я не решил тревожить вас подобными пустяками. Я запасся в Тундре командировочным удостоверением с надежной подписью и ведомственной печатью — Махнач подписал, — а перед этой печатью отворяются любые сезамы... А здесь, на месте, пришлось пустить в ход и личное обаяние: ведь без этого качества театральным администратором ни на что не пойдешь... — Хвоцинский развел руками и улыбнулся. — Так что не извольте беспокоиться: я великолепно устроен, и, повторяю, мне сразу пришелся по вкусу этот городишко. Лишь бы в нем не заскучать! И вот тут, дорогой Алексей Николаевич, я всецело рассчитываю на вас: помнится, вы обещали ввести меня в круг светской жизни Города-на-Реке, так сказать, помочь окунуться в водоворот, закружиться в вихре!

— Ну да, само собой... — кивнул Алексей ошеломленно.

В его голове суматошной чередой пронеслись все мыслимые и немыслимые, возможные и невозможные варианты.

Впрочем, их было не столь уж много.

Степан и Серафима отпадали сразу: по причине вчерашнего скандала и опять-таки это сделало бы неизбежным посещение гостем из Тундры его собственной комнаты, меблировка которой — тюфяк на голом полу — никак не могла идти в сравнение с гостиничным люксом. К тому же Алеша не был уверен в том, что общество матерщинника Степана и брюхатой Симчи покажется Вадиму Сергеевичу достаточно утонченным и светским.

О дружеской беседе с редактором «Северной звезды» Семеном Ильичом Улитиным сейчас не могло быть и речи. Не только потому, что с переводом Алексея в отдел писем пропасть в их отношениях углубилась, разверзлась до крайности, но еще и потому, что Алексею Рыжову лишь один-единственный раз в жизни довелось общаться с Улитиным накоротке, на равных, в непринужденной обстановке: на пароходе «Тютчев», в салоне первого класса, где они пили спирт, закусывая вишневым, и еще в каюте, где они спали бок о бок на соседних лежаках, и еще на зеленом вычегодском берегу, где они пилили дрова — тебе рукоять и мне рукоять, — то есть тогда, когда Алексей еще не был в подчинении у Семена Ильича, а был свободным человеком и бедным студентом — о, как прекрасно тогда жилось...

Кто же еще? Вась-Вась Бубеев с его поистине необъятным энциклопедическим умом и всечасной готовностью к дружескому застолью? Но когда Алексей еще в Тундре рассказывал Хвоцинскому об энциклопедисте Бубееве, тот весьма сдержанно отнесся к его словам, заметив, что его не так уж и тянет к разным умникам. Кроме того, Вась-Вась мог по пьянке невзначай проболтаться о его нынешних злоключениях, о том, что Рыжов впал в немилость и теперь замаливает грехи в богадельне у Ладановой, читая по долгу службы чужие письма... Нет-нет, Бубеев не годился.

Но кто же еще? Алеша лихорадочно обшаривал все потайные уголки памяти, не находя там никого и ничего.

Как странно, что за целый год жизни в Городе-на-Реке он так и не успел обзавестись кругом добрых друзей либо просто приличных знакомств.

Однако, подумал он, тогда же, в Тундре, говоря о своей неприязни ко всяким умникам, Вадим Сергеевич откровенно сознался, что предпочитает им общество юных красавиц. Так не предложить ли ему отправиться вместе в парк, на танцплощадку, где играет духовой оркестр, а вдоль стен стоят скусающие томные красавицы, дожидаясь

своего счастья — кто пригласит. И пусть уж Вадим Сергеевич сам выбирает в том цветнике, какая из них юней и краше.

Что же касается его, Алексея, то он предпочел бы пойти на танцы вместе с Лаймой, если, конечно, она хочет танцевать, если она еще способна держаться на ногах, отработав полную смену.

Как вдруг его осенило.

— Одну минуточку, — сказал он Хвоцинскому, — подождите меня здесь, я сейчас вернусь.

Лайма уже собирала свой чемоданчик.

— Послушай, ты не можешь сегодня пригласить меня в гости вместе с этим товарищем, который только что у тебя стригся? Его фамилия Хвоцинский, он из Тундры. Дело в том...

Она остановила его речь взглядом.

— Я понимаю, в чем дело. Ты попал в трудное положение — не спорь, я вижу, что попал, — и тебя нужно выручать. Тем более что это позволяет нам не говорить о вчерашнем, хотя о чем там говорить... Хорошо, я помогу тебе. Мама и папа сегодня дома. И ты теперь знаешь, где я живу. Я пойду одна, а вы приходите позже, ну, через час — понимаешь? — чтобы мы с мамой могли подготовиться, накрыть стол...

— Мы все принесем с собой! — благодарно и пылко заверил Алеша.

И лишь тут сообразил, что в кармане у него нет ни гроша, а получка на той неделе.

Однако час спустя, обремененные свертками, они с Хвоцинским шли через овраги в Париж.

— Кстати, Вадим Сергеевич, вот хорошо, что я вспомнил... — озабоченно заговорил Алеша. — Тогда, в Тундре, я очень торопился к поезду и не успел передать ни денег, ни гостинца тому художнику, который сделал для меня вариант портрета, точнее — повторение... простите, я забыл его фамилию, но вы, конечно, знаете, кого я имею в виду.

— Его фамилия — Фисак.

— Да-да, о нем. И с тех пор я буквально не нахожу себе места, ведь получается, что я остался должен...

— Не беспокойтесь, дорогой Алексей Николаевич, — улыбнулся из-за кипы свертков Хвоцинский. — Я все организовал сам: соорудил ему пакетик — масло, колбаса, сгущенка — и передал от вашего имени, пахан был очень доволен.

— Я вам так признателен, — от сердца выдохнул Алеша.

— Ну вот и ладненько... Послушай-ка, давай с тобой на ты.

Старый Бурбулис был рад гостям.

Не только по той причине, что ему выпадал неожиданный пир: он-то уже приготовился в смирении и скуке, в полудреме, в тихом семейном кругу коротать долгий летний вечер, как вдруг женщины забежали, засуетились, на столе появилась свежая скатерть, запестрели тарелки со всякой снедью из погреба, над ними вознеслись бутылочные горлышки, а ему самому было велено сменить рубашку, повязать галстук и надеть жилет...

Нет, не только поэтому. Было очевидно, что старому Бурбулису давно не выпадало подходящего случая выговориться, излить душу, поразить людей превратностями своей жизни. Кому он мог об этом рассказать? Разве что жене и дочери, но они и так все знали, вместе с ним прошли через все голгофы, а рассказывать такое вне дома и кому попало — крупный риск, ведь так недолго и продолжить череду превратностей жизни, и он был рад случаю рассказать о своей судьбе этим молодым людям, которые внезапно появились в его доме, хотя он и впервые видел их и потому следовало быть осторожным, тем бо-

лее что пришли они вдвоем и слишком охотно развесили уши, не забывая, впрочем, то и дело чокаться с ним рюмками и с аппетитом уплетать то, что им выставили, и то, что они принесли с собой,— но старый Бурбулис был слишком истомлен молчанием долгих дней и вечеров, долгих лет и зим, его неудержимо тянуло на исповедь — пусть даже опрометчивую, пусть даже перед совсем незнакомыми, но достаточно опрятными и культурными на вид молодыми людьми.

— Нет, я не стану скрывать — я был буржуем. У меня был собственный ресторан в Паланге, он достался мне по наследству. Вы знаете, Паланга — это курорт на берегу Балтийского моря, а правильной будет сказать, что это рай самого господ бога: там песчаные дюны, а над ними стоят густые сосны, а потом начинается пейзажный парк, какого больше нет на свете... и такого пляжа, как в Паланге, больше нет на свете: вы нагибаетесь, берете горсть белого песка, просеиваете его сквозь пальцы — и у вас на ладони остается янтарное ожерелье... Вы иногда не бывали в Паланге?

— О, если бы я мог побывать в Паланге!.. — вздохнул Вадим Сергеевич.

— Вел ту су саво квайлом пасаком,— сказала мужу Рута Бурбулене, строгая жена, и Алеша, хотя он и не знал по-литовски ни словечка, догадался, что это примерно значило: ври, да знай меру.

— Я говорю правду, чистую правду! — отозвался Бурбулис, не скрывая недовольства тем, что его перебили.— Так вот, мой ресторан был на самом берегу, недалеко от пирса. Правда, он был деревянным и работал только в летний сезон, когда в Палангу приезжала шикарная публика, а летний сезон там короткий — с начала июня по конец августа,— потом дожди, штормы, туманы, холода... и все остальное время ресторан был закрыт и в нем никто не работал. То есть я хочу сказать, что я использовал наемный труд официантов, поваров и судомоек не круглый год, а только с июня по август, в разгар курортного сезона. Но все равно я виноват: я был эксплуататором и буржуем... Теперь, когда я все осознал, перевоспитался и порвал со своим проклятым прошлым, я говорю об этом открыто и честно! Надеюсь, вы мне верите?

Алексей вежливо кивнул.

Однако его удивляло, что Бурбулис, излагая все это, смотрел почему-то не на него, а на Вадима Сергеевича, как бы отдавая ему предпочтение и выказывая больше внимания. Может быть, потому, что Хвоцинский был гораздо старше его — лет, пожалуй, на десять — и по возрасту был куда ближе забавному старикашке, нежели он, Алеша. Но не все ведь измеряется старшинством — в людях есть и другие достоинства. Алексей предположил даже, что Лайма, представляя гостей отцу, сказала что-нибудь не так, не в том порядке, и старый чудак, не разобравшись толком, думает, что более пожилой из гостей — это и есть известный журналист Алексей Рыжов, который печатается во всех газетах и который с недавних пор оказывает знаки внимания его дочери, а вот другой, что помоложе, это некий Хвоцинский, случайный спутник и прихлебатель дочкиного ухажера, провинциал, залетевший из Тундры в столицу, в Город-на-Реке.

Раздосадованный этой вероятной ошибкой, Алексей жалобно посмотрел на Лайму, но она лишь улыбнулась в ответ.

Тогда он обратил свой взгляд на старшую хозяйку, на мать, на Руту Бурбулене,— ведь она-то уж лучше всех и давнее всех знала Алексея Рыжова как постояльца гостиницы, где она работала дежурной, но, к его удивлению, старая мегера, когда он появился в доме, вообще сделала вид, что впервые в жизни его лицезрит и даже не имеет понятия, кто он и что он, будто вовсе не она однажды в полночь стучала к нему в номер, грозясь милицией.

— Я должен заметить, что в моем ресторане было два зала: большой и малый, — продолжал свой рассказ Бурбулис. — В большом зале было тридцать столиков на сто двадцать персон, и там играл мажорский оркестр — надо признаться, что по вечерам там было довольно шумно, — а в малом зале было тихо: туда обычно приезжали очень знатные гости, чтобы поужинать в интимном кругу, при свечах, и я не стану скрывать, что иногда они проводили время не только со своими женами... Да, таковы были буржуазные нравы! — Он покачал головой в знак осуждения. — Но иногда там собирались и совсем без дам, одни лишь господа, чтобы негромко поговорить за бутылкой хорошего вина, обсудить вопросы коммерции и политики... И вот однажды — увы, я должен это подтвердить — малый зал моего ресторана удостоил своим посещением пан Сметона, тогдашний президент Литвы, или, как его позже справедливо называли, фашистский диктатор. Он провел в ресторане весь вечер, беседуя со своими спутниками, и разразил меня гром, если я слышал хотя бы слово их разговора: меня, хозяина, попросили закрыть дверь с другой стороны... Но об этом все-таки узнали мои конкуренты, владельцы других ресторанов, — вы знаете, Литва очень маленькая, а Паланга еще меньше, и там трудно соблюсти инкогнито или что-нибудь удержать в секрете: они пронюхали и затаили черную зависть... Когда в Литве установилась народная власть, они на допросах излили на меня весь свой яд. И если их движимое и недвижимое имущество просто национализировали, то меня еще и сослали сюда как друга и сообщника бывшего президента...

— Бянт лиежуви прикастум приа святому жмоню, — снова прервала разглагольствования мужа Рута Бурбулене, и хотя при этом ее голос звучал монотонно и спокойно, глаза выдавали крайнюю степень раздражения.

— Что? — переспросил Алеша. — Я не понял. Извините, я не владею литовским. Что вы сказали?

Старая мегера пропустила мимо ушей его вопрос.

Зато Лайма с готовностью перевела:

— Мама просто сказала папе, что он слишком подробно обо всем рассказывает... что гостям, то есть вам, это совсем неинтересно слушать.

— А мы так и поняли, — приятно улыбнулся Хвощинский, — но Рута Ионовна напрасно беспокоится — нам очень интересно...

— Да-да! — воскликнул Алеша, хотя и усомнился в надежности перевода. — Это очень интересно. Я даже сожалею, что не взял с собой блокнот.

Вадим Сергеевич под столом нашарил его ногу и наступил на нее основательно, даром что обут был в легкие курортные штиблеты.

Но Алексей никак не мог упустить столь удобный момент, чтобы разъяснить хозяину его ошибку, чтобы внести наконец определенность: кто из них двоих известный журналист, а кто случайный попутчик и прихлебатель, кто здесь Рыжов, а кто Хвощинский.

— Может быть, об этом и не следует писать, но все равно это очень интересно...

Однако Бурбулис, хотя ему наверняка польстил живой отклик юного гостя, продолжал тем не менее адресовать свой рассказ Хвощинскому:

— В молодости пан Сметона тоже был журналистом. Он окончил Петербургский университет, а потом печатал статейки в либеральных газетах — я даже читал то, что он писал, ведь тогда я тоже был молодым и тоже был либералом, на меня еще не свалилось проклятое бремя частной собственности... Но что теперь говорить об этом? В сороковом году Антанас Сметона убежал из Литвы в Германию, а оттуда он убежал в Америку, а там, в Америке, он отдал богу душу еще до того, как закончилась война... А я вот уже восемь лет живу здесь, на

Севере, в Париже, расплачиваясь за свои и за его грехи, — развел руками Бурбулис. — Но я не ропщу на судьбу, нет! Я многое осознал за эти годы. Я бесповоротно порвал со своим классом и перековался. Да, я был эксплуататором и буржуем, но теперь я влился в ряды рабочего класса, стал пролетарием... — Бурбулис даже поднял кулак, изобразив «рот фронт!». — Видите ли, теперь я работаю экспедитором в потребсоюзе, а экспедитор — это, по сути дела, простой рабочий. Погрузка, разгрузка, выгрузка. Мешки, бочки, ящики. Товарные вагоны, грузовой автотранспорт, а иногда и гужевой — подводы. Сотни и тысячи километров. Дни и ночи под дождем... И еще, прошу вас учесть, материальная ответственность!

Алексей вспомнил, как он январской ночью возвращался в Города-на-Реке на верхотуре грузовика, лежа на высоком, как стог, тюке пакли, на задубелом брезенте, вцепившись леденеющими пальцами в пеньковые канаты, пряча глаза от режущего ветра, теряя сознание, замерзая... Да, ничего не скажешь, работенка не из легких; помнится, там тоже был экспедитор в овчинном тулупе и валенках с огромными галошами, экспедитор тогда втиснулся в кабину к шоферу, предоставив случайному пассажиру право околевать наверху, но все равно адская работа, пыльная, потная, хрипая, и все на сквознячке, а ведь Бурбулис уже стар.

И еще Алексею подумалось, что старому Бурбулису, наверно, было трудно перековываться из буржуя в пролетария. Он и сейчас имел возможность убедиться, что перековка старого Бурбулиса еще не завершилась полностью, что пережитки прошлого довольно глубоко угнездились в его сознании. Наглядным свидетельством тому была икона богоматери, висевшая на стене как раз напротив того места, где сидел за столом Алексей. Она висела на бревенчатой трещиноватой коричневой закопченной стене, но не в углу, как в деревенских избах, а в изголовье кровати, и сама эта икона была не деревенского чина, не русского письма. У богоматери на руках был младенец, а в ее груди — отверстой, как в анатомичке, — пылало червое сердце. И вообще это была не икона, а лишь копия иконы: раскрашенная фотография католической мадонны из какого-нибудь литовского костела, припиленная к стене обыкновенными канцелярскими кнопками. И это подсказывало уму, что нынешние жильцы считают избу в Париже лишь временным своим пристанищем, что они лелеют надежды, что они терпеливо ждут того срока, когда им представится возможность вернуться восвояси.

Поймав долгий взгляд Алексея, прикованный к богоматери с отверстым сердцем, старый Бурбулис продолжил:

— Я экспедитор, а экспедиторы всегда в разъездах. Иногда мне приходится уезжать отсюда, из Города-на-Реке, довольно далеко и надолго. Вот, скажем, люди покупают здесь в потребсоюзских магазинах эти соленые огурцы и не знают, что мы ездили за ними во Владимирскую область, в Муром, потому что там самые лучшие на свете огурцы, а здесь они вообще не растут. Они покупают эту картошку и даже не знают, что это вовсе не картошка, а бульба, — мы привезли ее из-под Витебска, из Белоруссии. Правда, я не стану утверждать, что за этими крабами, которые принесли с собой дорогие гости, я сам ездил на Камчатку, — нет, этими крабами в банках завалены все магазины Города-на-Реке, и никто из местных жителей их не берет, потому что они не знают, что это такое и с чем их едят... Но зато в этом городе на завтрак, на обед и на ужин все едят треску, ее даже не варят, а просто обдают кипятком, и это считается национальным кушаньем — так вот, это национальное кушанье я сам получал в Клайпеде в торговом порту чуть ли не из рыбацких сетей. Кушайте, кушайте, это свежая треска, она хорошо прожарена на сливочном масле и прямо тает во рту!

При этих словах Бурбулис многозначительно поднял палец.

— Но я прошу вас учесть, что Клайпеда — это рядом с Палангой, всего двадцать пять километров, полчаса хорошей езды...

— Аш висада сакяу, кад су таво лежувию нясибайс гяруою! — проворчала Рута Бурбулене, однако на сей раз ее негодующий тон был приглушен пониманием того, что любые попытки унять мужнины речи, увы, тщетны.

— Да, вы уже догадались! Мне удалось завернуть в Палангу — я был там всего десять минут, но я так много увидел... Прежде всего оказалось, что мой ресторан уцелел и стоит на том же самом месте, где стоял, у пирса. Как странно шутит судьба! По этим местам прокатилась война — она катилась там много раз туда и обратно, и все каменные дома лежат в развалинах. От дома, который нам принадлежал — он тоже достался мне по наследству, — теперь нет и следа. Там бушевали такие пожары, что сосны на берегу моря стоят обугленные... Но мой деревянный ресторан цел, невредим и даже, представьте себе, работает. Может быть, вы думаете, что его отстроили заново? Нет-нет, уверяю вас, я знаю в его стенах каждый сучок, нет, его только перекрасили зеленой краской, а он был синий с белым. И тогда я набрался смелости, поднялся по ступенкам и вошел...

Грудь старого Бурбулиса вздымалась учащенно. Он плеснул себе в рюмку водки, выпил, посопел, собираясь с силами, чтобы довести до конца свой сказ.

— Я уже говорил вам, что в моем ресторане было два зала: большой и малый... Но я совсем забыл упомянуть пана Ашкеназиса. Он работал у меня бухгалтером. То есть он даже не работал у меня, а подрабатывал — у него была приличная должность в банке, но он находил еще немного времени, чтобы вести мои бухгалтерские книги, расход-доход, налоги, жалованье персоналу, расчеты с поставщиками. По вечерам он приходил с портфелем в мой ресторан, останавливался у двери большого зала, прислушивался несколько минут и говорил: «Пан Бурбулис, сегодня с этого зала вы будете иметь выручку в столько-то литов...» Потом он заглядывал через щелочку в малый зал и добавлял: «А здесь будет столько-то литов плюс за разбитую посуду...» И заметьте, что пан Ашкеназис никогда не ошибался! А я приплачивал ему за совместительство половину того оклада, который он получал в банке...

— Что же дальше? — нетерпеливо перебил Алеша. — Я не понимаю, при чем здесь пан Ашкеназис? Вы рассказывали о том, как поднимались по ступенкам и вошли...

— Да, я вошел, — кивнул старый Бурбулис и посмотрел на Вадима Сергеевича, будто бы вопрос исходил от него. — Сначала я вошел в большой зал. Там было тихо и малоллюдно, потому что время обеда уже кончилось, а время ужина еще не настало. Нет, я даже не присел за столик, ведь у меня было всего лишь десять минут: так мы договорились с водителем грузовика, который сделал крюк в Палангу. Я только пересчитал столики в большом зале: их оказалось ровно тридцать, как и прежде, на сто двадцать персон... Тогда я прошел по коридору мимо кухни — и, слава богу, мне удалось то, что не удалось президенту Сметоне: сохранить инкогнито, меня никто не узнал, настолько я постарел, впрочем, я тоже не встретил ни одного знакомого лица, — я приблизился к двери малого зала и прислушался, как это обычно делал пан Ашкеназис. За той дверью было шумно, там громко разговаривали, смеялись, и в основном это были женские голоса. Я очень удивился: кому же взбрело в голову кутить с дамами в такой неподходящий и мертвый час? Признаюсь, что я не утерпел и заглянул в замосную скважину: там действительно были женщины, притом одни только женщины, человек десять. Они сидели за письменными столами, ворошили бумаги, стучали на счетах и рассказывали друг другу

о своих семейных делах... Вы понимаете? Оказалось, что там теперь бухгалтерия.

Вадим Сергеевич рассмеялся.

— Ну и что? — не скрыл разочарования Алексей. — Что же было дальше?

— Дальше? Ничего... — развел руками Бурбулис. — Я вышел из ресторана, сел в кабину грузовика, и мы поехали.

— Странно... я ждал чего-то необыкновенного, а все так обычно. Хвоцинский опять наступил ему под столом на ногу.

Катер назывался «Сплавщик».

Впрочем, с первого же взгляда делалось ясно, что он никогда не таскал за собою по рекам большегрузные плоты, не доставлял на западни катушки железного троса, не вытягивал в струну звенья обоновки, нет — он был слишком белоснежен, ухожен и чист для такой черной работы.

Скорей всего на нем разъезжало начальство из треста Вычегда-лесосплав, проверяя, насколько успешно выполняют план производственные участки. Косвенным подтверждением тому были веселенькие занавески на иллюминаторах кают-компания и буфет, тоже белоснежный, за стеклами которого позванивали бокалы, отзываясь на шарханье речной волны.

Но тем трудней было поверить, что в это прекрасное июльское утро выходного дня никому из сплавного начальства не пришла в голову мысль прокатиться с ветерком по вычегодским плесам — семейно или дружеской ватагой, — не явилось желание подышать хвойным духом в прибрежных лесах, не вздумалось зачерпнуть неводом в тех знатных омутах, где вода булькотела от рыбы, словно бы поспевшая уха.

И оставалось лишь гадать, каким образом Вадиму Сергеевичу Хвоцинскому удалось зафрахтовать этот катер для воскресного пикника, как он сумел договориться с мотористом, с матросом, но то была его забота.

Главное, что он не забыл пригласить с собою Алексея Рыжова и Лайму Бурбулите, а больше у него не было пока друзей в Городе-на-Реке. И в сущности, именно для их удовольствия и радости устроил он эту чудесную прогулку — так бескорыстен и щедр был гость из Тундры. А для себя он ничего не желал, кроме синего неба, яркого солнца и чистого воздуха.

Однако на борту были и чужие люди. Трое цыган в пестрых до рези в глазах, но опрятных одеждах расположились на корме: густобородый чявалэ с гитарой и две цыганки — одна постарше и почернее, а другая порыжее, совсем еще молоденькая, — в монистах, в косынках, обшитых по краю гремучими монетками. Они расположились на корме, но не галдели, не пели и не плясали покуда, а вели тихий разговор о своих цыганских делах.

— Ты где их раздобыл? — спросил Алексей Хвоцинского. — Они что — из Бессарабии, в шатрах изодранных? Или с котласского вокзала?

— Нет, они из цыганского ансамбля, который сейчас выступает в парке на летней эстраде, в ракушке. Я вчера афишу увидел и смекнул: вот вас-то, голубы, нам и не хватает для полной улады, — подмигнул Вадим Сергеевич, оглянувшись на корму, добавил: — Считается, что они тут работают от Вологодской филармонии, но я думаю — дикие... то есть не из табора, конечно, а какая-нибудь шальная бригада, снабдилась ксивой, бумажонкой липовой, напечатали по блату афишки — и ехали цыгане... Эх, Алеша, мне ли, театральному администратору, не знать, как организуются подобные гастролы! — Он засмеялся, похлопал Алексея по плечу. — Ну, разыскал я их без особого

труда — на пристани, они там в гостиничке живут, на дебаркадере, — и договорился с этой троицей. Цыгана зовут Рафа, черную цыганку Даша, а рыженькую Настя. Да вот беда: к семи часам придется возвращаться в город, ведь им еще выступать — концерт.

— К семи часам нас на реке все равно комары заедят — и так и так придется давать деру... Но ты, гляжу, решил гулнуть по-купечески: с цыганами, с шампанским! — Алексей покачал головой. — Ну ты даешь.

— А что? Гулять так гулять. Один раз живем на свете — и то, брат, в тундре... Кстати, Алеша, коль ты уж напомнил, не сочти за труд: перенеси-ка шампанское, вон бутылки в авоськах, куда-нибудь в тень, в холодок, не то оно на солнце разомлеет, противно пить будет. А мы его потом еще в реке остудим, чтоб пузырьки-пузырьки, чтоб ноздри жгло...

Через час они бросили якорь у Белого Бора и раскинули стан на берегу.

Здесь мягкие травы и белесые их корешки, оплетшие вершок плодородной почвы, пушились бахромой, словно край ковра, над высоким обрывом. С него временами осыпался, шелестя, песок, сбегал к реке и там, набухая влагой, постепенно темнел, его лениво полизывала спокойная вода.

А над ними зависли кроны корабельных сосен, столь далеко ушедшие в небо, что казались сизыми тучками, парящими в безветрии, а сами стволы, разгоняясь ввысь, зримо, будто на чертеже, сужались от широкого комля на конус, в иглу.

— Ах елки-палки! — воскликнул, запрокинув голову, Вадим Сергеевич. — Красотища какая, благодать... Вам и не понять, что для меня значит видеть это — нет, даже не видеть, а смотреть вот так, снизу вверх, на деревья. Ведь там, где я живу, на деревья приходится смотреть сверху вниз, наклоняясь, присев на корточки: ерник, карликовая береза вот такая, — он показал рукой чуть повыше колен, — да она еще и корявая вся, уродливая, пластается, чтоб не сорвало ветром, чтоб зимою поглубже зарыться в снег, жметя к земле, а какая там земля — мерзлота, лед, на чем только держится... Вы понимаете, о чем я говорю?

Он обращался к Лайме. Наверное, потому, что Алексей Рыжов все-таки бывал в тех местах, имел о них кое-какое, хотя и смутное, представление: ведь он приезжал туда в феврале, когда все было погребено в снегах, когда по тундре катались бураны, а вокруг была кромешная тьма полярной ночи — много ли увидишь? — но он все-таки бывал.

А бывали ли там, в тундре, цыгане, никто не счел нужным выяснять. Они сидели поодаль, дожидаясь, пока им прикажут петь. Густобородый чявалэ Рафа, припадая ухом к деке, перебирал струны.

— Да, я люблю сосны, — ответила Лайма, поскольку вопрос был обращен именно к ней. — Да, я знаю, что такое тундра, я учила это в школе по географии: вечная мерзлота, карликовые березы... Я понимаю вас. Мне тоже очень нравится, когда сосны высокие. Я помню их в Паланге, на берегу моря: там они были еще выше, но, может быть, это мне просто казалось, потому что я сама тогда была маленькой девочкой...

Хвоцинский прикрыл ладонью затылок.

— Однако припекает... Так с чего мы начнем, друзья? Будем купаться или сперва вдохновимся шампанским?

— Вдохновимся, — сказал Алексей.

Честно говоря, его ничуть не тянуло лезть в воду: он догадывался, что быстротечная вычегодская вода нынче, несмотря на жару, холодна, как лед. Кроме того, у него были и другие причины оттягивать как можно далее это омовение либо избежать его совсем.

— Нет, сначала купаться,— рассудительно сказала Лайма.— Шампанское потом.

— Слово дамы — закон,— подтвердил Вадим Сергеевич.

Он быстро пяткой о пятку скovyрнул свои кремовые штиблеты, легко выскользнул из шелестящих чесучовых брюк, стянул через голову рубашку — и остался в узких голубых плавках.

От человека, перезимовавшего столько зим в полярной ночи, можно было ожидать, что он окажется немочно бледен телом, как мучной червь, но кожа Хвощинского оказалась от природы смуглой, к тому же он был сильно волосат: не только на груди косматый крест, но и плечи и живот кустились густо, и руки с изрядными бицепсами были сплошь в шерсти, и ноги обросли до самых щиколоток — вряд ли ему был страшен холод.

Пружинисто подпрыгнув на краю обрыва, он отважно — не разведая дна — кинулся в волны, взметнул столб брызг, ушел в глубину, не появившись долго (Алексей машинально уже отсчитывал секунды), но потом вынырнул вдалеке, обернулся, скалясь от удовольствия, помахал приветственно рукой и погреб ухватистыми саженками к стрелю.

Лайма повела плечами, освобождаясь от бретелек сарафана, ситец мягко лег на траву, развеселив ее цветками незабудок и ромашек, а она перешагнула через это цветенье. Купальник плотно обтягивал ее грудь и бедра. Несмотря на свою балтийскую русоголовость, Лайма тоже — так неожиданно, ведь он раньше никогда не видел ее на свету — блеснула бронзоватым отливом тела. Впрочем, у самого сгиба бедер высвечивались белые полосы: значит, она просто успела загореть, значит, она уже не первый раз нынешним ранним и щедрым летом выезжала к реке, на пляж.

Она спускалась по тропинке откоса, схватываясь за веточки, за дернину, достигла влажной кромки, потопталась в нерешительности, оглянулась, беспомощно улыбнулась Алеше, но тотчас упрямо сжала губы и уже без колебаний пошла, расталкивая воду полными коленями, погружаясь, — и поплыла.

А он все медлил.

Украдкой покосился на цыган в надежде, что и они соблазнятся, решат искупаться, захлопочут, скидывая пестрые одежды и доказывая, что такое истинная смуглота, а уж тогда он за ними, последним. Да где там: цыгане не трогались с места, всем своим видом давая понять, что петь — пожалуйста, плясать — лишь прикажи, а вот лезть своей охотой в реку, в холодрыгу — нет уж, баринок, уволь, такого уговора не было. да и не с тобой мы договаривались...

Так что Алексей выжидал зря.

Беда заключалась в том, что он не захватил с собою плавки. Точней, у него их вовсе не было, даже дома. Ведь он не предполагал, что ему придется еще раз искупаться в Вычегде, кроме того памятного раза, когда он сверзился ненароком в кошель Белоборской запани под дружный хохот девчат-сплавщиц.

То есть он не имел ничего против купаний, напротив, он даже любил купаться, ведь он родился на море. Но когда он отправился на Север за сказами, он меньше всего рассчитывал на то, что будет здесь курортничать, плескаться в воде и загорать на солнышке. И когда он, поддавшись обольщению Улитина, решил зазимовать тут, на Севере, он, естественно прежде всего позаботился о теплом пальто, о меховой шапке, о фетровых бурках, а не о пляжных пустаках.

И вот сегодня, собравшись впопыхах на пикник, он просто не успел снабдиться всем необходимым, и в первую очередь не запасся плавками, пусть даже не такими щегольскими. В такой ситуации разумней всего было бы вообще избежать купания по примеру цыган.

Но сейчас едва ли не с самой середины реки до него долетали призывные клики Хвощинского, приставлявшего ко рту ладошку рупором: «...а-а-а... о-о-о...»

А близ берега в пене взбаламученной воды то и дело появлялась во всей своей струящейся, сверкающей красе Лайма — она тоже махала ему рукой, зовя к себе.

Алексей вздохнул, поднялся, выпростал из штанин ноги; вот уж и впрямь у кого цвет кожи был удручающе и постыдно бел. И он впервые в жизни застеснялся и ощутил озноб от безволосости, от девичьей своей наготы — тем более после того как увидел косматое тело Вади-ма Сергеевича.

Он остался в сатиновых черных трусах, смятых поперек в гармошку, однако все еще свисающих едва не до колен, — что ж, придется в них и купаться.

Еще раз оглянулся. Бородатый чьялэз по-прежнему вертел колки гитары, настраивая, лоя звук чутким ухом. Немолодая черная цыганка откинулась навзничь, заслонив лицо рукавом. А молодая рыжая цыганка следила за ним — как он прыгал в нелепых своих трусах, — смотрела, покусывая травинку, и в зеленых ее глазах плясали искры смеха.

Рассердясь, он съехал на заду по глинистому обрыву, прошлепал по сырому бережку — и камнем, как самоубийца, рухнул в омут.

Обожгло холодом, остановилось дыхание и сердце — он даже испугался, не свело бы судорогой руки-ноги, — но через несколько секунд кровь заиграла в жилах, тело налилось бодростью, а на смену владевшему им унынию пришел восторг.

Проплыв десяток метров, он нырнул.

Вода была чиста и прозрачна, песок на дне был чист, как золото. Солнечные лучи вспыхивали, преломляясь на гребешках волн, пронзали толщу воды и потом, змеясь, играли на песке. Стаи мальков озорно и беспечно носились вокруг, но и крупные рыбы ходили поблизости, сверкая чешуей, дразня пунцовым опереньем.

Алексей увидел над собою ноги Лаймы, бьющие воду, и сам, как хищная рыба, как матерая щука, рванулся к добыче. Но она была крупна, не заглотать с ходу — и, цепко ухватив поперек тела, он потащил ее на дно. Лайма отбивалась тщетно: она не умела смотреть в воде, веки ее были сжаты, изо рта и от ноздрей убежали цепочки пузырей. Уже теряя силы, она пнула его пяткой в живот — вода ослабила удар, а то бы ему несдобровать, — оттолкнула, крутанулась веретеном, ушла наверх.

Он вынырнул следом.

— Ты что... с ума... — пробулькивала она, едва переводя дух и испуганно смаргивая.

— Ах так? — крикнул он в ответ, исполнясь удалью. — Ты думаешь, что ушла? Нет, от меня не уйдешь...

Поднырнул снова. Но на этот раз она была готова к нападению, увернулась. Он все же догнал, настиг, опять поймал ее, но она выскользнула из его рук — сама как рыба.

А когда он предпринял третий заход, то с удивлением обнаружил уже не две молотящие воду ноги, а четыре — он подумал, что двоится в глазах, как бывает на глубине, особенно при ярком солнце, обман зрения, — но различил, что две ноги прелестны, гладки и полнеют в бедрах, а две другие жилисты и заскорузлы, в тугих вязях и на них, колеблясь от движения, патлается черная тина...

Всплыв, Алексей увидел, что Хвощинский и Лайма плывут рядом, направляясь к берегу.

Теперь, когда он привык к воде, совсем не хотелось вылезать, казалось, что вода теплее воздуха, и было мало соблазна в том, чтобы дрогнуть на ветру, стучать зубами и ждать, покуда на тебе, на твоём

собственном теле, при температуре тридцать шесть и шесть будут сохнуть сырые и облипшие сатиновые трусы.

Но что поделаешь, пришлось тоже вылезать. Тем более что он оказался нужен.

— Алеша, друг,— сказал Вадим Сергеевич,— смотайся за шампанским. Неси, пора... Да оставь бутылку матросам, пусть угостятся. Или не надо?

— Не надо,— запретила Лайма.— Они на работе, а на работе нельзя.

Через пяток минут Алексей уже тащил от катера авоськи, в которых они студили за бортом бутылки— с них лило в три ручья, на клейки пропитались влагой.

Был пир горой.

Одна за другой вылетали пробки, горлышки дымились, как пучечные жерла, потом из них хлестало искристое шампанское, и хлопья пены переваливали через край бокалов, опадали на траву.

— Друзья,— сказал Хвоцинский проникновенным и чуть дрогнувшим от волнения голосом,— если бы вы знали, как я сегодня счастлив! Нет, это даже больше, чем счастье,— это предчувствие счастья, а оно всегда бывает счастливей самого счастья... Мне знакомо это чувство,— он воздел подбородок, и глаза его мечтательно устремились в небесную синь,— так было и тогда, я помню: вот такое же состояние души — ликующее, окрыленное... Это было двадцать пятого апреля, когда мы вышли к Эльбе у Торгау, а навстречу нам вышли ребята из армии генерала Брэдди... А ведь это была еще не победа, еще не конец войны, но предчувствие: мы все поняли — и мы и они,— что скоро... да, что совсем уже скоро! И больше никаких войн, никогда...

Алексей слушал эту речь в некотором изумлении: он не предполагал, что Вадим Сергеевич был на фронте, что он воевал и что однажды ему довелось выйти на берег Эльбы — вот так, как он вышел нынче на берег Вычегды,— что он участвовал в той знаменитой встрече с американскими парнями.

И то же почтительное удивление Алеша нашел в глазах Лаймы: она слушала внимательно, как бы оценивая и слово и чувство и, кажется, вполне доверяя им.

При этом она избегала смотреть в его, Алексея, сторону: наверное, она еще сердилась на него за то, что он пытался ее утопить.

— Ах, сколько было в тот день объятий, сколько пылких речей, сколько тостов! Но, вы знаете, у меня даже не было возможности участвовать во всей этой кутерьме: я был старшиной фронтового ансамбля, мы готовились к концерту на банкете, который наше командование давало в честь их командования, мы разучивали американский гимн, хотя никто из нас не знал ни слова по-английски, но мы все-таки спели... Что они могли выставить против нашего фронтового ансамбля, когда черед дошел до них — до ответного банкета? А ничего: у них и в помине не было таких ансамблей! Они выставили одного скрипача, которого доставили специальным самолетом. Они надели на него солдатскую форму, но его сразу узнали, как только он провел смычком по струнам: это был Яша Хейфец... между прочим,— отнесся рассказчик к Лайме,— он родом из Вильно, он ваш земляк.

— Может быть,— ответила Лайма,— но я впервые слышу о нем.

— Ну и ладно, и хватит об этом,— Хвоцинский, переменяясь вдруг в настроении понурил голову,— все равно я не могу выразить то, что хочу,— у меня нет таких слов.. Давайте просто выпьем — за счастье, за предчувствие счастья и за то, чтобы это предчувствие не обманывало нас!

Они осушили бокалы.

И в тот же миг раздался гитарный звон, зазвучали голоса.

Чюрдэ веэдры, чюрдэ веэдры, газдэ коромыслы. Галёвава, галёвав тырэ мысли... позволь, позволь, позволь, позволь, позволь, позволь, мири гожо, туса рядом, туса рядом мангэ тэ бэшав...

Поднялась и пошла вокруг пиршества, вынося колени, растянув за спиною пеструю шаль, цыганка Даша. Мелко затрясла плечами и монистами рыженькая Настя. Бородатый Рафа терзал гитару, и она, измаявшись немотой, спешила вызвенеть все звуки, что застоялись в ее жилах, что накопились в гулком чреве.

Алексей поймал себя на том, что сидя притопывает босыми ногами, что плечи его тоже подрагивают игриво, но, главное, он поймал себя на том, что улыбается блаженно, и подумал при этом: так что же им сейчас владеет — само счастье или только его предчувствие?

Ай, да нэ задэна, тумэ э муршэско, ляскрэ рысакоскэ, грэске сы-вонэскэ... Со ж ту на багаса, со ж ту на кхэласа? Со жэ ту прэ мэндэ тэрны на дыкхэса?..

За бренчаньем струн, за гортанными цыганскими голосами они не сразу уловили сторонний звук, а за мельтешеньем пляски не сразу заметили еще один белый катерок, летевший, задрав нос, по вычегодскому фарватеру. Но вот он круто взял направо, шлепнувшись брюхом о свой же пенный гребень, и устремился к тому месту, где был зачален белый собрат — свой свояка видит издалека, — прямо к берегу, где пировали, где пили и пели, где плясали.

Алексей вдруг узнал: это был редакционный полуглиссер «Северная звезда», на котором и ему довелось летать по окрестным запаням и рейдам. Ну да, за рулем — Егор, он самый. А кто с ним рядом? Не разглядишь за плексигласовым щитком, окропленным брызгами, — кто бы это мог быть такой кудрявый? Ба, да это же Яков Черношварц, сослуживец, фотокорреспондент, старый друг... каким попутным или встречным ветром занесло его сюда?

Полуглиссер воткнулся в мысок. Яша, прижимая к животу свой «кодак», вскарабкался по обрыву.

— Привет, славяне! Здравствуй, Рыжов, а я тебя не сразу и узнал без порток... Я сперва этот катер узнал, «Сплавщик», это ведь трестовский катер, да? Я и подумал, что это начальство из Вычегдалесосплава подалось на природу выпить-закусить, они это любят — природу. Ну, думаю, сейчас дадут голодному человеку подхарчиться, согреться по нашей старой дружбе...

— И мы не откажем. — Вадим Сергеевич широким жестом пригласил гостя к трапезе. — Присаживайтесь, прошу... Будем знакомы, Хвощинский.

— Черношварц. А вот ваше лицо, девушка, мне очень знакомо, — обратился он к Лайме. — Я вас никогда не щелкал, не снимал?

— Нет. Вы у меня стриглись. Но давно.

— Ха-ха-ха!.. — оценил намек Яша и взъерошил пятерней свои кудри с загустевшей проседью. — Вот это верно, что давно. Не успеваю, все в разгоне... А вы мне пришлите повестку из парикмахерской, чтоб явиться такого-то и такого-то в ноль-ноль минут. И тогда я — как штык...

— Хорошо, пришлю, — пообещала Лайма.

Он опять хохотнул.

— А я, значит, еду на полуглиссере и вдруг со стороны, с ветра чую: пахнет выпивкой и закусоном — я такие дела за километр чую, — даю команду Егору: право руля!

Вадим Сергеевич налил гостю шампанского.

Яша взглянул на пузырьки, понюхал.

— Граждане, я извиняюсь, конечно... а у вас ничего другого нету, кроме этого ситра? Потому что я насквозь продрог и насквозь голодный.

— Нет. К сожалению, водки мы не захватили — ведь мы не знали, что... — Хвощинский улыбнулся тонко.

— Ладно, — стерпел этот скрытый выпад Яша Черношварц. — Будьте здоровы, живите богато.

Он вылил в рот шипучку, зашарил глазами по расстеленной на траве скатерти.

— Что у вас тут? Столовские котлеты, крутые яйца... ха, смеялся я с такой пищи... сейчас бы шашлычка или ухи горячей!

— Но ведь мы не знали. Мы не ждали, — терпеливо повторил Вадим Сергеевич.

Кажется, они с первой встречи невзлюбили друг друга, хотя для этого и не было внятных причин.

Между тем Яков, насовав полный рот хлеба и сыра, не забыл соорудить еще пару трехэтажных бутербродов и протянул их Алеше.

— На, отнеси Егору в лодку. Он тоже с утра без маковой росинки, мы даже позавтракать не успели, такой спех...

Алексей хотел уж было выяснить, что за неотложность, что за спех, что вообще заставило Яшу Черношварца мотаться по делам в воскресный день, но он сообразил, что об этом можно будет расспросить подробнее чуть погодя наедине — все же дело служебное, — и затрусил окольной пологой тропинкой к полуглиссеру.

Егор, бродя по пояс в воде, обирал с винта налипшие водоросли.

— О, спасибо, — обрадовался он гостинцу и тотчас жадно впился зубами в хлеб. — Вкусно... А помнишь, Леха, как мы с тобой тут прошлым летом, взад-вперед, рыбачили? Как стерлядку поймали? Нет, стерлядку ты поймал, а я был сбоку.

— Помню, — просветленно кивнул Алексей.

«Как же давно это было. И как хорошо было тогда... и как после этого уже ничего хорошего не было», — вдруг подумал он.

Егор, оглянувшись на белый борт «Сплавщика», ошвартованного невдали, понизил голос:

— Небось опять фельетоном по ним шарахнешь?

— Что? — удивился Алексей. — Каким фельетоном?

— Да про них же опять, про Вычегдалесосплав. За то, что гоняют плавсредства по собственным надобностям, взад-вперед... — Подмигнул заговорщицки. — Ты, наверное, для того и приткнулся к ним, чтоб разведать как да что... Ну давай шарахни покрепче!

— Ты что-то не то... — растерянно пробормотал Алеша. — Ты не так понял. Я просто так. Меня пригласили — и я поехал... При чем тут фельетон? Я и одним фельетоном сыт по горло, все не расхлебаю... — неожиданно признался он.

Егор всматривался в его лицо близко, нельзя ближе, будто пытался различить на нем, на его лице, что-то мелкое, вроде ранних морщин, и хотя не нашел, но заключил, жалеючи:

— Постарел ты, Леха.

— Как это.. постарел?

— Да так, постарел — и все. Ведь целый год прошел. И оба мы, выходит, постарели. Ты с того, как сюда приехал, а я с того, как женился... Ну да что: мы ведь еще молодые, нам еще долго стареть — не один год, верно?

Алексей сглотнул подступившую горькую слюну и, не зная, что ответить на это, сказал:

— Я пойду.

Наверху опять плясали, метя пыль цветастыми юбками и потрясывая плечами, Даша с Настей, а бородатый Рафа, разъярясь, рвал струны.

Явзла, Яшко, волочиться, нэ, тэ дрэ любовь тукэ тэ кхэлас. Ай, прогэя, ай-нэ, мири младость, ай сыр мутная, словно мутная вода, ай, вода, ай-нэ, нэ-нэ-нэ... Ах, море, море, ей была глыбока, ах, глыбока. Ай, на дыкхава дрэ ластэ, море, дна, и на дыкхава мэ дрэ ластэ тэ, море, дна...

— Ты слушай, слушай, они про меня поют, про Яшку! — не скрывая восхищения и гордости, нахлопывал в ладоши Яков. — Как на заказ. Я и не знал, что про меня тоже есть... — Он подхватил, жутко фальшивя: — Ай, нэ-нэ-нэ...

Сколько ни хулил гость поднесенное ему шампанское, как ни кривился, а оно взыграло в нем со всем своим благородным коварством: щеки просветил румянец, ожили и засверкали усталые глаза. Яша вскочил, расстегивая футляр аппарата.

— Сейчас я вас сниму, запечатлею момент... тут у меня остался кончик пленки, как раз и хватит.

Замахал руками, выстраивая кадр.

— Сюда давайте, на фоне кустиков, нет-нет, левее, чтоб и речку захватить. Вы, девушка, сядьте в серединку, у вас личико приятное и ножки ничего... А вы, товарищ, я извиняюсь, но забыл, как звать, вы сбоку на корточки, а то срезается голова...

Но Вадим Сергеевич предпочел опуститься на одно колено подле Лаймы.

— Алеша, ты штаны наденешь? Или хочешь сойти за футболиста? Ну тогда стань позади, чтоб заслонило... А вы, папаша с гитарой, на середку и ты, рыженькая, тоже... Э-э, куда вы?

Он обеспокоенно оторвал глаз от видоискателя.

— Куда же вы, славяне?

Алексей обернулся.

Рафа, пригнув голову, лез напролом сквозь кусты черемухи, осыпанной маслянистыми ягодами, а яркие платки Даши и Насти мелькали далеко в чаще.

— Что они, дикие? — удивился Яков.

— Да, они дикие, — подтвердил Хвоцинский. — Но их снимать обязательно. Запечатлейте нас — и на том спасибо.

Яша, переступая с ноги на ногу, то присаживаясь, то вставая на цыпочки, взводил затвор и спускал курок, нащелкивая кадр за кадром.

— Фотографам не говорят спасибо, — ворчал он, — со спасибо карточки не получают... Эй, Алеша, что ты такой кислый? Улыбнись... вот так, молодец... еще разок... готово, все.

Он насадил на очко объектива черную крышку, застегнул футляр, перекинул ремешок через плечо.

Сочтя, что настал подходящий момент, Алексей отвел его в сторону.

— А что за срочное задание? Какой такой спех? Ведь выходной...

— Я с Белоборской запани. Снимал бригадира Ию Шахову — ей дали Героя Социалистического Труда, вчера вышел указ. Представляешь? Совсем девчоночка, двадцать лет, — и герой! Завтра утром — снимок Бубееву на стол приказано. Но теперь успею.

— Ия Шахова? Неужели? — переспросил он. — Такая белобрысая, в конопушках?

— Ну да! Мордашкой не задалась, да еще нос облупился, ресницы выгорели — нечего снимать, ха-ха... но я постарался, нашел хитрый ракурс, а остальное подретушируют.

— Я ее знаю, — кивнул Алексей Рыжов. — Я хорошо ее знаю. Да, она молодец, она заслуживает... я очень рад за нее.

Он не кривил душой, говоря, что рад и что заслуживает.

Вспомнил прошлогоднюю первую встречу, как держа на весу блокнотик, спрашивал, давно ли работает на запани, и ее ответ: «С

войны. Всю войну и после...» И еще он вспомнил, как в этом году весной, недавно, они вышли к пыжу у Гундыр-Полоя, и даже Коломиец, выдавший виды, затосковал: «Ой-ой-ой, семьдесят тысяч кубометров, что делать будем?» А она, окинув взглядом чудовищный колтун бревен, сказала спокойно: «Будем разбирать. Дней десять, не меньше».

И там же, на Гундыр-Полое, она сказала Алексею еще что-то — но что? — вроде бы очень важное, потому что это сказанное — а что? что? — хотя и вызвало в его душе протест, но крепко засело в памяти, однако — вот ведь какие причуды случаются с памятью — именно этого он сейчас и не мог вспомнить, что же она ему тогда сказала. Впрочем, не важно.

Важно другое: вот как много знал он об этой девушке, которая стала теперь героем, — он писал о ней раньше и мог бы написать снова, если бы ему поручили это, если б и его, как прежде, не считаясь ни с днем, ни с часом, послали со срочным заданием на полуглиссере «Северная звезда» вместе с фотографом Яшей Черношварцем на Белоборскую запань, — какой бы очерк он мог написать!

Но его не послали. Ему даже ничего не сказали об этом событии, будто бы он уже не имел никакого отношения к таким делам. И он совершенно случайно узнал об этом, лишь потому, что Яша Черношварц, спеша с заснятой пленкой в Город-на-Реке, вдруг увидел у Белого Бора трестовский катерок «Сплавщик» и велел Егору взять право руля...

Он опять с усилием сглотнул горький и давящий комок обиды.

— Послушай, а что это за тип? — в свою очередь поинтересовался Яков. — Этот Хвостинский...

— Хвоцинский, — поправил Алексей. — Да так, один знакомый. Работает администратором в театре в Тундре. А тут он в отпуске.

— А эта девочка из парикмахерской — она твоя или его?

— Моя, конечно. Почему его...

— Но если твоя, то зачем она с ним в лес ушла?

Алеша оглянулся.

Берег был пуст: ни цыган, ни Лаймы, ни Вадима Сергеевича. Только они с Яшей на краю обрыва и больше никого.

— Значит, не хотели нам мешать, поняли, что разговор о деле, — объяснил Алексей. — А цыган ты сам распугал — они не любят сниматься.

— Ну добре, — засуетился Яков, — вы тут сами разбирайтесь кто чей. И кто что любит. А мы поехали: ведь мне еще и проявлять, и печатать, и сушить, и чтоб к утру готово...

Через несколько минут взревел мотор, полуглиссер «Северная звезда» вылетел стрелой на плес и помчался, вскоре истаяв в солнечном мареве, но оставив за собой бурливый след, распустив усы от берега до берега: захлопали внизу косые набеги волн.

Так что же она ему сказала, Ия Шахова, там, у Гундыр-Полоя, когда он поскакал по бревнам, закупорившим устье, соблазнившись возможностью перебежать реку посуху, и вдруг запнулся, напорившись ступней на ржавый гвоздь, и упал, и лежал, стиснув зубы от боли, а Коломиец стянул ботинок с его ноги, и оттуда заляпала кровь, а Ия Шахова обернула пораненную плюсну прохладными листьями подорожника, перевязала своей косынкой и что-то сказала ему — сама чуть не плача, — но что, какие именно слова? И почему он их забыл?

За спиной слышались вкрадчивые шаги.

Вернулась Лайма? Пора бы, конечно, вернуться: он хотя и старался в присутствии Якова не выказывать своей обиды, но все же был недоволен тем, что она ушла гулять в лес, не дождавшись его.

Вот сейчас она, как водится, играючи обхватит сзади ладонями его голову, защорит глаза, а он должен будет угадать — кто, а что тут угадывать...

Но это была не Лайма.

Молодая рыжая цыганка Настя тихо опустилась на траву рядом с ним.

— Что заскучал, Алеша? — спросила она так ласково и свойски, будто они были дружны с детских лет.

— Я? Нет, нисколечко. Я просто сижу, смотрю, размышляю, хорошо... — отозвался бодро Алексей. Но тут же почувствовал в своем тоне наигрыш, фальшь, понял, что никто не поверит, что ему хорошо. Потому дал выход справедливому негодованию: — Где вы все запропали? Как же так: оставили человека одного, а сами...

— Я пришла.

— Ну да, ты пришла. А остальные? Где остальные? — Уточнил нервным обиняком: — Где, например, Рафа и Даша, куда они подевались?

Настя приблизила к его лицу свои зеленые глаза, сказала со значеньем:

— Они муж и жена.

— Вот как? Я не знал... но ведь не только о них речь, — продолжил Алексей. И замолк, опасаясь почему-то лезть в дальнейшие расспросы.

Сидел, порывисто дыша, скубя ногтями лохматый край обрыва.

Настя развела складки пестрой юбки, нашарила меж них, в потайной кишине, замусоленную колоду карт.

— Давай я тебе погадаю.

— Что? — раздраженно, почти враждебно вскинулся он. — Зачем? Вот еще глупости...

Но смягчился, подумав, что это может оказаться наилучшим и единственным способом замять тот неловкий подспуд, который обнажился в разговоре, и заодно убить минуты ожидания — иначе, правда, чем же еще замять и убить, не этим же томительным молчанием.

— Ну погадай.

Она перетасовала колоду, положила перед ним.

— Сними... нет, левой.

Раскидывала карты веером, в шесть рядов, сеткой кверху, приговаривая еле слышно:

— Для тебя, для дома, для сердца... что было, что будет... чем сердце успокоится.

А он, пользуясь тем, что она уткнулась в гаданье и не наблюдает сейчас за ним, все оглядывался, дергая шейю.

Но черемуховые кусты были плотно сомкнуты на подходах к реке, и сосны стеною стояли за ними, не выдавая ни тропинок, ни опушек, ни укромных логов — храня лесные тайны.

Настя открывала карты рукой не слишком смелой: то ли еще не натерела в ворожке — но ведь она цыганка и премудрость эту должна знать с пеленок; то ли в ней самой еще жил боязливый трепет перед пророчеством; то ли в ее душе не укоренилось профессиональное безразличие к чужой судьбе, еще не устоялся бесстрастный и жестокий дар вещего ремесла.

Легли семерка пик, бубновый туз и восьмерка тref.

— Ждет тебя, голубок, неприятное свиданье, и будет оно через бумагу, через письмо, вот это, — она указала на туза, — и еще разговор — казенный, должно быть, неприятный, но необязательно — крепости...

Он едва заметно повел плечами: какие еще могут ждать его неприятные свиданья и казенные разговоры после недавних бесед с Вась-Васем и Улитиним, после того как его ни за что ни про что загнали в отдел писем, лишив возможности ездить в командировки и видеть мир, не удостоив даже правом поехать на Белоборскую запань, чтобы написать очерк о героине Ие Шаховой.

— Давай дальше, — сказал он.

— Какой-то важный король, а с ним хлопоты,— она тронула пальцем явившегося пикового короля,— военный король... и опять казенная бумага.

Военный король? — лихорадочно соображал он. Странно. Среди его знакомых не было военных королей, нет, не было, хотя... нельзя же считать военным королем капитана Илюхина, которого он недавно встретил на палубе парохода «Тютчев», когда тот уезжал в отпуск, и который за минувший год сделался майором... майор из горвоенкомата — важный король?

Вот кабы речь шла о генерале, то им вполне мог быть его отец Николай Алексеевич Рыжов — ведь он был бригадным комиссаром, имел в петлице ромб, что соответствовало званию генерала. Однако он не дождался генеральского чина... Но разве мог в цыганском гаданье возникнуть человек, которого уже нет в живых, нет на свете? И какую роль он мог теперь сыграть в судьбе своего сына Алексея Рыжова? Чем он мог остаться в ней? Ничем, лишь скорбной памятью...

А других важных королей, генералов, Алексей не знал, увы.

Впрочем, нет: был еще один — Георгий Дагирович Дагиров, отец Светланы Дагировой, с которым Алеша познакомился в Москве новогодней ночью. Правда, на нем была не военная форма, а строгий черный костюм, но Алеша помнил, как на улице, в рассветном и завьюженном Охотном ряду, он спросил Аржанникова об отце Светланы: «А он кто?» И тот ответил коротко: «Генерал». Но какое отношение к Алексею мог сейчас иметь генерал Дагиров? Разве что сбывалось его хмурое предсказание: «Он еще не состоялся — ему еще рога не обломали...»

Алеша усмехнулся, тронул макушку, овеваемую речным ветром, — ничего там по-прежнему не было, но теперь он уже знал, что есть и что обламывают помаленьку, да.

— Ждет тебя свиданье с молодой кралей, — продолжала Настя.

— Кралей? — оживился он. — Кралей или... как ее зовут?

— Карты никогда не говорят, как кого зовут. Но ты не сомневайся, они правду говорят.

— Ладно, — согласился он.

— А это, наверное, ты сам — бубновый король, — сказала Настя. — Тебе на бубнового гадают?

— Я не знаю. Мне еще никогда не гадали, это первый раз. Но пусть это буду я. Пусть я буду бубновый король... Что же там про меня сказано?

Она молчала, вороша карты, открывая одну за другой, заламывая краешки и отпуская, глядя в них растерянно и виновато.

— Что же ты молчишь?

— Да уж молчу. Плохая карта тебе идет, Алеша, одна другой хуже — и все к одному... не знаю, как и рассказывать тебе, а только не вижу я в твоей жизни счастья. Может быть, после и будет, а сейчас нету, не идет к тебе счастье, одни неприятности, беда к беде.

И тут он вспомнил. Вспомнил те слова, которые в досаде и жалости выговорила ему Ия Шахова, бинтуя пораненную ногу: «Какой же вы невезучий, несчастный!»

Неужели она, эта белобрысяя девушка с облупившимся носом, могла о нем что-то знать наперед, угадывать нечто в его судьбе, — неужели именно она знала? Притом совершенно непостижимым образом ее простодушная догадка — что нет ему в жизни счастья, — совпала с тем, что нагадали ему цыганские карты. Неужели она была права?

— Вот что, — сказал он Насте, — ты уж выкладывай все без утайки. У нас не было уговора, чтобы только хорошее, а так, как есть... Сама вызвалась гадать — ну и гадай честно!

— Ты не сердись. Не горюй, — постаралась она его утешить. — Тут и хорошее тоже попадается: вот тебе дальняя дорога, вот хлопоты ве-

селье — два валета, бубновый и червонный, — а вот любовный интерес... просто, понимаешь, все это легло несладко: рядом пики, пики, от них черно.

— Пускай, — кивнул он, сдвинув брови, исполняя суровой отваги, готовый к схватке с судьбой. — Ты лучше скажи, что там напоследок. Что в самом конце? То есть я знаю, конечно, что бывает в самом конце... но ты говорила, что так далеко не заглядывают твои карты. А вот куда они заглядывают — там что?

— Ты спрашиваешь, чем сердце успокоится? Это всегда в конце.

— Я это и хочу знать — что в конце.

Она перевернула последние карты, прикусила в раздумье ноготь, досказала не совсем уверенно:

— Тут опять, видишь, без пик не обошлось — дама пиковая, зло... значит, сердце твое успокоится злом.

Алексей расхохотался нервно:

— Что ты мелешь? Что за чушь несут твои карты? Разве можно успокоить сердце злом? Разве вообще от зла можно успокоиться? От зла только разозлиться можно, да, разозлиться еще хуже...

— Я не знаю. Но это карты сказали, а они не врут.

Он уловил короткое движение ее глаз — куда-то вбок — и обернулся сам.

Краем берега медленно шли Лайма и Хвоцинский.

Они вынырнули из чащобы не там, где скрылись, а много дальше, звон где. Так обычно появляются заблудившиеся люди, которые беспечно доверились укромным тропинкам, полагая, что те их сами выведут обратно, и не заметили, что тропки эти увертливы и коварны и знают только одну дорогу — в лес, а другой памяти у них нет. И вот когда люди опомнились, затревожились — когда все вокруг заглохло и лес обступил, не давая пути, — они бросились на попятный, но уже не различали сторон, и оказалось, что их влечет еще глубже в дебри — зеленая кутерьма закружила головы, заплела ноги, — и совсем уж выбились из сил, едва дышали, были близки к отчаянию, когда вдруг рассветло, расступились сосны и открылась река, но они вышли к ней не там, где вошли в лес, а много дальше.

Вид у них был смущенный. И шли они не рядом, а порознь, в некотором отдалении друг от друга.

И Алеша подумал, что уж лучше бы они откровенно держались за руки, потому что именно это показное отчуждение яснее всего говорило о случившейся близости.

Он догадался, что и Настя неспроста оказалась рядом с ним со своим никчемным гаданьем. Ее подбил на это, подговорил Вадим Сергеевич — сам или через бородатого жулика Рафу, — чтобы она удержала его здесь, на берегу, хотя бы часок. Чтобы он не носился по лесу, не метался в соснах, не заглядывал под каждый куст, не орал во весь голос «ау-у!..». Чтобы он их не искал и не нашел.

— Надо ручку позолотить? — спросил Алексей молодую цыганку. — Ведь иначе не сбудется?

— Не надо, — отвернулась она. — Пусть лучше не сбудется — плохая была карта...

Он не стал спорить.

Итак, он был обманут — уже в который раз. Но, странное дело, он не был этим столь уж потрясен. Наоборот, он даже почуял в этом утешение своего рода. Ведь если все обман — все, все вокруг него обман и ложь, — то, значит, и угрюмые предсказания цыганских карт, все эти черные пики, выпавшие на его долю, они тоже лживы. Ими можно было пренебречь, их не следовало брать в расчет.

Он вовсе не обязан был верить в то, что нет ему в жизни счастья. Он мог еще надеяться.

Пожалуй, единственной правдой в том гаданье было лишь обилие казенных бумаг и писем, с которыми ему теперь приходилось иметь дело и в которые он зарылся с головой.

Их доставляли утром из почтового отделения, расположенного прямо в Доме печати, приносили ворохами, кипами: в пакетах со служебными штемпелями и грифами, в обычных конвертах, порою с предельно кратким и будто бы веземным адресом — «Северная звезда», — а то и сложенные доверчивым треугольничком, как привыкли в войну.

Их вскрывала, ставила дату и входящий номер невзрачная тихая девушка Рая, потом передавала Алексею.

А он читал, продираясь сквозь немислимые каракули или, наоборот, с трудом одолевая сонливость, в которую вгоняли округлые школьные прописи — это взрослые прибегали к помощи своих либо соседских детишек.

«...Тамары мужа завхоза бык забодал по пьянке теперь лежит в больнице так ему и надо весь склад пропил...»

Алеша тяжело вздохнул, пытаясь сообразить, что предпринять с таким письмом. Ведь было неясно даже, чего добивался безымянный автор — обратный адрес был, а подписи не было, — о чем хлопотал: чтобы сняли с должности, или чтобы сделали ревизию на складе, или, на худой конец, чтоб уняли шалопутного быка?

Но Алексей уже знал непреложную заповедь: что за каждым письмом — живой человек, что зря никто не возьмется за перо, что любой сигнал с места заслуживает внимания, — и он отложил письмо в сторонку, чтобы потом еще раз перечитать и решить, как с ним быть.

Развернул следующее, с первых же строк уловив, что оно интересно и важно:

«...выходит, что новые лесовозы дают не тем, кто уважает технику, кто бережет и своевременно ремонтирует закрепленные машины, а потакают разгильдяям, которые калечат машины, приводят в негодность и полный развал, — им пожалуйста новый лесовоз...»

Он пометил в уголке «пром», что означало, что он предлагает направить письмо в промышленный отдел редакции, где сам недавно работал, а его прямым начальником был Степан Огузов. И если бы все оставалось по-прежнему, то заведующая отделом писем Нина Максимовна Ладанова так бы и поступила: расписала бы это письмо из Мохчинского лесопункта «тов. Огузову С. И.», и пусть уж тот решает сам — то ли печатать в газете, как следует подредактировав, то ли направить его для проверки, то ли командировать в Мохчу молодого расторопного сотрудника Алексея Рыжова, а уж он...

Но дело в том, что с недавних пор отдел промышленности остался не только без расторопного сотрудника, но и без заведующего.

Накануне отъезда Улитина в отпуск Степана Игнатовича Огузова утвердили заместителем редактора газеты «Северная звезда».

В редакционных коридорах, обсуждая шепотком неожиданное для всех назначение, намекали, что-де Семен Ильич возражал в обкоме против этой кандидатуры, приводя серьезные резоны: мол, нет достаточного образования, партийный стаж куц, да и слишком резво скачет товарищ с шестка на шесток — ведь совсем недавно доверили ему отдел. Однако иной подходящей кандидатуры Улитин предложить не мог, а откладывать и далее свой отпуск не желал: устал, сердце пошаливает, осень на носу, — снял свои возражения, махнул рукой и уехал в Ореанду. Но были и другие толки: что в обкоме не очень-то прислушивались к доводам Улитина, а сказали — вот вам зам, по душе ль, не по душе, а нас вполне устраивает.

Короче говоря, Семен Ильич уехал на курорт, а Степан Огузов перебрался в давно пустовавший кабинет заместителя редактора.

«...показывали в нашем клубе заграничное кино «Девушка моей мечты», так все говорят, что эта, которая играет роль, она и есть жена Гитлера, а еще поет и ногами дрыгает. Просим проверить, правда или нет, а если правда, то принять меру...»

Алексей искривил губы в усмешке, отложил прищипленный к конверту листок.

Оставалось все меньше надежд на то, что в редакционной почте однажды обнаружится нечто такое, что, появившись на страницах газеты, стало бы гвоздем номера, сенсацией, что сразу привлекло бы всеобщее взбудораженное внимание.

А ведь бывают — да, бывают! — такие письма.

Он вспомнил, как в Лозыме в сельской амбулатории, где он коротал долгий вечер в томительном одиночестве, под рукой случился номер «Медицинского работника», а в нем пространное письмо ученых, которые неопровержимо, с цитатами и ссылками, доказывали, что чудодейственный пенициллин изобрел вовсе не англичанин Флеминг, а задолго до него двое русских ученых, фамилии которых Алексей, к сожалению, забыл, но сам факт прочно угнездился в его памяти.

И подобные письма, защищавшие приоритет отечественной науки, все чаще появлялись на страницах газет. Вот еще вчера или позавчера он читал письмо группы профессоров и академиков, справедливо возмущавшихся тем, что американцы присвоили себе открытие целой теории, разработанной их коллегой, — кажется, речь шла о математическом расчете тонкостенных оболочек и конструкций, применявшихся при сооружении эллингов и ангаров, корпусов самолетов и судов.

Нет, Алеша отдавал себе отчет в том, что подобное письмо вряд ли само собой затешется в кипу конвертов, которые приносили ежедневно с почты. Да и вряд ли — это он тоже понимал — в Городе-на-Реке теперь или в былые времена могли изобрести нечто такое, на что бы позарились бессовестные и вороватые заморские ученые мужи.

Но ведь иногда в этих письмах речь шла и не о столь высоких материях — не о науке, — а о вещах вполне обыденных, житейских и на первый взгляд даже никчемных, но они, появившись на страницах газет, обретали громкое общественное звучание и долго оставались предметом читательских бурных пересудов: негодований, сожалений, злорадств, сочувствий, а главное, что остальным уроком.

Это были письма некоторых советских девушек, которые по легкомыслию и глупости вышли замуж за иностранцев и уехали с ними за границу. Одна, студенточка иняза, живя в Москве без родительского присмотра — те еще были в эвакуации, — польстилась вниманием военного атташе, а когда тот увез ее в Англию, оказалась женой безработного, который не то что семью, но и себя самого не мог прокормить — хорош атташе! — вот и пришлось ей, поголодав, погоревав, возвращаться домой с младенцем на руках. И другая тоже, очутившись на чужбине при сходных обстоятельствах, намыкалась там, нарыдалась и, дойдя до полного отчаяния, запросилась обратно — добро хоть разрешили вернуться и честно покаяться перед народом на печатных страницах.

Не то чтоб Алексею Рыжову были известны схожие местные факты: что какая-нибудь из девиц Города-на-Реке захороводилась с иностранным дипломатом и укатила с ним за границу, и теперь лишь оставалось ждать, когда же она там разберется в собственных ошибках и запросится восвояси, — нет, он не располагал такими фактами, и, насколько знал, иностранные дипломаты сроду еще не заглядывали в Городе-на-Реке.

Однако письма этих девушек, заблудших овец, отчего-то глубоко запали в его душу, отозвавшись в ней и оскорбленным патриотизмом, и задетым самолюбием, и горечью, и жалостью, и — что уж совсем казалось странным, — смутной надеждой на то, что все еще может наладиться в его личных неурядицах: что кто-то опамятуется и вернется в покаянных слезах, а он, Алексей, будет столь же добр, инисходителен, и милостив, как государство.

Ощутив, как вздрагивают веки, он склонил пониже голову над очередным письмом:

«...после моей заметки от 20 июня с. г., что сено гибнет на дождю, я еще вам писал насчет грубых нарушений устава сельхозартели, что месяцами не проводят колхозных собраний, учет трудодней запущен, а дисциплина хромает на обе ноги. Эти мои сигналы не стали печатать, а послали в райсельхоз, меня же только известили. Но письмо на мое имя в казенном конверте перехватила на почте Кланька Подорова, счетовод, и отнесла председателю колхоза Белыху, который вскрыл и зачитал. После чего меня отстранили от МТФ и за здорово живешь скостили 142 трудодня, чтоб не жаловался и не писал, не навел критику. А уж после того сам Белых без разрешения общего собрания колхоза продал на сторону 8 нетелей...»

Алеша отлепился от клеенчатого сиденья стула, прошагал к полке, на которой, пылясь и желтея, лежала подшивка «Северной звезды» за нынешний и минувшие годы. Взялся отлистывать назад: август, июль, июнь, — нашел, заметка так и называлась — «Сено гибнет», и тот же колхоз «Освобожденный труд» Посадского района.

— Нина Максимовна, взгляните...

Он положил письмо перед заведующей отделом.

И, пока она читала, рассматривал сверху простецкий зачес ее волос, сколотых на темени гребенкой, ровных и гладких, выдававших столь же собранный и ровный характер.

Через минуту Ладанова подняла лицо, очерченное природой без затей, топорно и квадратно, отчего сорокалетняя эта женщина никогда, наверное, даже в пору цветенья, не пленяла милотой, а отпугивала женихов мужицкой властью и суровостью, с тем и зачахла в девах, а ведь у нее были мягкие серые глаза, таящие в глубине ту же незащищенность, что была в глазах и у него, Алексея, — во всяком случае, именно так он сейчас про себя думал.

— Пантелеймон Сидоров? — спросила, указав на подпись, Нина Максимовна. — Да ведь это наш старейший селькор, еще до войны писал в газету, потом воевал, вернулся без руки, без правой, — так он левой теперь пишет, видите, наклон влево...

— Вижу, — подтвердил Алеша.

— Крепко же за него взялись: сняли с заведования фермой, а куда ему еще, безрукому, податься? Оставили без заработка, а там, глядишь, и вовсе из колхоза выживут... Надо срочно вмешаться, Алексей Николаевич! Вообще, учтите, газета обязана защищать своих активистов — рабкоров, селькоров, — ведь раньше-то бывало, что и стреляло в них кулачье, поджигало избы... Что вы предлагаете?

— Написать в райком партни.

— А вы уверены, что райком не перешлет бумагу в территориальную парторганизацию или в сельсовет? И что та же Кланька Подорова не утащит его с почты? Особенно если на почте работает подружка... Уверены?

— Нет, — покачал он головой, — далеко не уверен.

— Далеко... в том-то и дело, что далеко это очень — Посадский район. Покуда дойдет бумага, пока дождемся ответа. Улита едет, когда-то будет.

Она задумалась, перебирая листки, графленные в школьную клеточку, исписанные валким почерком.

— Надо ехать туда, Алексей Николаевич. Поезжайте, разберитесь на месте — а я не сомневаюсь, что все тут правда, — и выступите в газете, печатно, открыто: «В защиту селькора Пантелеймона Сидорова!» Вы готовы поехать завтра?

Он переминался у стола, лихорадочно соображая: знает ли Нина Максимовна о том, что Улитин запретил ему ездить в командировки? Известно ли, что его и посадили к ней в отдел — потрошить конверты, нализовать марки, — чтоб лишить возможности носиться спецкором по срочным заданиям? И знает ли она, горько усмехнулся он в душе, что за острую критику на страницах печати пострадал не один лишь селькор Пантелеймон Сидоров? Что есть и другие страдальцы...

Но он помалкивал, выжидая, слыша, как гулко колотится сердце в ребра. Знает или нет?

Нина Максимовна подняла на него спокойный взгляд серых глаз — и он вдруг понял: з н а е т.

Не дожидаясь ответа, сняла телефонную трубку:

— Два-семнадцать... Степан Игнатович? Здравствуйте, Ладанова. Мы получили сегодня письмо из Посадского района, колхоз «Освобожденный труд», очень тревожное письмо. Там, судя по всему, готовят расправу над нашим селькором — да что там готовят! — уже и расправились: сняли человека с работы, лишили трудодней, а он, между прочим, фронтовик, инвалид... Вот представьте себе... Что будем делать? Я предлагаю срочно направить туда Рыжова... Да, здесь он, рядом... Не возражаете? Тогда будем оформлять командировку... К вам? Сейчас зайдет, с письмом.

Теперь по утрам Алеша не выходил из дому вместе с соседом по квартире, сослуживцем по отделу промышленности Степаном Огузовым: вдвоем-то веселей идти, болтая о всякой всячине, прежде так и бывало.

Однако с недавних пор — хотя Степан и не пользовался «эмкой», ходил по-прежнему пешком, ведь близко совсем — Алексей старался улизнуть пораньше, до него, либо выйти следом, чуточку припоздав.

Почему? Да вроде бы и не было на то явных причин. Но Алексею очень не хотелось, чтобы попутные либо встречные прохожие (а ими вероятней всего могли оказаться сотрудники редакции, спешащие к тому же часу), — чтобы они увидели его семенящим обок начальства, искательно заглядывающим в глаза снизу вверх лишь из-за того, что Степан был куда более росл, нежели он сам. То есть он никак не хотел, чтобы его заподозрили в подхалимаже самого жалкого свойства: когда лебезят перед вчерашним приятелем, соседом, собутыльником, ровней, вдруг заделавшимся шишкой.

Он предпочитал уходить из дому минутой раньше, минутой позже.

Но надо заметить, что и Степан теперь не стучал, как бывало, в дверь, не окликал его, чтоб идти вместе, он принял как должное изменившийся распорядок жизни, работы, отношений.

Так что когда Алексей явился в кабинет заместителя редактора, то это и впрямь была их первая встреча на дню — они поздоровались, чин чинном обменялись рукопожатием, будто бы и не пришли сюда одной дорогой, из-под одной крыши, из одной общей квартиры.

Повинуясь тем же изменившимся обстоятельствам, Степан Огузов наконец-то сменил армейский выгоревший китель с неспоротыми петельками от погон на двубортный коричневый костюм в полоску, с широкими клиньями лацканов, а над карманом была пристегнута планка орденских ленточек — он выглядел весьма солидно в этой новой одежде, хотя еще и не привык к ней, елозил плечами, одергивал то и дело рукава.

— Что за письмо? Ишь какого страху нагнало на вас, хоть бей в набат... А может, там и нету никакого пожара? Обычное дело — посварились мужички. Раньше бы разобрали жерди из прясла и доказывали бы каждый свою правду: кто кого крепче достанет. Так нет: теперь ведь всеобщая грамотность, грамотеи все, долго ль кляuzu настрочить, а перышко — оно полегче жердины.

Степан зашарил цепкими зрачками в каракулях письма. Хмыкнул: — Ишь ведь как: председатель, злодей, восемь нетелей на мясо продал! Ну и правильно небось распорядился: молока от них не жди, а план колхозу навесят по хвостам... а кормить их чем всю зиму, этих нетелей? Ведь тот же Пантелеймон Сидоров, селькор, в газете пропечатал, что недобрали сена, сгнило — мокрое у них лето выдалось, дожди, — так не лучше ль сохранить корма для дойных коров? Ты-то сам как полагаешь, Рыжов?

Вот уже несколько мгновений Степан, закосив глаза, рассматривал кончик собственного носа — и опять Алеша не сразу сообразил, что это не от зазнайства и не от самолюбования, а что он пристально смотрит на него.

— Я разберусь на месте, — пообещал он.

— Разберешься... — усмехнулся Огузов. — В этих делах с пупка идет наука, да и то разобраться мудрено. А ведь ты, Рыжов, деревенского житья-бытья совсем не нюхал, мало что в нем кумекаешь. Да ты хоть знаешь, что такое нетель?

— Я разберусь, — торопливо заверил он, чувствуя, как влажнеет лоб, как пупырышки озноба взбегают по спине: нежданно выпавшая командировка грозила сейчас же и сорваться, а озарившая его надежда могла, как и другие, оказаться тщетной.

— Ну ладно, разбирайся. — Заместитель редактора щелчком отбил письмо на край стола. — Езжай, проветришь.

Алексей вскочил со стула.

— Нет, погоди, не прыгай... — потеплевшим голосом остановил его Степан. — Вот что, паря. Я тебе угодил, я тебя уважил. Не уважишь ли и меня? Пока будешь ездить, чтоб в комнате твоей поночевать — вот ей-богу, ничего там и пальцем не трону, а лишь бы голову к подушке приклонить...

— Да, пожалуйста, — поспешно изъясил он согласие. — Ночуй сколько хочешь. У меня и не заперто никогда, только ключ торчит...

Но, вероятно, на лице его, кроме готовности уважить, слишком явно прочлось удивление по поводу столь странной просьбы: чего угодно ждал, а не этого.

И Степан объяснил ему:

— Понимаешь, у Симчи дело к сроку идет, разнесло ее вширь — да ты видел — так, что еле сама на кровати уместается, хоть и двухспальная кровать, а мне совсем места нет, лежу на раме, заснешь покрепче — и на пол сверзишься. В другой комнате пацаны, Вовка с Колькой: беспокойны во сне, то всплакнут, то речи держат, будто бы промеж себя беседуют, а сами спят... Они-то спят, а я всю ночь напролет без сна маюсь! Вскрапну под утро — тут как раз и на работу. А ведь на мне теперь, Леха, и читка полос, и сдача в набор, и разметка, и приказы — ну просто ошалел, сам не рад, поверь...

— Я понимаю, верю, — закивал Алексей. — Пожалуйста, ночуй.

— Ну спасибо. — Степан растроганно покосился на кончик носа. — Ты неделю ездить будешь, а я хоть недельку отосплюсь в тиши-покое... — Он потянулся к телефону. — Ася? Рыжову командировка готова? Давай неси.

И, когда она впорхнула в кабинет, Огузов размашисто подписал бумагу, прижал качалкой пресс-папье, как гусеницей танка. Подал вместе с письмом селькора:

— Держи.

Алексей заглянул в командировочное удостоверение. Сразу бросился в глаза пункт назначения: «с. Троицкий Посад». Он перечитал еще раз, и еще раз, и опять, и снова.

— Мне идти? — спросила Ася, раздосадованная тем, что Алексей уткнулся в бумагу, которую она принесла, а саму ее как будто и не заметил.

— Иди, — отпустил начальник. Но тоже обратил внимание на оторопь, взявшую Алексея. — Там что-нибудь не так? Или срок мал? Нет, почему — неделя...

Алеша очнулся.

— Нет-нет, все так! Все в порядке. Я еду, до свиданья.

Он сбежал по лестнице, дивясь своей удаче. И еще больше дивясь тому, что, пока ему не сунули в руки эту бумагу, он так и не вспомнил, что административный центр Посадского района — село Троицкий Посад. То самое село на Печоре, куда он стремился едва ли не с первого дня пребывания на Севере, куда собирался целый год — изъездил вдоль и поперек весь край, но все окольно да мимо, так и не добравшись до заветной цели.

Троицкий Посад! То самое село, в котором жила Матрена Сидорова, народная сказительница, слагательница новин Матрена Сидорова... Ну да, конечно, он должен был раньше об этом догадаться хотя бы потому, что селькора из колхоза «Освобожденный труд», которого он ехал выручать, звали Пантелеймоном Сидоровым, он тоже был Сидоров, как и знакомый Алексею внук сказительницы — знатный шахтер «Капитальной» Клим Сидоров, о котором он напечатал подвальный очерк в центральной газете, тот ведь тоже родился и рос в Троицком Посаде, то есть, вероятней всего, как это бывает на Севере, там все село подряд и сплошь Сидоровы, ну в крайности полсела.

Но ведь и на письме гонимого селькора, на конверте — да вот же оно, в руках — значился обратный адрес: «Троицкий Посад...» Так почему же он, Алексей Рыжов, сразу не разглядел — откуда, не обратил внимания на столь значимый и важный для него адрес — Троицкий Посад, что на Печоре?

Да просто потому, вдруг понял он, что в тот момент, когда он взял из кипы очередное письмо, развернул и прочел, в его сознании не шевельнулась и мысль о том, что его могут куда-нибудь снарядить, посылать, он знал, что пригвожден к месту, обречен на заточение в отделе писем, и покорно сносил это наказание, эту казнь — вот почему он с полнейшим безразличием скользнул глазами по обратному адресу на конверте: ну и что с того, что Троицкий Посад, ну что за разница — Троицкий Посад или Спас-Погост, Сосны или Тундра, Пычим или Талица, какая разница в названиях, если заранее известно, что его туда не пошлют, что ему туда заказан путь...

— О, вот и он собственной персоной! Здравствуй, а я тебя жду здесь целый час...

От входа, прервав беседу с дежурной милиционершей в синем мундире и со вспученной кобурой нагана на боку, шел к нему, сияя улыбкой, Хвоцинский.

— Здравствуй, Алеша. Что же ты совсем исчез? Не появляешься, не звонишь, а ведь у меня в люксе телефон... Что же ты забываешь старых друзей?

— Я был очень занят, — сдержанно объяснил Алексей. И, подумав, добавил: — Я и сейчас очень занят. У меня масса работы, да.

Для него был неожиданным этот визит: они не виделись с Хвоцинским недели две, после пикника в Белом Бору, где шампанское лилось рекой, а цыгане били в бубны, где... в общем, у него не было причины и охоты искать встреч с Вадимом Сергеевичем Хвоцинским,

вальяжным гостем из Тундры, проводившим свой отпуск в Городе-на-Реке.

Кроме того, у него и впрямь было много работы: его ждала еще гора непрочитанных писем, а за каждым письмом — человек, а у каждого человека своя забота, своя тревога, вот как в этом письме из Троицкого Посада, которое он держит в руках вместе с подписанным и скрепленным печатью командировочным удостоверением.

— И вообще я уезжаю,— сказал Алеша с некоторым торжеством.

— Прямо сейчас? — вскинул брови Хвоцинский.

Он не спросил — куда, не спросил — зачем и даже не поинтересовался, что послужило причиной столь срочной командировки, а лишь спросил: «Прямо сейчас?»

— Нет, не сейчас, а завтра, я уезжаю завтра утром,— подчеркнул Рыжов,— но мне необходимо подготовиться к поездке, прочесть кое-какие материалы, заглянуть в подшивки, так что...

— Ну, завтра — это только завтра,— обрадовался Вадим Сергеевич. — До завтра еще целая вечность! Все можно успеть, сто дел переделывать.

— А собственно, что нужно успеть? — насторожился Алеша. — Что за дела?

— Послушай, дружище, у меня к тебе всего лишь одно дельце, крохотное, хотя и не пустячное — во всяком случае, для меня оно не пустяк. Поверь, для меня это очень важно! Вопрос жизни...

Хвоцинский оглянулся на милиционершу, понизил голос:

— Может быть, нам пообедать в ресторане «Парма»? Посидим и все обсудим.

Он звал его в тот ресторан, где когда-то была закрытая столовая, где прежде столовались по талонам трижды в день — завтрак, обед, ужин — самые активные и уважаемые люди Города-на-Реке, в том числе и Алексей Рыжов, но теперь туда имел доступ любой и каждый, у кого в кармане были деньги или у кого их не было, но было желание выпить и закусить, а можно и без закуски, лишь бы кто поднес,— иначе говоря, теперь в ресторане «Парма» отиралась вся пьянь Города-на-Реке, вот именно туда и звал его Вадим Сергеевич Хвоцинский.

— Благодарю, но я очень занят,— ледяным тоном, которым, как полагал Алексей, разговаривали коренные питерцы, а он относил себя к ним, хотя родился в Кронштадте, впрочем, и Хвоцинский бахвалился в Тундре, выставляясь питерским старожилом,— я весьма сожалею,— сказал Алексей,— но я очень занят и вообще уезжаю...

— Алеша, друг,— Вадим Сергеевич положил ему руку на плечо и заглянул в глаза,— пойми, для меня это вопрос жизни, и никто, кроме тебя, не может мне помочь, никто на свете, один только ты — моя судьба в твоих руках...

Алексей уловил в голосе Хвоцинского несомненную искренность и то, что он был не на шутку озабочен, и даже допустил, что, может быть, в данный момент, то есть именно сейчас и сегодня, на самом деле решается его судьба: жить ему или не жить,— и, кроме того, рука Вадима Сергеевича лежала на его плече с обезоруживающей доверчивостью, а глаза с мольбой проникали ему в душу, и при таких исключительных обстоятельствах нельзя было просто оттолкнуть от себя человека, сколь он ни назойлив, ни липуч, нельзя было не выслушать его.

Однако Алексею не хотелось беседовать с Хвоцинским здесь, в вестибюле, у лестницы, по которой вверх-вниз носились сотрудники редакции: ведь был рабочий день и в обычной запарке делался номер газеты,— и еще он замечал, как поглядывает в их сторону милиционерша с кобурой: что, мол, за странный посетитель и что за секретный разговор,— а больше поговорить им было негде, не вести же го-

стя в отдел писем, где в одной комнате сидели и заведующая отделом Нина Максимовна Ладанова, и Рая, мырра на регистрации, и он сам, нет-нет, ни в коем случае, он не хотел, чтобы Хвощинский узнал, что он, Алексей Рыжов, теперь работает в отделе писем, потрошит конверты и нализывает марки, нет, туда никак нельзя,— и, поразмыслив, он сказал:

— Давай выйдем.

Они молча прошли улицей вдоль окон Дома печати, остановились на взгорке.

Внизу чешуились дощатые избяные крыши Города-на-Реке, а тут, на юру, на пустырях, гулял ветер, нося зарыжелые палые листья,— но где он их раздобыл? Ведь еще не пора, не осень, еще в разгаре лето... нет-нет, уже пора, уже август, осень на носу, а за ней зима.

— Я слушаю.

— Алеша, будь другом, сделай это для меня..

— Но что я должен сделать?

— Пойти к ней — я имею в виду Лайму — и спросить у нее..

— Очень странное поручение! — раздраженно перебил Алексей. — Почему спрашивать должен я, если вы..

Он ждал, что сейчас Хвощинский со всем негодующим пылом станет отрицать его намеки, отвергать его подозрения — хотя он, Алексей, все равно ему не поверит, поскольку видел своими глазами их блудное возвращение из лесу,— но, как это ни странно, ему будет сладко внимать этим лживым речам.

Однако Вадим Сергеевич не счел нужным ничего отрицать, а лишь сказал:

— Это не имеет значения. Это совсем разные вещи. Ты, Алеша, еще очень молод и потому не можешь понять, насколько это не одно и то же!

— Что не одно и то же?

— Во-первых, то, что ты имеешь в виду. А во-вторых, то, о чем ты должен ее спросить.

— О чем же я должен спросить?

Хвощинский погрузился в раздумье. Он завел руки за спину, понул голову и долго брел, шаркая своими дырчатыми штиблетами по плахам тротуара. Затем вымолвил:

— Спроси ее: согласна ли она стать Волконской и Трубецкой?

Алексей рассмеялся: так позабавило его это нелепое поручение — ну детский лепет,— а он думал, что-то важное.

— Рупь за рупь. Давай я лучше расскажу тебе анекдот. Встречает один декабрист другого декабриста..

— Не надо,— перебил, досадливо поморщась, Вадим Сергеевич.— Ты, кажется, меня не понял.

— Да, я не понял! И не желаю понимать! Я нахожусь на работе, меня ждут дела. И вообще я уезжаю... — Он был возмущен до крайности. — Или говори прямо, чего ты хочешь, или я пошел — мне некогда..

— Подожди, Алеша! — собеседник испуганно вцепился в его рукав.— Хорошо, я скажу. Прямо — так прямо.. Я прошу тебя спросить у Лаймы: согласна ли она стать моей женой?

— Очень странная просьба,— возразил Алексей Рыжов. — Почему я должен об этом у нее спрашивать, если вы..

— Но ведь это совсем не одно и то же! Это разные вещи... ты слишком молод и не можешь понять.

Опять их разговор пошел по наезженной колее, как по заезженной бороздке патефонной пластинки, где игла то и дело соскальзывает на отыгранное, вновь и вновь затевает отпетое, талдычит говоренные уже слова.

— Черт возьми, — не на шутку обозлился Алексей, — но почему ты сам у нее не спросишь?

Хвоцинский опять погрузился в раздумье, тяжело бухая своими кремowymi штиблетами по доскам тротуара. Признался глухо:

— Я боюсь отказа. Я не вынесу, если она скажет «нет». Вот почему, Алеша, для меня это вопрос жизни... Все тут гораздо сложнее, чем пойти в загс и расписаться. Ведь если она согласится выйти за меня замуж, ей придется ехать в Тундру — вместе со мной или вслед за мной, — потому что я живу в Тундре и не в моей воле уехать оттуда, разве что в отпуск... — Он еще ниже наклонил голову. — Понимаешь, сейчас Лайма живет в Городе-на-Реке только потому, что хочет быть рядом с отцом: он тоже не волен менять своего места жительства. И если бы она вышла замуж за другого человека — не за меня, а за любого, господи, ну хоть за тебя! — то она могла бы уехать отсюда куда угодно, хоть в Москву, хоть в Ленинград, хоть к себе в Палангу, хоть куда — куда глаза глядят... А что я ей предлагаю? Я предлагаю ей уехать вместе со мною в Тундру, где еще хуже, чем здесь — я имею в виду климат, — где полярная ночь и вечная мерзлота, где в году двенадцать месяцев зима, а остальные — лето... Теперь ты понимаешь?

— Да, теперь я понимаю, — кивнул Алексей.

Сколь ни задела его небрежная обмолвка Хвоцинского — «...за любого, ну хоть за тебя!», а она вошла в него занозой, — он испытал внезапное удовлетворение от всего только что слышанного, хотя все это и не было для него секретом или новостью, но лишь сейчас, внимая этим признаниям, он почувствовал взлет души. прилив гордости, даже некоторую спесь: итак, несмотря на всю завидность и униженность своего положения, несмотря на опалу, из-за которой он вынужден сидеть в отделе писем, потрошить конверты и нализывать марки, к тому же мучительно боясь, что об этом узнает кто-нибудь из его знакомых, — но тем не менее, — и пускай Лайма ушла в лес не с ним, предпочла другого провожатого, ну и наплевать, невелика потеря, и даже, честно говоря, несмотря на то, что он, Алексей, сейчас был постыдно беден, ни гроша в кармане, а вот у этого хлыща в чесучовом костюме и кремowych штиблетах бумажник набит сторублёвками, и он сорит ими напрапалу, устраивая пикники с шампанским и цыганами, и вот только что звал его кутить в ресторан «Парма», — тем более и вместе с тем, — он, Алексей Рыжов, осознал сейчас всю меру своего превосходства над этим заезжим щеголем, явившимся в Город-на-Реке жировать, пускать пыль в глаза, добывшим невесть каким способом в гостинице двухкомнатный люкс с телефоном — эго развернулся! — но отпуск его все равно кончился, и теперь он был обязан вернуться туда, откуда приехал, потому что он не волен распорядиться по своему усмотрению, где ему жить... О, насколько же выше по сравнению с ним был Алексей Рыжов, хотя тот и пытался унижить его, приспособить в кореша, в мальчика на побегушках! И насколько он был свободней, Алексей Рыжов, — он был волен, как птица, он мог ехать куда ему вздумается, и вот подтверждением тому — он ощупал в кармане бумагу, командировочное удостоверение, — он не далее как завтра едет в Троицкий Посад!

Он испытывал сейчас не только восторг своего превосходства, но и чувство противоположное: злую радость оттого, что все устроено именно так, а не иначе, не наоборот, он ощутил всю меру мстительного торжества — ну так тебе, голубчику, и надо, поделом...

Значит, ему, Хвоцинскому, еще мало того, что он припухает в далеких тундрах. Ему еще понадобилось, чтобы кто-то отправился туда вместе с ним и вслед за ним согреть и скрашивать его полярные ночи...

Опять пришли на память письма легковерных девиц, опрометчиво вышедших замуж за иностранцев и уехавших горе горевать на чуж-

бине,— письма, которые он недавно читал в газете,— но почему же их никто не вразумил, не остерег накануне рокового шага?

Правда, Хвоцинский не был иностранцем, но он, Алексей, был просто обязан уберечь Лайму от ужасной и непоправимой ошибки, он должен был не сговаривать ее на этот шаг, а наоборот — отговорить...

Но, собственно, зачем ему тревожиться за нее, если она обошлась с ним так коварно: поманила, вильнула хвостом, а сама — в лес?

— Хорошо,— сказал Алексей,— я сегодня же найду к ней.

Он мог бы повернуть весь этот разговор накоротке — в дверях, у порога — либо вызвав Лайму в коридор гостиницы, но в парикмахерской никого не оказалось в этот предвечерний час, и он зашел, уселся зачем-то в пустое кресло, а Лайма встала позади, взъерошила легкой рукой его отросшие волосы.

— Тебя постричь?

— Нет, не надо.

Они смотрели в глаза друг другу, но это было не прямым столкновением взглядов, которое порой неловко и тягостно, нет, это было лишь зеркальным отражением, когда сама встреча взглядов условна, неправдоподобна, невозможна в природе: потому что один человек отвернулся от другого, увел глаза, а глаза тем не менее глядят в глаза, будто они не на лице, а на затылке — но это не здесь, а там, в зеркале,— и это уже облегчает положение, как разговор по телефону, когда голоса и дыхания слышны впритык, а на самом деле они безнадежно далеки.

— Но, может быть, тебя побрить? — Она прикоснулась к его щеке. — Вот, колется...

— Нет, спасибо. Я дома побреюсь, у меня теперь есть безопаска, и я уже привык сам.

— Как хочешь,— сказала Лайма, и он уловил в ее глазах настоятельность, вопрос: но тогда зачем ты пришел?

— Я пришел с поручением — сама догадываешься от кого... Он хочет знать: согласна ли ты стать Волконской и Трубецкой?

— Кем? — Ресницы ее сощурились отчужденно. — Я не понимаю. Что за чепуха?

— Это он так сказал, а я только за ним повторяю... да, именно так: Волконской и Трубецкой... это из Некрасова, из «Русских женщин», разве ты не читала?

— А он не спрашивал, хочу ли я быть Татьяной Лариной? Или Наташей Ростовской? Или — еще лучше — старухой Изергиль? Я все это проходила в школе, даже писала сочинение «Образы русских женщин...» — кажется, у меня еще сохранились шпаргалки... Они не нужны ему? Или тебе?

Ноздри Лаймы раздувались от гнева, а светлые брови сдвинулись к переносице.

Он поневоле залюбовался ею, он прежде не видел ее такой.

— Зачем вся эта школа, весь этот детский сад? — продолжала негодовать она.

— погоди, не ругайся, ну при чем здесь я? Ведь это он сказал... — взмолился Алексей, уже ликуя в душе: кажется, выпрениие предложения Хвоцинского не нашли сочувствия, нарвались на отпор, и, кажется, Вадиму Сергеевичу — вот тут следовало воздать должное его осторожности — не грозила опасность получить от ворот поворот из уст самой Лаймы, потому что этот отказ она выскажет сейчас ему, Рыжову, посреднику, сердечному посланцу, а уж он передаст тому слово в слово.

— Передай, что я не хочу быть Волконской и Трубецкой! — решительно заявила Лайма.

Итак, все было сказано, все было ясно, и миссия его на том кончалась, притом бесславно, и видит бог, что не он тому виной.

А затевать сейчас иной разговор было бы опрометчиво, тем более что он, Алексей Рыжов, завтра уезжал, так же как и его соперник, — они уезжали оба, и теперь не имело значения, кто раньше.

Опершись о подлокотники, он сделал движение встать, однако Лайма удержала его, осадив за плечо.

— Но ты можешь передать ему, — сказала она спокойно, — что я согласна стать Хвоцинской. Понял?

— Да, — пробормотал он.

— И еще передай ему, что он — трус. Ты понял?

— Хорошо, я так и передам, — закивал Алеша и опять рванулся подняться.

— Нет, сиди... знаешь, я не привыкла, чтобы в этом кресле сидели, а я стояла без дела. Может быть, тебя просто освежить одеколоном? Пусть это будет моим угощением, хорошо?

— Ну давай, — покорился он.

Лайма взяла с мраморной доски флакон «Магнолии», вынула пробку, погрузила в горлышко никелированный стояк пульверизатора, зажала в ладони красную резиновую грушу и начала размеренно сдавливать ее с настойчивой, но нежной силой.

Лицо Алексея оплевала пузырящаяся жидкость, она лезла в глаза, обжигая слезные мешочки, проникала сквозь губы в рот, разгуливая там спиртным духом. Он мотал головой, загоразивался рукой, но она не жалела для него — для посланца любви — дармового угощения, была щедра, стремясь, наверно, хотя бы этой ценой вознаградить его за все причиненные обиды, за несбывшиеся посулы.

Наконец усердное пыханье пульверизатора унялось. Он перевел дух, проморгался. А Лайма отерла салфеткой его лицо, причесала мокрые пряди, склонившись, положив ему на плечи тяжелые и полные груди.

— Ну вот так. Опять молодец и красавец.

— Спасибо, — буркнул он.

Лайма внимательно и сочувственно разглядывала его в зеркале, и было что-то материнское в ее взгляде.

— Ничего, Алеша, не унывай... каждый в жизни что-то находит. Значит, и ты найдешь.

— А ты напрасно меня утешаешь, — не скрыл он досады. — Да, я найду — и не что-то, а все. Я все возьму, что надо.

— Значит, ты надеешься взять у жизни так много?

— Я свое возьму! — заверил он.

Лайма с сомнением покачала головой.

— Нет, Алеша, ты возьмешь только то, что тебе дадут, что тебе в ручки положат, как копеечку, а ты будешь думать, что сам добился. Но уже хорошо, что ты многого хочешь. — Она отшвырнула мокрую салфетку, добавила безразлично: — А я — нет.

Они молчали, окуривая друг друга дымом: Алексей потягивал казбечину, а Белых в обиде от предложенной папиросы отказался и чадил прямо в ноздри приезжему корреспонденту зловонной махрой.

Молчание, пожалуй, затянулось и делалось неловким, но о чем еще им было разговаривать?

Факты, сообщенные селькором Пантелеймоном Сидоровым, подтвердились. Вчера Алексей был у него на подворье, тот повторил слово в слово все, о чем написал, и еще добавил сверх.

И ничего из написанного, из сказанного не смог мало-мальски достойно опровергнуть Тимофей Трофимович Белых, председатель кол-

хоза «Освобожденный труд», потому и был угрюм, глазами хлопал, как сыч.

Здесь же состоялся и разговор с Кланькой Подоровой, счетоводом, которая спроворилась перехватить на почте письмо из редакции газеты «Северная звезда» на домашний адрес и на собственное имя Пантелеймона Архиповича Сидорова, принесла в правление, и уж тут вместе с Белых они распотрошили чужой конверт и прочли от строки до строки, о чем сигнализировал в верха неумный селькор и какой ему был дан ответ на сигналы.

Сперва Кланька выставлялась дурочкой перед Алексеем, уверяла, будто ошиблась, будто имела такое представление, что ежели в казенном конверте, то надо обязательно нести в контору, но когда он не поверил в ее дурость и серость, когда принажал, намекнул, что положено по закону и по кодексу за такие проделки, разревелась в голос, покаялась честно, одарила матюгом председателя, показав, что он один во всем виноват, а она ни в чем, и в расстройстве чувств убежала домой.

Что тут было еще выяснять, о чем рядиться?

— Пропечатаете, значит... — сказал Белых, давая о подошву сапога зарыжелый бычок.

— Пропечатаем. — подтвердил Алексей.

— Ну и станет одной брехней больше... мало ль брехни печатают.

— То есть как?.. — насторожился Рыжов. — Что вы имеете в виду? Ведь мы с вами только что детально прошли по всем фактам — и абсолютно все подтвердилось, все оказалось правдой. Как же так?

— Да так, — кривенько усмехнулся Тимофей Трофимович. — По фактам вроде бы все правильно, а если в корень заглянуть — так чистая брехня. Это точно.

— Странно, весьма странно вы рассуждаете, — нетерпеливо заерзал на скамье Алексей. — Как же это может быть, чтобы все факты по отдельности были верны, а в совокупности...

— Вот не знаю как, а может.

— Хорошо, — сказал Алеша, усилием воли беря себя в руки. — Давайте вернемся к этим... к нетелям, которых вы продали на сторону без разрешения общего собрания колхоза. Это правда?

— Ну правда. У нас на маслобойке сепаратор, довоенный еще, развалился на все железки, заведешь барабан, а от него картечь летит во все стороны — ложись, окапывайся... Тут как раз приезжает человек из Коноши, предлагает новый совсем, то ль немецкий, то ль ворованный, но не наш, одним словом — трофейный зато уж сепаратор! Картинка, хоть крути, хоть так любуйся... Однако деньги — наличными. В кассе нету, пусто. Занять не у кого: наш колхоз в районе самый богатый, остальные вовсе без порток... Вот и пришлось тех коровенок отвезть в Печорск, продать железнодорожному орсу. Расписки в порядке, при всех печатях... А сепаратор можете посмотреть, коль хотите. Сведу на маслобойку, тут близко.

— Но разве Пантелеймон Сидоров как заведующий молочно-товарной фермой не был заинтересован в покупке нового сепаратора?

— А мы его к тому времени уже сняли с фермы. Потому и строчит, что самому — хоть так, хоть эдак — без интересу.

— За что же сняли?

Тут председатель отвернулся к окошку, не торопясь с ответом, а может быть, уже и сожалея, что сболтнул лишнее.

— За что?

— За то, что молоко на ферме кисло. На холодке, в бидонах, а вот скисало раньше срока — и все тут... Сплошной убыток. А ведь мы на том только и держимся: молоко да масло.

— Но при чем здесь Сидоров? В чем его вина?

— Покуда он мэтэфэ не принял, пока учетчиком работал, не было такого. А как назначили — и все пошло в прокис...

— Да он что, вредитель?

— Ну нет, такой напраслины не возведу на человека, хоть мне он личный враг, — замотал головою Белых и даже, вытянув шею, попытался заглянуть в блокнот корреспондента, проверить, как там записалось на сей счет, но что он мог разобрать в хитросплетении стенографических знаков. — Тем более свой брат, окопник, фронтовик, калека... Такого за ним не ведаем.

— Тогда — что? — настаивал Алексей.

Председатель потупился, засопел, давая понять гостю, с какими душевными муками сопряжено показание, которое он вынужден дать, и не хотел бы, а вот придется, коль товарищ из газеты решил во что бы то ни стало доискаться правды.

— Глаз у него дурной, у Паньки. Еще сызмальства, говорят... Вот с его дурного глаза молоко и прокисало. Пришлось отстранить.

Ну, это было уж слишком. Алексей захопнул блокнот. Он, конечно, не мог позволить, чтоб перед ним тут ломали комедию, пытаюсь подловить на молодости лет и еще на том, что он недостаточно сведущ в аграрной отрасли.

— Вы насчет брехни высказывались только что... — заметил он, не пряча раздражения. — А это как прикажете расценивать — насчет дурного глаза? Брехня или не брехня?

— Брехня, конечно! — неожиданно возликовал Тимофей Трофимович. — Так это вы понимаете, что брехня, и я понимаю, потому как мы люди грамотные, партийные... А доярки, а скотницы? Разве они что понимают? Некоторые не то что в дурной глаз, а даже в бога верят, кладут поклоны! Эх, темнота... Ну так вот: они меж собой и порешили, что виноват заведующий мэтэфэ, что киснет из-за него. Грозилась уйти с фермы, если не поменяем. А где мне других-то доярок взять, товарищ корреспондент. а? Нету других... Вот и пришлось, значит, прислушаться к голосу масс. Сняли Паньку Сидорова, сделали ему вычет из трудовой. Но вот что любопытно, Алексей... как вас, запамтовал, по батюшке?

— Николаевич. Так что там любопытного?

Предколхоза наклонился к нему, заворочал глазами в суеверном страхе, прошептал:

— Перестало молоко киснуть... как ушел Панька с фермы, так и перестало

Алексей молчал, взвешивая достоверность и коварный подспуд услышанного.

А Белых, довольный произведенным впечатлением, приосанился, продолжил осторожно:

— Так что бабушкины сказки, а вот ведь... Кто знает, может, он с того же свойства, с дурного глаза, и в газеты повадился писать? Ну да не об этом речь, — опять испугался невзначай оброненных слов председатель. — Я насчет фермы. Сепаратор новый работает справно. Масло государству сдаем высшим сортом, выполняем первую заповедь. Раньше-то у попов какая заповедь была впереди? Не убий. А теперь иначе: сперва рассчитайся по всем поставкам, а уж потом не убивай... Ха-ха-ха! Шутю, конечно.

Алексей поднялся, не дав дрогнуть ни уголку губ, ни брови — шутка показалась ему неудачной.

— Спасибо за беседу. У меня больше вопросов нет, а будут — еще наведу. До свиданья, Тимофей Трофимович.

— Погодите-ка, вместе уйдем. Пора закрывать правление.

И покуда председатель навешивал на дверь пудовый замок, Алеша сообразил, что тому очень хочется появиться вместе с ним на виду у всего села: чтоб не судачили прежде времени, что, дескать, приез-

жий из Города-на-Реке корреспондент у Паньки Сидорова в доме гостил, а с Тимохой Белых даже по улице рядом пройти погнушался — стало быть, недобрововать председателю, наведут ему капут, а на его пустое место воссадят однорукого Паньку, поскольку с него начались кляузы, с его прямой наводки...

Они двинулись в гору. Белых шел, сильно припадая на правый бок, из чего можно было заключить, что его скрипучий протез велик и неудобен, что нога у него отнята едва ль не по самый пах.

Да, подумал с горечью Алеша, ситуация: воюют однорукый с одномогим не на жизнь, а на смерть.

— Насчет общих собраний — это верно, редко собираем... — повинился Тимофей Трофимович, задыхаясь от ходьбы, потея лицом. — И, честно говоря, чтоб не будить бабьего воя. Покуда они по дворам голосят в одиночку либо вдвоем, от этого разве соседям докука? А соберешь их вместе — и заведутся разом, друг на дружку глядячи, ни унять, ни усостыжить... Какой тут доклад, какие прения? Ревмя режут, ведь сплошь — вдовы.

— Ну, я бы не сказал, что у вас в селе мужчин мало — и вон, и вон, и вон еще, — повел головой Алексей, — хватает как будто и молодых и в годах. Все бегают, похоже, что при деле.

— То-то и оно что при деле. Вы это верно подметили: мужики в Троицком Посаде еще не перевелись — и, между прочим, все бывшие, то есть до войны, колхозники... А теперь что? Вы кого сейчас углядели? Марей Сидоров — он в лесничестве объездчиком, ставка приличная, фуражка казенная, и дичина какая-никакая в котел перепадает. Другой Сидоров, Илья Григорьевич, — начальник пристани. Белых Иван — нет, мне он ни брат, ни сват, однофамилец — секретарем в сельсовете, хотя иных баб не грамотней. Опять же Сидоров Серафим — этот в райотделе кинофикации. Кто с портфелем, кто с планшеткой. На что им трудодни? Не от земли ведь кормятся, а от портфелей тех же... И еще немало таких найдем, что просто по завалинкам сидят, ладонью пробки вышибают, а не тронь — имеют инвалидности, справки насчет ранений. Могли бы, конечно, работать, но кто уговорит, кто заставит? Заставить нельзя. А на колхозном собрании стыдно в зал поглядеть — одни бабы...

Белых умолк, покосившись в сторону, задышав еще надсадней.

Алексей уловил движение его глаз, посмотрел сам и в какой-то крайний миг уследил за крестовинами бревенчатого сруба лицо Пантелеймона Сидорова, селькора «Северной звезды». Значит, тот решил и впрямь проверить действенность своих сигналов: в каком чине пройдут по улице приезжий корреспондент с председателем колхоза, окаянным ненавистником, сколь пылким или мирным будет между ними разговор и, главное, куда направят путь — не к дому ли Тимошки Белых, не к лавке ли сельповской, а если именно туда, то и это лыко в строку... Но лицо мелькнуло и тотчас исчезло — не почудилось ли?

Он ощутил вдруг досаду: Тимофей Трофимович Белых при всей его отчужденной едкости вызывал куда большее чувство симпатии и доверия, нежели вчерашний собеседник с его вкрадчивыми речами, с оловянным тусклым приblesком в глазу, знаком зреющего бельма, что, вполне вероятно, и послужило причиной толков о том, что Панька Сидоров сглазчив.

И горестный рассказ председателя о тяготах, о бедах хозяйства, не оплошных, а закоренелых, чреватых дальнейшим разором и, похоже, беспросветных в обозримом будущем — это уже понял Алексей Рыжов, — был своей нагой суровостью ближе к правде, чем Панькины ябеды.

«Но-но, — одернул себя Алеша, — но-но».

Ведь он только что убедился в неопровержимости фактов, о которых сообщил Пантелеймон Сидоров. Знал, что напишет обо всем в газету, и прямо сказал об этом Белых. И еще он на собственном, на выстраданном опыте знал, что тех, кто хоть однажды набрался смелости выступить с критикой, надо защищать, а не карать, какой ни будь у них глаз, какие ни найдись слова.

— Все ж таки село наше Троицкий Посад — райцентр, а по райцентру вы не судите, — продолжал Тимофей Трофимович. — Хотя тут и находится центральная усадьба колхоза, но не от колхоза лицо, мало ль чего тут нет, вон за околицей вышку ладят — говорят, геологи будут нефть искать. И дирекция леспромхоза, и речная дистанция, и замшевый завод... оттого и многолюдство, и вроде бы жизнь бьет ключом. А вы бы, Алексей Николаевич, наведались в дальние наши деревни, которые числятся бригадами колхоза, — в Поруб, в Ловлю, в Опонь...

— Опонь? — сразу откликнулся Алеша на знакомое слуху название. — Опонь... Скажите, пожалуйста, а не там ли живет Матрена Даниловна Сидорова? Мы печатали ее сказ в прошлом году.

— Вона как! — поразился Белых. — Значит, и старушка, божий одуванчик, взялась в газеты кляузы строчить?

— Да нет же, — отмахнулся Алексей, — речь совсем о другом. Матрена Даниловна — народная сказительница, ее сказ — про войну.

— Не знаю. Не читал и слыхом не слыхал. Но живет она там, да, в деревне Опонь, что за нами числится бригадой. А какая это бригада — увидите сами...

— Туда как добираться?

— Пешим ходом, иного нету. Километров шесть отсюда по реке вниз, все берегом. Лучше утречком выйти, чтобы поспеть в обрат... Сам в попутчики не набиваюсь, потому что тяжело мне в оба-то конца на чужой ноге, но могу найти провожатых. Скажем, Кланьку, счетовода, вон которая материлась нынче, она девка проворная, все пути знает...

— Нет, не надо, — отрезал Алексей. — Сам найду.

Он бродил от дома к дому, поражаясь мертвой тишине.

Всю дорогу его сопровождала тишина, но она была живая: то плеск речной волны в галечный берег, то пробеги верхового ветра по кедровым кронам, то хлопанье крыльев и посвист полета уток чернядей, то просто кукованье невидимой кукушки в чаще впредь на сто лет — лес жил, жила река, жила своей жизнью природа.

А тут было совсем мертво.

Окна изб заколочены досками сверху вниз да еще наискосок доска и шляпки гвоздей были ржавы, свидетельствуя, что не вчера по ним прошелся обух. Впрочем, на некоторых окнах не было даже такой защиты: они зияли пустотой либо кое-как были прикрыты ставнями, и это с еще большей определенностью говорило о том, что гнезда покинуты не на время, не до лучшей поры, не до светлого дня, а брошены насовсем, что ушли отсюда без оглядки, в мрачной уверенности, что худшего куда не сыскать.

У самой реки стояли амбары на высоких лиственничных сваях, чтоб не подтопляло запас весенним паводком и чтоб сподручней было закидывать мешки из причаленных лодок, или бочки, или еще какой товар, — но и амбары были пусты, смотрели сквозными проемами с реки и на реку, а стены, рубленные в обло, с трещиноватыми торцами, выдавали ветхость самого дерева: Алеша отковырнул щепочку, изъеденную шашелем, помял меж пальцев, и она истерлась в табак.

Однако глина у колодца была оплеснута водой, след от дырявого ведра извилисто бежал по тропинке, он и привел его к крыльцу, где

чуялось присутствие живого духа. Он поднялся по ступенькам, ужасаясь тому, как бухают сапоги в окрестной мертвой тишине, миновал сенцы — дверь за ними была нараспашку, — вошел, учтиво поклонился.

Старуха в глухом черном платке сидела на лавке, смиренно сложив на коленях руки и лишь движеньем век книзу ответила на его приветствие.

Он понял, что это место на лавке под божицею было выбрано ею не случайно для целодневных бдений: отсюда было видно во все окошки, и какой путник ни пройди — не минет незамеченным, и кто ни явись на пороге — окажется лицом к лицу с хозяйкой; но никто не появлялся, хоть она и ждала терпеливо день за днем, год за годом, что вот вспомнит путь к своему порогу родной человек, или набредет на него добрый странник, или, в конце концов, заявится по ее душу смерть, — вот она и сидела в молчании, в примерной чистоте и опрятности, глядя на порог.

А явился он, Алексей Рыжов, и сказал, не посякая на еще один поклон:

— Здравствуйте, Матрена Даниловна. Я к вам из Троицкого Посада, точнее из Города-на-Реке, можно даже сказать — из Москвы, из Ленинграда, вот как издалека приехал, как долго добирался! Но все-таки добрался, застал вас дома, нашел, надеюсь, в добром здравии. Я очень рад, мне так приятно с вами познакомиться.. Рыжов Алексей Николаевич, корреспондент газеты «Северная звезда».

Восковой желтизны веки ее снова дрогнули, свидетельствуя, что она все слышала и поняла. и в этом можно было даже угадать ответное приветствие. но она не разомкнула бескровных старушечьих губ.

Он вынул из кармана блокнот, карандаш, поискал глазами, где бы устроиться.

В поле зрения оказался дощатый стол, но чутье подсказало ему, что к столу нельзя — это было б как намек на то что он ждет угощения, хоть бы стакан чая с долгого пути, а вдруг у нее и чаю не было ни зернинки? Вон как пусто в избе. голые стены, если не считать темных икон в углу. И он в который уж раз проклял свою опрометчивость — ведь он не был скуп, а просто недогадлив, — что не принес с собою никакого угощения, ни баранок, ни конфет, ни пачки чая, а ведь мог бы захватить, велика ли поклажа, и то-то бы обрадовалась она, захопотала, приволокла бы из сеней самовар, — ах он пень стое-росовый, ах дурень... Нет, к столу было нельзя.

— Вы позволите присесть? — Он опустился на лавку рядом с нею. — Матрена Даниловна, я давно слышан о вас, о вашем чудесном даре. Направляясь сюда, я еще раз с удовольствием перечитал в газете сказ о войне, который в прошлом году записал с ваших слов Матвей Кузьмич Малафеев, директор Дома народного творчества, мы с ним старые знакомые и добрые друзья, он просил передать вам привет...

Она по-прежнему молчала, лишь едва заметно шевельнулась, когда он помянул Малафеева, и в этом ее шевеленье скорей была обеспокоенность, чем радость.

— Я словно сейчас помню строки вашего сказа...

Он решил пробудить, завести ее ритмом, тронуть звучаньем знакомых слов и фраз. Но, как на грех (хотя он и на самом деле, собираясь в спешке в Троицкий Посад, перевернул всю прошлогоднюю подшивку «Северной звезды» и нашел там опубликованный сказ), — как на грех, ни одна строка не шла на ум, не вспоминалась, разве что «злые вороги», которые даже Улитину втемяшились, и он ухватился за них как за соломинку:

— Да-да, я помню, там еще у вас «злые вороги»...

Но, увы, ее и это ничуть не проняло. Она лишь покосилась на его блокнот.

Наверное, он достал его прежде времени — раньше, чем она начала сказывать, — и тем настрожил ее.

Однако Алеша слишком хорошо помнил, как однажды он замешкался при сходных обстоятельствах и упустил начало, не смог записать первых строк, повергших его в изумление, а потом уж было поздно догонять.

Это когда в Слободе у Клары Истоминой бабка ее, старуха Окся, угостившись из тарелки дьявольской похлебкой — водкой с накрошенным туда хлебом, — отвалилась пресыщенно к стене, зажмурилась, начала раскачиваться из стороны в сторону, завела свой несусветный сказ на чудном, небывалом языке, он все равно не понял ни словечка, но до сих пор продолжал корить себя тем, что проворонил столь диковинный и наверняка еще никем не слыханный сказ старой ведьмы...

Надо было, огорченно подумал он, все-таки и здесь испробовать это крайнее средство: принести с собой бутылку, налить ей стаканчик, поди не отказалась бы, дать ей согреться, взыграть, воспарить душой, склонить к вещанию и шаманству, — но он опять-таки оказался непредусмотрительным, ничего не прихватил с собой, а здесь, в безлюдной и заброшенной деревушке Опонь, вряд ли был магазин: некому продавать, некому покупать... Господи, да как же она тут живет одна?

Матрена Даниловна молчала отрешенно.

Молчала — и весь сказ.

Алексей вздохнул, еще раз оглядел избяные, голого бруса стены: близ божницы была застекленная рамка под изрядный портрет, но самого портрета не было, а вместо него под стеклом расположились, тесня друг дружку, фотокарточки самых различных величин, от нашлапки для паспорта до открыток и групповых, вальяжно выстроенных композиций: порыжелые, едва различимые, дореволюционной древности снимки и относительно светлые, четкие, вероятно, самой предвоенной поры: на них были люди в зипунах и косоворотках, в гимнастерках с георгиевскими бантами и шинелях с красноармейскими «разговорами», в папахах и буденовках, в картузах и кепарях, в комсомольских косыночках, забранных концами на затылок, и строгих платах, подведенных к подбородку, как у самой Матрены Даниловны; лица различались возрастом, лихостью либо кротостью облика, были несхожи в чертах, но вместе с тем в них угадывалось и нечто общее, что предполагало родство крови в самых близких или в самых дальних степенях, что в совокупности держало род, всех людей большого и, наверное, дюжего когда-то рода.

Истомленный молчанием хозяйки, Алеша хотел уж было задать ей несколько вопросов по поводу этих фотографий: а это кто, а кто, мол, это, а это не вы ли сами в ранней молодости, дорогая Матрена Даниловна, а это не ваш ли жених или уже, честь честью, супруг, а эти — в буденовках, в шинелях — не ваши ли сыновья, что за brave парни, а эти горлицы, молодки — не ваши ли дочери, какие красавицы и очень похожи на вас, а вот эта голопузая ребятя — уж не внуки ли ваши, Матрена Даниловна, ах, что за прелесть!..

Но он сознавал всю опасность подобных расспросов: ответом на них могло быть тоже молчание либо тихий и горестный старушечий плач, за которым опять последует молчание, — и это уж конец, не проронит более ни слова. Не только потому, что большинство этих людей, чьи лица составлены, как крупички мозаики, в рамке за стеклом, что они наверняка и поголовно выбиты войной, но еще и потому, что некоторые все же уцелели и где-то живут-поживают, худо ли, бедно ли, а может быть, и вовсе хорошо, однако не помышляя о воз-

врате к родному порогу,— и в этой пустой деревне, под этой осиротелой крышей осталась доживать свой век всеми забытая и покинутая старуха.

И тут он вспомнил, что в его силах и возможностях разрушить эту глухую стену молчания, что стоит лишь произнести несколько слов — и все мгновенно переменится, она оживет, заговорит, он понял, что пора.

— Матрена Даниловна,— сказал Алексей,— а ведь я вам еще привез поклон и привет от внука вашего, от Клима, от Клима Гавриловича Сидорова, который живет в заполярном городе Тундре и работает там врубмашинистом. Он мне и подсказал, что искать вас надо не в самом Троицком Посаде, а по соседству, в деревне Опонь. Огорчался, что не выкроил денька-другого, чтобы лично навестить вас по дороге в отпуск, в санаторий, в Сочи, или на обратном пути. Просил, конечно, извинить, что не пишет, но работа, дела, ведь очень занят: известный и уважаемый в Тундре человек, стахановец, депутат горсовета, награжден недавно орденом...

Расчет оказался безошибочным.

Старуха подняла на него выцветшие голубые глаза, а бескровные губы ее тронула улыбка:

— Клим? Видали его?

— Вот как вас вижу,— подтвердил Алеша. — Я видел его два раза. Сначала на шахте «Капитальная» в лаве, как он там работал на врубовке. А потом на другой день был в гостях дома, у него хорошая квартира, понемногу обживает, обставляется...

— А не женат еще? Детишек не завел?

— Нет пока. Вообще он собирался жениться, но потом...

Алексей вспомнил, при каких обстоятельствах расстроилась женьтиба знатного врубмашиниста — дружок увел невесту,— и решил не вдаваться в эти грустные подробности, не печалить старуху, добавил бодро:

— В общем, от невест отбою нет! Скоро женится. А там, само собой, и детишки пойдут мал мала...

Уловил, что как раз настал удобный момент повернуть разговор к заветной цели, так как день истекал час за часом, а ему еще и назад предстояло идти целых шесть километров, добраться бы засветло.

— Так что ждите: через годок-другой нагрянет сюда всем семейством, привезет вам внуков, то есть правнуков, еще заставит нянчить, попросит им на сон грядущий сказку рассказать — ту самую, какую вы ему рассказывали, когда он маленьким был. Да, вспоминал Клим ваши сказки, говорил мне о них. А что, Матрена Даниловна,— он наклонился к ней близко, искательно заглянул в самые глаза,— не расскажете ль и мне, не пожалеете красного словца, доброй сказки?

— Вам-то зачем,— удивилась она,— чать не маленький.

— А вы мне расскажите не такую, что для маленьких, а такую, что для больших. Можно старую, старую-престарую, что вы сами от ваших бабок слыхивали. А еще лучше новую, как вы Матвею Кузьмичу Малафееву сказывали,— новую сказку, новый сказ, новину, а?

— Не сказывала я ему,— покачала головой старуха. — Нет.

— Да как же не сказывали? — настаивал Алеша. — Ведь в газете было напечатано и указано там черным по белому, что ваш сказ — Матрены Даниловны Сидоровой из села Троицкий Посад...

Она, не без труда поднявшись, обернулась к божнице, дотянулась до Николы Угодника, что держал в одной руке священное писание, а другою подтверждал двуперстие, достала, покряхтывая, из-за иконы горстку мятых бумажек, положила их на лавку, придвинула к нему.

— Вот, берите... все тут.

Алексей разглядел не дотрагиваясь: это был корешок почтового перевода с чернильным штемпелем «Северной звезды» и знакомым почерком бухгалтерши Анны Сергеевны Габовой, две красные тридцатирублевки и желтый рубль — гонорар за опубликованный в газете сказ, точней ее доля, ведь и тому, кто записывал, тоже причитается.

— Я ждала, что придут... не мое это, зачем.

Стало быть, она приняла его за ревизора, либо за фининспектора, или даже за переодетого милиционера, ведущего розыск пропавших, незаконно выплаченных денег.

И еще он ужаснулся тому, что при всей очевидной и крайней скудости, в которой она жила — каждая копейка на счету, любая кроха дорога,— она не сочла возможным истратить хотя бы толику этих жалких, а для нее, наверное, великих денег, прятала их за образами до того судного часа, когда придут и спросят,— и вот он пришел предьявить спрос.

— Да нет же,— взмолился Алексей,—нет! Вы совсем не так меня поняли. не за того человека посчитали. Да и деньги эти не чужие, а ваши, да-да, ваши, честно заработанные, вы напрасно ими гнушаетесь... Это вам за сказ, который вы сказывали Матвею Кузьмичу, за то, что он напечатан в газете, вот же квитанция, все как полагается!

Но она держала на нем по-прежнему строгий и полный укора взгляд.

— Не сказывала я ничего... не знаю я.

— Ну как же не сказывали? — заволновался он. — Вы вспомните получше, Матрена Даниловна!

— Не сказывала. Вот те крест.

Она опять обернулась к тому же охряному лысому Николе Угоднику, зовя его в свидетели, положила истовый крест на лоб, на грудь, на оба плеча.

Нельзя было не верить.

— Так вы ему не сказывали?

— Нет. Не знаю я.

Не знает. Значит, и она не знала.

Об остальном и прочем — откуда взялся этот сказ — было нехитро догадаться.

Прибрежная тропа вела его вдоль берега Печоры, часто срываясь в овражки, вымоины, где сапоги оскальзывались в сыпучем песке или вязкой глине, он с трудом выгребался оттуда на юрок, скрепленный тонкой, будто холст, дерниной, убыстрял шаг, ловил губами прохладный воздух.

Итак, его последняя надежда оказалась тщетной — он и тут ничего не нашел.

Целый год ждал этой поездки, ради нее и подался на Север, метался тут как угорелый, кидался во все концы, ездил повсюду, куда прикажут, зарабатывал право на эту самую желанную и необходимую поездку, а она все отдалялась, подчас срывалась, могла совсем не состояться — когда ему сказали, что отъездили,— но вот он достиг, чего хотел.

И теперь возвращался с пустыми руками, с понурой головой, обманутый в своих ожиданиях, обманутый опять и уж в который раз.

Не было тут никаких сказов.

Странно, подумал он, а ведь целый год, покуда его носило и кружило по городам и весям, ему везде и всюду, кстати и некстати, впопад и невпопад что-то рассказывали, несли околесицу, никчемную ерунду, которую он покорно выслушивал: про то, как в заполярной Тундре сочиняли оперу Леонкавалло «Паяцы»; и про то, как французы основали Париж на задворках Города-на-Реке; и про то, как глупый диктатор Сметона посещал отдельные кабинеты курортных ре-

сторанов; и о том, что в одном городе бывает другой город, а в другом третий, а в третьем четвертый — словно матрешки без числа и счета одна в другой... Он уж и забыл половину из того, что ему рассказывали. Но нет, кое-что застряло в памяти, и то, что застряло, наверное, не было ерундой: о чудских древних копьях, о секретных гаубицах демидовских заводов; и о том, как в войну построили мост через Печору из балок стального каркаса Дворца Советов; и о том, как в дремучей тайге близ этого моста высадился фашистский десант, чтобы его взорвать... Но все это смешалось в голове беспорядочно и бессвязно, а главное, ненужно, потому что нужно ему было совсем иное: обыкновенный изустный сказ про старину, про новину, а вот этого и не нашлось.

Не было тут никаких сказов — вот и весь сказ.

От быстрой ходьбы, от крутых взбегов и спусков — то возносило, то роняло — он разгорячился, у него пересохло в горле.

Очень хотелось пить но он не решался зачерпнуть ладонью прямо из Печоры: слишком резвая шла волна, могло охлестнуть с головы до пят, да и вода у берега клубилась рыжей мутью.

Вот почему он так обрадовался, увидев на срыве мшистого подзола родник: струйка воды, посверкивая и журча, текла по берестяному желобу, воткнутому догадливой рукой.

Алексей склонился, но этого оказалось мало, чтоб достать, пришлось опуститься смиренно на оба колена, согнуть спину, извернуть шею — и лишь тогда он поймал ртом струю. Она была пронзительно холодна, так, что заломило челюсть, но вода была на диво чиста и вкусна. Ему даже почудилось, что она целебна, потому что с каждым глотком тело наполнялось бодростью, а голова яснила, душа обретала покой, — он пил и пил, захлебываясь, давно уже утолив жажду, но не чувствуя пресыщения и не находя сил оторваться от источника.

Наконец встал, утер пястью губы.

Ну ничего, подумалось ему, хотя он и не нашел тут сказов, зато прямая цель его командировки была достигнута: он все проверил, мог писать с чистой совестью, мог заступиться за кого надо.

И еще ему впервые в жизни выпал случай побывать — не проездом, не наскоком — в деревне. В сущности, он еще ни разу в жизни по-настоящему не был там, если не считать той деревни под Тихвином, где в начальные дни войны они, эвакуированные ленинградские ребята, в опасном затишье ждали неизвестно чего, а дождались, что из сельсовета прискакал на тощей, неоседланной кобыле мальчонка с телеграммой, принятой по телефону, записанной от руки, и тотчас начался переполох, завитал слушок, что близко немецкие танки, идут на Тихвин, — их усадили на открытые платформы товарняка, паровозик гуднул и повез — куда, куда, известно куда, обратно в Ленинград...

И Степан Огузов, конечно, имел причины насмешничать над ним, подписывая командировку в Троицкий Посад: «Да ты хоть знаешь, что такое нетель? Эх, Рыжов, ведь ты деревенского житья-бытья сроду не нюхал, мало что кумекаешь... Разберешься, говоришь? Да в таких делах от пупка наука — и то разобратся мудрено!»

А между тем, подумал Алеша, запоздало споря со Степаном, он имел достаточное право считать себя связанным кровным родством и корнями с деревней: ведь отец его был из крестьян, лишь потом стал рабочим, ушел кочегарить в город, а уж оттуда был взят на флот, стал матросом, революционером, красным комиссаром, комбригом — все это лишь потом. Но отец не любил касаться этой темы. Смолоду оторвавшись от деревни, он не возвращался туда, не ездил, не писал, не звал родню в гости — мало ль какая могла там сыскаться родня: не кулак, так подкулачник, — от этой деревни, ворчал он, только и жди подвоха, никогда не угадаешь, что у ней на уме...

Потому-то и он, Алексей, имел довольно смутное представление об отцовских корнях. Знал, что родом он с Оки, а названия деревни, волости, губернии — нет, не знал. Надо будет справиться у матери, она должна знать. И может быть, ему еще представится случай заглянуть в те края, набрести на отцову деревню, взойти на крыльцо тихой избы, постучать в дверь...

И вдруг, как только что от родниковой воды у него заломило зубы, — вот так же вдруг сдавила сердце простая догадка: что да, что где-то есть эта деревня, и этот дом, это крыльцо, эта дверь, а за дверью на лавке под образами, в одиночестве, молчании, скудости — как Матрена Даниловна Сидорова в богом забытой Опони — сидит, окаменев, его, Алексея Рыжова, собственная родная бабушка, мать его отца, о которой он не знает ровным счетом ничего, даже не знает имени ее и отчества, и хуже того, гораздо хуже: Матрена Даниловна имела хоть весть, что где-то в городе Тундре живет-поживает, работает на шахте ее внук Клим, которому в детстве она, баюкая, рассказывала сказки, и если даже он не помнит этих сказок, то еще не позабыл саму бабуку, вот передал ей с добрым человеком привет и поклон... А та, что жила в неизвестной деревне, что доводилась ему бабушкой по главной, по отцовской линии, не только не рассказывала ему сказок на сон грядущий, не только не знала, как зовут внука, но даже не ведала о том, что у нее есть внук, что он е с т ь.

Мысль эта пронзила такой явственной болью, что Алексей остановился, застояв. Однако заставил себя успокоиться, отдышаться: ну что? ну зачем? ну мало ли что!

В подножье кручи на которую он только что взобрался, била волна. Она с размаху вышвыривала на берег какой-то белый сплюснутый шар, похожий на резиновый рваный мяч или на крупный гриб дождевик, забаву природы, что иногда находишь в кустах. Но это было ни то и ни другое, а что именно — он не мог понять, потому что накатистый гребень, играючи и шаяля, подхватывал этот предмет и, отбега вспять, уволакивал предмет в пучину, а там опять возвращал на поверхность и нес к берегу.

Алексей, подстегиваемый любопытством и по-ребячьи стараясь отвлечься от тягостных раздумий, бочком, ставя подошвы поперек осыпи, начал спускаться поближе к кромке, к воде.

Но отпрянул в испуге.

Это был вымытый до меловой белизны человеческий череп.

Он бултыхался на зыби, поочередно выставляя то округлости лба и темени, провал основания, то срез затылка. Из пустых глазниц, через скважину носа, сквозь решетку зубов цыкали наружу бурые струи воды.

Алеша ухватился за стену обрыва, ощутив внезапный приступ головокружения: наверное, это было потому, что он смотрел на чужую и мертвую голову, которая кувыркалась, вращалась во все стороны, меняя положения и оси.

Вспомнил, что однажды — но тоже очень давно, в раннем детстве, — уже видел это: в Кронштадте у песчаных дюн безлюдной западной оконечности острова, где простиралось обширное военное кладбище и где прибой, рубясь в берег, намывал черепа и кости. Помнится, что и тогда, нечаянно увидев это, он испугался до полусмерти.

Ага, подумал теперь Алеша, значит, он совсем уже близок к околице Троицкого Посада — шесть километров миновали незаметно, — ведь и на утреннем пути он шел мимо сельского погоста.

Не наведаться ли туда? Весь печальный черед нынешних мыслей и настроений определенно склонял к этому.

Там не было огады, лишь густо разрослась черемуха, осыпанная гроздьями спелых ягод, черных дробин, созревших на завязях белых соцветий.

Он брел между осевших, залитых дождями и талым снегом всхолмий, кое-где заподлицо сровнявшихся с землей, будто бы и не было тут никаких могил, а местами ушедших в провал, ниже тропы.

Кресты на могилах были все одинаковы: с кержацким многоэтажьем поперечин и двускатным верхом — наподобие избяной кровли — последнего прибежища. И все безымянны: ни имени, ни отчества, ни прозвища, ни рода, ни зарубок отмеренного века.

Его душу смутил этот обычай сурового отречения от земного бытия, от личной сути — так жил ли на свете человек или вообще не жил? — но потом он уловил в этом обиходную мудрость: что покуда живы, и здравствуют, и не поступились благодарной памятью наследники — они и сами, без указок найдут дорогу к могилам отцов и пращуров, сами назовут их имена, помянут добром. И заодно уж поправят завалившийся крест, присыплют холмик песочком, выдернут крапиву и репейник. А впоследствии, когда сменится черед поколений, когда ослабнут памятью потомки, когда изведется либо затеряется в порозни род, — все равно уж никому не станет дела и заботы до безымянных надгробий, ничьему уму, ничьему сердцу ничего не подскажут имена и отчества, фамилии. К тому же фамилии в Троицком Посаде были одинаковы наперечет — Сидоровы да Белых. И, судя по всему, приходский поп не зарывался в святцы, а нарекал всех подряд без затей Иванами да Николами, Матренами и Марьями.

Однако подалее, где тропинки были утоптанней, а холмы выше, на фанерных крашенных обелисках с пятиконечными звездами было написано все необходимое.

Впрочем, и здесь тоже попадались кресты свежего теса.

У одного из них Алексей увидел пожилую женщину в черном уборе, хлопотавшую над только что возведенной могильной насыпью, хранившей еще след лопаты.

Она подняла голову на его шаги.

Лицо было очень знакомым — угловатое, резкое, будто бы затесанное той же лопатой, мучнисто-белокожее, но уже утратившее гладкость, исполосованное морщинами.

Он определенно знал эту женщину, но, вероятно, встречался с нею лишь однажды, и она не произвела на него отрадного впечатления, потому он и не в силах был вспомнить, кто такая.

Кажется, и она, взглядевшись, узнала его, поднялась с корточек, отряхая с ладоней песок.

— Здравствуйте, Алексей Николаевич.

Голос был тоже знаком и, соединясь с ее лицом, помог удостовериться: да, это была мать Клары Истоминой, с которой он год назад познакомился в пятой десяте Слободы. Поднатужась, вспомнил и остальное:

— Здравствуйте, Павла Романовна.

Предвидя томительную и стесненную паузу, отвел глаза к кресту.

— Вижу, что вы здесь по скорбной причине — примите мои соболезнования.

— Да. Померла вот Оксинья Ивановна, свекровь, мужа моего, Кларочкиного отца, родная мать... царство ей небесное.

Алеша счел приличным сдернуть кепку, прижать ее к груди.

Значит, неспроста явилась нынче в его думах старуха Окся и ее сказ, который он в обалдении и оторопи не успел записать, тогда проворонил, а теперь уж и вовсе опоздал: старая ведьма приказала долго жить, унеся в могилу свои волшбы («...она не еретичка, а еретница, по-нашему — колдунья...» — объясняла ему когда-то Клара), унеся с собой и сказы на чудном, несусветном языке, который, может быть, она и знала последней на белом свете.

Все, опять подумал он, больше надеяться не на что, нет больше сказов.

— Я-то в селе была — в отпуск приехала, родне по хозяйству помочь, — как ее вдруг удар хватил, кондрашка зашиб в одночасье, и не ойкнула, — продолжала горестно Павла Романовна. — А Кларочку вызывать из Москвы не стали, все равно б не поспела. Схоронили без нее. Нынче девятый день... А ей отписала все в письме.

— От нее писем не было? — вежливо поинтересовался Алексей.

— Как же нет, два письма было, в город еще. — Она устремила на него испытующий взгляд, стараясь угадать: знает или не знает? И, убедившись, что не знает, сообщила, торжествуя: — Ведь поступила сей раз Кларочка куда хотела — в консерваторию, приняли ее.

— Вот как? — восхитился он. — Очень рад за нее. Поздравляю вас.

— Спасибо. Да и не только с тем... — Голос ее креп доволством. — Замуж вышла наша Кларочка. Расписались они в Москве с Олегом Васильевичем, все честь по чести, но фамилию, правда, свою оставила, Истомина, по отцу... — Вздохнула притворно, дая его почувствиям. — Конечно, староват он для нее, зато человек самостоятельный, серьезный — и поступить помог, договорился с кем надо, и прописал в квартире, ведь у него в Москве квартира... Так что все равно не смогла б она к бабушке Оксе, хоть бы и отбили телеграмму.

— Не успела бы, — согласился Алеша, снова отведя взгляд к кресту. — Трое суток поездом до Печорска, а еще пароходом сколько!

Он глотал ветреный холодный воздух, открыв рот, словно рыба, но, как и рыба, не мог надышаться, потому что воздух этой стихии был ему странен и чужд.

А она достала из узелка черствую ржаную шаньгу, должно быть еще с поминок, раскрошила ее на бугорке — то ли птицам угощение, то ль самой покойнице, ведь та любила, вспомнил Алексей, крошить хлеб во что попало.

— Всех раскидало по сторонам, — сказала Павла Романовна. — Кого жизнь, кого смерть. Окся тут лежит, дома, а сынок ее, Кларочкин отец, — он в Венгрии схоронен, адрес могилки есть, да как туда съездишь? А Кларочка сама теперь в Москве живет, а я в городе... А вы где, все там же?

— Все там, — кивнул он в унынии, которое обычно владеет людьми, забредшими случайно на погост, и пусть там нет своих, одни чужие, не твои утраты, не твоя печаль, а боль гложет сердце — хоть кричи.

Ни свет ни заря зазвонил телефон прерывистой трелью междугородной, мгновенно оборвав сон и выгнав его в коридор, где висел на стене аппарат, — он выбежал как шальной, чтобы унять поскорее этот настырный звон, чтобы не проснулись раньше положенного часа Вовка с Колькой, огузовские близнецы, и не подняли рева с недосыпа и чтобы к этому реву не добавилось ворчанье Серафимы, а там и хриплые матюги Степана, — о, кто бы знал, во что обходятся ему, Алеше, эти ранние трезвоны.

Но Москва всегда вызывала его именно в эту рань, потому что поздней, в служебные часы, линия будет загружена до предела: указания, сводки, нагоняи, согласования — такая нагрузка, что, поди, провисают до земли и обрываются провода меж столбами, — и в эти часы невозможно пробиться к абоненту в Город-на-Реке даже по срочному заказу, даже по «молнии».

— Три — шестьдесят три? Товарищ Рыжов? Ответьте Москве...

В эту рассветную рань обычно звонила стенографистка отдела корреспондентской сети, сама еще сладко позевывающая: «Здравствуйте, Алексей Николаевич... Информация есть? Пишу, диктуйте».

Он только и успевал что схватить на бегу запасенное с вечера, несколько бодрых строк газетной информации: «Молодые стахановцы-лесорубы...», «Идут тяжеловесные составы...», «Огромный успех кинофильма «Сказание о земле Сибирской»...»

А сам приплясывал босыми ступнями на холодных половицах, удерживал на боку ослабшую резинку трусов, вжимал ухо в черный эбонит трубки и слышал понукания стенографистки: «...дальше... дальше...»

Как назло, ему никогда не удавалось продиктовать до конца прежде, чем распахивалась настежь дверь огузовских владений и Серафима, не глядя на него, не здороваясь, проносила в кухню свое непомерное брюхо, а там и Степан Игнатович, шаркая шлепанцами, следовал в уборную и, запираясь, успевал метнуть на него сквозь щелку хмурый взгляд.

Алеша корчился под этими взглядами и невзглядами не столько потому, что выскочил на люди, не успев влезть в штаны, сколько по иной причине: он все более тяготился этой процедурой — передачей оперативной информации в центр, — он как бы со стороны лицезрел самого себя в какой-то двусмысленной роли. будто бы он шпион и лазутчик, агент соседней державы, передающий секретные сведения и застуканный бдительными согражданами за этим позорным занятием, и весь их праведный гнев, все их гадливое презрение ложились на его голову, на его продажную шкуру.

— Говорите, абонент на линии, — сказала телефонистка.

Но на сей раз в трубке был совсем другой голос.

— Алексей, ты? Здравствуй, это Аржанников...

— Здравствуйте, Юрий Филиппович.

— Ну зачем так официально? Я, между прочим, звоню не из редакции. Однако разговор касается тебя, твоей работы, в общем, не частный разговор. Хотелось бы... Что? — Он отвлекся: это «что» было обращено к кому-то другому, присутствующему при разговоре, может быть, он даже зажал трубку ладонью, совещаясь, но потом продолжил: — Мы звонили тебе вчера и позавчера утром и вечером, отвечали, что нету дома... А ты неуловим, братец!

— Я был в командировке на Печоре. Между прочим, взял кое-что, есть любопытный материал... Я только что вернулся, этой ночью, — объяснил Алеша и тут же задал встречный вопрос: — А кто это «мы»? Ты сказал: «мы звонили»...

— Да тут рядом один знакомый тебе человек — я потом передам трубку... Но пока давай о деле. — Захрупало: он опять прикрывал мембрану, будто это могло сделать деликатней и глуше разговор на линии в полторы тысячи километров. — Послушай, старик, на тебя тут пришла телега.

— Телега... Какая телега?

— Ты не понял? Значит, до ваших краев не доперла еще эта терминология. Однако сочинять и отправлять телеги уже научились, освоили вполне... Впрочем, это всегда и всюду умели.

— Послушай, — рассердился Алексей. — ты не можешь пояснее?

— Могу, — сказал Аржанников. — На тебя в редакцию поступила бумага: обвиняют во всех смертных грехах, притом весьма мотивированно. Начальство прочло, спустило мне с резолюцией «разобраться и доложить». Но тем не менее уже на первоначальной стадии сложилось мнение: от твоих услуг как внештатника — уж прости за прямоту — отказаться...

— Почему? Да в чем, собственно, дело? Какие грехи?

Он чувствовал, как тело покрывается пупырышками. — странно, ведь в квартире, даже в этом коридоре, совсем не холодно, а лишь прохладно, как бывает августовским утром, когда что в доме, что на улице — одинаковая благодать. Что же его трясет, как на морозе? Уж

не простудился ли он на печорских остудных ветрах — там просквозило, а тут проняло, дало себя знать, обычный случай?.. Прислонил ладонь ко лбу, но лоб был так же холоден, как и сама ладонь, и он понял, что температуры у него нет, то есть что у него есть то, что бывает обычно: тридцать шесть и шесть.

— Пху-пху... — Он продул решеточку. — Алло, что ты молчишь? Говори прямо: какие грехи?

— Алексей, помилуй, но я же не могу вот так, по междугородной, открытым текстом... В конце концов, я вообще не должен был сообщать тебе ни о чем, не имею права... но вот Светлана настояла.

— Какая Светлана?

— Господи, да ты там что — совсем задичал? Всех перезабыл? Светлана Дагирова.

— А при чем тут Светлана? — рассвирепел Алексей. — Зачем ты ее припутываешь... к этой чуши?

— Да я не припутываю. Просто она здесь, рядом... сейчас я передам ей трубку.

— Нет! — крикнул Алексей и сам себе зажал рот, опасливо покосившись на огузовскую дверь, но та была недвижна и глуха. — Нет, погоди... выкладывай сначала: что там про меня написано?

— Ну как бы тебе изложить поаккуратней... там кое-что насчет твоих анкетных данных, некоторые, так сказать, разночтения... и еще... но послушай, старик, ты меня ставишь в очень трудное положение — и в служебном плане и в личном... Ну, еще некоторые факты твоего поведения там, у вас на Севере... в общем, аморалку шьют. Понял?

— Так... — Алеша расхохотался нервно. — Значит, анонимка? А вы ее — всерьез?

— Да какая же анонимка, если я тебе сразу — с первых же слов — дал понять: пришла официальная бумага, да-да, на пишущей машинке, с грифом организации, исходящий, дата, подпись, вот только что печати нету, но она для сего жанра и не надобна.

— Из какой организации? Чья подпись? Ну говори, не то...

— А что «не то»? — обиженно засопел Аржанников. — Для «не то» ты слишком далеко и я не близко... На эти вопросы ответить не могу, не имею права. Извини, но существуют служебные рамки. Все. Все что мог я уже совершил... и в том не пришлось бы каяться.

— Ну так скажи своему начальству, чтоб не торопилось с выводами: ведь ты сам говорил, что резолюция — разобраться, хотя я еще и не знаю толком, что там такое и с чем, собственно, разбираться.

— Ты, старик, невнимательно меня слушал: да, резолюция есть, но есть и мнение... Видишь ли, у нас не находят резона конфликтовать с вашими местными властями... одним словом, тебя больше стенографистки тревожить не будут... А сейчас я передаю трубку Светлане — из рук вырывает. Будь здоров.

Он замер в ожидании ее голоса.

Кстати, а откуда они звонят? Ясно, что не из редакции: слишком ранний час, да и сам Аржанников сказал, что не из редакции. Стало быть, с квартиры — но чьей? От Дагировых? Но если так, то, значит... значит Юра Аржанников уже свой человек в этом доме, иначе как бы он мог там оказаться в этот ранний час? Значит, поженились, значит — зятек. Но почему же его, Алешу, не поставили в известность об этом событии, не пригласили на свадьбу хотя бы для приличия? А почему, собственно, его должны были извещать, приглашать? Кто он им? Никто. Случайный знакомый Лильки Панкратовой, подруги детства Светланы, явившийся встречать Новый год в чужом доме, и то лишь потому, что у Лильки не нашлось другого подходящего кавалера... никто, совсем никто... Ах никто? Но тогда зачем эти звонки, душеспасительные речи?

— Алеша, доброе утро,— донесся голос Светланы.

— Здравствуй,— сдержанно ответил он.

— Как ты там поживаешь, у белых медведей? Впрочем, нет, не отвечай — сейчас не в этом дело... Послушай, я не видела этой глупой бумаги, знаю лишь со слов Юры, но я не верю ни одному слову в этом письме. Слишком очевиден повод; тебе мстят за фельетон... Но что ты собираешься делать?

— Я? Ничего. То есть я пока ничего не собираюсь делать, потому что впервые слышу обо всем этом: какая-то телега, какая-то анкета, какие-то разночтения, чушь собачья... — Он хотел было еще добавить, что и аморалка, которую ему шьют, тоже совершенная чушь, но не решился обсуждать эту тему с девушкой, тем более что он еще не знал, какую же именно аморалку ему шьют. — И все остальное,— на всякий случай добавил он.

— Ну да,— сказала Светлана,— я сразу так и подумала, что все это чушь. Но дело не в этом... Алеша, когда ты собираешься в Москву?

Любопытно все-таки, откуда же они звонят в такую рань? Он не успел взглянуть на часы, лежавшие в изголовье, у подушки, когда телефонный звонок сорвал его с постели. Но по его предположениям и по той сизости света, который сочился из-под кухонной двери, было часов семь: это по местному времени семь, здесь ведь на час позже, а по Москве так и вовсе шесть, еще, наверное, только-только заговорило радио, прозвенели куранты, отпели гимн... Ну так где же они с Аржанниковым могли оказаться вместе в этот час? Если не в ее доме, что у Дворца Советов, то, значит, у него?

Где-то на Солянке, да-да, помнится, он говорил, что живет у Яузских ворот... Но как она там оказалась?

Теперь он слышал в трубке ее дыхание — так чиста была линия. Но он не знал, что ответить, и потому молчал.

— Алло!.. Алеша? Ты куда-то пропал.

— Нет, я не пропал. Я здесь.

— А знаешь, у нас в университете открывают факультет журналистики — не отделение, а настоящий факультет. Говорят, что будут оказывать предпочтение тем, у кого уже есть опыт работы в печати... Может быть, тебе перевестись? Я думаю, что удастся. Но для этого нужно приехать в Москву. Понимаешь?

— Я понимаю. Но у меня тут еще есть дела, которые нужно довести до конца. А теперь еще нужно и кое-что выяснить... Вы не сомневайтесь, я выясню! Все как есть выясню. Я еще дам бой!

— Алеша...

Ему показалось, что голос ее дрогнул, что в нем появилось то истонченное напряжение связок, которое бывает, когда к глазам подступают слезы.

— Алеша, а может быть, и не стоит ничего выяснять? Извини, но я рассказала об этом отцу — ну, о письме,— я решила посоветоваться с ним, потому что он знает что к чему. Так вот: папа говорит, что тебе надо немедленно возвращаться сюда... то есть что в любом случае надо как можно скорей уехать оттуда. Алло, ты слышишь? Ты опять пропал. Ты все время куда-то пропадаешь...

— Нет, я не пропал. Я обязательно приеду в Москву. Только сначала я все выясню. Нельзя же уехать не выяснив...

Теперь, едва придя в себя от свалившихся на него новостей, он принял окончательное решение: все выяснить, во что бы то ни стало дойти до правды, докопаться до истины — кто, что, почему и так далее... Уж она-то, Светлана, должна была понять его намерение, поскольку еще при первой с ним встрече говорила — нет, говорила при второй, но подумала при первой, она подумала о нем, что он что-то

знает, что он и есть тот человек, который знает то, чего не знают другие, хотя она и сама толком не знала, что же ему надлежит знать.

Но, прежде чем знать, нужно было все-таки выяснить. Оказывалось, существовали на свете и такие вещи, о которых он прежде не имел представления: злой навет, оговор, клевета, сведение счетов исподтишка... то есть нет, он, конечно, давно имел представление о том, что такие вещи существуют, однако он не думал, что они могут коснуться и его, Алексея Рыжова, что они могут быть обращены против него, как и против другого, постороннего человека,— но нет, шалишь: он был полон решимости выяснить все до конца и добиться правды.

— Алеша, алло!.. Ты слышишь? Почему ты пропал?

— Нет, я не пропал.

И, кстати, именно сейчас ему представлялся случай не томиться в предположениях, не теряться в догадках, а выяснить все как есть

— Светлана,— сказал он,— а откуда вы с Юрой звоните? Я имею в виду — откуда вы звоните в такую рань?

— Из кабины,— ответила она. — С переговорного пункта, с Главпочтамта... Знаешь, на улице Кирова?

Он стремительным шагом взбирался на гору, подавляя взволнованный и надсадный дых, сгорая нетерпением поскорее все выяснить, все высказать, но на пути за перекрестком, справа, на углу поблекшей синевой крашеного теса приманило глаз изысканное строение, и он неожиданно свернул к нему, подстегнутый тем же порывом души — все выяснить. Все высказать, все решить одним махом,— и он миновал обвисшие ворота, взошел на крыльцо, протопал по стонущим ступенькам лестницы, услышал наверху цокот пишущей машинки, а ноздри ужаснула тяжелая вонь переполненной выгребной ямы.

— А-а, кого мы видим, кто к нам пожаловал... — кривя улыбочку, моргал белесыми ресницами Матвей Кузьмич Малафеев, директор Дома народного творчества. — Здравствуйте-здоровствуйте, очень рады, совсем-то вы нас позабыли, Алексей Николаевич, один раз наведались и дорогу забыли, а ведь, понимаете-понимаете, общий у нас интерес, кому тут еще дело до народных талантов, до самородков наших. что ты, что ты, никому и в голову не придет проявить заботу, им бы только Сметанкину на патефоне заводить, а своих не признают, не хотят, не-ет... Так что мы вам очень даже рады!

Он потирал пухлые ладошки одну о другую, будто лепил тесто.

«Ну погоди, ты у меня сейчас еще не так возрадуешься!» — напряг скулы Алексей.

— Спасибо за радушие, Матвей Кузьмич. А я вот только что вернулся с Печоры, из Троицкого Посада, был там в командировке. Ездил по важному редакционному заданию — проверять сигнал, но, конечно, не упустил случая наведаться к печорской сказительнице Матрене Даниловне Сидоровой, да-да, специально ходил пешком в деревню Опонь, за шесть километров от райцентра, чтобы повидаться, познакомиться..

Он с удовольствием наблюдал, как постепенно бледнеет лоб собеседника, становясь совсем бескровным, обесцвеченным, под стать его белой челке альбиноса, и как на этом лбу явственно проступают бисеринки пота.

— Так вот. Застал я Матрену Даниловну живой и здоровой, ну, конечно, в той мере, в какой можно быть живой и здоровой в ее-то годы. однако я счел за долг перво-наперво уведомить вас о том, что она не померла, как вы предполагали, как уверяли меня — помни-те? — нет, жива-здорова, чего и вам желала и велела кланяться...

— Ну спасибо, что утешили, и за привет спасибо,— шевельнулся через силу Матвей Кузьмич,— а то ведь, понимаете-понимаете, деревня, серость, обычай дикий, что ты, что ты, сами ведь говорят: кого

схоронили — того и вылечили... Поминки справят, а вот чтобы сообщить, уведомить — и некому...

— Так жива она, Матрена Даниловна, при чем тут поминки? Я с ней беседовал, вот как с вами.

— Про что же, если не секрет?

— А про то, Матвей Кузьмич,— Алексей наклонился к нему, уткнул взгляд во взгляд и тихо домолвил, уличая,— про то, что никаких, оказывается, сказов она вам не сказывала и ничего такого не было и быть не могло, потому что она хоть и славная старуха, но вовсе не сказительница, ни сном ни духом, разве что внукам сказки сказывала, так внуки ее давно выросли... А уж что до новин на актуальные темы, то — догадываетесь, конечно, куда я клоню,— эти новины вы сами сочинили, Матвей Кузьмич, подделали, не так ли?

Алексей торжествующе отвалился к спинке стула.

— Сочинили, конечно... и даже не затем, чтобы липовый сказ в газете напечатать и денежки себе в карман положить, коей-то крохой поделаясь с бедной старушкой, чтобы она и дальше и впредь молчала, ничего не сказывала,— нет, не затем... — Алексей поднял указательный палец, само небо призывая в свидетели, какую он сейчас выскажет святую правду. — А затем, Матвей Кузьмич, вы развели всю эту липу, всю клюкву развесили, чтоб оправдать свое собственное существование, то есть службу свою, должность, место свое, чтобы эту лавочку, ваш Дом народного творчества, не прикрыли и вывеску с него не сняли... Так?

Он прервал на миг свою речь и тут услышал, что цокот машинки в соседней комнате испуганно смолк, а кто там и что там выстукивал, он не знал, да и не важно было.

— Ну так что же, Матвей Кузьмич? Я жду ответа... Будем сознаваться? Или будем ваньку валять?

Малафеев скреб ногтями столешницу, как борт перевернувшейся на плаву лодки, но не слишком усердно, а еле-еле, словно бы уже наглотавшись воды и отчаясь выплыть, но еще уповая на спасение. Сморгнул белыми ресницами.

— А почему вы знаете, что она мне не сказывала сказ?

— Да как же почему! Хотя бы потому, что я ее просил, Матрену Даниловну, повторить, а она и знать не знала, что повторять, представления не имела, какой такой сказ... Видите ли,— высокомерно заметил Алексей,— профессия сказительницы, а точнее сказительницы, как поправлял нас покойный профессор Шамшин, заключается именно в неоднократности исполнения, в повторении всего обширного текста по памяти, в передаче его из уст в уста, таково само свойство народного искусства...

— Значит, вы хотите сказать, что лично вам она не сказывала сказа? Отказалась?

— Ну конечно. Я с нею два часа бился, уговаривал, умолял — и ни слова. Да откуда ей взять? Что ей сказывать?

— Вот ведь как, Алексей Николаевич... — сокрушенно развел руками директор, а между тем на губах его уже похаживала от угла до угла блудливая усмешечка, и к щекам, ко лбу возвращался румянец.— Значит, не сумели вы найти подхода к Матрене Даниловне, не нашли с ней, понимаете-понимаете, общего языка. Не проявила она к вам доверия. Не пожелала вам песни петь. Да и с чего, спрашивается, вам верить? Человек вы ей незнакомый, пришлый, вон хотя бы как одеты вы не по-нашенски, пиджачок на вас заграничный, галстук тоже — разве в таком виде в деревню ездят, в народ ходят? Тем более к пещорским-то скрытникам, кержакам: режь наши головы — не тронь наши бороды... Что ты, что ты! И вообще, Алексей Николаевич, если даже отвлечься маленько от старухи, то в наших краях вы чужак чужаком, как были — так и остались. Не прижились, не притерлись... А

мы — свои, здешние, нам и птичка споет по-свойски, и бабушка расскажет что надо.

— Вот то-то же, что надо! — вскипел Алеша. — В сказе, который в газете напечатан, в новине этой, ха-ха, ничего там народного нету, ни кровинки, ни живинки, все слова — как пятаки затертые, слог раскорякой, все вымучено, все насквозь вранье, вспомнить нечего... «Злые вороги»? Вот, скажете, и вспомнил? Так потому и вспомнил и другие вспоминают иногда, что больше вспомнить нечего. А в настоящем сказе, Матвей Кузьмич, там что ни слово — то жемчужина, что ни образ — то диво, и мысль — главное, мысль! — течет сама собой, своим течением...

Он осекся, почувствовав, как мягкие пальцы директора коснулись его руки.

— Что такое?

Малафеев растроганно смотрел на него, бесцветные глаза его поголубели и подернулись влагой.

— А как говорите хорошо, Алексей Николаевич, как складно... прямо душу всколыхнули... И сразу видно, что в предмете разбираетесь, подкованы, понимаете-понимаете... Вот такой человек мне и нужен!

— Какой человек? Что значит — нужен?

Теперь уже Алексей смаргивал ошалело.

— Нужен мне человек грамотный и работающий, на подъем легкий. Давно нужен, а все никак не подберу... Короче говоря, делаю вам предложение: идите ко мне работать — консультантом Дома народного творчества. Оклад приличный, вдвое против вашего. Из командировок вылезать не будете — и вся тебе Печора, вся тебе Вычегда, что ты, что ты! Аппаратом снабдим — записывать на ленту. Ну а насчет гонорара, — Малафеев хитренько подмигнул ему, — так это уж как сам спроворишься...

Алексей сидел онемев, потеряв голос от ярости, только судорожно сглатывал, гоняя по шее кадык.

И в этот момент тишины услышал, как в соседней комнате опять размеренно зацокотала пишущая машинка, а кто там был — он не знал, да и ни к чему.

— Что за странная идея? — наконец выговорил он. — Я работаю в редакции «Северной звезды», я широко печатаюсь, причем не только в местной печати, но и в центральной...

Он вспомнил об утреннем звонке Аржанникова, душа вдруг заныла, терзаясь недобрим предчувствием, и он не стал развивать свою мысль.

— Ну, положим, работа у вас в «Северной звезде» теперь не только завидная — читать чужие письма, деревенским грамотеям ошибки исправлять в каждом слове, а то и... — Малафеев опять подмигнул, — а то и за них, за грамотеев этих, сочинять все от начала до конца, понимаете-понимаете, ведь бывает, а? И еще...

— Что еще? — ледяным тоном переспросил Алексей Рыжов.

— Да вот еще говорят, что не все там ладно с вами, в «Северной звезде», в редакции... что, мол, попросят вас вскорости поискать другую работу.

— Вот как? Кто же это говорит?

— Молва такая ходит, Алексей Николаевич... пересказывают из уст в уста, как вы давеча выразились — народное творчество, фольклор... Может, оно и не так, не ручаюсь, конечно, что ты, что ты, но народ зря не скажет: угадлив он... Так что ежели что и если сами желаете, если оправдается слух, то вспомните о моем предложении, и милости просим вот в эти воротца, в эти двери — я возьму.

Матвей Кузьмич поднялся, давая понять, что разговор окончен.

Выйдя на лестницу, Алеша слегка пошатнулся, даже пришлось

ухватиться за балясину перил — так сильно, едва не уложив наповал, шибануло ароматом из выгребной ямы.

— Осторожней,— подхватил его под локоток Малафеев,— не оступитесь... Что, пахнет? Пахнет, конечно. — Он горестно покрутил головой. — Вот бы кого, Алексей Николаевич, надо в первую очередь пропесочить в газете, так это трест очистки! Ну разве это порядок, разве работа? Уж год как мы подали заявку, даже боле, а все не едут черпалы... И разве мы одни? У всех одно и то же, буквально весь город в дерьме! Вот, понимаете-понимаете, о чем надо в газете писать, а не хвататься за случайные темы, надо за главное браться — вот за это!..

Он знал, что Улитин со дня на день вернется из отпуска, но ждать, терзаясь неведением, не было мочи, да и кто мог поручиться, что за слухами, бродившими по городу, не скрывались мстительные козни самого Семена Ильича, он был сметлив в подобных делах.

Поэтому Алеша решил зайти к Огузову.

Хотя в последнее время — с тех пор как Степана назначили замом — в их отношениях и возникла прохладца, но ведь они были когда-то друзьями и оставались соседями, и совсем недавно Степан Огузов дал ясные доказательства, что не держит против него зла, а наоборот, всегда готов сотворить добро: отправил его в командировку вопреки строжайшему запрету редактора, а он, Алеша, в благодарность за это разрешил Степану ночевать в своей холостяцкой комнате.

Кроме того, сидя целый месяц на хозяйстве — покуда Улитин гонял пузыри в радоновой ванне, — Огузов должен был что-то знать, уж если Малафеев знал, если весь Город-на-Реке знал — весь город и вся река — и если, наконец, дошло до самого Алексея, то уж подавно Степан Огузов был просто обязан знать при своей новой высокой должности.

Во всяком случае, следовало разведать обстановку.

И, поднявшись на третий этаж, войдя в кабинет Огузова, Алексей начал бодро:

— Докладываю: вернулся из командировки в Троицкий Посад, был в колхозе «Освобожденный труд», разобрался с письмом селькора Пантелеймона Сидорова...

— Погоди докладывать,— хмуро перебил его Огузов. — Погоди про колхоз, про этого селькора, хрен с ним... Давай лучше насчет тебя разбираться,

Он отпер дверцу несгораемого шкафа — отвалил железо, крашенное под орех, — добыл оттуда папку с типографским крупным тиснением «Дело»: она, эта папка, не слишком толста, не очень весома на вид, но что-то в ней было, было дело. Развязал неспешно тесемки, вынул гляцевитые, четко разграфленные анкетные страницы, которые — Алеша углядел — были заполнены его собственноручным почерком.

И это его сразу успокоило: ну всего-то? Подумаешь, дело! Что за дело... Ведь не мог же он написать ничего предосудительного о себе самом, не мог накатать донос на самого себя, или, как очень странно назвал это нынче утром Юра Аржанников, телегу.

Он вспомнил, как заполнял эту анкету год назад, когда его институтская практика кончилась и настала пора возвращаться в Москву, но Улитин сговорил его остаться тут хотя бы на годок, потому что в редакции недоставало людей, некому было работать, выпускать газету, — и как он сначала наотрез отказывался, сопротивлялся, но в конце концов сдался на уговоры, изъявил согласие, вот тогда-то Улитин и сунул ему эту анкету, чтоб оформить все как положено.

— Есть к тебе несколько вопросов,— сказал Степан. — Вот ты тут пишешь про отца: «Рыжов Николай Алексеевич... такого-то, там-то...

военнослужащий... погиб 28 августа 1941 года...» Ты писал? Твоя рука? А вот тут — твоя подпись? — Он повернул анкету оборотом.

— Да, — подтвердил Алеша. — Я, моя, все здесь мое... А что?

— А вот что... держи, читай. — Огузов вынул из папки следующий листок, полустраничку в несколько машинописных строк, протянул через стол.

«...на ваш № б/н от... сообщаем, что по нашему запросу в Центральный архив... согласно данным учета безвозвратных потерь... бригадный комиссар Рыжов Николай Алексеевич, 1896 г. рождения... пропал без вести 28 августа 1941 г. Основание: ЦА, дон. №... Заместитель начальника отдела горвоенкомата — майор Илюхин».

Майор Илюхин! Ну конечно, ведь еще тогда, на «Тютчеве», год назад, когда был не майором, а капитаном, он говорил, что едет в Город-на-Реке по назначению в горвоенкомат. Как неожиданны бывают встречи и как удивительны их продолжения... да-да, майор Илюхин, он самый.

Вероятно, Алеша сам бы и не заметил, что рассматривает эту подпись с улыбкой, если бы не огузовский оклик:

— Ты чего улыбишься? Что-нибудь не так?

— Нет, все так, — ответил он. — Все правильно.

— Так где же все правильно — в анкете или в официальном документе?

Ах вот какие разночтения! Вот что имел в виду Аржанников, вот это... Но об этом надо было спросить напрямик — и он бы объяснил, и все бы стало ясно, и не осталось бы никаких сомнений.

— Где правильно? — повторил Степан.

— И там и там, — сказал Алеша. — Тут надо учитывать сами обстоятельства сражения, похода. Это был героический поход, бессмертный подвиг... Балтийский флот получил приказ прорваться из Таллина в Кронштадт — сквозь минные заграждения, под бомбовыми ударами, при непрерывных торпедных атаках. Причем флот шел без прикрытия с воздуха — не было наших самолетов... Отец находился на эсминце «Яков Свердлов». И, когда немцы пустили торпеду на флагманский крейсер «Киров», а на нем шло командование флота, на борту было все эстонское советское правительство — и попадание было неизбежным, — тогда «Яков Свердлов» мгновенно развернулся и принял торпеду на себя. Раздался страшный взрыв — весь экипаж погиб, одни от взрыва, другие уже в воде, и подобрать было нельзя: флот имел приказ идти полным вперед, не сбрасывая хода, прорываться во что бы то ни стало, а море буквально кипело от взрывов, от огня... Ты, Степан, военный человек, ты воевал, ты должен понимать, что там творилось. Никто не спасся... Нет, говорят, три человека спаслись чудом, — вспомнил он.

— Значит, все-таки спаслись?

— Да. Но отца среди них не оказалось.

— Ну а если не три? Если больше?

— Что ты хочешь этим сказать? — Алексей всем телом подался к столу, налег грудью, вскинул на Степана глаза в изумлении и надежде. — Ты что-нибудь знаешь? Он... он жив?

— Нет, ничего я не знаю, — поморщился Степан. — Я только знаю, что в твоей анкете написано «погиб», а в официальной бумаге — «пропал без вести». А это не одно и то же. Бывает, что это даже очень не одно и то же! — В голосе его послышалась угроза. — Потому что «пропал без вести» может означать и совсем другое — попал в плен...

— Нет, — покачал головой Алеша, — он погиб.

— Откуда ты знаешь? Ведь вон как вскинулся весь, как соблазнился, что жив...

— Нет, он погиб. Он не мог сдаться в плен. Он — комиссар.

— Не мог, значит... а то ведь, может, и взаправду — живой? Может, вытащили его немцы из воды? Что комиссар — скрыл, после такого купанья, поди, все с него смылось, а на лбу не написано. Помытарился в лагере военнопленных где-нибудь в Норвегии, а домой вернуться побоялся — с комиссаров и тут спрос особый. Вот и гуляет теперь по заграницам в шляпе, перемещается туда-сюда. В Америке прижился либо где поближе — в Гамбурге каком-нибудь... или, скажем, к родственничкам дорогим подался — прямо в Париж, а?

Алексей уже приподымался со стула, отводя от плеча руку, чтобы без колебаний, не заботясь о последствиях — он отдавал себе отчет, что хуже все равно не будет, коли дело дошло до таких речей, — нанести удар скоту, мерзавцу, наглой твари, пусть он даже и ударит ответно, вон ведь как жилист и росл, но было необходимо ударить прямо по хрящеватому носу, чтоб брызнула юшка, ударить со всею силой правоты, с той безоглядной отвагой, которая велит сыну вступаться за честь отца, — но он медлил, медлил потому, что его удерживала, не давала развернуться и ударить странная усмешка на губах Степана: будто тот был уверен, что удар не состоится, что будет лишь пустой замах, что даже замаха не будет, как только до сознания собеседника дойдет смысл только что произнесенных им слов.

— В Париж? — тихо переспросил Алексей. — При чем здесь... Париж?

— А это уже второй вопрос, второй пункт. Ты сядь, — кивнула Степан Огузов, — не суетись. Разговор у нас будет долгий.

Он вертким, каверзным движением, каким выдергивают из веерка набранных карт три забубенные — две девятки и дама, очко, ваши не пляшут, — вынул из папки три фотографии, разложил их перед Алексеем, прилепнул ладонью.

— Вот. Узнаешь?

Да, он узнал сразу, с первого взгляда. Хотя и никогда в жизни не встречал и не видел воочию эту молодую красавицу с оголенными покатыми плечами, обнятыми мягким дымчатым мехом шиншиллы, с ниткой крупного жемчуга, завязанной небрежным узлом на длинной и нежной шее, брови строгого росчерка, а под ними глаза, излучающие не сверканье, а рассеянный, влекущий свет, вот как эти жемчужины, — Вера Клеймихина, Вера Андреевна Тетенина, мадам Дюфрен, родная сестра его матери, его тетка.

Но это была совсем не та фотография, которую минувшей зимой в Москве другая его тетка, тетьа Надя, торжественно и благоговейно достала из комода, из кожаного бьюара с застежками, из паспарту цвета сухих табачных листьев, из-под прозрачной бумаги, тисненной паутинкой, нет, та фотография была коричневого тона, матовая, на плотном картоне, эта же — серая, глянцевая, тонкая на ощупь и формат другой, та была больше... значит, это не та фотография, что тайлась в теткинском комоде и, явившись оттуда на свет, стала для него, Алексея, сюрпризом — не скажешь, чтобы очень приятным, но он тогда и не мог предполагать, каковы еще окажутся последствия, — нет, это была не та фотография. Так откуда же она взялась?

Отгадку мог принести другой снимок, лежавший рядом, где на фоне облупленных и щербатых античных колонн, ничего не поддерживавших, кроме безоблачного неба, стояла та же красивая женщина — но уже миновавшая пору цветенья, — стояла, держа за руку крохотного мальчугана в белой панамке... Он хорошо запомнил, что на обороте этого снимка была надпись «Carthage, 1925». потому что тогда он еще спросил тетку, где это и что это — Картаж, а она объяснила ему, что Картаж — это Карфаген, Тунис, Африка...

Алексей взял со стола фотографию, небрежно повернул тыльной стороной: никакой надписи не было. Переснято? Но когда, кем? И зачем кому-то понадобилось лезть в тетушкин комод? 1925 год... но, мо-

жет быть, это было переснято еще тогда, в ту бесконечно далекую и смутную пору, за два года до его рождения? Мало ли что тогда могло быть.

Однако третий снимок начисто отвергал спасительное предположение: на нем Вера Андреевна Дюфрен в широкополой шляпе, скрывавшей в тени признаки увядания ее прекрасного и породистого лица, стояла у живой изгороди подстриженных кустов, за которой фонтаны взбрасывали дробящиеся струи воды, а еще дальше карабкались к облакам железные сплетения Эйфелевой башни, а рядом — рядом с этой женщиной, которую он никогда не встречал и не видел воочию, стоял долговязый парень, бережно притиснув ее к себе одной рукой, а другой руки у него не было, пустой рукав прилегал к туловищу, вероятно пристегнутый булавкой к пиджаку, — и это был все тот же мальчуган в белой панамке, что жался к маменькиной юбке в далеком Карфагене, а теперь он был взрослым и жил в Париже, за который дрался с немцами и потерял в бою руку, и этот парень, которого звали Поль Дюфрен, которого Алексей тоже никогда не встречал и даже не подозревал о его существовании, приходился ему кузенном, двоюродным братом, никуда не денешься, родная кровь... Этот третий снимок был уже послевоенным — не утешься тем, что давно, да и свежий накат, зеркальный глянец подсказывали, что отпечаток сделан совсем недавно.

О, как же он прав был в своих яростных сожалениях — тогда, зимой, в Москве, — в своих запоздалых раскаяниях по поводу того, что раньше, хотя бы годом раньше, не порылся как следует в теткинском комодке, не перевернул в нем все вверх дном, что не нашел там этот глупый бювар с застежками, а в нем — никому не нужные старые фотографии, не изорвал их в клочки, мелко-мелко, не снес на кухню, не затолкал в печку, не сжег... Если бы он мог з н а т ь! Если б да кабы. Теперь поздно.

Он обреченно положил на стол последнюю из фотографий.

— Ну что? Со свиданьем? — снова усмехнулся Степан Огузов, засовывая все обратно в папку. — А теперь еще раз заглянем в анкету, вот сюда, где вопрос: «Есть ли родственники за границей?». Ответ: «Не имею»... Твоя рука?

— Моя, — сказал Алексей, смирясь и понурясь. — Видишь ли, я совсем недавно узнал об этом, и совсем случайно. То есть когда я заполнял анкету — прошлым летом, — я еще ничего не знал, честное слово, даже не имел представления, а зимой мне сказали...

— Зимой, летом... Зря тын городишь. Не виляй. Как же это родню не знать? Меня спроси — подряд всех укажу, хотя, положим, иная родня — всего-то что на одном солнышке онучи сушили.

— Вот видишь! Не станешь же ты всех, с кем сушил, в анкете указывать! Кстати, про теток вообще писать необязательно, они не считаются близкими родственниками. Мне мать говорила, а она знает: она в партучете работает, в Смольном.

— Ну, ей-то, конечно, резон так говорить, коли сестра родная... А лично у меня, хоть я и не в Смольном работаю, вот какое понимание: про теток писать не надо, когда с ними все в порядке, когда они в Пензе живут либо в Муроме, лешак с ними, пусть живут. А вот про тех, которые... уж тут изволь... Так что дела твои, парень, откровенно если, неважные, — заключил Степан, увязывая тесемки на папке с надписью «Дело». — И ведь не скажешь, что чужие это хвосты либо ничьи, как в том фельетоне, нет, тут уж твои хвосты, твои...

Однако Алексей немного воспрянул духом при виде этих завязавшихся в бантик тесемок: он понял, что больше ничего удручающего, неожиданного и потому опасного из этой папки не явится наружу. И так с лихвой. Да и что за ним еще могло быть? Какие хвосты? Какие грехи? Опять это поповское словцо — грехи... его нынче утром пер-

вым произнес Аржанников, сказал про смертные грехи, с того и взяли его исповедовать все подряд. А кто на этом свете без греха?

Вот-вот, подумал он, в том-то и дело, что все не безгрешны. И когда один человек слишком рьяно и слишком охотно уличает другого, на это и следует переключить внимание.

— А помнишь, Степан, как мы с тобой возвращались из Печорска, как машину в кювете утопили, а потом по реке на буксирном катере тащились — уже шуга по Вычегде шла или нет еще? Нет, просто дождь был сильный... Помнишь, ты мне про детство свое рассказывал? Как вы в Пожеге жили, а в тридцатом вас раскулачили — несправедливо, ты сказал, — и как на подводе отправили за сто верст, в Ераши. Ты ведь говорил, что даже в комсомол не смел вступать, опасался: узнают, что из кулацкой семьи, да и попрут из техникума... Скажи, Степан, а вот потом, когда ты в партию вступал, когда оформлялся как положено, ты как написал в анкете? Что из середняков? Или что отец — рабочий, в артели живицу промышленяет? Интересно бы взглянуть, что ты написал...

Против ожидания Огузов довольно спокойно отнесся к этим его словам, лишь глаза больше обычного закосились на кончик носа, но ведь Алеша уже знал, что это только так кажется, а на самом деле это означало, что он пристально глядит на собеседника.

— А ты меня не пугай. Я ведь пуганый — всеми страхами пуганный. Ты этого не трожь. Мы в войну за все расплатились сполна: я — кровью, а отец деньгами... Так что мы свое отмыкали. Теперь, похоже, ваш черед мыкать. Хватит, вы над нами покомиссарили, будя! Теперь мы над вами покомиссарим.

— Это как понять? — ошарашенный подобным откровением, переспросил Алексей. — Кто же над кем?

— Ладно... — отмахнулся Степан, будто бы и сожалел, что сболтул лишнее. — Вот что я тебе скажу, Алеха. Дело ведь не в анкетах, кто их, полосатых, только выдумал! Дело в самих людях — что у кого на душе и за душой что, в человеке самое дело, во-от. И я к тебе попервам никаких претензий не имел: полагал, парень ты свойский, открытый, даже чересчур нараспашку, — так это, я думал, оттого, что чисто все в тебе, ни пятнышка... А потом, как поближе сошлись, особенно когда под одной крышей жить стали, заметил, что нет: не все чисто, есть пятнышко, червоточина, ее насквозь груди видно — вона чернеется...

«Господи, — теперь уж вовсе оцепенел от жути Алексей, — неужели и вправду видно, неужели ему, Огузову, дано такое пронзительное зрение?»

Он вспомнил фразу именитого профессора, которому мать показывала его, привезя из Городища в Ленинград, после всех напастей, после чахоточной больницы. «Нет, туберкулеза у него нет, — сказал профессор, посмотрев рентгеновские снимки и прослушав грудь. — У него в правом легком был очаг — вот видите это пятнышко, затемнение? — но он инкапсулировался, погас. Что дальше? А дальше будет так: всю жизнь при рентгенировании у него будут замечать это пятнышко и спрашивать — в чем дело, почему, откуда? Всю жизнь ему будут задавать этот вопрос. Хотя молодой человек вполне здоров, смею вас уверить...»

— И вот заметь, — продолжал Степан, пользуясь его потрясенным молчанием, — что не я один такое чую, а и другие хорошие люди. К примеру, Краля — ушла она от тебя, уехала... Зато плохие — те так и липнут. То ли ты их в свои сети тащишь, то ли — ох, тут уж близко к беде, — то ли ты в ихних сетях запутался с руками и ногами...

— Да что ты мелешь! — не стерпел Алексей. — Какие люди? Какие сети?

— Какие? Ну так я тебе их покажу, коль слов не признаешь, опять тебе покажу на картинке, какие люди...

Рванул шнурок все той же папки, да с такой силой, что он оборвался, будто веревка на шее праведника, зашуровал в бумагах трясущимися пальцами, метнул на стол, подыхивая зло:

— На вот, любуйся!

Это были отличные снимки, полные яркого солнца и прохладных теней. Крутояр нависал над рекой, а дальше гордым строем возвышались корабельные сосны Белого Бора, а над ними было темное, как омут, небо, в котором сильный светофильтр выделил пышные кучевые облака. На первом плане, откинув загорелое тело в купальнике, упершись ладонями в песок, сидела смеющаяся Лайма Бурбулите, а рядом с нею, рыцарски преклонив колено, позировал Вадим Сергеевич Хвоцинский в плавках, с черным мохнатым крестом на груди, он тоже смотрел прямо в объектив и белозубо скалился. Позади них, пряча не облаканную солнцем постыдную белизну кожи, стесняясь жалких сатиновых своих трусов, всем удрученным видом походя на утопленника, которого лишь недавно вытащили из реки и с трудом откачали, жался он, Алексей Рыжов. На травке, на расстеленных газетах стояли недопитые бутылки шампанского с ободранной фольгой, валялось крошево недоеденного съестного... На одном снимке бородатый Рафа еще терзал струны своей гитары, а цыганки Даша и Настя, разметав пестрые юбки и цветастые платки, ходили в танце — они еще не замечали, что их фотографируют, — но на другом снимке они уже опростельно убежали в чащобу, стараясь побыстрее скрыться с глаз, а бородатый чявалэ, ломаясь сквозь кусты, оглянувшись зверовато — и в этот миг его настиг щелчок затвора...

— Ну и что? — сказал Алеша, отталкивая фотографии. — Выходной день, пикник... Кому какое дело, кто где гуляет в выходной?

— Где и как — неважно, а вот с кем! — пригрозил ему пальцем Огузов. — Деваху эту из парикмахерской, положим, я лично знаю, потому что ты и ее в дом водил, а насчет типа этого из Тундры, который в редакцию к тебе являлся, имеем сведения... Прямо скажу: странные у тебя связи, Рыжов, потянуло тебя, гляжу, к классово чуждым элементам. С чего бы, а? Не в тебе ли самом загвоздка?

Глаза Степана еще вострее закосили на кончик носа.

— Ах вот как? — вскочил как ужаленный Алексей. — Значит, сгреб в кучу весь этот мусор — да-да, мусор, иначе не назовешь — и теперь пытаешься выудить из него формулировочку? Но это еще вопрос, Степан Игнатович, кто из нас классово чуждый! Не ты ли два месяца назад вообще насмеялся над этим, говорил: дескать, в классы играетесь, будто дети... А теперь, значит, выбился в начальство и обрел классовое чутье? Но ничего, ты еще не самое высокое начальство, есть и повыше... Вернется Улитин — все расскажу! Еще померяемся, чьи грехи тяжелей...

Степан попытался снова завязать папку, но при одном шнурке не получалось, и он просто швырнул ее в сейф, затолкал поглубже в темное чрево, пошуршал там, сказал не оборачиваясь:

— Улитиним грозишься? А знаешь ли ты, парень, что у него рыльце не меньше твоего в пушку? Брат родной осужден как враг народа, а в анкете — будто помер... Она как. Где ни копни — всюду есть, а ведь я едва копнул.

— Этого не может быть, — уверенно сказал Алеша.

«Значит, в Москву написал Степан», — при этом подумал он.

Сбежав на первый этаж, устремился в тупик коридора, где была дверь с табличкой «Фотолаборатория», однако Яша Черношварц имел свое хозяйство короче и удобней для языка — «лабалатория».

Постучал, уже представляя себе — он бывал здесь не раз, — как, по обыкновению, заворочается изнутри ключ, как приоткроется щелка, сквозь которую и мыши не пролезть, а за дверью еще складчатая штора до полу, а уж за ней — багровый свет, заливший тесную каморку, и черная гильотина увеличителя, нависшая над плахой, и завитки фотопленки, змеящиеся откуда-то с потолка, кюветы с проявителем, в которых на белой бумаге постепенно проступают фигуры и лица, делаясь все определенной и четче и тоже розовея в свете красного фонаря...

Еще постучал, подергал, но за дверью никто не отзывался. Якова не было — вероятно, в командировке, он ведь был в вечном разгоне.

Впрочем, подумал Алеша, зачем он стучится сюда? Какой может быть спрос с Яши? Разве за то, что он в суете, в спешке, сдуру унес наверх, не разобрав, вместе с ворохом снимков, запечатлевших прославленного бригадира сплавщиков Белоборской запани Юю Шахову, еще и несколько приятельских кадров, нащелканных на обратном пути на кончик пленки?..

Ну да, так оно скорей всего и было. Ведь не заподозришь Яшу в том, что он специально ездил в Москву лазать по ящикам теткиного комода. Нет, конечно, и он зря стучится.

Алексей поплелся к себе в отдел, сел за стол, придвинул, не подымая головы, пачку уже подколотых и пронумерованных писем... Да, вдруг вспомнил он, ведь нужно еще отписаться по командировке в Посадский район.

Взял чистый лист бумаги, вывел заголовок «В защиту селькора», подчеркнул, но дальше не шло, пальцы были вялы, перо валилось из рук.

— Раечка, — сказала Нина Максимовна, — вот подборка «По следам», отнеси-ка в секретариат Бубееву, он просил — у него дырка в полосе.

И, когда девушка вышла, обратилась к нему:

— Алексей Николаевич... нет, лучше — Алеша... у вас, я вижу, неприятности? Что стряслось? Кто обидел? Вы расскажите — может, сумею помочь. Либо подскажу, что делать.

Чем она могла ему помочь?

— Нет, — отозвался он, — просто я устал в дороге: в поезде без места, потом растрясло в автобусе.

Ладанова помолчала, видно задетая его скрытностью, но не одолела искушения выручить человека, подать ему добрый совет:

— Вам жениться надо, Алеша... сразу бы успокоили.

— Это заманчиво, — улынулся он ей через силу. — Вы только скажите — на ком, на Раечке?

— Нет, не ее я имела в виду... Асю Лыткину. Какая девушка славная. И ведь давно вас ждет, давно сохнет.

— Это верно, — сказал Алексей, — прямо иссохла вся.

Он представил себе пунцовощекое лицо секретарши Улитина, ее пухлые губы и толстые икры закормленного ребенка.

— Семья хорошая, крепкая, уважаемая в городе, — продолжала меж тем Нина Максимовна, — а дочка одна — не надыхатся. Дом у них возле пристани добротный, в два этажа, но квартирантов не держат, сами живут... Они бы вас, Лыткины, в обиду не дали.

— Я подумаю, — с готовностью кивнул Алеша, лишь бы прекратить этот нелепый разговор.

Сам же подумал: ну конечно, вот так ему и следовало бы поступить — жениться на Асе Лыткиной и пойти консультантом в Дом народного творчества к Малафееву. И жить себе дальше без забот и хлопот в собственном двухэтажном доме, за семью засовами — попробуй кто сунься, — нежиться на пуховой перине с уютной и ласковой женой, под опекой ее родителей, жить и не тужить до ста лет.

А вместо этого он мотался весь вечер по городу, как затравленный волк.

Идти домой не было мочи: прийти и где-нибудь на кухне встретиться нос к носу со Степаном, с Симчей или просто, затаясь в своей конуре, ощущать за стеной их недоброе присутствие — нет, ему не было нынче пути домой.

Но и другого пути тоже не было.

Ноги сами собой понесли вдруг по дощатым тротуарам мимо косяков десят, к дальней околице, к Слободе. Опамятовался на полпути: господи, да куда же он, что там оставил, чего ищет, какого убежища? Ведь Клары давно там нет — она уехала, оставив его здесь, горемыку.

Повернул обратно, сунулся куда-то вбок, в теснину бревенчатых строений, долго плутал дворами между поленниц, запасливо уложенных к новой зиме, сворачивал еще и еще в дровяном лабиринте — и внезапно оказался на круче, на краю оврага: там, внизу, на продувных ветрах, колыхалась пучина зажелтевших тополиных крон, сквозь редеющую листву были видны скопища вороньих гнезд, наполненных карканьем, всполошенным трепыханьем крыльем, будто бы воронье собралось в отлет.

По склону оврага ниспадала уступами лестница, а дальше был пешеходный мосток на бревенчатых сваях, с перильцами — едва разойтись двоим, — который пересекал эту бездну, а там, на другом краю, виднелись коньки седловатых крыш, белые оконницы, огородные прясла — и память подсказала, что это уже Париж...

Но чего он не видал в Париже, что там забыл, что потерял? Ничего, ровным счетом ничего.

Он даже ощутил испуг: будто стоило ему перейти этот зыбкий мосток, и он не нашел бы дороги назад, пропал бы навсегда, навеки, а он не хотел, — и в панике бросился вспять, побежал мимо трухлявых заборов, запрыгал через канавы и лужи, норовя поскорее добраться до каменных зданий центра, до людных мест — ага, вон уже маячит пожарная каланча...

Чего же он все-таки боялся? Степановых угроз? Картонной папки с надписью «Дело»?

Он с детства был наслышан о перегибах на местах. То отец, покачивая головой над газетной страницей, читал что-то вслух по поводу этих злосчастных перегибов. То мать, с ожесточением, с надрывом заспоря с отцом, выкрикивала: «Это перегибы, неужели ты не понимаешь? Это перегибы на местах!» Он тогда не знал, кто из них был прав, какие именно случались перегибы и, главное, где именно находились эти места, его отчасти утешало, что они, по-видимому, далеки.

Но сейчас не было и этого спасительного ощущения отдаленности. Он сознавал, что находится как раз на месте.

И еще он вспомнил, как Яша Черношварц, бранясь в Печорске с Огузовым — между ними не заладилось на первых порах, — как Яков орал, размахивая бутылкой над головой Степана: «Вот я сейчас махну этой посудинкой — и сам пойду возьму свой срок, тут близко!»

Да, подумал Алеша, тут близко — он знал, что близко, ведь он бывал и видел, — да, тут было совсем близко. Угораздило его.

И еще он с унынием обнаруживал, что вместо праведной злости, вместо бойцовского задора им постепенно завладевает расслабленное безразличие, покорность, подспудное чувство вины — он был уже готов взять на себя вину, которой нет за ним, лишь бы оставили в покое... Но в чем он виноват?

Помимо всего прочего томила невыговоренность. С кем поговорить? Кому излить душу?

За год, что он прожил в Городе-на-Реке, у него здесь появилось много знакомых — ведь журналистская работа чревата несметными

знакомствами. Да и не только в этом причина: сам город невелик, и год с лишком, что он провел здесь, вполне достаточное время, чтобы на каждом шагу здороваться или не здороваться, встречая знакомых,— но странно, идя по главной улице, запруженной народом в этот час, когда возвращаются со службы, попутно обходя магазины, забирая детишек из детсадов и яслей, спеша к условленным местам свиданий,— очень странно, но он не встретил на пути ни одного знакомого, и его никто не узнавал, будто бы это была совсем не та улица и совсем не тот город.

Впрочем, нет, он не прав: именно сейчас навстречу ему шел давно знакомый человек, с которым судьба сталкивала его не только в этом городе, но и в других местах — в тихом поселке чугунолитейного завода, в молодом оживленном городе нефтяников,— да, навстречу ему шел следователь прокуратуры Геннадий Сергеевич Габов, родной брат редакционной бухгалтерши Анны Сергеевны, и Алеша даже отметил для себя, что за все время их давнего знакомства он впервые видит Габова в прокурорской форме, в коричневом кителе с серебряными погонами, а то он все время появлялся в штатском, и еще Алеша определил, что Габов тоже увидел его еще издали и теперь быстро приближался, и Алеша, заранее радуясь этой встрече, замедлил шаг, изобразил на лице приятную улыбку, однако — что за наважденье? — Геннадий Сергеевич проследовал мимо него, четко печатая шаги по тротуару, сопровождая их такой же строевой отмашкой рук, нет, он не то чтобы нарочно отвернулся либо опустил голову, нет, он смотрел при этом прямо на Алексея Рыжова, точнее сквозь него, и прошел как будто не мимо него, а сквозь, не поздоровавшись, не кивнув, не узнав.

Прошел и отдалился, затерялся среди других прохожих.

А он, Алексей, все еще топтался на месте в недоумении и оторопи.

Как же так?..

Теперь его обуял знобкий страх отчаянья.

Он двинулся дальше, но на пути был дом, где он жил, а туда нельзя было идти, и он свернул направо, пошел другой улицей, а там опять взял направо — он петлял, запутывал след,— но если бы он еще раз повернул направо, то вышел бы полный круг и он снова оказался бы на главной улице, где его уже видел следователь Габов, и тогда, с трудом переводя дыхание, он прислонился к углу бревенчатого дома — двери его поминутно хлопали, на ступеньках крыльца топотали подошвы,— Алексей поднял взгляд и увидел вывеску: «Парма».

Ах да, это был ресторан «Парма», куда его зывал Хвоцинский, а он отказался идти с ним, и правильно сделал, но, может быть, туда стоило заглянуть сейчас, чтобы пересидеть часок в многолюдье, в завете табачного дыма, в пьяном гомоне?..

Он порылся в карманах: обнаружил там несколько смятых рублевков и горсть мелочи — все, что осталось после командировки, а зарплата лишь послезавтра,— но того, что он наскреб, пожалуй, вполне хватало на кружку пива и на пачку дешевых папирос: курить хотелось зверски, а курево тоже иссякло. Он поколебался минуту, прикидывая, как жить завтра, но завтра будет только завтра,— и вошел.

Хотел неприметно, бочком, стеночкой достичь буфета, но, едва переступил порог, услышал за спиной строгий оклик:

— Рыжов? Стой, ни с места!..

Судорожно глотнув комок, вставший в горле, он все-таки набрался отваги оглянуться.

За столиком сидел Бубеев, улыбаясь от уха до уха,— сидел в одиночестве и скуке, потому и рад был пошутить.

— Добрый вечер, Василий Васильевич,— промолвил вздрагивающими губами Алексей. — Очень приятно. А я вот зашел...

— Ну, коли зашел, садись. Вот стул, а вот стол, а вот тебе и стакан — вроде чистый... — Вась-Вась взял графинчик, набулькал ему водки, себе тоже. — Будь здоров.

— Да что вы! Спасибо, я ведь не за этим — я за папиросами, совсем случайно...

Алексею было неудобно и совестно принимать угощение от Вась-Вася, он и так был перед ним в долгу, сколько раз намеревался пригласить и угостить, да и сам Бубеев напрашивался неоднократно, намекал, что пора обмыть намолоты, но Алеша под любыми предлогами, а то и без предлогов уклонялся от этих встреч, памятуя строгий наказ редактора: «С Бубеевым не пей: он алкоголик, больной, несчастный — его щадить надо, жалеть. Не подноси ему, не ставь». И Алеша соблюдал запрет: не подносил, не ставил, жалел. А потом и намолоты иссякли... Но что он мог поделаться сейчас, когда сам Вась-Вась ему поднес?

— Вы тоже будьте здоровы,— пожелал Алексей, опрокидывая стакан.

— На, зажуй... — Бубеев сбросил ему на хлебный ломоть кусочек селедки с кольцом лука из своей тарелки. Скучные глаза его немного прояснились, ожили, сощурились хитро. — Так, говоришь, случайно зашел?

— Ну да, за папиросами,— подтвердил Алеша.

— А ведь я тебе уже втолковывал, что ничего случайного на свете не бывает. Что случайность — это лишь скрепление необходимых связей, результат причинного хода; понимаешь? Больше того: иногда необходимость и случайность тождественны друг другу... Возьмем энциклопедию: «Случайность — смотри необходимость».

Алексей не перебивая, не прекослова слушал рассуждения Вась-Вася, хотя они ему были давно известны и порядком надоели. Но все-таки именно он сейчас угостил его, он был хозяин застолья, хозяин беседы — и Алеша был просто обязан терпеливо внимать его речам.

Кроме того, сейчас, когда заолодевшая от страха кровь веселей забегала в жилах, Алексей уловил определенный резон в ходе мыслей Бубеева: да-да, после всех треволнений нынешнего дня ему было просто необходимо выпить полстакана водки, чтобы согреться, чтобы снять напряжение нервов, но у него, к сожалению, не было на это денег, и когда он вошел в ресторан с той робостью, с которой входят безденежные люди, здесь совершенно случайно оказался Вась-Вась, помиравший от скуки, и окликнул его, и пригласил к столу, и даже чистый стакан случайно оказался под рукой — нет, он был совершенно прав, энциклопедист Бубеев, говоря о тождестве случайности и необходимости.

Алеша огляделся: что же тут изменилось с тех пор, как закрытую столовку актива сделали открытым для всех рестораном «Парма»? Перекрасили стены, повесили на окна занавески попестрее, ярче, а больше ничего... Нет, вот еще: картина в позолоченной раме, которой прежде не было, а теперь висит — знаменитая картина Шишкина «Утро в сосновом лесу». Глаза его поневоле задержались на этой картине: ему показалось, что в ней что-то не так. То есть о качестве живописи говорить не приходилось — живопись была ужасна, — но не только это отличало ресторанный копию от музейного подлинника. Полотно почему-то было вертикальным, хотя зрительная память Алеши настаивала на том, что в оригинале картина разверстывалась вширь. Но и этим не исчерпывались различия. Он хорошо помнил, что на картине Шишкина лес был большой, с высокими соснами, с косыми разбегами поваленных деревьев, с узловатыми корневищами, с просторной опушкой вдали, повитой рассветным туманом, и на

этом фоне резвились три маленьких медвежонка под приглядом матерой медведицы. Здесь же, на этой картине, все медведи казались устрашающе огромными, а сосны, наоборот, были укорочены, будто разделаны на сортамент для сплава, корневища отпилены, опушка куда-то исчезла, туман испарился, все было совершенно иначе, совсем другая картина — но ведь он не ошибся, предположив, что это «Утро в сосновом лесу»? Нет. Как же так?.. И вдруг его осенило, он понял: эту картину, украсившую ресторан «Парма», живописец копировал не с подлинника и даже не с репродукции, выданной из альбома, а с обертки всеми любимых конфет «Мишка косопалый», да-да, точно, именно оттуда, потому и картина оставалась знакомой взгляду, хотя в ней все переиначилось, и уже в этом новом виде, сойдя с конфеты, опять увеличившись в размерах и втиснувшись в позолоченную раму, она оказалась возвращенной искусству и его ценителям в Городе-на-Реке.

— На, подойди к буфету, к Зойке, возьми еще двести.. нет, пожалуй, триста,— сказал Бубеев, отвлекая его от картины. Протянул пустой графинчик и широко, словно капустный лист, пятидесятирублевку. Улыбнулся. — Как думаешь, вдвоем осилим?

— Осилим,— заверил Алеша.

Буфетчицей была та же самая грудастая краля, которая, он помнил, торговала здесь водкой и год назад, когда он впервые появился в этом зале. Она еще спросила его тогда: «А вы взаправду из Москвы?»

Теперь же, отмерив мензуркой и залив графин, она лишь стрельнула в него глазами, ничего не спросив, потому что уже знала о нем, что свой, не из Москвы.

Они выпили еще по полстакана, после чего Вась-Вась вдруг отключился, уронив голову, вздремнул.

Что же касается Алеша — а он был совершенно трезв, — то он снова припомнил свое первое посещение этого зала. О, если бы он мог тогда хотя бы предположить, что случится с ним год спустя, если бы он заранее знал, как жестоко и несправедливо обойдутся с ним в этом городе — сначала привадают и обласкают, а потом зарежут без ножа, — разве он задержался бы здесь долее дня? Ведь это был граничный момент, когда все еще имело обратный ход; правда, он уже изъявил согласие пройти практику в редакции, но еще не получил на руки коленкорovou книжечку с серебряным тиснением «Северная звезда»; ему уже предоставили по брони номер в гостинице с белоснежной роскошной постелью, но он еще не спал на ней, не разбирая ее; ему уже выдали талоны в эту закрытую столовку, но он еще не съел здесь ни куска... Он еще успевал тем же вечером, плюнув на все, схватив свой чемодан, добежать до пристани, купить самый дешевый билет и с третьим гудком в последний миг, когда уже убрали сходни, запрыгнуть на борт — и отплыть, ту-ту, помахав рукою на прощанье, счастливо оставаться, не поминайте лихом...

Но если бы он даже не уехал, если бы и остался, то мог, конечно, с большей осмотрительностью распорядиться своей жизнью в Городе-на-Реке. Он не был бы столь доверчив к людям, зная теперь их коварство и подлость; поостерегся бы совать свой нос куда не следует, куда опасно соваться; уберегся бы от тех ошибок, которые наделал тут по глупости, по молодости лет, — и, глядишь, вся жизнь его сложилась бы иначе.

А вот интересно, подумал он, а что, если бы он приехал на практику не сюда, а в какой-нибудь другой город? Если бы он поехал не в Город-на-Реке, а, допустим, в Город-на-Море или, скажем, в Город-Ни-при-чем, то как бы там сложилась его судьба? В какой мере нескладности его жизни продиктованы местом? Может быть, в другом месте все сложилось бы куда благополучней и счастливей? Или же

эти беды определены не столько местом, сколько временем?.. Но на то уж не было его воли: он никак не мог выбирать время, в какое ему жить,— живи, в каком живешь.

И все-таки его не покидала вера в то, что все могло бы обернуться иначе, будь он чуточку осмотрительней.

— Нет,— сказал вдруг Вась-Вась, открывая соловые глаза.— Нет, мальчик... иначе быть не могло. Ты учти: жизнь — свирепая штука. Она тебя где угодно найдет, везде достанет. Видишь ли, от нее, от жизни, есть только одно средство — совсем не жить... но пока еще неизвестно, лучше это или хуже.

— Я не понимаю, о чем вы говорите,— протестующе напрягся Алексей, потому что не мог взять в толк, каким образом его снулый сосед мог догадаться, о чем он думает, прочесть как по писаному его сокровенные мысли.

— Сейчас поймешь, я тебе сейчас все объясню. Только давай еще по чуточке...

Алеша налил, они выпили.

— Видишь ли, дело не в судьбе, не в предназначении,— сказал Бубеев, пророчески светлея взглядом.— Но если иметь в виду линию жизни, то у каждого человека прочерчивается определенная линия. И графически она изображается кривой, ибо жизнь есть функция, а функция всегда криволинейна. Прямая — это отсутствие жизни: ни вдоха, ни пульса. А если жизнь, то она непременно крива... Соображаешь?

— Да, конечно,— сказал Алексей, в голове которого сейчас, после третьей дозы, все перекошилось, сплелось в клубок школьных кошмаров: синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, параболы, гиперболы, хорды, биссектрисы... Возникло знакомое чувство обморочного кружения, когда голова начинает так быстро вращаться вокруг собственной оси, что само вращение скрадывается, создавая новую неподвижность, и никто со стороны не замечает этого вращения, им кажется, что все на месте — нос, рот, глаза,— и только сам он чувствует, как кружится.— То есть нет...— добавил Алеша, схватившись украдкой за сиденье стула, чтоб не упасть.

— Хорошо,— снисходительно кивнул Вась-Вась.— Я объясню тебе наглядней. Возьмем этот стакан...— Он взял стакан и обвел пальцем его ободок.— Вот эта кривая линия, если смотреть на нее снаружи, представляет собой выпуклость. А если мы исследуем ее с другой стороны,— он провел круг внутри стакана и облизнул палец,— то здесь она уже представляет собой вогнутость. Точно так же бывает в жизни: то, что сейчас тебе кажется вогнутостью — или, житейски толкуя, минусовым отрезком, несчастной полосой,— на самом деле, если взглянуть на это с другой стороны, окажется выпуклостью: моментом страдания души, закалки, обретения горького опыта, без которого — уж ты поверь — человек еще не человек, а лишь форма существования белков...

Бубеев дружески возложил ему на плечо руку.

— Неправда! — запальчиво возразил Алексей и, поведя плечом, сошвырнул эту руку.— Вы все врете, хоть и энциклопедист. Я проверял. Я специально заходил, когда вас не было, и смотрел. Там нигде не сказано, что «выпуклость» надо смотреть на «вогнутость»... Нет и нет! Вы наврали или выдумали.

— Тише, не ори,— попросил Вась-Вась, склоняясь над столом.— Зачем кричать? Люди оглядываются... Ты не там искал, где надо, вот и все. А вообще, Рыжов, учти, что любая энциклопедия состоит как бы из двух частей: из того, что в ней есть, и из того, чего в ней нет. Таков научный принцип!

— Ерунда,— рубанул кулаком Алексей.— Вот у меня осталась сдача от ваших денег, я сейчас пойду в буфет, возьму на осталь-

ные... И заодно проверю, где у этой крали вогнутости: по-моему, у нее их нет, одни только выпуклости — и здесь и здесь...

— Не ходи,— остерег Бубеев,— может, хватит?

— Нет, я пойду,— заявил Алексей и встал, пошатываясь.— Я проверю все как есть. Теперь я никому не верю на слово!

Он, слегка плетя ногами, но, в общем, благополучно достиг буфетной стойки, сказал:

— Послушайте, краля...

— Твоя краля уехала. А меня зовут Зоя,— ответила буфетчица, потрянув кудряшками.

— Не имеет значения, все равно...— отмахнулся он.— П-послушайте, вы далеко отсюда живете? Вам не страшно ходить одной по улице? Можно вас п-проводить?..

— Эва какой провожалщик выискался, сам дойдешь ли?— рассмеялась Зойка. И, положив на стойку гладкие локти, устроила меж них, как в ставенках, ядерные груди.— Что с тебя нынче проку? Иди проспись... Другой раз побеседуем.

— Куда мы идем?— все возмущался он, норовя вырваться из рук Бубеева и ушмыгнуть в ближайший переулочек.— Куда вы меня ведете?

— Домой,— объяснял Вась-Вась.

— Я не хочу домой!— упирался Алексей.— Я не пойду. У меня нет дома, у меня никого нет на свете... Я — беспачпортный бродяга. Да погодите же, не цепляйтесь, я хочу вам спеть...

— Только тихо,— попросил Бубеев.

— Ладно... Глухо-ой неведомой тайго-ою, сибирской дальней сторно-ой...— заголосил Алексей Рыжов.— Теперь и вы подхватывайте: бежал бродяга-ага с Сахали-ина... навстречу — кто?

— Да никто,— сказал Вась-Вась.— Там этого и нету вовсе, чтоб навстречу. Навстречу — это другая песня... И при чем здесь Сахалин?

14

Час за часом названивал Асе, справляясь, свободен ли редактор, можно ли к нему зайти. Она отвечала: «У него Бубеев», «У него Степан Игнатович, это надолго...» — а потом: «Уехал в обком». В конце дня позвонила сама, но спросила не его, а Нину Максимовну Ладанову — редактор вызывает; та, собрав приготовленные бумаги, пошла наверх.

Алешу это не удивляло: ведь Улитин только что вернулся из отпуска, спешил войти в курс дел и прежде всего беседовал с руководящим звеном. Что же касается его, Алексея Рыжова, то он не принадлежал к этому звену, знал свой шесток, свой черед. Однако ему необходим был срочный разговор с Семеном Ильичом — он понимал, что нельзя медлить, особенно после затяжного визита к редактору Степану Огузова.

Он нервничал, не находил себе места. Подошел к репродуктору, довернул колесико.

— ...прослушайте объявление,— выплыл оттуда насморочный голосок дикторши местного радиовещания.— В кассе аэропорта производится продажа билетов на пробный рейс авиалинии Город-на-Реке — Москва. Вылет пятнадцатого августа в семь часов утра. Продолжительность полета с промежуточными посадками в Кирове и Горьком — шесть часов. Стоимость билета...

Выключил, потому что уже знал наизусть это объявление: его передавали по радио третий день подряд и дважды напечатали в «Северной звезде». Пошуршал сегодняшней газетой — да, вот оно: «...пробный рейс авиалинии...» Судя по всему, продажа билетов шла не слишком бойко. Обыватели Города-на-Реке не поддавались соблаз-

ну добираться до Москвы столь быстро, спешить как на пожар. Куда милей проделать этот путь неторопливо и степенно: трое суток шлепать на пароходе до Котласа, а там пересестъ на поезд и еще двое суток трястись в плацкартном вагоне, разложив на столике припасенную снедь, обсуждая с попутчиками жите-бытье и мировые проблемы. Вот тогда-то хоть память останется о паломничестве в далекую столицу, будет что порассказать родным и знакомым зимними вечерами, а эдак что за прыть и что за суета — летишь, свистишь, — за один день можно поспеть туда и обратно, а потом доказывай, что был в Москве, никто не поверит, засмеют, будто и не был, а и в самом деле — был ли?..

Вернулась Ладанова со своими бумагами, и по виду ее можно было догадаться, что свидание с начальством прошло без осложнений.

— Семен Ильич уже прочел вашу заметку «В защиту селькора», у него гранки на столе, — сообщила Нина Максимовна. — Велел Бубееву ставить в номер.

Известие обрадовало Алешу: отсюда следовало, что редактор задним числом благословил его поездку в Троицкий Посад, несмотря на строгий запрет посылать в командировки сотрудника отдела писем Рыжова.

Это обнадеживало и в связи с предстоящим разговором.

— А вы что же не идете домой, Алексей Николаевич? Рабочий день кончился.

— Я задержусь. У меня тут кое-какие дела.

— А-а... — поощрительно и лукаво улыбнулась Нина Максимовна, засекая, конечно, что он весь день напропалую звонит секретарше редактора Асе Лыткиной. — Ну, желаю вам успеха, до свиданья. — И ушла.

Он опять схватил трубку, назвал номер. Заныли долгие гудки. Неправильно соединили? Перезвонил, стуча по рычажку. Опять гудки, гудки... Значит, Ася тоже ушла домой? Ну да, ведь время.

Однако Улитин должен был, по обыкновению, засидеться в редакции допоздна: со свежими силами и проветренной головой читать полосы, править, подписывать в печать — и между этими занятиями они могли наедине переговорить обо всем, что не терпело отлагательства.

Кстати, у Алеши тоже был повод задержаться на работе: в номере шел материал за его подписью — вдруг возникнут вопросы, появятся замечания, да и самому не мешало перечитать текст в полосе.

Он поднялся на третий этаж, заглянул в прихожую — да, Аси уже там не было, пишущая машинка зачехлена.

А за дверью редакторского кабинета — он прислушался — улавливалось движенье, негромкие звуки. Значит, Улитин был на месте.

Стучать по кожаной обивке двери на ватном подбое было глупо — не выйдет стука, — и он просто потянул на себя эту дверь, открыл, как обычно.

— Разрешите?

Прежде всего заметил, что за письменным столом никого нет, лишь торчит спинка кресла. И настольная лампа погашена. Значит, редактор тоже ушел или отлучился ненадолго?

Но, покосившись налево, вздрогнул: на диване, окаменев от неожиданности, сидел, тяжело дыша, Семен Ильич с взерошенными волосами и потным лицом, а рядом с ним сидела Ася в расстегнутой блузочке, юбке, сбитой выше колен, — ее тугие щеки, румяные во всякий час и по любой поре, были свекольно-багровы и теперь наливались еще гуще.

— Извините... — пролепетал Алеша, в растерянности не двигаясь с места.

Первой опомнилась Ася: вскочила, зачем-то заслонив ладонями лицо, может быть, еще надеясь, что он не узнал ее в полумраке, и опрометью выбежала из кабинета.

— Прошу прощения,— еще раз извинился Алексей,— я не думал, что...— И попытался к двери.— Я зайду в другой раз...

— Нет, погоди,— остановил его Улитин. Поднялся, крикнув, и в ответ его кряхтенью меланхолично, как гитарные струны, пропели пружины дивана.— Ничего, бывает...

Неспешно прошагал к столу, оправляя ворот рубашки, вытирая носовым платком влажный рот.

Алеша заметил, несмотря на вечерний сумрак, что лицо и шея Семена Ильича покрыты завидным густым загаром, что рыхлые плечи его заметно потощали, молодецки распрямились, а вислый живот подобрался — он, несомненно, хорошо и с пользой провел свой отпуск в Крыму.

Тем временем Улитин топтался на ковре подле письменного стола, не решаясь опуститься в начальственное кресло и, по-видимому, догадываясь, что это не поправит обстоятельств только что приключившейся сцены, а лишь усугубит неловкость. Что любая его речь обернется вопиющей фальшью, после того как он был застигнут врасплох в своем кабинете за столь несолидным занятием — тискал девочку.

Приблизился, заговорил сочувственно и тихо:

— Что, Алеша, неприятности? Слышал, уже слышал...— В раздумье потер подбородок.— Ну ладно, давай так: здесь об этом разговаривать не будем. Поедем сейчас ко мне домой — я ведь еще не обедал и тем более не ужинал, так что хоть чайку попьем, авось хозяйка уважит... А ты не знаком с моей хозяйкой, с женой, с Ангелиной Юрьевной? Ну вот и познакомлю. Заодно потолкуем обо всем... А после мне еще возвращаться сюда читать полосы. Так что едем.

Влезли в «Победу» — за рулем сидел Егор, обернулся, скаля зубы, кивнул Алексею по праву старой дружбы — и покатали с горы как на санках, с выключенным сцеплением мотора.

Семен Ильич взял из-под заднего окошка затертую газету, и Алеша сразу по шрифту определил, что газета центральная.

— Вот, в Москве купил, на вокзале. Всю дорогу читал — и что в строках и что между строк,— а чувствую, что надо читать еще и еще. Очень серьезный, очень важный материал... я имею в виду отчет о сессии ВАСХНИЛа, доклад Трофима Денисовича Лысенко, выступления академиков. Улавливаешь остроту полемики?

— Да, я читал,— буркнул Алеша, пока не одолев смущения после кабинетного происшествия и вместе с тем слишком озабоченный собственными делами, чтобы принимать близко к сердцу амурные забавы Улитина или какие-то там профессорские словопрения.

Зато Егор с готовностью откликнулся:

— Я извиняюсь, Семен Ильич, но тоже в эту газетку заглянул, пока ждал... Да неужто верно, что ученые люди посреди войны, взад-вперед, когда кругом голодуха, они мух разводили? Тут про них так и сказано — «муховоды»...

— Вот он, глас народа! — удовлетворенно толкнул коленом ногу Алеша редактор. Объяснил шоферу: — Ну, они их, конечно, не на мясо разводили, а для научных опытов. Имеется в виду дрозофила, плодовая мушка. Но, действительно, звучит для слуха дико и кощунственно... все кругом возмущены.

Алексей помалкивал.

Спуск остался позади, и Егор, врубив двигатель на рабочий ход, погнал «Победу» вдоль мельгешащей прутьями ограды парка. Сднako было ясно, что он еще не до конца насытил свое любопытство.

— Я вот еще спрошу, Семен Ильич: правда ли, что можно вывести такой гибрид, чтоб под низом картошка, а наверху, взад-вперед, на ботве,— чтоб помидоры?

Улитин засмеялся, поддакнул:

— А чем плохо? Сочетание приятное. Да ведь это еще и до мичуринцев пробовали. Угощают попа в великий пост, а на столе скромное, он и скажи: «А ну, поросся, превратись в карася!..» И съест.

Машина подрулила к большому белому дому, утопающему в прибрежной зелени.

Алеша знал, что здесь живет городское начальство, но ему еще не доводилось переступать этих порогов.

Дверь на втором этаже отворила женщина отцветших лет.

— Познакомься. Геля, это Алексей Рыжов, я тебе о нем рассказывал,— представил Улитин гостя супруге.— Между прочим, он ленинградец, как и мы с тобой, земляк.

— Что вы говорите! — всплеснула руками Ангелина Юрьевна.— А я так давно не бывала в Ленинграде, после войны ни разу, хотя там и родственники и знакомые... Теперь, наверное, даже на Невском заблужусь.

Привядшее ее лицо было очень бледно в противоположность мужнину загару, из чего Алексей заключил, что Ангелина Юрьевна не ездила нынче в Крым. Впрочем, и в минувшем году, вспомнил он, Семен Ильич возвращался с курорта один, видно, таков уж тут был заведен семейный порядок.

— Накорми нас, Гелечка, чем богата и чаю завари погуще,— сказал Семен Ильич, нежно поцеловав жену в щеку, при этом скосив маслянистые глаза на Алешу, давая понять, как прочен этот союз и какой лад царит в семье, чтобы он не вообразил бог весть чего, не делал поспешных выводов из нелепой случайности.— А мы покада побеседуем...

За большим обеденным столом они оказались даже более далеки друг от друга, нежели это бывало в служебном кабинете Улитина, когда Алеша сживал в кожаном кресле у редакторского письменного стола. Кроме того, бахрома пышного абажура полосатой сеткой тени загораживала лица и как бы выводила сидящих из круга взаимного пристального наблюдения в укромность и покой.

Она же прятала в тени обстановку парадной этой комнаты, но Алексей приметил книжный шкаф с позолоченным тисненем переплетов, и горку со старинным фарфором, и пятнышки эмалевых миниатюр на стенах — камзолы, парики, ленты через плечо, локоны, чепцы — неужели это были родственники, предки Улитина либо его супруги и они их так отважно выставляли напоказ?

Но ясно, что вся эта утварь не была прикуплена по случаю здесь, в уездном, лабазном, захолустном Городе-на-Реке, а была привезена сюда еще до войны из Питера: значит, владельцы осели тут прочно, не имели склонности к кочевой жизни, не собирались уезжать отсюда в обозримом будущем — и это было важно, очень важно понять (так полагал Алеша) в преддверии дальнейшей беседы.

Однако Семен Ильич все еще шелестел купленной на московском вокзале газетой.

— Ты вот послушай, как речист на трибуне академик Жуковский: «Мы, нередко ваши оппоненты... это далеко не так просто сделать, как изображают мои оппоненты...» Ишь развоевался! Оппоненты, оппоненты — развел дискуссию... Но и хитрит: «Я не являюсь противником переделки природы растений методами воспитания, иначе говоря — методами воздействия факторами внешней среды...» Тут он, видишь ли, вроде бы и поддерживает основной тезис доклада, но сразу же его и атакует — дескать, попробуйте сделать мула плодотворным или переделайте твердую яровую пшеницу в озимую с устойчивой наследственностью...

— А что, это на самом деле можно — переделать порося в карася? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да и не об этом спор! — Улитин отшвырнул газету. — Неужели ты не понимаешь, что суть спора вовсе не в гибридах и не в этой дурацкой мухе?.. Вот товарищ академик язвит по поводу воспитания растений — и будто бы целит лишь в гибридизацию, в научный авторитет Трофима Денисовича, таскает его за нос... Ну а если взглянуть на этот вопрос шире, философски? Ведь тогда речь пойдет о воспитании вообще. О возможности... нет, наоборот, о невозможности такого воспитания! Тогда обнажится подоплека спора: не только об урожаях и надоях речь — о человеке! Доказывать извечную неизменность природы значит отрицать саму задачу воспитания нового человека, свободного от дурной наследственности прошлого, от пережитков... Мол, что тебе на роду написано, то и будет. Каким ты на свет явился, таким и останешься. сколько ни учишься, ни работай, сколько ни читай газет, сколько радио ни слушай.. Ну а если так, то зачем мы с тобой, Рыжов, пыхтим, надрываемся, ночей не спим, себя не жалеем? Зачем бумагу изводим?..

Его тираду прервало появление Ангелины Юрьевны, принесшей тарелки с жареной, еще пузырящейся маслом картошкой и салатницу с крупно нарезанными помидорами.

— О,— воскликнул Семен Ильич,— как раз к теме! Не с одного ли куста корешки и верхки?

— Не знаю,— пожалала плечами хозяйка.— Картошка с базара, а помидоры ты привез с юга.

— Неужели? — Он подмигнул Алеше.— Ну тогда навалимся дружной... Нам бы еще, Геля, хлебца мяконького, беленького. Найдешь?

— Ох,— спохватилась Ангелина Юрьевна,— вечно забываю.

Да, подумал Алеша, сразу видно, как она давно уехала из Ленинграда и как давно там не бывала: ленинградские женщины не забывают о хлебе.

Некоторое время молча они скребли вилами тарелки: картошка была на диво вкусна. Потом Улитин сказал:

— Вот как далеко может завести это преклонение перед наследственностью, в какие дебри...

Да, подумал Алеша, очень далеко может завести. Они уже битый час разговаривали о совершенно посторонних предметах, минуя то главное, ради чего он целый день рвался к Улитину — и ворвался в конце концов, да так неудачно.

— Семен Ильич...

— Погоди,— перебил тот, глядя ему прямо в глаза.— Ты не думай, что я забыл. Я помню. Я к тому и веду... Вот и тебя как больно это зацепило — наследственность. Отец, тетка, двоюродный брат — знаю, знаю... Ловко тебя подсек Огузов со всем этим. Можно, конечно, оправдываться, объяснять что да почему, но спорить бессмысленно: факты налицо.

Вот как, подумал Алеша, значит, все это ему уже известно досконально — тот же Степан поведал нынче, открыл папку с надписью «Дело», потому и сидел так долго. Стало быть, всю эту щепетильную и мучительную часть разговора можно было опустить, все это можно было проскочить и сразу перейти... к чему же?

Взгляд его задержался на миниатюрах, темными пятнами окропивших стены комнаты.

— Дело в том,— сказал Алеша,— что он говорил не только о моей родне, но и о вашей. И тоже приводил факты.

— Какие... факты?

Семен Ильич, машинально дожевывая, округлил глаза.

— О вашем брате. Который осужден, а вы написали, что умер.

На сей раз появление Ангелины Юрьевны с дымящимися чашками оказалось весьма своевременным: оно позволяло им обоим перемолчать несколько минут, привыкая к неожиданному повороту беседы.

— Пейте, пожалуйста... но теперь я забыла сахар,— вздохнула хозяйка, удаляясь снова.

— Я понимаю, что это неправда, но он так сказал мне...— поспешил объяснить Алеша.— Ведь это неправда?

Улитин тяжело поднялся со стула, заложил руки за спину, пошел по комнате, попирая скрипучие бруски паркета.

В углу висела черная тарелка репродуктора — такая же точно, как в его служебном кабинете. как в отделе писем: еще повсюду, на работе и дома, держали эти черные конусы. за войну к ним привыкли. знали, что оттуда все наверняка и одинаково для всех — что радость, что беда,— и не спешили менять.

Семен Ильич повернул регулятор, и тотчас запел печальный бас:

— Уймитесь, волнения страсти, засни, безнадежное сердце! Я плачу, я стра-аждаю, душа истомилась в разлу-уке...

Улитин послушал кивнул одобрительно, вернулся к столу.

— Пирогов, люблю его... Да, так на чем мы остановились? А-а... видишь ли, на этот вопрос нельзя ответить однозначно — правда или неправда,— все гораздо сложнее. Мой брат Борис Ильич — кстати, он работал в органах, большой человек — был арестован по злостному клеветническому доносу, который имел целью дискредитировать не только его, но и опорочить наши органы вообще! И вот, представь себе, совершенно невинного человека осудили на десятку, загнали в Магадан...

— Но разве такое могло быть? — пораженно выдохнул Алексей.

— Может быть, и не могло, но было.

Ангелина Юрьевна виновато улыбаясь, принесла сахарницу и, поймав колючий взгляд мужа, пообещала:

— Я больше не буду вам мешать, потому что больше ничего вам не будет, все. До свиданья.

— ...как со-он неотступный и грозный, мне снится соперник счастливый,— рокотал гневливый бас,— и та-айно, и злобно кипящая ревность пылает...

— М-да.— Улитин, нахмурясь, оглаживал скатерть.— Ежовщина. Ты хоть и мал был в ту пору, но должен был кое-что слышать. Партия решительно пресекла это явление. В тридцать девятом со многих людей, подвергшихся произволу, сняли обвинения. Мой брат Борис был тоже полностью оправдан. Но потом произошло несчастье...— Семен Ильич сидел, не подымая головы.— Пароход, на котором он плыл из Магадана во Владивосток, попал в шторм и затонул в Охотском море, никто не спасся... Вот такая случилась беда, Рыжов.

Как странно, подумал Алеша, какое горькое совпадение: пароход, на котором плыл брат Улитина, попадает в шторм, идет ко дну в Охотском море... а эсминец «Яков Свердлов», на котором шел из Таллина его отец, бригадный комиссар Рыжов, подставляет борт фашистской торпеды, взрывается, тонет в балтийской пучине... но сама по себе ужасная смерть, горе близких еще и оборачиваются поводом для подозрений, для наветов, для угроз живым. Как это безжалостно!

— Вот почему мне приходится писать о брате, что умер — ведь он погиб чистым человеком,— а если ворошить обстоятельства, то, хочешь не хочешь, ложится какая-то тень...— продолжал Улитин.— В обкоме обо всем этом знают, больше того: мне именно в обкоме посоветовали придерживаться этой формулировки, не лезть в подробности...

Да, вспомнил Алеша, примерно то же самое говорила ему и мать при их последней встрече в Ленинграде: «Об этом знают те, кому

положено знать. Киров знал. Жданов знает. Обком знает... Мы с отцом прошли все чистки — и вышли чистыми. К чистому не липнет».

Как зловеще сходятся события и слова.

Улитин поднялся, снова зашагал по комнате, остановился вдруг.

— Ты?.. Ну нет, ты для Огузова, уж извини, не помеха. Что ты ему? Он просто решил избавиться от твоего соседства. Ждет прибавления семейства, и так ведь сам-четверт, а будет больше. Вот и норовит отгнать для себя третью комнату в квартире. А в средствах он не брезглив, тут все ясно. Но неужели...

Алексей усмехнулся в душе, дивясь тому, как умны, как прощительны бывают люди, когда речь идет о судьбе ближних или даже посторонних людей, и как они уподобляются беспомощным котяткам, незряче и растерянно тычущимся обок себя, едва дело коснется их самих, как они здесь тупы и косны.

— Так ты полагаешь...— Улитин на расстоянии все же прочел его скрытую усмешку, его мысль.— Ты думаешь, что он метит на мое место? С его-то стажем — без году неделя,— что журналистским, что партийным? С его-то, выражаясь мягко, грамотностью!..— Ноздри Семена Ильича раздувались.— Зато других качеств у него предостаточно — хватка волчья. Дай таким развернуться — они еще всех зажмут в кулак, возьмут за глотку!

— Так вы знали? — не поверил своим ушам Алексей.— Вы знали?

— Что — знал? Анкету, что ли? Да я не по анкете, Рыжов... я этих людей по глазам опознаю — у них глаза лютые!

Он даже не сознавал, не чуял, как ожесточение, владевшее сейчас Улитиным, передавалось ему, затмевая рассудок, подхлестывая,— взвился с места:

— Значит, вы з н а л и? Так зачем же, если вы знали...

В репродукторе, прервав виолончельный напев, включилось местное радиовещание:

— Прослушайте объявление! В кассе аэропорта производится продажа билетов на пробный рейс авиалинии Город-на-Реке — Москва. Вылет пятнадцатого августа в семь часов утра. Продолжительность полета с промежуточными посадками в Кирове и Горьком — шесть часов Повторяю...

Улитин, вскинув кустистые брови, внимал голосу дикторши так, будто бы он один во всем Городе-на-Реке еще не был оповещен об этом рейсе, хотя объявление было напечатано в газете, которую он сам сегодня подписывал.

— Ты полетишь на этом самолете. Решено.— Семен Ильич тряхнул головой.— Ты уже когда-нибудь летал?

Алексей тихо сел.

— Нет, я не летал.

— Вот и лети. Не боишься?

— Я не боюсь... Но зачем?

Он еще никак не мог взять в толк, что за блажь обуяла Улитина, но знакомое головокружение уже подхватило его и понесло по комнате, разгоняя вокруг абажура, все выше, и выше, и выше, заноса в углы, вращая штопором вдоль оси тела, внезапно роняя в отвесное пике и выводя из него за вершок от пола,— нет, это не было счастливым полетом его детских снов и мальчишеских мечтаний, а было неприятным и муторным состоянием, когда кишки лезут к горлу и прет захлеб тошнота.

— Ты еще не понимаешь? Но ведь это, Рыжов, событие! Можно сказать, из ряда вон... Представь: город, напрочь отрезанный от сети железных дорог и потому прозябающий в дремоте — ни тебе индустриальных перспектив, ни культурного размаха,— вдруг находит прямой и кратчайший путь на материк, к Большой земле! Ты ведь сам

знаешь, каково сюда добираться... И вот — прямая воздушная линия соединяет две столицы!

— Но это пока лишь пробный рейс,— заметил Алексей.

— В том-то и дело, Рыжов! Когда самолеты начнут летать регулярно, что ни день, туда и обратно, это сразу перестанет быть сенсацией, уже никому не покажется в диковину — у нас быстро ко всему привыкают... Иное дело — первый рейс! Гвоздевой материал. Но ты, кажется, еще не понял: ведь я тебя не катаюсь посылать, а хочу, чтобы ты написал об этом в газету — подробности, впечатления, отклики людей... Мы дадим репортаж на первой полосе, строк триста, заголовок аршинного кегля!

Щекотный ветерок возбуждения, привычной легкости на подъем опухнул щеки.

— Пятнадцатого,— сказал Алеша в раздумье.— Пятнадцатого? Но ведь сегодня четырнадцатое... Это — завтра!

Оглянувшись на окно, в котором загустел вечер, посмотрел на часы.

— Это утром...

— Завтра утром,— подтвердил Семен Ильич.— Только и успеешь что собраться.

Прежде всего Алексей сообразил, что нельзя терять ни часа, ни минуты, что пора немедленно откланяться.

— Спасибо. Я пошел.

— Ну давай. С билетом, я думаю, затруднений не возникнет, коли по радио весь день талдычат — значит, не нарасхват... — пошутил Улитин, но тотчас к нему вернулась озабоченность.— Деньги у тебя на дорогу есть? — Он полез в карман пиджака, висевшего на спинке стула, вынул бумажник.— Вот, возьми...

— Не надо,— остановил его Алеша.— У меня есть, я полечу на свои.

Теперь он отдавал себе отчет в том, что все это мелочи — деньги, билеты и даже сам полет,— что им еще не задан главный вопрос, и потому на него нет прямого ответа.

— Семен Ильич, но как же быть с самим материалом? Я имею в виду репортаж. Ведь здесь необходима срочность, надо суметь обернуться. Вы уверены, что самолет тут же полетит обратно?

— Ничего, отпишешься из Москвы,— сказал Улитин.— Можешь надиктовать по телефону, по междугородной, мы оплатим... Вообще, учти, за нами не пропадет...

— Семен Ильич... — сказал Алексей вдруг севшим от волнения, зачужевшим голосом.— Значит, я не должен возвращаться сюда? Я вас правильно понял?

Улитин подошел, положил ему на плечо свою волосистую руку.

— Да, ты правильно понял, Алеша. Стало быть, ты повзрослел, поумнел за минувший год... Ты не должен сюда возвращаться, по крайней мере сейчас. Я уговорил тебя остаться здесь — и тем взял на себя ответственность за то, чтоб с тобой тут ничего не стряслось, а ведь сейчас запахло жареным, зачем скрывать... Но это еще не все. Предстоит драка — и нешуточная, скажу откровенно, полетит шерсть клочьями. И ты мне здесь не помощник, потому что ты еще не умеешь драться — нет-нет, ты не спорь, не умеешь, не боец... Хуже того, сейчас, со своими невзгодами, ты будешь мне только помехой, право. Вот почему тебе лучше уехать... Да ты что нос повесил? Ведь это не навсегда, не навечно. Еще прикатишь сюда — нет, прилетишь на крыльях! И мы еще тут встретимся с тобою старыми друзьями — ну, это я буду стар, а ты еще будешь молод, но дружба все равно будет старая. Не так ли?

Он проводил его к двери.

— А куда ездай. То есть лети. Знаешь, как летчики говорят: ни пуха ни пера...

Не столь уж много нажил он тут добра, но и с тем пришлось по-возиться, снаряжаясь в путь.

Прежде всего снял со стены приколотый кнопками портрет Сталина, который по личному заказу Алеши нарисовал в Тундре старый художник Фисак; ватман уже зажелтел, был кое-где мечен мухами — он огорчился, надо было сразу взять под стекло, а он повесил так, в простоте, будто грошовый плакат. Да что толку теперь, задним числом, клясть свои оплошности? Мало ли что он сделал в жизни не так, как надо бы, а не исправишь, не вернешь. Положил портрет на дно чемодана — глаза генералиссимуса искося, но строго следили за ним, — прикрыл сверху номерами «Северной звезды», в которых были напечатаны его, Алексея Рыжова, наиболее пространные статьи.

Взял в руки другую реликвию северных странствий — чугунную пепельницу, на которой русалка полоскала в пенной волне свои распущенные волосы и чешуйчатые бедра. Вытряхнув окурки в форточку и сдув пепел, пристроил вещь в уголок.

Однако об этой давней командировке напоминала не только пенорожденная пычимская Венера: на подоконнике уже давно пылилась связка тетрадей в клеенчатых обложках, которые вручил ему тогда, в Пычине, главный инженер завода Дидовик, а он не посмел отказаться от этого дара. Но тем паче увесистая связка была ему в тягость нынче, когда он покидал — и, быть может, навсегда — этот край, плевнивший воображение седоусого старикана.

Алеша, как и прежде бывало, поленился распутывать шпагат, которым были перетянуты тетради, а лишь отогнул наугад графленую в клеточку страницу.

«...однажды Харальд Серая Шкура пошел с дружиной своей на север, в Бьярмаланд, и грабил там; и была у него битва великая с бьярмами на берегу Вины. Победил там Харальд и убил много народу, грабил повсюду в стране той и добыл огромное богатство; об этом говорил Глум, сын Гейри: „Смелый речью глава вождей обагрил меч на востоке к северу от горящего селения, где я видел бегство бьярмов...»,»

Что за бьярмы? Что за сказки? Тронутый любопытством, он отогнул низ страницы, ввелся глазами в округлый, будто детский, почерк Дидовика: «Heimsk Kringla» — исландская сага «Земной круг». И его же подчеркнутое красным карандашом примечание: «Vína, Вина — Двина?»

Да, похоже. мимо воли согласился Алексей. Но при чем здесь Исландия, что за Харальд, что за шкура, что за Бьярмаланд?

Досадуя, что теряет время, но не в силах побороть язвительного интереса к стариковским бредням, он перелистнул страничку: «...никакой иной этнической основы в составе жителей, населявших древнюю Биармию, предположить невозможно, ибо бьярмы исландских саг — та же летописная чудь». И строкой ниже, как уравнение: «Biarmaland=Биармия=Биурму (Страна Огненной Белки)=Перемь=Пермь=Perjema (Возвращенная Земля)=räärgma=парма...»

«Парма»? — удивился он. Но ведь именно такая вывеска была на ресторане, где третьего дня они с Вась-Васем пили водку, а потом на улице распевали босяцкие песни... Ох, стыдно вспомнить, как они орали под чужими окнами, еще одно тягостное воспоминание... Но, помнится, энциклопедист Бубеев уже не первый раз объяснял ему, что означает это странное слово, это название — «Парма», — объяснял, редкозубо усмехаясь: «Темный лес, дружище, тайга — вот что это значит...»

Нет, подальше бы от этого темного леса, подумал Алеша, прочь, прочь, хорошо, что он отсюда уезжает.

Кстати, его внезапный отъезд был удобным и вполне извинительным поводом для того, чтобы забыть эту совершенно не нужную

ему связку тетрадей (эту обузу, чудной и нелепый дар), забыть прямо здесь, на подоконнике, будто бы случайно, впопыхах,— он отодвинул связку к створке окна, к шпингалету, похожему на узника, привязанного поперек тела к столбу, уронившего голову на грудь.

И тут же пронзило опасение: а что там еще написано, в этих тетрадях? Ведь он так и не удосужился развязать, полистать прилежно, прочесть внимательно и вдумчиво — мало ли что там могло быть! Ведь уже то, что он углядел мельком, было смутно и каверзно, а вдруг там еще и такое, что вовсе противно уму?

Алексей представил себе, как назавтра Степан Огузов войдет, хозяйски озираясь, в эту комнату, направится к окну, увидит эту забытую связку. быстро-быстро расплетет бечевку, уткнется носом в страницу, закосит глаза на строке... И вероятней всего эта связка перекочует в его несгораемый шкаф, ляжет рядышком с картонной папкой, на которой отгиснуто: «Дело».

Нет, уж лучше он заберет эти тетрадки с собой, хоть и лишняя поклажа, хоть и не нужны они ему. Пристроил связку в чемодан.

На остальное хватило минуты: уложить туда же зимнее пальто, шапку, пообитые за зиму бурки. Вот и все. Защелкнуты замки.

Почувствовал крайнюю усталость — разом спало напряжение дня,— поплелся к тюфячку, улегся, решив, что уж его-то не возьмет с собою, оставит здесь на полу.

Итак, Улитин, сжался над его молодостью и неопытностью, давал ему возможность незаметно и тихо исчезнуть, великодушно вырuchал из беды, выводил из-под удара...

Или просто выводил из игры, из той нешуточной, взрослой, мужской игры, в которой собирался помериться коварством и силой с Огузовым?

А что, если за этой предполагаемой игрой прячется совсем иная игра: что, если он решил спровадить Алексея из Города-на-Реке лишь затем, чтобы поскорее отдать Степану Огузову ключи от этой третьей комнаты, чтобы позволить ему стать единовластным хозяином всей квартиры, ублажить — и тем откупиться от его козней?

Алеша обессиленно прикрыл веки.

Наверное, он не спал, а дремотно бодрствовал. потому что всю ночь напролет его ухо, прижатое к запястью, слышало цокот мозеровских часов, загнанный бег секундной стрелки. Она обегала круг циферблата точно так же, как сам он — когда это было? вчера? позавчера? впрочем, это зависело от того, что считать за сегодня,— точно так же, как сам он бежал по кругу, метался по городу, всполошенный безотчетным страхом, той виной, которой не было за ним,— и вдруг мимо него, не удостоив взглядом, проследовал по тротуару Геннадий Сергеевич Габов... Так ведь это даже хорошо, что мимо, что не взглянул, чем это плохо?

Он осознал в своей настороженной дреме, что слушает цоканье часов возле уха в одной надежде: что этот мерный тихий стук не будет прерван другим, посторонним стуком.

Его оберегала вера в то, что такое не может случиться с ним лично, если даже и случалось с некоторыми другими — теперь, поживя, помыкавшись, насмотревшись, он допускал, что случается,— но с ним?..

О нет, вдруг подумал Алеша о себе (как когда-то в Тундре, поняв, что такое измена женщины, и взмолившись, чтоб его миновала чаша сия), нет-нет. все что угодно, но только не это, боже упаси.

Когда он снова открыл глаза, окно уже было тронута рассветной брезгой.

И он вдруг ясно увидел: сколь ни пуста была эта комната во дни, что он жил здесь, но теперь она совершенно оголилась, приобрела отсутствующий, осиротелый вид — будто никто в ней и не жил.

Его шаги по дощатому тротуару были так одиноки и гулки, что казалось, их должен был услышать весь город, но город спал — в такую рань и заблаговременно он вышел.

Еще Алексей заметил, что шаги его зримо отпечатываются на плахах тротуара — четкие следы подошв, будто бы он намеренно и навек оставлял здесь память о себе, — но когда остановился изумленный, оказалось, что это августовская холодная ночь посеребрила тончайшей изморозью деревянные плахи. Иней прямо на глазах таял, темнел росной влагой, и вместе с инеем исчезали его следы — нет, он совершенно напрасно волновался и надеялся тоже зря: ничего не оставалось там, где он шел, никакой меты, будто бы и не ходил.

Солнце еще не взошло, а только закрашивало небо золотистой каймой по горизонту и блеклой голубизной в зените да легкой рябью перистых облаков в вышине. Так что и тут он мог быть вполне спокоен: погода была летной, ничто не могло помешать ему нынче же улететь.

Сокращая путь, пересек знакомый пустырь в центре города, просший густой и уже зарыжелой к осени полынью, — тот самый пустырь, очерченный с доскональной правильностью круга, где он когда-то угадал меловые кручи собора, — и опять он подумал: как же так, ну как же так, неужели все на свете, даже камни, могут исчезать без следа и без вести, как исчезают люди, не оставя по себе знака и памяти, — но нет, возразил он себе, ведь исчезает не все, что-то обязательно остается, как остался на этой площади благовест тишины, особо слышный в утренний час.

В разломе улицы, ниспадающей к реке, густо засинела вода — он почувствовал всеми порами тела, что и эта речная вода уже посеннему холодна: в ней отжили водоросли, сваялась и канула на дно напоенная пудовой тяжестью влаги косматая тина, волны смыли ряску, и теперь лишь рыбы ходили в прозрачных и чистых глубинах... И чистый песок сверкал на другом, на отлогом берегу.

У дебаркадера был зачален белый пароход с жестяными надбровьями поверх боковых колес, с черной трубой в красной опояске — покуда не дымящей, значит, машины отдыхали, — и вдруг он с радостью узнал старого знакомого: это был все тот же «Тютчев», который впервые привез его сюда, в Город-на-Реке, и который ему не раз случалось встречать и провожать на этой пристани, но больше провожать...

Он мог бы, конечно, и сам уплыть этим пароходом, как приплыл — сколько раз лелеял в мечтах этот путь, — речь, однако, шла не о том, каким путем и средством добираться из Города-на-Реке в Москву, а совсем об ином: он должен был написать для газеты «Серверная звезда» гвоздевой репортаж о первом воздушном рейсе из одной столицы в другую.

За пристанью опять потянулась череда домов, выставяющих напоказ, будто мышцы отменной силы, венцы кондовых срубов, — и Алеша вспомнил, как совсем недавно Нина Максимовна Ладанова хваливала ему добротный семейный дом Лыткиных, что у пристани, где в родительской холе расцвела и заневестилась пунцовошекая Ася...

Который же ее дом — этот или этот? Но все дома, все окна были еще объяты сном.

А что, вдруг подумал Алеша, если Улитин поспешил спровадить его из города просто потому, что вчера вечером, войдя невзначай в редакторский кабинет, он застал Семена Ильича за грешным делом — как тот мял на диване секретаршу... Чтобы у него не стало времени кому-нибудь об этом рассказать.

Но ведь он и так никому бы не сказал об этом.

В полуверсте замаячила на штоке полосатая продувная колбаса, указывающая направление ветра, — тут и был аэродром.

На поле выстроились рядом бипланы с перекрестьями стоек и растяжек между плоскостями, «этажерки», как их прозвали в войну, хотя и знали, что они летали ночами через линию фронта, вели разведку, а иногда и бомбили — да и теперь они возили пассажиров в бездорожные дальние районы (два пассажира, третий — летчик), доставляли больных из глубинки на срочные операции, — и Алексей вспомнил, как минувшей весной, напорвшись на ржавый гвоздь у Гундыр-Полоя и опасаясь заражения крови, он тешил себя надеждой, что за ним прилетит вот такой самолет с красным крестом на фюзеляже, да все обошлось листом подорожника... Впрочем, нет, с того и начались его беды.

В стороне, подале от досужих глаз, расположились два трофейных трехмоторных «юнкерса-52». Он и теперь безошибочно опознал их по силуэтам, которые в первые дни войны, на радость мальчишкам, раздавали в брошюрках населению, чтобы все умели — в любом повороте и плане — безошибочно различать летящего врага, да что в том было проку? Теперь же они были окрашены в яркий оранжевый цвет, означавший принадлежность к полярной авиации.

А ближе всех к двухэтажному дому со смотровой стеклянной будкой на крыше, который и был городским аэропортом, стоял двухмоторный самолет со скошенными назад крыльями, с плавно очерченным гребнем стабилизатора, дельфиньим носом, пунктиром окошек вдоль борта — знаменитый и не знающий носу «дуглас», настолько удачно сработанный американцами, что пригодился всем, служил друзьям и недругам, ладился повсюду по довоенным еще лицензиям. Его трехлопастные винты были неподвижны, но подле шасси урчала бензиновая цистерна, змеились по крыльям шланги, и было нетрудно догадаться, что в Москву полетит именно он.

Алеша купил билет у позывывающей кассирши — очереди, давки и впрямь не было.

Вышел к оградке, отделявшей чахлый палисадник с облетевшими под ветрами пропеллеров маками от прогорклой травы аэродрома.

Но и тут не наблюдалось многолюдья, толчеи — да неужели ему одному придется лететь этим пробным рейсом?

Лишь у калитки стоял какой-то морячок в суконных клешах, обтерханных до такой последней степени, что внизу махрились лапшой, в застиранной полотняной матроске с выгоревшим гюйсом, а на голове его вместо бескозырки сидела, налезая на уши, мятая кепка: видно, демобилизовался матросик и тотчас позабыл уставные порядки, потерял флотский лоск, с иными это случается быстро. Он стоял, опершись локтями о штакетник, и был до того поглощен созерцанием самолетов (знать, не к морю тянулась душа, а к небесным высям), что даже не заметил, как Алексей подошел и стал у него за спиной.

— Привет, служба... Что, летим?

Матросик нехотя оглянулся.

У него были водянистые мутные глаза, неюное серое лицо в отросшей щетине, с уголка губ стекала на подбородок струйка слюны.

Увидев рядом подошедшего неслышно человека, он пугливо, с привычным юродством, уповая на милость, сжался.

Это был Йой-Володь, местный дурачок, чья кличка так и переводилась: Володя-дурачок.

— А, это ты... — не скрыл разочарования Алеша, поняв, что и этот дурачок, мнимый матросик, не попутчик ему в предстоящем рейсе, что, значит, в Городе-на-Реке больше не нашлось дураков лететь пробным рейсом. — Ну здравствуй.

— Дластуй, — дружески заулыбался Йой-Володь, видя, что его не будут обижать, не станут бить. А может быть, он узнал в лицо Алексея Рыжова, вспомнил недавнюю встречу на танцплощадке.

— Кури, браток, — предложил Алеша, доставая из кармана пачку «Беломора».

— Нелься, нелься! — запрыгал на месте Йой-Володь, чрезвычайно обрадованный тем, что вот его хотят обдурить, а он не поддается, нет.— За это в тюльму, в тюльму!..

Не то чтобы Алексей испугался тюрьмы, но догадался, что тут, на поле аэродрома, где все огнеопасно провоняло бензином, наверное, и впрямь нельзя курить,— он с сожалением вынул изо рта закусенную папиросу, сунул обратно в пачку.

А Йой-Володь по-прежнему прискакивал, пританцовывал, ликуя, как дитя.

— В Москву — лазгонять тоску? — спросил, поглядывая на чемодан.

— Да, пожалуй...

В суете внезапных сборов Алеша так и не успел проникнуться сознанием того, что уже сегодня через несколько часов — Киров, Горький, Быково, а там пригородная электричка до Казанского вокзала, почти рядом с теткин домом в Денисовском переулке, что он уже нынче окажется в Москве, которой не видел целую вечность, в пестрой и неугомонной Москве, по которой так соскучился, он лишь сейчас осознал это.

— В Москву? — переспросил Йой-Володь.— За песнями?

Он слюняво улыбался. А его заискивающие глаза были настолько близки, что Алеша увидел в расширенных зрачках, словно в зеркальцах, собственное отражение, полный портрет, точь-в-точь, и еще ему показалось, что выражение глаз дурачка более осмысленно, чем можно было бы предположить.

— Во-во,— кивнул Алексей,— за ними.

Однако не стал вдаваться в подробности, объяснять, что дело обстояло как раз наоборот: что он приезжал за песнями, за сказами сюда, в этот заповедный край, но здесь их, увы, не оказалось, во всяком случае он не нашел их, не услышал.

И вообще вряд ли был резон продолжать этот дурацкий разговор, потому что Алексей не забывал о своей главной задаче и цели: написать репортаж о первом воздушном рейсе из одной столицы в другую и прежде всего добыть отклики людей на это сенсационное событие,— но никого по-прежнему не было, никто не появлялся, а мимолетная беседа с Йой-Володем вряд ли могла представлять интерес для читателей «Северной звезды».

Между тем бензовоз выехал из-под крыла «дугласа», все шланги были смотаны и убраны, а овальная дверь в фюзеляже была нараспашку, и к ней приставлена железная стремянка — так, может быть, хотя и нет пассажиров, летчики уже заняли свои места за штурвалами и он успеет побеседовать с ними?

Алексей подхватил чемодан и зашагал к самолету.

Но ему и там пришлось сидеть в одиночестве на железной скамье, протянувшейся вдоль борта наподобие избушки лавки — лавка против лавки,— самолет быт пуст, хоть шаром покати, хоть сам заводи моторы, взлетай и бери курс на Москву, да вот как найти этот курс, не сбиться с пути, если на тысячи верст окрест — глухая тайга, темный лес, парма?

Раздались бодрые голоса, заскрежетала стремянка, ввалились летчики — они проследовали один за другим, шаркая лохматыми собачьими унтами по алюминиевому полу, недоуменно поглядывая на него, но не удостоив вопросом, как он тут оказался, кто пустил — должно быть, их предупредили, что на новой трассе обычай дикий, еще и не то бывает,— протопали и скрылись в носовой рубке.

Алеша успел заметить среди них наиболее рослого, уверенного и осанистого, в самых лохматых унтах — это был, вне сомнений, командир — и он решил, что именно с ним побеседует при удобном случае в Кирове, или в Горьком, или уже на подходе к Москве:

«Скажите, пожалуйста, как прошел рейс?.. Вы были на войне? Бомбили Берлин?.. Доводилось ли вам летать в арктических широтах?..»

Снаружи опять послышались шаги, голоса — ну слава богу, кажется, он полетит не один, — в самолет забралась, отдуваясь, толстуха в синем кителе с голубыми петлицами, контролерша или проводница, тоже строго взглянула на него, но допрашивать не стала — кто, что, почему и есть ли билет? — мудро рассудив, что если прошел человек без спроса и разрешения, значит, имеет на то особые полномочия, а если не имеет, то как бы самой не влетело за ротозейство, и, стоя у распахнутой двери, начала пропускать в самолет пассажиров с баулами и чемоданами.

И первый же вошедший оказался старым знакомым Алексея Рыжова — это был Иван Демьянович Лапшин, председатель местного Комитета по делам искусств, которого он повстречал в первый же день своего пребывания в Городе-на-Реке у окраинных десят Слободы, когда тот возвращался с огорода, закинув мотыгу на плечо; и позже, зимою, он видел его на открытии сезона в здешней филармонии: Лапшин, как и положено ему по должности, сидел двумя рядами ближе к сцене и, оглянувшись, не ответил на вежливый поклон Алексея — вероятно, не узнал.

Впрочем, он и сейчас не узнал его, хотя сел рядом, но занят был разговором с другим попутчиком, незнакомым Алеше.

— ...а вот так, послали учиться на старости лет, сказали: если хочешь иметь перспективу, добери чуток образования. В Высшую партийную школу, на два года. Не плачь, Маруся, я еще вернусь!.. — заключил с хохотком

Вот как, подумал Алексей, значит, он едет учиться — ну да, конечно, такая пора, такой месяц, август, все нынче едут учиться, и млад и стар, и, наверное, там, в Москве, Иван Демьянович не преминет свидеться с дочерью старого друга, тоже гармониста, погибшего на войне, — с Кларой Истоминой, отправившейся в Москву поступать в консерваторию ..

Ах вот почему, вдруг понял Алеша, этот суровый мужик Иван Демьянович никак не хотел узнавать его — да просто потому, что при первой их встрече тогда, в Слободы, он увидел его рядом с Кларой, как они держались за руки, и это было знаком союзом, знаком того, что он, Алексей Рыжов, свой, наш — как пароль, — но он совершенно не узнавал Алешу, хотя и не желал его обидеть, когда рядом с ним не было Клары, будто бы без нее он был пустым местом.

Но это ничего, подумал Алексей, зато теперь он мог быть вполне спокоен насчет репортажа о первом воздушном рейсе из Города-на-Реке в Москву: кроме пилота, он побеседует с Иваном Демьяновичем Лапшиным, слушателем Высшей партийной школы, да, кстати, и напомним ему, как и где они встречались раньше и какие общие знакомые у них имеются в Москве.

Между тем салон «дугласа» заполнялся так напористо и кучно, что возникало опасение, а хватит ли всем мест, и он похвалил себя за осмотрительность, за то, что раньше всех пришел на аэродром и первым купил билет, а то ведь вон сколько отчаянных голов набралось в Городе-на-Реке...

Мысль его внезапно прервалась: он увидел прямо перед собой еще одно лицо.

Но теперь уже он с немалым усилием, напрягая память и воображение, узнавал это давно знакомое ему лицо, потому что прежде видел его в совсем другом обрамлении и свете: то оно было обмотано косынкой, спасающей от палящего солнца — только глаза снаружи да нос, шелушащийся чешуйками наподобие молодой картофельины; то оно было занавешено — будто чадрой, будто вуалью блоковой незнакомки — темной сеткой накомарника, распяленной на широких полях; а сейчас это лицо было открыто, чуть широковато в скулах,

но льняные пряди волос, скользящие по щекам к шее, скрадывают этот недостаток, равно как и пудра на вздернутом носу почти скрывает неистребимые веснушки на обожженной коже, а глаза смотрят на него, сидящего напротив, с укором: неужели он ее не узнаёт?..

Нет, почему же, он узнал: это была Ия Шахова, бригадир сплавщиц Белоборской запани, командир правого берега вычегодской хвостовой караванки, героиня его первого очерка и отчасти виновница его последнего горемычного фельетона. Это если по делу.

А если не по делу, то это была невзрачная простенькая девушка, которая запеленала его пораненную окровавленную ногу прохладным листом подорожника и собственной косынкой в крапинку и, сама чуть не плача, назвала его невезучим и несчастным еще в ту пору, когда ему везло напропалую, когда он был так безоглядно счастлив и все радости жизни одна за другой открывались ему.

Значит, она тоже летит в Москву? Ну да, на открытом лице ее можно было без труда прочесть не только то, что она еще никогда не летала на самолете — тут, пожалуй, большинство было таких, — но и то, что она еще никогда не бывала в Москве и даже, предположил Алексей, что она еще никогда в своей жизни не бывала в Горде-на-Реке, нынче первый раз.

Это узнавалось хотя бы по тому, как она была одета: корявенький жакет, блуза в оборках, синяя кашемировая юбка едва ль не до щиколоток, — и по тому, как она, сев на лавку, скосила внутрь высокие каблуки туфель: еще не привыкла к такой обуви.

Все было ей внове, все повергало в изумление. Однако в глазах ее читалось и то главное изумление, перед которым меркло все остальное: она не просто летела на самолете, не просто летела в Москву — она летела в Кремль, где ей вручат награду, золотую звездочку с серпом и молотом, которая ей и не снилась, потому все вокруг для нее как во сне.

Алексей, представив себе весь этот рой изумлений, улыбнулся ей приветливо и кивнул.

Она ответила кивком и тотчас отвернулась, давая тем понять, что ей всего-то и нужно было от него, чтоб он ее узнал — здравствуйте, и все.

Ему, конечно, хотелось бы подойти к ней, поговорить о том о сем, однако его останавливал другой взгляд: насупленный и задиристый взгляд парня, который появился в самолете вместе с нею, сел рядом с нею и чмодан свой поставил рядом с ее чмоданом; этот парень был смугл, черняв, с низко подбритыми височками, в шляпе со шнурком вокруг тульи, в овчинном жилете — Алексей угадал, что он из Закарпатья, на северных запанях работало много сезонников оттуда, набравшихся сноровки на бурливых карпатских речках, этот парень был плечист и длиннорук, заправский сплавщик, но Алеша не помнил, чтобы он встречал этого парня в Белом Бору или у Гундыр-Полоя, чтобы они гам между собой чего-то не поделили... Ну а коли так, то зачем смотреть лютым зверем, поблескивать глазами и поигрывать кулачищами, когда твоя спутница просто здоровается с сидящим напротив знакомым молодым человеком?

Тем более что у него и не было никаких намерений кроме как подойти и задать этой девушке несколько вопросов для репортажа о первом воздушном рейсе из одной столицы в другую: «Скажите, пожалуйста, вы впервые летите в Москву?.. Каковы были ваши мысли и чувства, когда вы узнали о присвоении вам звания Героя Социалистического Труда?.. Вы летите в Москву одна или с вами друзья по работе, члены вашей семьи?..»

Взревели моторы «дугласа».

Покачиваясь на рытвинах и кочках, самолет пополз в дальний конец аэродрома, развернулся носом против ветра, изготовясь к старту. Пропеллеры, набрав обороты, превратились в прозрачные диски,

а мимо иллюминаторов полетели клочья травы, ошметки дерна, вихри взметенной пыли... Рывок — и машина устремилась в не знающий возврата разбег.

Он старался не упустить заветного мига отрыва от земли — и увидел, как травяной ковер вдруг провалился, отпал, ушел вниз, как промелькнули под крылом столбы с белыми чашечками изоляторов и четкими струнами проводов, как замельтешили остроконечные верхушки елей.

Гул моторов сразу изменился, потеряв земное эхо, сосредоточась на себе самом.

Синева утреннего неба оплеснула окошки.

Алеша сидел выпрямившись, замерев, потрясенный и торжественный, потому что понял, что его первый взлет состоялся и что он уже летит, что всякое уже с ним бывало в жизни, а теперь еще и это.

И в глазах сидящих напротив было то же самое сознание свершившегося с ними чуда, а чудо кажется чудом только однажды — в первый раз.

Самолет набирал высоту, кренясь в вираже, — вот сейчас и должны были начаться все те муторные ощущения, что одолевают человека в небе, о которых он слышал предостерегающие речи, свидетельства бывалых людей. Еще он боялся обычного для него головокружения, оставшегося памятью голодного детства, но не чувствовал никаких его симптомов — скорей всего оно уже проигралось раньше, еще вчера, когда Улитин сказал ему, что нужно лететь, и его понесло вместе со стулом вокруг абажура, а потом швырнуло в пике, — нет, сейчас этого не было. Однако вся утроба, как тесто в квашне, взбухла и перла к гортани он ощутил позывы тошноты, хотя предусмотрительно не завтракал — но ведь он был заранее уведомлен, что это должно произойти, — и спазмы сделались еще мучительней, когда он обнаружил бумажные пакеты определенного назначения, засунутые в настенный карман, а потом увидел, как один из соседей (кажется, это был попутчик Лапшина) обреченно и сдавленно хрюкнул, схватился за пакет, поспешно уткнулся в него...

Не приведи бог такому случиться с ним, Алексеем, на глазах Ии Шаховой — ведь она могла бы подумать о нем, что он еще более несчастен и жалок, чем был на самом деле.

Он отвернулся, принял лицом к иллюминатору.

И тут все, что мучило его, вдруг унялось, ушло прочь, уступив место другим чувствам.

Он увидел под крылом Город-на-Реке как на ладони.

Ослепительно сверкали на солнце крупницы каменных зданий, которые он знал наперечет, в лицо и поименно: пожарная каланча, гостиница, школа, обком, театр, пединститут, Дом печати, где он работал, и дом, где он жил... А все остальное пространство было прирущено мелкой щепой деревянных строений побуревшей от дождей, почерневшей от ветхости. Ниточки дощатых тротуаров тянулись вдоль улиц, встречаясь и расходясь, обегая плешины площадей, пустыри. Над кромкой берега клонились к воде зеленые пышные кусты — это был парк, где вечерами играла музыка.

Потом он заметил глубокие борозды, вспоротившие землю, протянувшиеся поперечно от реки к лесу, будто кто-то прошел здесь с плугом в поддюжины громадных лемехов, искромсал и выворотил почву в отвал, да так и бросил пашню, забыв засеять, — там беспорядочно кустилась зелень, а на краю борозд теснились чешуйчатые кровли, лепились разномастные лоскуты огородов, со склона на склон переметнулись узкие жердочки на спичечных сваях — он узнал эти овраги и заовражье, эти крыши, эти мосты, да, это был Париж...

А еще дальше он увидел то, что ему было давно знакомо, хотя он впервые в жизни поднялся в небо и впервые мог обозревать мир

с высоты птичьего полета: как одна река, таясь за лесами, бежит попутно другой реке, то приближаясь, почти касаясь водою воды, то утекая в испуге, сторонясь; но русла их стягивает неумолимое предопределение, согласно которому реки сливаются, и в том лишь вопрос, какая какую вберет в себя, поглотит, подчинит и назовет собой,— и сейчас, с высоты, было особенно хорошо видно, как две реки сливались воедино и дальше текла одна река.

Опять к нему на миг вернулась мысль о том, что, может быть, он опрометчиво выбрал место — ведь он был совершенно волен в своем выборе: ну правда, почему обязательно река и почему вот так уж непременно Город-на-Реке? Неужели и везде ему было бы вот так же жалко расставаться с местом, где он был и счастлив и несчастлив? И не схоже ли это чувство с тем, когда человек покидает не место своих радостей и горестей, а выпавшее ему время — живи, в каком живешь?

Алеша еще плотней прижался лицом к плексигласовому окошку, так, что оно запотело от его дыхания,— нет, он не боялся теперь, что с ним случится что-то конфузное, а боялся совсем другого: слез, которые наперехват сдавили горло, и он чувствовал, как они закипают в уголках глаз.

А он не хотел, чтобы это кто-нибудь заметил, потому что для слез не было повода и тем более в них не было смысла: что за диво, что за печаль — он просто улетал из этого города, от этих берегов, где ничего не нашел, никаких сказов, где ничего не оставил, кроме бедной своей души.

}



БИДЗИНА МИНДАДЗЕ



Новый год

То быстро время льется, то неспешно...
Таит и грусть и радость его ход.
Когда, как утро, вспыхнет вдруг надежда,
тогда и наступает Новый год.
Звон телефонов в лабиринте комнат
счастливой дрожью пробежит, как смех.
Деревья в ветер будут пальцы комкать —
чтоб жажду утолить, им нужен снег.
Он на горах подобен белой бурке,
а город — словно в круге меловом.
Я открываю дверь — там ты, Снегурка,
озябшая, в пальтишке меховом.
Своей рукой твоей руки касаюсь.
Минута переходит в Новый год,
и эти очи, как у всех красавиц,
влажны, как голубой апрельский лед.
И тишина, и сердца содроганье,
и поцелуй — песочные часы,
где стеснено у времени дыханье
внезапным спазмом счастья и слезы.
Идет ли время? Затерялось мудро
оно в твоих волнистых волосах...
И бесконечно золотое утро
встает в окне
с улыбкой на устах!



...Мне двадцать лет.

Нет, на войне я не был,
и смертью взор не омрачился мой...
Я сном младенца спал.

когда все небо
чернее угля стыло над землей.

...У знамени стою я в карауле.
Проходит шагом строевым отряд,
В моих ушах свистят сегодня пули,
что выстрелены двадцать лет назад.

Но строй другой стоит за этим строем,
одетый в платье черное и шаль,—
гром барабанов, нет не перекроет
их слезы боль, их горе и печаль.

...Идет отряд вдоль современных улиц,
все четче шагом строевым звеня...
В моих ушах свистят все те же пули
и попадают, как в мишень, в меня.

Перевел с грузинского ВЛАДИМИР ДАГУРОВ.

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ

★

ПОЭТ И МУЗА

Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье. Она это очень хорошо сознавала. К тридцати пяти годам после длительного периода невеселых проб и ошибок — не стоит о них говорить — она ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, изменами и прощениями, нужна такая звериная, знаете ли, страсть — черная ветреная ночь с огнями, чтобы пустяком показался классический женский подвиг — стоптать семь пар железных сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов — и получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик — крошку с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца. Ну, естественно, очень многим женщинам нужно примерно то же самое, так что Нина была, как уже сказано, в этом смысле самая обычная женщина, прекрасная женщина, врач.

Побывала она замужем — все равно что отсидела долгий, скучный срок в кресле междугородного поезда и вышла усталая, разбитая, одолеваемая зевотой в беззвездную ночь чужого города, где ни одной близкой души.

Потом какое-то время пожила отшельницей, увлекалась мытьем и натиркой полов в своей чистенькой квартирке, поинтересовалась кройкой и шитьем и опять заскучала. Вяло тлел роман с дерматологом Аркадием Борисычем, имевшим две семьи, не считая Нины. После работы она заходила за ним в его кабинет — никакой романтики: уборщица вытряхивает урны, сваркает мокрой шваброй по линолеуму, а Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало. Стоит, розовый, сытый, тугой, яйцевидный, Нину не замечает, а она уже в пальто на пороге. Потом высунет треугольный язык и вертит его так и сяк — боится заразы. Тоже мне Финист Ясный Сокол! Какие такие страсти могли у нее быть с Аркадием Борисычем — никаких, конечно.

А она заслужила право на счастье, она имела все основания занять очередь туда, где его выдают: лицо у нее было белое и красивое, брови широкие, черные гладкие волосы низко начинались на висках, и сзади — пучок. И глаза были черные, так что мужчины в транспорте принимали ее за молдаванку, и даже как-то привязался к ней в метро,

в переходе на «Кировской», человек, уверявший, что он скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать якобы для головки гурии, срочно: у него глина сохнет. Конечно, она не пошла по естественному недоверию к лицам творческих профессий, так как у нее уже был печальный опыт, когда она согласилась выпить кофе с одним будто бы кинорежиссером и еле унесла ноги,— большая такая была квартира с китайскими вазами и косым потолком в старом доме.

...А времечко-то бежало, и при мысли о том, что у нас в стране примерно сто двадцать пять миллионов мужчин, а ей судьба отследила от своих щедрот всего лишь Аркадия Борисыча, Нине иногда становилось не по себе. Можно было бы найти другого, но кто попал ей тоже был не нужен. Душа-то у нее с годами становилась все богаче, и саму себя она понимала и чувствовала все тоньше, все больше жалела себя осенними вечерами: некому себя преподнести, такую стройную, такую чернобровую.

Иногда она заходила в гости к какой-нибудь замужней подруге и, одарив чужого ушастого ребенка шоколадом, купленным в ближайшей булочной, пила чай, долго говорила, все поглядывая на себя в темное стекло кухонной двери, где ее отражение было еще загадочнее, еще выигрышнее и выгодно отличалось от расплывшегося силуэта приятельницы. И было бы просто справедливо, чтобы ее кто-нибудь воспел. Выслушав наконец и подругу — что куплено, да что пригорело, и чем болел ушастый ребенок,— рассмотрев чужого стандартного мужа — лоб с залысинами, тренировочные штаны, растянутые на коленках, нет, такой не нужен,— уходила, разочарованная, уносила себя, изыщную, за дверь, и на площадку, и вниз по лестнице, в освежающую ночь — не те люди, зря приходила, напрасно преподнесла себя и оставила в тусклой кухне свой душистый отпечаток, напрасно скормила изысканный, с горчинкой шоколад чужому ребенку, только сожрал, и измазался, и не оценил, вот пусть-ка его засыплет с ног до головы диатезом.

Зевала.

А потом была эпидемия японского гриппа, когда всех врачей сняли с участков на вызовы, и Аркадий Борисыч тоже ходил, надев марлевый намордник и резиновые перчатки, чтобы вирус не прицепился, но не уберегся, слег, и его больные достались Нине. Тут-то, как выяснилось, ее и подстерегала судьба, лежавшая в лице Гриши на топчане, под вязаными одеялами, бородой кверху и в полном беспамятстве. Тут-то оно все и случилось. Полутруп немедленно похитил Нинино заждавшееся сердце: скорбные тени на его фарфоровом челе, тьма в запавших глазницах, нежная борода, прозрачная, как весенний лес, сложились в волшебную декорацию, незримые скрипки сыграли свадебный вальс — ловушка захлопнулась. Ну, все знают, как это обычно бывает.

Над умирающим заламывала руки омерзительно красивая женщина с трагически распущенными волосами (потом, правда, оказалось, что ничего особенного, всего лишь Агния, школьная подруга Гришуни, неудавшаяся актриса, немножко поет под гитару, ерунда, не с той стороны грозила опасность) — да, да, она вызывала врача, спасите! Она, знаете ли, зашла случайно, ведь дверей он не запирает и никогда не зовет на помощь, Гриша, дворник, поэт, гений, святой! И вот... Нина отклеила взгляд от демонически прекрасного дворника, осмотрела комнату — большая зала, пивные бутылки под столом, пыльная лепнина на потолке, синеватый свет сугробов из окошек, праздный камин забитый хламом и ветошью.

— Он поэт, поэт, он работает дворником за жилплощадь,— бормотала Агния.

Нина выгнала Агнию, сняла сумку, повесила на гвоздь, бережно

взяла из Гришуниных рук свое сердце и прибила его гвоздями к изголовью постели. Гришуня бредил в рифму. Аркадий Борисыч растаял, как сахар в горячем чае. Тернистый путь был открыт.

Вновь обретя слух и зрение, Гришуня узнал, что счастливая Нина останется с ним до гробовой доски; вначале он немного удивился и хотел отсрочить наступление нечаянного счастья или, если уж это нельзя,— приблизить встречу с доской, но после по мягкости характера стал покладистее, только просил не разлучать его с друзьями. Временно, пока он не окреп, Нина пошла ему навстречу. Конечно же, это была ошибка: он быстро встал на ноги и снова втянулся в бессмысленное общение со всей этой бесконечной оравой: тут были и какие-то молодые люди неопределенных занятий, и старик с гитарой, и поэты-девятиклассники, и актеры, оказывавшиеся шоферами, и шоферы, оказывавшиеся актерами, и одна демобилизованная балерина, говорившая: «Ой, я еще позову наших»,— и дамы в бриллиантах, и непризнанные ювелиры, и ничьи девушки с запросами в глазах, и философы-недоучки, и дьякон из Новороссийска, всегда привозивший чемодан соленой рыбы, и подзадержавшийся в Москве тунгус, боявшийся испортить себе пищеварение столичной пищей и евший только свое — какой-то жир пальцем из баночки.

Все они — сегодня одни, а завтра другие — набивались вечерами в дворницкую; трехэтажный флигелек трещал, приходили жильцы верхних этажей, бренчали на гитаре, пели, читали свои и чужие стихи, но в основном слушали хозяйские. Гришуня у них считался гением, уже много лет вот-вот должен был выйти его сборник, но мешал какой-то зловредный Макушкин, от которого все зависело, Макушкин, поклявшийся, что, мол, только через его труп. Кляли Макушкина, превозносили Гришу, женщины просили читать еще, еще, Гриша смущался и читал — густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм. «Э-э-э-э-э», — качал головой тунгус, ни слова, кажется, не понимавший по-русски. «Что, ему не нравится?» — тихо спрашивали гости. «Нет, кажется, это у них похвала», — мотала волосами Агния, боявшаяся, что тунгус ее сглазит. Гости засматривались на Агнию и приглашали ее продолжить вечер в другом месте.

Естественно, все это обилие народу было Нине неприятно. Но самое неприятное было то, что каждый божий день, когда ни заблещишь — днем ли, вечером ли после дежурства, — в дворницкой сидело, пило чай и откровенно любовалось Гришуниной мягкой бородой убогое существо не толще вилки — черная юбка до пят, пластмассовый гребень в тусклых волосах, — некто Лизавета. Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой тлей быть не могло. Посмотреть только, как она, выпростав из рукава красную костлявую руку, неуверенно тянулась за каменным, сто лет провалявшимся пряником — будто ждала, что ее сейчас стукнут, а пряник отберут. И щек у нее было меньше, чем требуется человеку, и челюстей больше, и нос хрящеватый, и вообще было в ней что-то от рыбы — черной, тусклой глубоководной рыбы, ползающей по дну в непроглядном мраке и не смеющей подняться выше, в светлые солнечные слои, где резвятся лазурные и алые породы жителей отмелей.

Нет, какой уж тут роман. Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием, читал ей стихи, подвывая и приседая на рифмах, и после, сам расчувствовавшись от собственного творчества, сильно, со слезой мигал и отворачивался, поглядывая на потолок, чтобы слезы втекли обратно, а Лизавета трясла головой, изображая потрясение всего организма, сморкалась и имитиро

вала детские прерывистые вздохи, будто тоже после обильных рыданий.

Нет, это Нине было крайне неприятно. От Лизаветы нужно было избавляться. А Гришуне нравилось это наглое поклонение; да ему, неразборчивому, все нравилось на этом свете: и утреннее махание лопатой по рыхлому снежку, и житье в зале с камином, заваленным трухой, и то, что первый этаж и дверь отворена — заходи любой. — и толчея, и шаштанье туда-сюда, и лужа от натекшего снега в сенях, и все эти девочки и мальчики, актеры и старики, и бесхозная Агния, добрейшее якобы существо, и неизвестно зачем приходящий тунгус, и все эти юродивые, признанные и непризнанные, гении и отверженные, и обглоданная Лизавета, и — для круглого счета — заодно и Нина.

У посетителей флигелька Лизавета считалась художницей, и действительно, ее выставляли на второсортных выставках, а Гришуна вдохновлялся ее темной мазней и сочинил соответствующий цикл стихов. Чтобы изготовить свои полотна, Лизавета, как африканский колдун, должна была привести себя в необузданную ярость, и тогда в ее тусклых глазах зажигался огонь, и с криками, хрипами, с каким-то грязным гневом она накидывалась и месила кулаками на холсте голубые, черные, желтые краски и тут же расцарапывала ногтями непросохшую масляную кашу. Направление называлось — когтизм, страшное было зрелище. Правда, получались какие-то подводные растения, звезды, висящие в небе замки, что-то ползучее и летучее одновременно.

«А почему нельзя спокойнее?» — шептала Гришуне Нина, наблюдавшая как-то сеанс когтизма. «Ну вот, стало быть, нельзя, — шептал дорогой Гришуна, дыша сладкими ирисками, — это вдохновение, это дух, что ты поделаешь, он же бродит где хочет». — И глаза его светились лаской и почтением к бесноватой пачкунье.

Лизаветины костлявые руки расцветали язвами от ядовитых красок, и такими же язвами покрывалось Нинино ревнивое сердце, прибитое гвоздями над Гришиным изголовьем. Не хотела она пользоваться Гришей на общих основаниях; ей и только ей должны были принадежать голубые очи и прозрачная борода красавца дворника. О, если бы она могла стать не случайной, зыбкой подругой, а полновластной хозяйкой, положить Гришуна в сундук, пересыпать нафталином, укрыть холщовой тряпочкой, захлопнуть крышку и усесться сверху, подергивая замки: прочны ли?

О, тогда — все что угодно, тогда пусть Лизавета. Пусть она живет и когтит свои картины, пусть хоть зубами их грызет, хоть на голову встанет и так и стоит нервным столбом, принаряженная, с оранжевым бантом в тусклых волосах, на ежегодных выставках у своих варварских полотен, краснорукая, краснолицая, вспотевшая и готовая заплакать от обиды или счастья, пока в углу на шатком столике, прикрывшись ладошками от любопытных, граждане пишут в богатый красный фолиант неизвестный до поры отзыв: может быть, «безобразие», или «великолепно», или «куда смотрит администрация», или же что-нибудь слянявое, вычурное за подписью группы провинциальных библиотечарш — как их якобы пронзило насквозь святое и вечное искусство.

О. вырвать Гришу из тлетворной среды, обчистить с него прилипших, как ракушки к днищу корабля, посторонних женщин, вытащить из бурного моря, перевернуть, просмолить, проконопатить, водрузить на подпорки в тихое, спокойное место!

А он, беспечный, готовый повиснуть на шее у любой уличной собаки, пригреть любого антисанитарного бродягу, тратил себя на толпу, разбрасывал себя пригоршнями: простая душа, брал авоську, нагружал ее простоквашей и сметаной и шел навещать заболевшую Лизавету, и приходилось идти с ним, и, боже мой, что за берлога, что за

комната, желтая, жуткая, заросшая грязью, слепая, без окон! И еле различимая на железной койке под военным одеялом Лизавета, блаженно наполняющая черный рот белой сметаной, и Лизаветина испуганная, толстая, непохожая дочь над школьными тетрадками.

«Ну как ты тут вообще?» — спрашивал Гришуня. И Лизавета шевелилась у желтой стены: «Ничего». «Тебе нужно что-нибудь?» — навязывался Гришуня. И железная койка скрипела: «Настя все сделает». «Ну, учись», — топтался поэт, глядя толстую Настю по голове, и пятился в коридор, а обессиленная Лизавета уже спала.

«Нам бы надо с ней, это... объединиться, — неопределенно показывал руками Гришуня и отводил глаза. — Видишь, какие трудности с жильем. Она из Тотьмы, снимает чулан, а ведь какой талант, а? И дочка у нее очень к искусству тянется. Она лепит хорошо, а кто ее в Тотьме учить будет». «Мы с тобой женимся, я твоя», — строго напомнила Нина. «Да, конечно, я забыл», — извинился Гришуня. Мягкий был человек, только дурь в голове.

Уничтожить Лизавету было так же трудно, как перерезать яблочного червя-проволочника. Когда ее пришли штрафовать за нарушение паспортного режима, она уже ютилась в другом месте, и Нина послала отряды туда. Лизавета пряталась в подвалах — Нина затопляла подвалы; она ночевала в сараях — Нина сносила сараи; наконец Лизавета сошла на нет и стала тенью.

Семь пар железных сапог истоптала Нина по паспортным столам и отделениям милиции, семь железных посохов изломала о Лизаветину спину, семь кило железных пряников изгрызла в ненавистой дворницкой — надо было играть свадьбу.

Уже редела пестрая компания, уже приятная тишина стояла вечерами во флигеле, уже с уважением стучал в дверь случайный смельчак и тщательно, сразу жалея, что пришел, вытирал ноги под Нининым взглядом. Недолго оставалось Гришуне уродоваться с лопатой и зарывать свой талант в сугробы, он переезжал к Нине, где его ждал прочный, просторный письменный стол, покрытый оргстеклом, слева на столе — вазочка с двумя прутиками вербы, справа — в рамке с отключенным хвостом улыбалась Нинина фотокарточка, так сказать, «твое лицо в его простой оправе». И улыбка ее обещала, что все будет хорошо, сытно, тепло и чисто, что Нина сама сходит к товарищу Макушкину, чтобы решить наконец затянувшийся вопрос со сборником, она попросит товарища Макушкина внимательно просмотреть материалы, дать советы, кое-что подправить, нарезать вязкий торт Гришиного творчества на съедобные порционные пирожные.

Нина разрешила Гришуне в последний раз проститься с друзьями, и на прощальный ужин повалили неисчислимые полчища — девочки и уроды, старики и ювелиры, и пришли, выворачивая ноги, трое балетных юношей с женскими очами, и приполз хромой на костылях, привели слепого, и мелькнула тень Лизаветы, почти уже бесплотная, а толпа все прибывала, жужжала и неслась, как мусор из пылесоса, пущенного в обратную сторону, и расползались какие-то бородачи, и стены флигеля раздвигались под людским напором, и были крики, плач и кликушество. Били посуду. Балетные юноши уволокли истерическую Агнию, прищевив ей волосы в дверях, тень Лизаветы изгрызла себе руки и валялась на полу, требуя, чтобы ее затоптали, — просьбу уважили; дьякон увел тунгуса в уголок и расспрашивал его знаками, какая у них вера, и тунгус отвечал, тоже знаками, что вера у них самая хорошая.

А Гриша бился фарфоровым лбом об стену и кричал, что ладно, он умрет, но после смерти, вот увидите, — снова вернется к друзьям и уже больше никогда с ними не расстанется.

И дьякон не одобрял такие речи. И Нина тоже не одобряла.

А к утру вся нечисть сгнула, и Нина, уложив Гришуню в такси, отвезла его в свой хрустальный дворец.

...Ах, знаете, никому написать портрет любимого человека, когда он, протирая заспанные голубые очи и выпростав из-под одеяла молодую мохнатую ногу, зевает во всю ширь! И смотришь на него как замороженная, и все-то в нем твое, твое: и изъян в зубном ряду, и проплешина, и чудесная бородавка!

И чувствуешь себя королевой, и люди расступаются на улице, и коллеги почтительно кивают, и Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в стерильную бумажку.

Хорошо было врачевать доверчивых больных, хорошо нести домой полные сумки вкуснятины, хорошо было вечером проверять, как заботливая сестра, что написал Гришуня за день.

Только вот слабенький он был, много плакал, и не хотел кушать, и не хотел писать ровненько на чистой бумаге, а все подбирал по старой привычке клочки да сигаретные коробки и чертил каракульки, а то просто рисовал загогулины и закорючки. И сочинял про желтую-желтую дорогу, все про желтую дорогу, а над дорогой — белая звезда. Нина качала головой: «Подумай, солнышко, такие стихи нельзя нести товарищу Макушкину, а ты должен думать о сборнике, мы живем в реальном мире». Но он не слушал и все писал про звезду и дорогу, и Нина кричала: «Ты меня понял, солнышко?! Не смей такое сочинять!» И он пугался и дергал головой, и Нина, смягчившись, говорила: «Ну-ну-ну» — и, уложив его в постель, поила мятой и липой, поила адонисом и пустырником, а он, неблагодарный, плакал без слез и придумывал оскорбительные для Нины стихи о том, что пустырьник, мол, пророс в его сердце, и заглох его сад, и выжжены леса, и какой-то ворон склевывает, дескать, последнюю звезду с умолкшего небосклона, и будто он, Гришуня, в какой-то неопределенной избе толкает и толкает примерзшую дверь, но не выйти, и только стук красных каблуков вдалеке... «Чьи же это каблуки? — потрясла Нина листком. — Вот просто интересно знать: чьи это каблуки?!» «Ничего ты не понимаешь», — вырывал бумагу Гришуня. «Нет, я все прекрасно понимаю, мол, с горечью отвечала Нина, — я просто хочу знать, чьи это каблуки и где они стучат?» «А-а-а-а!!! Да они у меня в голове стучат!!!» — орал Гришуня, накрываясь одеялом с головой, а Нина шла в уборную, рвала стихи и обрушивала их в водяную преисподнюю, в маленькую домашнюю Ниагару.

Раз в неделю она проверяла его письменный стол и выбрасывала те стихи, которые женатому человеку сочинять неприлично. И порой ночью она поднимала его на допрос: пишет ли он для товарища Макушкина или отлынивает? И он закрывался руками, не в силах вынести яркого света ее беспощадной правды.

Так они худо-бедно прожили два года, но он, хотя и окруженный всяческой заботой, не ценил ее любви и совсем перестал стараться. Бродил по квартире и бормотал, бормотал, что вот он умрет, и завалят его землей, глиняными кладбищенскими пластами, и мелкое золото березовых копеечек милостыней осыплется на могильный холм, и сгниет под осенними дождями деревянный крест или фанерная пирамидка — что уж там не жалко будет над ним поставить, — и все-то его позабудут, и никто не придет, только праздный прохожий минутку помучается, вычитая четырехзначные числа, — он сбивался со стихов на тяжкий, сырой, как еловые дрова, верлибр или на ритмичную, заунывную прозу, и вместо чистого пламени из злокачественных строк валил такой белый удушливый дым, что Нина надсадно кашляла, махала руками и кричала, задыхаясь: «Да прекрати же ты сочинять!!!»

Потом добрые люди рассказали ей, что Гришуня хочет вернуться во флигель, что он ходил к новой, взятой на его место дворничихе —

толстой бабе — и торговался с ней, за сколько она уступит ему его прежнюю жизнь, и баба вступила в переговоры. У Нины были связи в горздраве, и она намекнула там, что вот прекрасное трехэтажное здание в центре, можно занять под учреждение, они же как раз искали. Они благодарили ее там, в горздраве, им это подходило, и очень скоро дворницкой не стало, камин сломали, и один из медицинских институтов разместил во флигеле свои кафедры.

Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся, только совсем ничего не ел и все время подходил к зеркалу и себя ощупывал. «Что это ты такой веселый?» — допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт, где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом «Захоронению не подлежит». «Что это такое?» — испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты — веселый народ — будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать, но только пусть она учтет, что отныне она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек.

И вот с этого момента, говорила потом Нина, любовь их как-то пошла наперекосяк, потому что не могла же она пылать полноценной страстью к общественному достоянию и целовать академический инвентарь. Ничто в нем больше ей не принадлежало.

И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни, — женщина, боровшаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?

Но несмотря на все горе, что он ей причинил, все-таки у нее осталось, говорила она, очень светлое чувство. А если любовь получилась не такая, как мечталось, то уж не Нина в том виновата. Виновата жизнь. И после его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И когда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие, и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми.

И еще Нина говорила, что сначала очень расстраивалась из-за всего, но потом ничего, успокоилась, после того как одна женщина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посередине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками — ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят.

ФАКИР

Филин, как всегда неожиданно, возник в телефонной трубке и пригласил в гости посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна: белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пи-

рожки по-тмутаракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка, захватывающие разговоры. Всюду синие шторы, витрины с коллекциями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки — табакерка ли с портретом дамы, упивающейся своей розовой головой напудренностью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так что-нибудь — не нужное, но ценное.

Сам Филин тоже не оскорбит взгляда — чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским, за рубль пятьдесят с коробочкой — зачем? — нет, прямо из раскопок, венецианским, если не врет, а то и монетой в оправе — какой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше... Таков Филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, пальцы сложит домиком, брови дегтярные, прекрасные анатолийские глаза — как сажа, борода сухая, серебряная, с шорохом, только у рта черно — словно уголь ел.

Есть на что посмотреть.

Дамы у Филина тоже не какие-нибудь — коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, — вьется на шесте, блистая чешуей под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки — ума на пяточок, зато сама белизны необыкновенной, так что Филин, зовя на смотрины, даже предупреждает: непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты.

Кое-кто Филина втихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками; хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами; и смешно было, что у него в ванной — специальная щетка для бороды и крем для рук — у холостяка-то... А все-таки позовет — и бежали и втайне всегда холодели: пригласит ли еще? даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще — что он в нас, обыкновенных, нашел, зачем мы ему нужны?..

... — Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомитесь с Алисой — преле-естное существо.

— Спасибо, спасибо, обязательно!

Ну как всегда — в последний момент! Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь: каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки — и спать! И не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем! Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов: Филин живет в высотном доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще что перепадет.

За домом обручем мрака лежала окружная дорога, где посвистывал мороз, холод безлюдных равнин проник под одежду, мир на миг показался кладбищенски страшным, и они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси и, развалясь с комфортом, осторожно побранили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису; а где прежняя-то, Ничочка? ищи-свищи; погадали, будет ли в гостях Матвей Матвевич, и дружно Матвея Матвевича осудили.

Познакомились они с ним у Филина и так были стариком очарованы: эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом коллекционные чашки, журчащий откуда-то сверху Моцарт, и Филин, ласкающий гостей своими мефистофельскими глазами, — фу ты, голова одурела, — напросились к Матвею Матвевичу в гости. Разбежались! Принял на кухне, пол дощатый, стены коричневые, голые, да и вообще район кошмарный, заборы и ямы, сам в тренировочных штанах, совершенно уже белесых, чай спитой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить — только на лестничной площадке: астма, не обесудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел: расположились — бог

с ним, с чаем — послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там перевороты, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах и что вот Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвея Матвейча настраивает, но ведь вот же, вот же: ценнейшие документы, всю жизнь собирал! Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов, но не было рядом Филина и некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только «Ку-у-узин! Ку-у-узин!» — и тыканье в папки и валерьянка. Уложив старика, рано ушли, и Галя поврала колготки о старикову табуретку.

— А бард Власов? — вспомнил Юра.

— Молчи уж!

С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный: тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей — слушать, отстояли два часа за тортом «Полено». Заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел бард Власов, хмурый, с гитарой, торт и пробовать не стал: крем смягчит голос, а ему нужно, чтоб было хрипло. Пропел пару песен: «Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Команечи, физкультурой развиты...» Юра позорился, вылезал со своим невежеством, громко шептал посреди пения: «Я забыл, перси — это какие места?» Галя волновалась, просила, чтобы непременно спел «Друзья», прижимала руки к груди: это такая песня, такая песня! Он пел ее у Филина — мягко, грустно, заунывно, — вот, мол, «за столом, клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись», сидят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть — «одному любовь не под силу, а другому князь не по нраву», — и никто-то никому помочь не может, увы! — но ведь вот же они вместе, они друзья, они нужны друг другу, и разве это не самое важное на свете? Слушаешь — и кажется, что — да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни, да, вот именно! «Во — песня! Коронный номер!» — шептал и Юра. Бард Власов ещё больше нахмурился, сделал далекий взгляд — туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивцы откупоривали далекое пиво, перебрал струны, начал печально: «За столом, клеенкой покрытым...» Запертая в кухне Джулька заскребла когтями по полу, завывала. «За бутылкой пива собравшись...» — поднажал бард Власов. «Ы-ы-ы», — волновалась собака. Кто-то хрюкнул, бард оскорбленно зажал струны, взял папироску. Юра пошел делать Джульке внушение. «Это у вас автобиографическое?» — почтительно спросил какой-то дурак. «Что? У меня все где-то автобиографическое». Юра вернулся, бард бросил окурок, сосредоточиваясь. «За столом, клеенкой покры-ы-ты-ым...» Мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», — со злобой сказал бард. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям, бард поспешно допел — вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки, — скомкал программу, и в прихожей, дергая «молнию» куртки, с отвращением сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа, но раз они не умеют организовать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям: кошмар, одолжите червонец, — и те, тоже перед получкой, долго собирали мелочь и вытрясли даже детскую копилку под рев обобранных детей и лай рвущейся Джульки.

Да, вот Филин с людьми умеет, а мы — как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится.

Время до восьми еще было — как раз чтобы постоять за паштетом в гастрономе у Филинова подножия, ведь вот тоже — на нашей-то окраине коровы среди бела дня шляются, а паштета что-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт. Галя, как всегда, оглядится и скажет:

— В таком лифте жить хочется.

Потом вощенный паркет безбрежной площадки, медная табличка «И. И. Филин», звонок — и наконец он сам на пороге, просияет черными глазами, наклонит голову:

— Точность — вежливость королей...

И как-то ужасно приятно это услышать, эти слова, — словно он, Филин, султан; а они и впрямь короли — Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке.

И вплывут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком морозе, ветре, тьме, что обступили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь.

Что-то неувовимо новое в квартире... а, понятно: витрина с бирсерными безделушками сдвинута, бра переехало на другую стену, арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена, и, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо.

— Аллочка.

— Да, вообще-то, она Аллочка, но мы с вами будем звать ее Алисой, не правда ли? Прошу к столу, — сказал Филин. — Ну-с! Рекомендую паштет. Редкостный! Таких паштетов, знаете ли...

— Внизу брали, вижу, — обрадовался Юра. — И спускаемся мы-ы с пак-ка-ренных вершин-н. Ведь когда-то и боги спуска-ались на землю. Верно?

Филин тонко улыбнулся, повел бровями — дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Все-то вам надо знать. Галя мысленно пнула мужа за бестактность.

— Оцените тарталетки, — начал новый заход Филин. — Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле.

Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками — должно быть, из-за Алисы.

— А что случилось — муку снимают с продажи? В мировом масштабе? — веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле. Забулькал чай.

— Ничуть не бывало. Что мука! — махнул бородкой Филин. — Галочка, сахару... Что мука! Утерян секрет, друзья мои. Умирает — мне сейчас позвонили — последний владелец старинного рецепта. Девяносто восемь лет, инсульт. Вы пробуйте. Алиса, можно, я налью вам в мою любимую чашку?

Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. Да что в ней такого прелестного? Черные волосы блестят, как смазанные, нос крючком, усики. Платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь. Здесь и не такие сиживали — где они теперь?

— ... И вы подумайте, — говорил Филин, — еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кириллычу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил — каждую в папиросной бумажке. И вот — инсульт. Из Склифософского дали мне знать. — Филин куснул слоеную бомбочку, поднял красивые брови и вздохнул. — Когда Игнатий еще мальчиком служил у «Яра», старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. Вы пробуйте. — Филин вытер бородку. — А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже, знаменитых кондитеров. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьяный и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками: нету, Александр Сергееч, такой народ-с, не угодно ли буше? тру-убочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно.

— О боже мой!...— испугалась Галя.

— Да-да. И вы знаете, это так на всех подействовало. Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма — тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял: «Э-эх, Лексан Серге-и-ич... Тараталеточек моих не поели... Пообождали бы чуток...» — Филин бросил еще пирожок в рот и захрустел.— Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после — революция, гражданская война. Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллыч мой потерял его из виду. Проходит несколько лет — а Игнатий все при ресторане,— вдруг что-то его дернуло, выходит он из кухни в зал, а там этот, с дамой. Монокль, усы отрастил — не узнать. Игнатий прямо как был, в туке,— к столику. «Пройдемте, товарищ». Тот заметался, а делать нечего. Идет, бледный, в кухню. «Говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься, прошлое-то подмочено. Сказал. «Говори капустную». Весь дрожит, но выдает. «Теперь саго». А саго у него было абсолю-у-утно засекречено. Молчит. Игнатий: «Саго!!!» И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг «а-а-а-а!» — и побежал. Этот, эсер-то. Бросились, связали, смотрят — а он в уме тронулся, глазами водит, и пена изо рта. Так саго и не дознались. Да... А этот Игнатий Кириллыч интересный был старик, прихотливый. Как он слойку чувствовал, боже, как чувствовал!.. Пек на дому. Задерживал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему: «Игнати-и Кириллыч, голу-убчик, поделитесь секретом, что вам?..» Ни в какую. Все достойного преемника ждал. Теперь вот инсульт... Да вы пробуйте.

— Ой как жалко...— огорчилась прелестная Алиса.— Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего... Вот у моей мамы до войны брошь была...

— Последний, случайный! — вздохнул Филин и взял еще пирожок.

— Последняя туча рассеянной бури,— поддержала Галя.

— Последний из могикан,— вспомнил Юра.

— Нет, вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны...

— Все преходяще, милая Алиса,— жевал довольный Филин.— Все стареет — собаки, женщины, жемчуг. Вздохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить того-сего на пиру жизни. Кушайте и вытрите слезки.

— Может быть, он еще придет в себя, Игнат этот?

— Не может,— заверил хозяин.— Забудьте об этом.

Жевали. Пела музыка над головами. Хорошо было.

— Чем новеньким побалуете? — поинтересовался Юра.

— А... Кстати напомнили. Веджвуд — чашки, блюдца. Молочник. Видите — синие на полочке. Да вот я сейчас... Вот...

— Ах...— Галя осторожно потрогала пальцем чашку — белые беззаботные танцы по синему туманному полю.

— А вам, Алиса, нравится?

— Хорошие... Вот у моей мамы до войны...

— А знаете, у кого я купил? Угадайте... У партизана.

— В каком смысле?

— Вот послушайте. Любопытная история.— Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где осторожно, боясь упасть, сидел пленный сервиз.— Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока. В чашке смотрю — настоящий Веджвуд! Что такое! Ну, разговорились, дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня... ну, неважно. Что выяснилось. Во время войны партизанил он в лесу. Раннее утро. Летит немецкий самолет. **Жу-жу-жу**, — изобразил Филин.— Дядя Саша голову

поднял, а летчик плюнул — и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер как-как взвыграл, он бабах из пистолета — и немца наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели — пожалуйста, пять ящиков какао, шестой — вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него. Молочник с трещинкой, ну ничего. Раз такие обстоятельства.

— Врет ваш партизан! — восхитился Юра, озираясь и стуча кулаком по колену. — Ну как же врет! Фантастика!

— Ничего подобного. — Филин был недоволен. — Конечно, я не исключаю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете... как-то я предпочитаю верить.

Он насупился и забрал чашку.

— Конечно, людям надо верить. — Галя под столом потоптала Юрину ногу. — Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь? Купила кошелек, принесла домой, а в нем — три рубля. Никто не верит!

— Почему же, я верю. Бывает, — рассудила Алиса. — Вот у моей мамы...

Поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах. У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь — брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно, в деталях рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора, но вот в чем была соль — он как-то сейчас точно не припомнит. Филин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев.

— Нет, ну каким же образом? — ахали женщины.

— Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь — все включается. Собака смотрит на часы: пора, идет на кухню, орудует там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяйка придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки-ложки приготовлены. Удобно.

Филин говорил, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису, музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И подумать только, все это пиршество, все эти вечерние чудеса раскинуты ради вот этой ничем не особенной Алочки, пышно переименованной в Алису, — вон она сидит в своем овощном платье, раскрыла уса́тый рот и с восторгом глядит на все сильного господина, мановением руки, движением бровей преображающего мир до неузнаваемости. Скоро Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно... Галю взяла тоска. За что, ах за что?

Посреди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше — со всякими зодческими эдакостями, штукенциями и финтибрясами: на цоколях — башни, на башнях — зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга — источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сно́п, плотная гипсовая жена с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки и барабаны сыграют что-нибудь торжественное, героическое.

И вечернее небо над Филиным, над его кудрявым дворцом играет светом — кирпичным, сиреневым,— настоящее московское театральное-концертное небо.

А у них, на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, маслянисто-морозная тьма, как пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно, слились с ночным, отягощенным снежными тучами небом, только окна там и сям горят неровным узором; золотые, зеленые, красные квадратики сияются растолкать полярный мрак... Поздний час, магазины закрылись на засовы, последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца-бой, никто не гуляет по улицам просто так, ничего не рассматривает, не глазет по сторонам, каждый порхнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна — окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая вдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чых-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине... Вон приближается светлая палочка — огни во лбу автобуса, дрожащее ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри... А за окружной, за последней слабой высотой жизни, по ту сторону заснеженной канавы невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля — тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немислимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородями, над придавленными к холодной земле деревьями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке... а дальше вновь — темно-белый холодок, горбушка леса, где тьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк, он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отворачиванием смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся когтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...

Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то — ого-го сколько... Проспекты, проспекты, проспекты, темные метельные площади, пустыри, мосты, и леса, и снова пустыри, и внезапные голубые изнутри неспящие заводы, и снова леса, и летящий перед фарами снег. А дома — унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота, и знакомый запах, и приключенная к стене цветная обложка женского журнала — для украшения. Румяные противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Озябла?» называется. «Озябла?» Сорвать бы проклятую, да Юра не дает — любит все спортивное, оптимистическое... Вот пусть и ловит такси!

Ночь вступила в глухие часы, закрылись все ворота, празднующиеся грузовики проносились мимо, звездная крыша окаменела от стужи, и грубый воздух сваялся в комья. «Шеф, до окружной?..» — метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной, во дворце, догорало последнее окно, розы погружались в дремоту. Алиса лепетала про мамину брошь, а Филин, в халате с кистями, щекотал ее серебряной бородой: у-у, дорогая! еще ананасов?

Этой зимой они были званы еще раз, и Аллочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, позевывала.

Филин демонстрировал гостям Валтасарова — дремучего бородастого мужика, замечательного своей способностью к чревовещанию. Валтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, далекий вой волков и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные

ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую: «Грыжи боюсь». Гале было не по себе: в Валтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать — через окружную, за канаву, на ту сторону.

Устала она, что ли, за последнее время... Еще полгода назад она кинулась бы зазывать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржаных лепешек, редьки, допустим, — чем там привык питаться чудо-крестьянин? — и мужик брякал бы коровьим боталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало: ничего не выйдет. Позвать его — что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать, освобождай комнату, а она проходная; спать он завалится часов с девяти, запахнет овцами, махоркой, сеновалом; ночью ощупью направится пить воду на кухню, свернет в темноте стул... Тихий мат, Джулька залает, дочь проснется... А может, он лунатик, войдет к ним в спальню в темноте — в белой рубашке, в валенках... Шарить будет... А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешишь на работу, и голова всклокочена, и холодно, — старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки: «Дочка, вот тут лекарство мне записали... От всего лечит... Как бы это достать...»

Нет, нет, нечего и думать с ним связываться!

Это только Филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало — ну и нас, и нас, конечно! О Филин! Щедрый владелец золотых плодов, он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой — и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями.

Вот какой он! Вот он какой!

А какие у него замечательные знакомые... Игнатий Кириллыч, тестознатец. Или эта балерина, к которой он ходит, — Дольцева-Еланская...

— Это, конечно, сценический псевдоним, — качает ногой Филин, любясь потолком. — В девичестве — Собакина Ольга Иеронимовна. По первому мужу — Кошкина, по второму Мышкина. Так сказать, игра на понижение. Гремела, гремела в свое время. Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была — дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщина. После революции надумала отдать камушки народу. Сказано — сделано: снимает бусы, рвет нитку, ссыпает на стол. Тут звонок в дверь: пришли уплотнять. Ну, пока то да се, возвращается — попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять — и в форточку. Она за ним: «Кокоша, куда?! А народ?!» Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы, как — не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы — публика бежит в Константинополь. Попугай — на трубу и сидит. Тепло ему там. Так эта Олечка Собакина, что вы думаете, зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила! И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копейки и пожертвовала на Красный Крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, лежит плашмя, пополнела. Шкуру вот к ней, Стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина, из купцов... Сколько же силы в нашем народе! Сколько силушки нерастроченной...

Галя смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся — красивый, бескорыстный, гостеприимный... Ах, везет этой Алке усатой! А она не ценит, глядит равнодушным блестящим взглядом лемура на гостей, на Филина, на цветы и печенье, слов-

но все это в порядке вещей, словно это так и надо! Словно далеко, на краю света, не томятся Галина дочь, собака, «Озябла?» — заложники во мраке, на пороге осинового, дрожащего от злобы леса!

На десерт ели грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай с блюдечка.

И на сердце лежал камень.

Дома, лежа во тьме, слушая стеклянный звон осин на ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала: никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безымянный, равнодушный, как судьба, распорядился: этот, этот и этот пусть живут во дворце. Пусть им будет хорошо. А вон те, и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой — живите там. Да не там, а во-о-о-он там, да-да, правильно, у канавы, за пустырями. И не лезьте, нечего. Разговор окончен. Да за что же?! Позвольте?! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина — не достучишься. Хочешь — бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь — затаись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яда.

Пробовали карабкаться, пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени, униженно звонили по телефону: «У нас тут лес... чудный воздух... ребенку очень хорошо, и дачи не нужно... сама такая! от психа слышу!..» Заполняли тетради торопливыми пометками: «Зинаида Самойловна подумает...», «Ксана перезвонит...», «Петру Иванычу только с балконом...» Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на Патриарших прудах, капризничала. Пятнадцать семей завертели в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарктами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, доставали ей дорогие лекарства, теплую обувь, ветчину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска, где-то в цепи пал некто Симаков, прободение язвы, — неважно, прочь! — ряды сомкнулись, еще усилие, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера, — трах! — она передумала. Вот так — взяла и передумала. И отстаньте все от нее.

Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун «Анна» смел молодое, слабо развитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина — еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу. Ибо сказано: кому велено чирикать — не мурлыкайте, кому велено мурлыкать — не чирикайте.

«Донос, что ли, написать на старуху?» — сказала Галя. «Да, но куда?» — Осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так и эдак — некуда. Разве апостолу Петру, чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камней и поехал ночью на Патриаршие пруды, чтобы выбить окна в бельэтаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито — не они одни такие умные.

Потом поостыли, конечно.

Теперь она лежала и думала о Филине: как он складывает пальцы домиком, улыбается, покачивает ногой, как поднимает глаза к потолку, когда говорит... Ей так много нужно было бы ему сказать... Яркий свет, яркие цветы, яркая серебряная борода с черным пятном во круг рта. Конечно, Алиса ему не пара, и страну чудес ей не оценить. Да и не заслужила. Тут должен быть кто-то понимающий...

«Бла-бла-бла» — зачмокал Юра во сне.

...Да, кто-то понимающий, чуткий... Малиновый халат ему отпаривать... Напускать ванну... Тапки, что-нибудь...

Вещи поделить так: Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель. Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину, тостер, зеркало из коридора, мамины хорошие вилки, горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуй.

Да нет, глупости. Разве может он понять Галину жизнь? Галино третьесортное бытие, унижения, тычки в душу? Разве расскажешь! Разве расскажешь, ну вот хотя бы как Галя раздобыла — хитростью, подкупом, нужными звонками — билет в Большой театр — в партер!!! — один-единственный билет (правда, Юра искусством не заинтересовался), как мыла, парила и завивала себя, готовясь к большому событию, как вышла из дому на цыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного, а была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись наконец до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то — ой... голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями — пырей вульгарный, сныть окраинная, гнусняк вездесущий. И даже подол в дрянце. И Галя — ну что она такого сделала? — просто тихонько прокралась в туалет и носовым платочком мыла сапоги и застирывала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба — не из персонала, а тоже любитель прекрасного, — вся как лиловое желе, затрясла камнями: да как вы смэ-э-ете! в Большом тэа-атре! скоблить свои поганые но-оги! да вы не в ба-ане! — и понесла, и понесла, и люди стали оборачиваться, перешептываться и не разобравшись сурово глядеть.

И уж все было испорчено, погибло и пропало, и Гале уж было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наяривали медленной рысью прославленный свой танец — вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц взглядом, различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, что все у них, как у простых людей — и вросшие ногти и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы — и по домам, по домам: в ледяное Зюзино, в жидкое Коровино, а то и на самую страшную окружную дорогу, где по ночам молча воеет Галя, в ту непролазную жуть, где человеку и жить бы не надо, где бы только хищной нелюди рыскадь да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая беспечная трепегунья, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин да повертится, выкарабкиваясь, — вот это будет фуэтэ!

Да разве расскажешь!

В марте он их не позвал, и в апреле не позвал, и лето прошло впустую, и Галя изнервничалась: что случилось? надоели? недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, стала забывать дорогие черты: теперь он представлялся ей гигантом, ифритом с пугающе черным взглядом, огромными, искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды.

И она не сразу узнала его, когда он прошел мимо нее в метро — маленький, торопливый, озабоченный, — миновал ее не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть!

Он идет, как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к воцеленным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, избегают на объединенные ступени; маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули — буф, буф! — по носу и снова в карман; вот он встряхнулся, как собака, поправил шарф — и дальше, под арку с чахлой золотой мозаикой, мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно

растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев.

Он идет сквозь толпу, и толпа, то сгущаясь, то редая, шуршит, толкаясь ему навстречу — веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, огушенные суетой.

Он идет не оглядываясь, нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи, вот подпрыгнул, как школьник, скользнул на эскалатор — и прочь, и скрылся, и нет его, только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда, шип и стук дверей и говор толпы, как говор вод многих.

И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в загс и там, заполняя документы, она обнаружила, что он — самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника и все вещички-то скорее всего не его. а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедове! И что она гордо швырнула ему документы и ушла, не из-за Домодедова, конечно, а потому что выходить замуж за человека, который вот хоть настолечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело.

Вот оно как.. А они-то с ним знали! Да он ничем не лучше их, он такой же, он просто притворялся, мимикрировал, жалкий карлик, клоун в халате падишаха! Да они с Юрой в тыщу раз честнее! Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался?

Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила, Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже Джульки. Все ему высказать! Что церемониться? Он был один, и нагло ел треску под музыку Брамса, и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками.

— Галочка, вот сюрприз! Не забыли... Прошу — судак орли, свежий. — Филин подвинул треску.

— Все знаю,— сказала Галя и села, как была, в пальто,— Алиса мне все сказала.

— Да, Алиса, Алиса, коварная женщина! Ну, рыбки?

— Нет, спасибо! И про Домодедово я знаю. И про полярника.

— Да, ужасная история,— огорчился Филин — Три года просидел человек в Антарктиде и еще бы сидел — это романтично,— и вдруг такая беда. Но Илизаров поможет, я верю. У нас это делают.

— Что делают? — опешила Галя.

— Уши. Вы не знаете? Полярник-то мой уши отморозил. Сибиряк, широкая натура, справляли они там Восьмое марта с норвежцами, одному норвежцу его ушанка понравилась, он возьми да и поменяйся с ним. На кепку. А на улице мороз восемьдесят градусов, а в помещении плюс двадцать. Сто градусов перепад температуры — мыслимо ли? С улицы его зовут: «Леха!» — он голову наружу высунул, уши — раз! — и отвалились. Ну, конечно, паника, вклеили ему строгача, уши — в коробку и сейчас же самолетом в Курган, к Илизарову. Так что вот... Уезжаю.

Галя тщетно искала слова. Что-нибудь побольше.

— И вообще,— вздохнул Филин. — Осень. Грустно. Все меня бросили. Алиса бросила... Матвей Матвеевич носу не кажет... Может, умер? Одна вы, Галочка... Одна вы могли бы, если б захотели. Ну теперь я к вам поближе буду. Теперь, поближе. Покушайте судачка. Айнмаль ин дер вохе — фиш! Что значит: раз в неделю — рыба! Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?

— Гёте? — пробормотала Галя, невольно смягчаясь.

— Близко. Близко, но не совсем. — Филин оживился, помолодел. — Забываем историю литературы, ай-яй-яй... Напомню: когда Гёте — тут вы правы — глубоким стариком полюбил молодую, преле-

стную Ульрику и имел неосторожность посвататься, ему было грубо отказано. С порога. Вернее — из окна. Прелестница высунулась в форточку и обляяла олимпийца — ну, вы же это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо — в ней фосфор, — чтобы голова варила. Айнмаль ин дер вохе — фиш! И форточку захлопнула.

— Да нет! — сказала Галя. — Ну зачем... Я же читала...

— Все мы что-нибудь читали. дорогая, — расцвел Филин. — А я вам привожу голые факты. — Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. — Ну, бредет старик домой, совершенно разбитый. Как говорится, прощай. Антонина Петровна, неспетая песня моя!.. Сгорбился, звезда на шее бряк-бряк, бряк-бряк... А тут вечер, ужин. Подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете? Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, знаете, с шишками, аромат... Так — дети сидят, так — внуки. В уголку секретарь его Эккерман примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял — бросил. Не идет кусок. Горошек уж тем более. Внуки ему: деда, ты чего? Он так это встал, стулом шурнул и с горечью: раз в неделю, говорит, рыба! Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели, «Разговоры с Гёте». Поучительная книга. Кстати, эту дичь, абсолютно уже окаменевшую, до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее.

— А горошек куда же дели? — свирепея, спросила Галя.

— Коту скормили.

— С каких это пор кот ест овощи?!

— У немцев попробуй не съешь. У них дисциплинка!

— Что, про кота тоже Эккерман пишет?..

— Да, это есть в примечаниях. Смотри, конечно, какое издание.

Галя встала, вышла прочь, вниз и на улицу. Прощай, розовый дворец, прощай, мечта! Лети на все четыре стороны. Филин! Мы стояли с протянутой рукой — перед кем? Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, и речи твои — лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами.

Темнело. Осенний ветер играл бумажками, черпал из урн. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков — говяжьих кости, пюре «Рассвет». Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по щекам, заплюем лампы: и бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай!

А теперь — домой. Путь не близкий. Впереди — новая зима, новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые травы, холод земляных пластов под боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа.

СЕРАФИМ

— Пошла вон! Пош-ш-ла вон, паршивая!

Чужая собака, белая, свалывшаяся, гадкая, не только прыгнула в лифт за Серафимом, не только скулила, перебирая лапками в постукивающей, несущейся на шестнадцатый этаж тусклой коробочке, но и посмела врататься, настойчиво царапая обшивку, в дверь квартиры, пока Серафим боролся с ключом на площадке.

— Вон пошла!

Серафим брезговал толкнуть чистой ногой теплую гадину. Ужасное нетерпение теребило собаку, она барабанила в дверь, быстро приникала носом к щели, втягивала воздух, снова барабанила, требовала, ничего не желала слушать.

Серафим затопал ногами, закричал — бесполезно. Он попробовал обмануть, быстро протиснулся в квартиру, но мерзость мохнатой змеей, содрогаясь извиваясь, с чудовищной скоростью проползла в щель, мазнув по Серафимовым ногам, и забегала коготками по темной комнате. Серафим завизжал, схватил швабру, настиг, ударил, ударил, вышвырнул. захлопнул дверь и с колотящимся сердцем привалился к притолоке. Исчадие ада молча шелестело на площадке, вертеться и шурша. Ушло.

В ногах еще жило ощущение омерзительно скользнувшей песей плоти. Тошнило.

Серафим полежал на двери, успокаиваясь. Прошло? Почти.

Оставьте меня в покое. Что вам всем от меня надо? Я никого не хочу. Я — отдельно. Выше. Я сошел со звездных полей в эту грязь и, завершив земной круг, вйду, откуда пришел. Не прикасайтесь.

Серафим снял пальто, выпил стакан холодной чистой воды, зажег две свечи, сел перед зеркалом и стал смотреть. Красиво. Прищурился, откинул голову, посмотрел сбоку — хорошо! Это — я. Необыкновенно хорошо! Это — я! А вы идите себе. Вспомнил собаку. Гадина. Вскочил в ужасе, посмотрел на брюки — так и есть, шерсть. Быстро сбросить! Горячий душ! Снова сел к зеркалу.

...Мерзость мира. Женщины. дети, старики, собаки. Желтая колышущаяся жижа. Плоть тошнотворна. Чужая плоть, чужое — отвратительно. Восхитительно, чисто, прозрачно — только мое. Я бесплотен и беспол. Я не играю в ваши игры. Заберите свою пачкотню.

Серафим посмотрел в темное зеркало. По ту и по эту стороны стекла — чистое живое пламя. Лик. Свечи. Лик. Но любоваться этим нечеловеческим, дивным зрелищем я разрешаю только себе! Отверните морды!

На работу Серафим вынужден был ездить в автобусе. Он старался не смотреть на свиные рыла, верблюжьи хари, бегемотовы щеки. Все люди мерзки! И все они, низменные, отвратительные, плят свои выпученные гляделки на Серафима, осклабляются улыбками. Да, я прекрасен! Да, мое лицо светится неземным светом! Да, золотые кудри! Белоснежные крылья! Ангельские очи! Так расступись же, толпа! Прочь с дороги — движется Серафим!

Он еще раз взглянул в зеркало. Из темной глубины, колеблясь в теплом пламени, выплывал Серафимов лик. Розовое сияние, отсвет белых крыл за спиной. Вглядываться без конца... Кто ты, прекрасный? Серафим утонул в божественном отражении. Пора спать. Завтра трудный день. Он задул огни, сложил крыло с крылом и повис в мягком сумраке.

К юбилею братьев Монгольфье в районе был запланирован массовый залет на тридцать километров. Серафим тоже участвовал. Надо было собрать документы: кровь на билирубин, общий анализ мочи и справку о прописке. «Я полечу выше всех, — думал Серафим, пока медсестра отсасывала трубочкой нежную голубую кровь. — Выше толпы, выше людских скопищ, выше низменных страстей. Я, дитя эфира, расправлю свои шелковые, белоснежные, слепящие крылья, как миллион белых колибри. О, как прекрасно будет мое торжественное парение!»

Он не торопясь шагал по подсыхающей весенней дорожке, высоко неся златокудрую голову. На коричневой табличке присело на корточках крякнувшее слово «ЖЭК». Справку о прописке.

Толкнул дверь, вошел. В комнате без занавесок, уставленной рядами стульев, спали две старушки. Пожилой лектор неторопливо читал из клеенчатой тетради:

— По абсолютно недостоверной легенде бог-отец, которого нет, якобы оплодотворил так называемую деву Марию посредством никогда не существовавшего духа святого, результатом какого-то шарлатанского зачатия. По лживому утверждению церковников, явилась мифическая фигура чуждого нам Христа. Эти беспочвенные измышления...

Старушки проснулись.

— Заходите, заходите, Серафим! — крикнул лектор. — Сегодня у нас антипасхальная лекция о вреде так называемого непорочного зачатия. Садитесь, полезно послушать!

Серафим холодно посмотрел, хлопнул дверью, вышел. Я против всякого зачатия Борись, лектор. Борись. Искореняй. Я выше людей, выше из басен о мецанских богах, рожающих в грязном хлеву юродивых младенцев. Я — чистый дух, я — Серафим!

В «Дарах леса» давали голубей. Серафим взял пару. Тушить под крышкой до полутора часов.

Голуби булькали в кастрюльке. Звонок в дверь. Так. Это Магда, соседка. Хочет замуж. Ходит к Серафиму под разными предлогами, рыжая тварь! Серафим сложил руки, стал смотреть в окно, накалялся. Магда села на краешек стула, ноги — под стул, руки не знает куда пристроить. Нравится ей Серафим. Мерзкая!

— Кхм.

Думает, с чего бы начать. Обводит кухню взглядом.

— Куру варите?

— Да.

— Кхм.

Молчание.

— Я вот тоже свинину купила, кусок такой приличный, ну, как сказать? — на кило четыреста, так еще посмотрела: брать — не брать, взяла; думаю, запечь или что, очередь длинющую выстояла; прихожу, разворачиваю — один жир! Один жир!

Жир, тошнотворная гадость. Весь плотский мир — жир. Жирные липкие дети, жирные старухи. Жирная рыжая Магда.

— Кхм. Думала, может, вам постирать, белье грязное или что. Один живете.

Уйди, тошнотворная Уйди, не пачкай свинными руками мой чистый, прозрачный, горный дух. Уйди.

Ушла.

Серафим выбросил голубей, выпил чашку прозрачного бульона. Чистая, постная птица.

Так. Еще получить результат анализа; последнее унижение — и ввысь! К звездам! Серафим заранее знал результат: никаких грязных примесей, ничего низкого, порочащего постыдного не обнаружено. Не то что у э т и х!

Серафим сел в автобус. Напирали. Осторожно же, крылья!

— В такси ездить надо, — сказала женщина. Но посмотрела в светлое лицо Серафима — улыбнулась. Прочь, подлая!

Пробился в середину. Кто-то пальчиком потрогал крыло. Ужаленный, обернулся. Маленький мальчик, уродик — очки, глаз косит, передних зубов нет — глядит на роскошное лебединое Серафимово оперение. Передернуло всем телом: сопливый недоносок!.. грязными руками!

Да вот и результат анализа: *aqua distillata* (sic!). А вы что думали?.. Свиньи!

День кончался. Потный грохот, липкую грязь, вонь, людское копошение — все погрузили на тележки и вывезли прочь. Синий вечер,

помахивая метелочкой, кивая Серафиму, шел с востока. Нежно засебрилось в вышине. На пустеющих улицах каждый черный силуэт особо подчеркнут. Свиные хари смели улыбаться Серафиму, заглядывать в лицо «Всех уничтожить,— думал Серафим. — Всех испепелить. Да, лицо светится. Не для вас! Не смеете глядеть!»

Когда подходил к дому, совсем стемнело. Соблазнительно пустая скамейка. Подышу воздухом. А завтра в полет!

Расправил крылья, посмотрел ввысь. Медленно, медленно поворачивается звездное колесо. Волосы Вероники, Дева, Волопас, Гончие Псы — чистые, холодные апрельские алмазы. Там — место Серафиму. Бесполом, сияющим телом, в серебряных ризах будет парить он в гулкой вышине, пропуская между пальцев струящийся холодок созвездий, ныряя в эфирных потоках. Делать! Делать! — как струны арфы, позвякивают звездные нити. Напнется чистых мерцающих пузырьков из двадцатизвездной Чаши... А грязную землю пожжет. Вынет из созвездия Гончих Псов двойную переливающуюся звезду — Сердце Карла Великого... А землю спалит огнем.

За скамейкой, в густых голых кустах зашуршало, треснуло, вякнуло — выбежала белая собачонка, порутилась, замахала хвостом, кинулась на колени Серафиму — радостно, радостно, как к найденному другу, — шуметь, подпрыгивать, обливать лицо!

Серафим упал с неба, шарахнулся, закричал, выставил руки. Собачка отпрыгнула, села на задние лапки, склонила голову и умильно посмотрела в Серафимово лицо. От вида ласковой морды, темных собачкиных глаз грязное, горячее поднялось в его груди, наполнило горло. Молча, стиснув зубы, дрожа, ненавидя надвигался Серафим на собачку. Она не поняла, обрадовалась, заиляла, засмеялась, бросилась навстречу. Серафим ударил каблуком в собачкины глаза, сбился с ноги, ударил, ударил, ударил!.. Вот так.

Постоял. Собачка лежала вытянувшись. Тишина. Звезды капали. Женский голос позвал:

— Ша-арик, Шарик, Шарик!.. Ша-аринька, Шаринька, Шаринька!..

«И тебе бы тоже так,— подумал Серафим. — Всех раздавить каблуком». Стараясь не шуметь крыльями, быстро пошел в сторону дома.

Ночью спал плохо. Болели челюсти. На рассвете проснулся, ощущая языком тревожно изменившийся зобной полукруг. Что-то не то. Зевнул — с трудом закрыл рот. Стало как-то иначе. Мешает. Похолодел. Обтер лицо рукой, посмотрел — кровь: обрезал ладонь о кончик носа. К зеркалу! Из белой утренней мути, из овальной рамы смотрел на Серафима кто-то: красный костяной клюв; низкий лоб покрыт сизой чешуей; изо рта, с краев узкой щели высунулись два длинных крупных молочно-белых клыка. Серафим холодно посмотрел в раму. Провел раздвоенным языком по клыкам. Крепкие. Посмотрел на часы: «К зубному. В платную. Успею до полета».

Цап-цап-цап когтями по асфальту. Быстрее — цап-цап-цап-цап-цап...

— Змей Горыныч! — кричали мальчишки. — Змей Горыныч идет!

Серафим подобрал пальто, подхватил широкие черные крылья и пустился бегом: за поворотом уже показался автобус.

ДЖОН АПДАЙК

★

КРОЛИК РАЗБОГАТЕЛ*

Роман

Везжая в Бруэр на величественном старом темно-синем «крайслере» машины Спрингер, Нельсон говорит Пру:

— В жизни не догадаешься. Он уговорил маму купить дом. Она сказала, что они посмотрели уже штук шесть. Все эти дома показались ей слишком большими, но папа говорит, что она должна привыкать думать масштабно. По-моему, он слегка рехнулся.

— Интересно, насколько это связано с тем, что мы к ним переехали,— спокойно произносит Пру. Она хотела, чтобы они нашли себе квартиру приблизительно в том же районе, где живут Тощий, Джейсон и Пэм, и никак не может понять, зачем Нельсону нужно жить с бабушкой.

А в нем, как защитная реакция, закипает злость.

— Не вижу, почему это должно было так на него подействовать, да любой приличный отец был бы рад, что мы живем с ними. В доме уйма места, и бабулю нельзя оставить одну.

— А я думаю,— говорит его жена,— когда люди в возрасте, вполне естественно иметь свой дом.

— И естественно — бросать старух, чтоб умирали в одиночестве?

— Но мы же теперь тут.

— Только временно.

— Я тоже так сначала думала, Нельсон, но теперь я вижу, ты не хочешь, чтобы у нас был свой дом. Ты не вынесешь такой жизни, когда останемся только ты да я.

— Я терпеть не могу тесных квартир и кооперативных домов.

— Да ладно, я ведь не жалуюсь. Я теперь уже привыкла. И мне нравится твоя бабушка

— Терпеть не могу этих старых домов в центре города, хоть они нынче и снова ожили благодаря пестрым лавчонкам, которые поставляют товары всяким выродкам да одуревшим от наркотиков смешанным парам. Все это напоминает мне Кент. А ведь я сбежал сюда, спасаясь как раз от такого выдрючиванья. Взять хотя бы этого Тощего: он вроде бы отрицает всю нашу культуру, нюхает кокаин, балуется мескалином и прочей мерзостью, а знаешь, чем он зарабатывает себе на жизнь? Выписывает счета в электрокомпании округа Дайамонд и запечатывает их в конверты; если он продержится на этом месте еще лет десять, то станет старшим. — так разве он не работает на систему?

— А он вовсе и не строит из себя революционера, он любит красивые вещи и общество других парней.

— Надо быть все-таки последовательным,— говорит Нельсон,— как-то это непорядочно — доить общество и одновременно издеваться над ним. Одна из причин, почему ты мне понравилась больше Мелани, как раз тем, что она совершенно помешана на всех этих радикальных идеях, а ты, мне казалось, нет.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9, 10, 11 с. г.

— Я не знала,— говорит Пру еще спокойнее,— что мы с Мелани были соперницами. И что же — вы вдоволь насладились друг другом этим летом?

Нельсон смотрит прямо перед собой, жалея, что своими признаниями довел до этого разговора. В Бруэре уже зажглась рождественская иллюминация — красные и зеленые огоньки и трепещущие украшения из фольги кажутся засохшими и скукожившимися на лишенных снега улицах,— жалкое подобие того праздника, какой сохранился в его детских воспоминаниях, когда было сколько угодно электричества и почти не было вандализма. Тогда на каждом фонаре висел огромный венок из настоящих еловых веток, срезанных в окрестных горах, а смеющийся Дед Мороз в натуральную величину на белых с серебром санях, запряженных восьмеркой оленей со стеклянными глазами, в настоящей с виду шкуре, висел на канатах, натянутых между вторым этажом «Кролла» и крышей дома, где была табачная лавка и которого уже нет. Все витрины в центре между Четвертой и Седьмой улицами были уставлены раскрашенными деревянными солдатиками, и верблюдками, и магами, и золотыми органными трубами в облаках стекловолокна, а по вечерам тротуары заполняли покупатели, и из перегретых магазинов неслись рождественские песнопения, растворяясь в морозном воздухе, ключом, как елка, и так и верилось, что где-то там, во тьме, окружающей освещенный город, родился младенец Христос. Сейчас же рождество было какое-то жалкое. Городской бюджет резко сократили, и в центре на месте половины магазинов стоят пустые коробки.

— Ну, расскажи же,— пристает к нему Пру.— Я ведь знаю, что между вами все было.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

Он решает пойти в наступление: уступи сейчас молодой жене, и она сядет тебе на голову.

— Ничего ты не знаешь,— говорит он ей.— Знаешь только, что надо держаться за эту чертову штуку, которая сидит в тебе, вот в этом тебе нет равных. Рехнуться можно.

Теперь она смотрит прямо перед собой — повязка на ее руке маячит белым пятном на самом краю его поля зрения. А у него режет глаза от этих праздничных огней, буравящих декабрьскую тьму. Пусть изображает из себя мученицу сколько хочет. Пытаешься сказать правду, а получается одно расстройство.

Бабулина старая машина катит как по маслу, но она довольно неповоротливая — еще бы: столько в ней металла, даже отделение для перчаток выложено металлом. Когда Пру вот так замолкает, в горле Нельсона возникает привкус — привкус содеянной несправедливости. Ведь он же не просил ее рожать ему ребенка, никто ее об этом не просил, а теперь, когда он на ней женился, у нее хватает нахальства жаловаться, что он не покупает ей квартиры: дай им одно, они тут же требуют другое. Ох уж эти женщины — точно бездонная яма: вкладываешь в них и вкладываешь — и все им мало, отдаешь всю свою жизнь, а они улыбнутся этаким кривой грустной усмешечкой и жалеют, когда все уже позади, что ты не сумел устроиться по-лучше. Он предостаточно связал себя, и больше связать его ей не удастся. Иной раз, глядя на нее сзади, он только диву дается, как она раздалась, — бедра широкие, точно сарай, можно подумать, что там приютилось не маленькое рожовое существо, а рогатый белый носорог, который имеет к Нельсону столь же мало отношения, как этот крапчатый человек на Луне, вот что происходит, когда Природа начинает командовать, — все выходит из-под контроля.

Привкус во рту становится невыносимым — он просто должен высказаться, выбросить это из себя.

— Кстати,— говорит он,— а как насчет того, чтобы побаловаться?

— Я не думаю, чтобы это разрешалось в таком месяце. Да и потом я чувствую себя жуткой уродиной.

— Уродина или не уродина, ты — моя. Моя тарушка.

— Я все время такая сонная, ты и предсказать себе не можешь. Но ты прав. Давай побалуемся сегодня. Давай вернемся домой пораньше. Если кто-нибудь в «Берлоге» пригласит нас к себе, давай и поедем.

— Вот видишь, если бы у нас была квартира, на которой ты совсем помешалась, и нам бы тоже пришлось приглашать к себе людей. По крайней мере, у бабули мы от этого избавлены.

— Мне там так спокойно, — говорит она, вздохнув. Что она хочет этим сказать? Не надо ему вытаскивать ее из дома по вечерам: он ведь женатый человек, он работает, ему должно быть не до развлечений. А как он боится идти на работу — каждое утро просыпается с гложущим ощущением под ложечкой, точно это не у нее, а у него сидит внутри белый носорог. Эти спортивные машины, которые стоят некупленные и каждый день мозолят ему глаза, и то, что Джейк и Руди никак не примирятся с его решением взять мотосани для продажи и смотрят с таким видом, будто он сыграл злую шутку со своим папашей, тогда как на самом деле у него и в мыслях ничего подобного не было. — просто мальчик очень просил, а Нельсону хотелось поскорее избавиться от «меркури». всякий раз, как он видел эту машину, она напоминала ему о той поре, когда папаша презирал его, даже слушать не хотел — это было несправедливо, так что он вынужден был расколошматить эти две машины, чтоб стереть издевательскую усмешку с лица отца.

Демонстрационный зал для него — все равно как сцена, на которую он вышел, не выучив до конца роли. Может, это от всего, чем он накачивается, кокаин вроде пережигает носовую перегородку, а теперь говорят, марихуана разрушает клетки мозга, а тетрагидроканнабинол оседает в жировых тканях, и потом ты месяцами ходишь как идот, сколько сейчас появилось мальчишек с излишне развитой грудью, потому что организму чего-то не хватало, когда они росли, в тринадцать лет; последнее время Нельсону видятся — не во сне, а наяву, когда он стоит с открытыми глазами, — люди с дырками вместо носа, должно быть, оттого, что перебрали кокаина, или Пру в больнице — она лежит в постели, а под боком у нее маленький красноглазый носорог, может, это ему так кажется из-за гипса на ее руке, уже грязного и осыпающегося по краям, с торчащей наружу бахромой бинта. И еще папаша. Он все больше и больше раздается, перестал бегать, и кожа у него блестит, точно поры всасывают питание прямо из воздуха.

В детстве у Нельсона была книжка с такой твердой блестящей рисованной обложкой и черным, точно изоляционная лента, корешком; на обложке был изображен великан с шишковатым, зеленым, заросшим волосами лицом, который, осклабясь — это и было самое страшное, то, что он ухмылялся своими толстыми губами, скаля большущие, редкие, как у всех великанов, зубы, — заглядывал в пещеру, где мальчик и девочка — скорее всего брат и сестра, герои сказки, — сидели, съезжившись, еле различимые в темноте (читателю видны были только их затылки — ага, вот вы где!), загнанные, до смерти перепуганные, не смея ни пошевелиться, ни вздохнуть — такого страху на них нагнало это огромное, шишковатое, торжествующее лицо, заслонившее солнце у входа в пещеру. Таким же представляется Нельсону в последнее время и папаша: он, Нельсон, стоит в туннеле, а дальний конец, через который он мог бы выйти на солнечный свет, перегораживает лицо отца. Старик понятия не имеет, что он играет такую роль в жизни сына, а виноваты эта скупая печальная улыбочка, этот взмах руки, каким он ставит крест на сыне и с разочарованным видом поворачивается на каблуках — именно с разочарованным: не такого сына он хотел иметь; а теперь весь мужской персонал магазина — не только Джейк и Руди, но и Мэнни и его механики, все перепачканные маслом, только вокруг глаз белое, — смотрит на него и тоже видит: нет, он не в отца, и ростом не вышел, да и не умеет так же легко смотреть на вещи, как Гарри Энгстром. И в целом мире кто еще, кроме Нельсона, может засвидетельствовать, что во всем виноват отец, что он обманщик, и трус, и убийца, а когда Нельсон хочет об этом сказать, то не может выдать из себя ни звука, и мир хохочет, глядя, как он стоит раскрыв рот и молчит. Великан смотрит и ухмыляется, а Нельсон глубже уползает в свой туннель. Он и «Берлогу» любит за то, что в ней уютно, как в туннеле, дымно и пьяно, и под столом передают друг другу самокрутки, и все дозволено, они все вместе в этом дымном туннеле, трусы и неудачники, какая разница, и не надо вслушиваться, кто что говорит, потому что никто не собирается приобретать «тоёту», или страховку, или что-либо еще. Ну почему бы не создать такое

общество, где людям дают, что им нужно, и разрешают делать, что они хотят? Папаша сказал бы, что это фантазии, но ведь именно на таком принципе существует мир животных.

— А я все-таки думаю, ты спал с Мелани. — говорит Пру своим сухим ровным голосом обитательницы трущоб. Одна звуковая дорожка, и только.

— Ну даже если и так что с того? — говорит он. — Мы же с тобой тогда еще не были женаты, так какое это имеет значение?

— Для тебя — никакого: всем известно, ты хватаешь все, что подвернется, такой ты охочий, а вот то, что это была она, — имеет значение, она же моя подруга. Я ей верила. Я верила вам обоим.

— Только ради всего святого, не хнычь.

— Я и не хнычу

Но он уже представляет себе, как она будет сидеть рядом с ним в «Берлоге» в одной из кабинок, надувшись и не говоря ни слова, не слыша ничего, кроме ударов младенца в животе: из-за этой сломанной руки она выглядит так нелепо, этот живот и гипс, и вообще, когда они смотрят на нее, ему становится ее жаль, а потом он говорит себе, что таким образом проявляет заботу о ней: берет ее с собой, тогда как многие ребята в жизни бы этого не сделали.

— Эй, — буркает он. — Я тебя люблю.

— И я тебя люблю, Нельсон, — откликается она и приподнимает с колен руку, которая не в гипсе, и он, сняв руку с рюкзачка, пожимает ее. Чудно: чем больше она раздается в ширину, тем тоньше и сильнее становятся у нее руки и лицо.

— Выпьем по паре стаканчиков пивка и уедем, — обещает он ей. Может, там будет девчонка в белых брюках. Она иногда приезжает туда с этим здоровым дубарем Джейми, и Нельсон понимает, она притаскивает его: ей там нравится, ему — нет.

«Берлога» пользуется таким успехом, что на Сосновой улице трудно найти место для машины, а Нельсону охота избавить Пру, по крайней мере, от необходимости шагать по холоду, хотя доктор и говорит, что физические упражнения ей на пользу. Нельсон терпеть не может холода. В детстве он обожал декабрь, потому что в конце этого месяца было рождество и он с таким волнением ждал всех радостей, которые сулит жизнь, что просто не замечал, как тьма и холод наступают на человека, окружая его плотной стеной. А тут еще папаша отправляется с мамой шиковать на какой-то там остров вместе с этими своими вонючими приятелями — валяться на песке и греться на солнышке, тогда как Нельсон должен держать оборону в магазине и замерзать, — несправедливо это. А та девчонка не всегда в белых брюках — в прошлый раз на ней была юбка по новой моде с большим разрезом сбоку. Вон там есть место перед длинным низким кирпичным зданием, в котором раньше располагалась «Верити пресс», — похоже, удастся втиснуться между старым двухтонным «Фэйрлейном» и бронзовым «хондо-универсалом», тютелька в тютельку... Он останавливается впритирку к «Фэйрлейну», так что у Пру вырывается резкий возглас:

— Нельсон!

Он говорит:

— Я же вижу его, вижу, заткнись и не мешай мне сосредоточиться. — Он крутит тяжелый, обтянутый бархатом руль «крайслера» — машины настолько мощной в управлении, что кажется, это не автомобиль, а броненосец, рассчитывая, что, став на место, она мгновенно замрет, как конькобежец на льду. Ух, до чего же эротично выглядят фигуристки в своих костюмах с разлетающимися юбочками, когда они едут задом. Нельсон стараясь не упускать из виду довольно низко сидящие фары «хонды», вспоминает, как у той девчонки распалхулась разрезанная юбка, обнажив длинную блестящую ногу до бедра, когда она садилась на стул у бара, и, узнав Нельсона, наградила его застенчивой мимолетной улыбкой. Монументальный «крайслер» бабули откатывает назад, и Нельсон, уверенный в том, что он идеально гладко запаркует машину, даже не слышит неожиданного скрежета металла, раздираемого металлом, и приходит в себя, лишь когда машина до середины изуродована и Пру взвизгивает:

— Ой! — Точно она рожает.

* * *

Уэбб Мэркетт говорит, что цена на золото достигла на сегодняшний день предела: маленького человека в Америке захлестнула эта эпидемия, а когда маленький человек вскакивает на подножку удачи, ловкие дельцы с нее соскакивают. Вот серебро — другое дело брата Ханты в Техасе скупают акции серебряных рудников на миллионы в день, а люди с такими деньгами знают, что делают. Гарри решает сменить свое золото на серебро.

Дженис все равно собиралась в центр за рождественскими покупками, так что они встретятся в «Блинном доме», пообедают, а потом поедут в Бруэрский кредитный банк с ключом от сейфа и вынут тридцать круггеррандов, которые Гарри три месяца тому назад купил за 11 314,20 доллара. В помещении, отведенном банком для общения клиентов со своими ящиками-сейфами, Гарри вытаскивает из-под страховых бумаг и государственных займов два голубых цилиндрика с крышечками, как туалетные сиденья в кукольном доме, и кладет их Дженис на ладони — по одному на каждую ладонь, и улыбается, видя, как ее вновь изумляет тяжесть золота. Сразу став более солидными гражданами, они выходят между двумя большими гранитными колоннами из Бруэрского кредитного банка на слабый декабрьский солнечный свет, пересекают лес, где стоят неработающие фонтаны и парковые скамейки из цемента с именами молодых парней и девчонок, выведенными краской из распылителя, и по восточной части Уайзер-стрит проходят два квартала, сплошь состоящие из магазинов и магазинчиков, где идет вялая предрождественская торговля. Истощенные маленькие пуэрториканки — единственные покупатели, которые вбегают и выбегают из дверей дешевых магазинчиков, да еще ребята, которым следовало бы быть в школе, да пенсионеры с тупым выражением опухших от виски, заросших щетиной лиц, в грязных стеганых куртках и охотничьих шляпах, — заводы использовали этих стариков и вышвырнули на улицу.

Проходя мимо алюминиевых фонарей, Гарри слышит, как шелестят, подрагивая на ветру, венки из фольги. Золото, золото, поет сердце Гарри, — он ощущает эту тяжесть в двух глубоких карманах своего пальто, раскачивающуюся в такт его шагам. Рядом, мелко перебирая ногами, спешит Дженис — подтянутая, сосредоточенная женщина в теплой дубленке, доходящей до сапог, — спешит, придерживая несколько пакетов, которые тоже шелестят, как и венки из фольги. Он видит их обоих в пятнистом, поцарапанном зеркале рядом со входом в обувной магазин: он — высокий, прямой, белолицый; она — маленькая, смуглая, бегущая рядом с ним в кожаных сапогах цвета бычьей крови на высоких каблуках и на «молнии», плотно облегающих щиколотку, — ноги ее отбрасывают на ходу полы дубленки, и ее изящный силуэт — столь же непреложно, как и его черное ворсистое пальто и ирландская шляпа, — свидетельствует о том, что это люди, хорошо в жизни устроенные, что они могут позволить себе шагать с улыбкой мимо тех, кто злобно поглядывает на них на улице и отводит глаза.

Магазин «Финансовые альтернативы», с окнами, забранными жалюзи в тонкую полоску, находится в следующем квартале — квартале, который когда-то пользовался дурной славой, но теперь, когда весь центр стал таким, ничуть не отличается от соседних. В магазине девушка с платиновыми волосами и длинными маникюренными ногтями улыбается, узнав Гарри, и подтягивает к прилавку бежевое кресло для Дженис. После телефонного звонка в какое-то дальнее помещение она отщелкивает несколько цифр на своем маленьком компьютере и сообщает Гарри и Дженис — а они сидят, как два мешка, в своих толстых пальто у края ее прилавка, — что цена на золото сегодня утром достигла почти пятисот долларов за унцию, но она может предложить им лишь 488,75 доллара за монету, таким образом это составит..., пальцы ее легко бегают по клавишам, не задевая их ногтями, и в сером окошечке компьютера бесстрастно высказывают, словно вытянутые магнитом, цифры: 14 622,50 доллара. Гарри подсчитывает в уме, что он заработал на своем золоте по тысяче в месяц, и спрашивает девушку, сколько серебра он мог бы купить на эту сумму. Девушка бросает на него из-под ресниц взгляд — так посмотрела бы маникюрша, решая, сказать или не сказать, что помимо маникюра она делает еще и массаж в задней комнате. Дженис, сидящая рядом с Гарри, закурила, и дым от ее сигареты, про-

тянувшись над прилавком, отравляет атмосферу взаимопонимания, установившуюся между девушкой с платиновыми волосами и Гарри.

— Мы не занимаемся продажей серебра в брусках, — поясняет девушка. — У нас серебро есть только в виде долларов, вшущенных до шестьдесят пятого года, но мы их продаем по стоимости сплава.

— По стоимости сплава? — переспрашивает Гарри. Он-то представлял себе, что это будет небольшой брусок, который ляжет в металлический ящик сейфа, как пистолет в кобуру.

Продавщица — терпеливая, в ее бесстрастности есть даже что-то гнетущее. Точно частица шелковистой тяжести драгоценных металлов перешла к ней.

— Ну, вы знаете, такое колесо от телеги. — Для ясности она образует круг, сведя вместе острые, как кинжал, ногти указательного и большого пальцев. — Их раньше выпускал Монетный двор США, а пятнадцать лет назад их перестали чеканить. В каждой монете — ноль семьдесят пять тройской унции серебра. Сегодня серебро идет по... — Она бросает взгляд на бумажку, лежащую на ее столике, рядом с кнопочным телефоном ванильного цвета. — ...двадцать три доллара пятьдесят пять центов за тройскую унцию, следовательно, каждая монета независимо от ее коллекционной ценности стоит... — Снова в ход идет калькулятор. — ...семнадцать долларов и шестьдесят шесть центов. Но некоторые монеты поистерлись, так что если вы с женой надумаете сейчас их покупать, я могу дать вам скидку.

— Значит, это старые монеты? — спрашивает Дженис голосом мамыши Спрингер.

— Есть старые, а есть и нет, — ровным тоном отвечает девушка. — Мы покупаем их по весу у коллекционеров после того, как они отобрали то, что представляет для них ценность.

Гарри думал, что все будет иначе, но Уэбб ведь поклялся, что именно в серебро умные люди вкладывают сейчас деньги. Гарри спрашивает:

— А сколько серебра мы могли бы купить на то, что получим за золото?

На клавиши компьютера обрушивается настоящий шквал: 14 662.50 доллара дают магическую цифру 888. Значит, восемьсот восемьдесят восемь серебряных долларов по 16.50 каждый, включая комиссионные и налог на продажу товаров в Пенсильвании. Кролику цифра 888 представляется огромной, даже если речь идет о спичках. Он смотрит на Дженис.

— Крошка! Так что ты думаешь?

— Право, Гарри, я не знаю, что тут думать. Это же ты вкладываешь капитал.

— Но деньги-то ведь наши общие.

— Ты же не хочешь больше держать золото.

— Уэбб говорит, серебро может удвоиться в цене, если нам не вернут заложников.

Дженис поворачивается к продавщице:

— Я вот подумала, что если мы найдем дом, который нам понравится, и захотим внести за него аванс, серебро легко будет продать?

Блондинка смотрит на Дженис с уже куда большим уважением и говорит мягче, как женщина с женщиной:

— Очень легко. Гораздо легче, чем ценные бумаги или землю. Кроме того, «Финансовые альтернативы» гарантирую, что купят у вас все, что мы продали. Если бы вы принесли эти монеты нам сегодня, мы бы заплатили... — Она снова взглядывает на бумаги, лежащие перед ней на столике. — ...по тринадцать пятьдесят за каждую.

— Значит, мы бы потеряли на этом по три доллара, помноженные на восемьсот восемьдесят восемь, — говорит Гарри. Руки у него вспотели, возможно, из-за того, что он в пальто. Получи в этом мире хоть маленькую прибыль, и мир тотчас начинает придумывать, как бы отобрать ее у тебя. Ох, взять бы назад золото. Монеты были такие красивые, с этикетками маленькими изящными оленями на обратной стороне.

— О, но при том, как растет цена на серебро, — произносит девушка и, вдруг умолкнув, снимает какую-то крошечку, приставшую к уголку рта, — вы возьмете свое за неделю. По-моему, вы поступаете очень умно.

— Так-то оно так, но что если в Иране все утрясется, — никак не может успокоиться Гарри. — Не лопнет все как мыльный пузырь?

— Драгоценные металлы — это не мыльный пузырь. Драгоценные металлы — предел надежности...

— О'кей, — говорит Гарри, — ударим по рукам. Мы покупаем серебро.

Хотя платиновая девушка, как и подобает продавщице, уговаривала их, она тем не менее несколько удивлена и теперь ведет долгие переговоры по телефону, пытаясь набрать нужное количество монет. Наконец появляется парень, которого она называет Лайлом, с серым парусиновым мешком, в каких носят почту; он слегка покачивается под его тяжестью и, крикнув, ставит мешок на столик перед девушкой. — правда, он худющий и похож на чудилу, возможно, из-за короткой стрижки. Забавно, как все перевернулось: люди нормальные носят нынче длинные волосы, а всякие выродки и панки ходят коротко остриженные. Интересно, думает Гарри, а как теперь с этим обстоит в морской пехоте — наверное, носят волосы до плеч...

Поначалу Гарри и Дженис считают, что только девушка с платиновыми волосами и почти идеальной кожей имеет право дотрагиваться до монет. Она отодвигает все бумаги в сторону и с трудом приподнимает за угол мешок. Из него высыпаются доллары.

— А черт! — Она сосет ушибленный палец. — Если не возражаете, помогите мне считать.

Гарри и Дженис снимают пальто и погружают руки в мешок, вытаскивают оттуда монеты и кладут их стопочками по десять штук. Серебро разложено по всему столу — сотни статуй Свободы: некоторые монеты — стершиеся, более тонкие, другие — толстенькие, точно прямо с Монетного двора. Дженис начинает хихикать — такое множество профилей, надписей и орлов проходит через ее руки, и Гарри понимает: это от ощущения, будто она лепит их из глины. От обилия. Стопки множатся, они уже образуют ряды — десять по десять. Наконец мешок выдает последнюю монету вместе с обрывком корпии, которую девушка щелчком сбрасывает со столика. Затем с серьезным видом обводит рукой с малиновыми ногтями свою часть монет:

— У меня триста девяносто.

Гарри похлопывает по своим стопкам и объявляет:

— У меня двести сорок.

— А у меня двести пятьдесят восемь, — говорит Дженис. Она его обскакала. Он гордится ею. Значит, она может стать кассиром, если он вдруг умрет. Призван на помощь калькулятор — 888.

— Абсолютно точно, — говорит девушка, не менее удивленная, чем они. Она заполняет нужные бумаги и вручает Гарри два четвертака и десятидолларовую бумажку сдачи. У него мелькает мысль, не вернуть ли ей эти деньги в качестве чаевых. Монеты укладываются в три картонные коробки величиной с толстые кирпичи. Гарри ставит коробки одна на другую, и, когда пытается их поднять, лицо у него делается такое, что Дженис и девушка разражаются смехом.

— Ну и ну! — восклицает он. — Сколько же они весят?

Платиновая девушка колдует на компьютере.

— Если считать, что каждая монета весит по крайней мере тройскую унцию, значит, в целом это будет семьдесят четыре фунта...

Гарри поворачивается к Дженис.

— Одну коробку понесешь ты.

Она берет коробку, и теперь хочет уже он, глядя на выражение ее лица, на котором глаза чуть не вылезают из орбит.

— Я не могу, — говорит она.

— Придется. — говорит он. — Нам же донести только до банка. Пошли, мне ведь надо назад в магазин. Зачем же ты в теннис играешь, если не нарастила себе мускулов?

А он гордится тем, что они играют в теннис. — это он сейчас старается для блондинки, изображая из себя эксцентричного аристократа из Пенн-Парка.

— Может, Лайлу проводить вас? — предлагает девушка.

Но Кролик не желает, чтоб его видели на улице с этим полумужином, полубабой.

— Мы справимся. — И, обращаясь к Дженис, говорит: — Представь себе, что ты беременна. Давай Пошли. — И к сведению девушки добавляет: — Она потом зайдет за своими пакетами.

Он поднимает две коробки и, плечом открыв дверь, вынуждает Дженис следовать за ним. Выйдя на Уайзер-стрит, освещенную холодным солнцем и трепещущую от ветра, он старается не гримасничать и не реагировать на взгляды прохожих, которые с недоумением смотрят на то, как он, обеими руками крепко прижав к себе две небольшие коробки, с трудом удерживает их на уровне бедер.

Какой-то черный в голубом кепи сторожа, с налитыми кровью глазами — точно камушки плавают в апельсиновом соку — останавливается на тротуаре и, спотыкаясь, делает шаг к Гарри.

— Эй, приятель не поможешь другу...

Что это черных, как магнитом тянет к Кролику. Он круто поворачивается, чтобы телом прикрыть серебро, и пошатнувшись под его сместившейся тяжестью, делает шаг вперед. И продолжает идти, не смея оглянуться и посмотреть, следует ли за ним Дженис. Но, остановившись у края тротуара рядом с поцарапанным счетчиком на стоянке машин, слышит ее дыхание и чувствует, как она с трудом догоняет его.

— Еще эта шуба, тоже тяжеленная. — задыхаясь, произносит она.

— Переходим на другую сторону, — говорит он.

— Посреди квартала?

— Не спорь со мной. — буркает он, чувствуя, что озадаченный его видом черный уже двинулся следом. И сходит с тротуара, так что автобус, находящийся в полуквартале от них, с визгом тормозит. Среди улицы, где на расплавленном за лето асфальте двойная белая полоса образует волнистую линию, он останавливается, поджидая Дженис. Девушка дает ей мешок из-под почты, чтобы нести в нем третью коробку с серебром, но Дженис вместо того чтобы перекинуть мешок через плечо, несет его на левой руке, точно ребенка.

— Как ты там? — спрашивает он.

— Ничего. Иди же. Гарри.

Они переходят на другую сторону. В магазине земляных орехов теперь не только торгуют порнографическими журналами, но еще и разложили их у входа... Из двери выходит шикарный японец в темной, в тонкую полоску тройке и в сером котелке, держа под мышкой сверкающие «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнэл». Как японец мог очутиться в Бруклине?..

Гарри говорит Дженис:

— Давай положим все три коробки в мешок, и я взвалю его себе на спину. Ну, знаешь, как Дед Мороз. Ха-ха!

Пока они совещаются, вокруг них уже начинают собираться щербатые темнокожие уличные ребята и какие-то обтрепанные пьянчуги в лохмотьях, позимнему надетых друг на друга для тепла. Гарри крепче прижимает к себе свои две коробки. Дженис обхватывает плотнее свою третью и говорит:

— Пошли, нам в эту сторону. До банка остался всего квартал. — Лицо у нее раскраснелось от ветра и холода, сощуренные глаза слезятся, губы решительно поджаты — не рот, а щель.

— Не квартал, а добрых полтора, — поправляет он ее.

Тяжесть, которую тащит Гарри, невыносимо оттягивает ему руки, у него горят ладони, твердые коробки то и дело только бьют по животу. Теперь он был бы чуть ли не рад, если б его ограбили, но здесь, в западной части улицы, люди, наоборот, обходят их с Дженис, словно в них появилось что-то угрожающее и они сейчас ринутся в атаку со своими коробками. Гарри вынужден то и дело останавливаться, чтобы положить Дженис, и тяжесть — а ведь он несет вдвое больше, чем она. — тотчас начинает оттягивать ему руки. Фольга, навешанная на алюминиевые фонарные столбы, стчаянно раскачивается. Гарри чувствует, как пот сбегаёт по его спине под дождем пальто, а намочший воротничок рубашки, высыхая, холодным скользким краем режет шею. Во время этих остановок он смотрит вдоль Уайзер-стрит и видит вдали лиловато-бурую громаду горы Джадж; в детстве ему мнилось, что он отдыхает на склонах этой горы,

а теперь ему мнится, что бог смотрит оттуда на него и Дженис и видит двух муравьев, пытающихся взобраться по краям раковины в ванной...

Наконец впереди возникает первая из четырех больших гранитных колонн Бруэрского банка. Гарри прислоняется усталой спиной к ее по-римски массивной толще в ожидании Дженис. Если ее сейчас обкрадут, пока она не добралась до него, это им обойдется в одну треть от 14 662 долларов, или почти в пять тысяч долларов, но опасность ограбления не кажется ему реальной... Наконец Дженис возникает рядом с ним... Когда она раскраснеется, то становится ужасно похожей на мать.

— Не надо здесь стоять, — задыхаясь, произносит она.

Даже путь вокруг колонны кажется бесконечно долгим, когда Гарри следом за женой обходит ее и, пропустив Дженис вперед, протискивается во врагущуюся дверь банка.

Внутри под гулками сводами звучат рождественские гимны. Высокий узорчатый потолок выкрашен синей краской и независимо от времени года на нем ровно сияют золотые звезды. Когда Гарри ставит свои две коробки на стойку, за которой клиенты заполняют чеки, он ощущает во всем теле такое облегчение, что кажется, сейчас вознесется в это фальшивое небо. Кассир, женщина в светло-малиновом брючном костюме, улыбается, видя, что они так скоро вернулись за своим сейфом. Ящик у них четыре дюйма на четыре — гораздо уже, как они обнаруживают, чем нужно: три коробки с серебряными долларами. Если их поставить в ряд, не влезают туда. Когда дверь из матового стекла закрылась и Гарри с Дженис, еще не отдышавшись, еще чувствуя боль в руках, остались вдвоем в святой святых, они не сразу это замечают. Гарри несколько раз промеряет ширину картонной коробки и ширину жестяного ящика и наконец приходит к выводу:

— Нам нужен ящик побольше.

И Дженис отправляется в банк попросить другой сейф. Ее отец был приятелем управляющего. Возвращается она с известием, что в последнее время большой спрос на сейфы и банк может лишь поставить Энгстромов на очередь. А управляющий, которого знал папочка, ушел на пенсию. Нынешний, на взгляд Дженис, очень молоденький, хотя и не грубиян.

Гарри хохочет.

— Ну не можем же мы вернуть сейчас серебро блондинке — мы потеряем на этом состояние. А нельзя ли свалить все снова в мешок и постараться засушить его в сейф?

В тесном помещении они с Дженис толкаются, мешая друг другу, и он впервые чувствует, что в ней нарастает сомнение, правильно ли он распорядился их деньгами в этом раздираемом инфляцией мире; а может быть, это сомнение возникает у него самого. Но назад уже не повернешь. Они сваливают серебряные доллары из коробок в мешок. Всякий раз, как серебро издает звон, Дженис вздрагивает и говорит:

— Ш-ш-ш.

— В чем дело? Кто нас слышит?

— Да все. кто там, в банке. Кассиры.

— А не все ли им равно?

— Мне не все равно, — говорит Дженис. — Здесь такая духота, просто ужас. — Она снимает дубленку и за неимением вешалки складывает ее и бросает на пол. Гарри снимает свое черное пальто и бросает его сверху. От усталости Дженис вспотела, и волосы у нее завились мелким бесом — челка приподнялась, обнажая высокий блестящий лоб, такой родной сейчас, как и двадцать лет назад; Гарри целует его и чувствует на губах соль. Интересно, кто-нибудь занимался здесь когда-нибудь любовью, думает он, и ему кажется, что железная камера, где они находятся, очень даже подходящее для этого место... Дженис осторожно опускает стопочки монет в толстый серый мешок, стараясь, чтоб они не звенели.

— Неловко как-то, — говорит она, — а что если кто-нибудь из этих дам войдет? — Такое впечатление, будто серебро голое, и Гарри, не впервые за двадцать с лишним лет, чувствует, как в нем поднимается любовь к ней, запечатанной вместе с ним в узком пространстве. Он берет один из серебряных долларов

и опускает за шиворот ее льняной блузки. Как он и предвидел, она взвизгивает от холода и тотчас гасит визг. От этого он любит ее еще больше, а она расстегивает пуговку на блузке и, насупясь, выуживает из лифчика монету...

Через некоторое время она объявляет:

— Этот мешок просто туда не влезет.

Как они ни запихивают и ни перекладывают монеты, в сейф влезает едва половина. Они вытаскивают свои страховые полисы и облигации, свидетельство о рождении Нельсона и так и не выброшенные закладные на дом в Пенн-Виллас, который сторел. — все эти бумажки, хранимые как свидетельства того, что в их жизни был период, когда им приходилось зажиматься и обращаться к крючкотворам-законникам, — снова их кладут, но ничего не меняется. Толстая материя мешка, склонность монет то выпирать горой, то рассыпаться, узкий прямоугольник серой жестяной коробки — все это положительно приводит их в отчаяние, пока они стоят рядом точно два хиурга во время безнадежной операции и пытаются затолкать и запихнуть монеты. А восемьсот восемьдесят восемь монет никак не влезает и то и дело выскакивают из мешка, падают на пол и раскатываются по углам. Когда Гарри и Денис удалось наконец набить до предела жестяной ящик, так что у него даже тенки выпятились, на руках у них еще осталось триста серебряных долларов, которые Гарри рассовывает по карманам пальто.

Они выходят из помещения, где совершали свою операцию, и любезная кассирша в светло-малиновом костюме хочет забрать у них сейф.

— Он довольно тяжелый, — предупреждает ее Гарри. — Лучше давайте я отнесу.

Она удивленно приподнимает брови, отстывает и ведет его в бронированное хранилище. Они входят через высокую дверь, уступчатые края которой отливают металлом, в помещение, где все стены сплошь в сверкающих прямоугольных отверстиях, обмазанных по краю в скоевой белой краской... Кассирша указывает Гарри на пустое отверстие, чтобы он вставил туда свой сейф. Гарри нагибается, весь в поту от усилий. Выпрямившись, он извиняющимся тоном говорит:

— Вы уж нас простите, мы его так перегрузили.

— Ну что вы, — говорит дама в светло-малиновом костюме. — Очень многие так поступают нынче — ведь такое воровство.

— А что будет, если воры проникнут сюда? — шутит он.

Оказывается, так шутить нельзя.

— Ну что вы... это невозможно.

А на улице день клонится к вечеру, и блеск фольги уже не так слепит глаза, приглушенный тенью от домов Дженнис и риво похлопывает его по карману, чтобы послушать, как звенят денежки.

— А с этими что ты будешь делать?

— Раздам бедным Чертова баба, эта продащица, больше никогда у нее ничего покупать не стану

От холода пот на его лице высыхает и кожу стягивает. Несколько знакомых по клубу «Ротари» выходят из «Блинного дома», явно как следует набив себе живот, и Гарри, не останавливаясь, приветственно помахивает им рукой. Ведь одному богу известно, что там без него творится в магазине, парень, может, уже берет на продажу роликовые коньки

— Ты мог бы воспользоваться магазинным сейфом, — подсказывает Дженнис. — Можно сложить монеты в одну из этих коробок. — И она протягивает ему одну из пустых картонок.

— Нельсон стянет, — говорит он. — Он теперь ведь тоже знает комбинацию, открывающую сейф.

— Гарри! Ну как ты можешь говорить такое!

— А ты знаешь, во сколько обойдется эта царапина на «крайслере» твоей мамаше? Восемь сотен чертовых монет, как минимум Нельсон, видно, совсем рехнулся. А вот Пру, сразу видно, чувствует себя неловко, интересно, сколько она еще вытерпит, пока не поумнеет и не потребует развода. Это еще тоже будет стоить нам целое состояние. — Пальто у него такое тяжелое, что оттягивает плечи. У него такое чувство, будто тротуар идет под гору, вообще весь этот год

почва уходит у него из-под ног — одна потеря за другой. И серебро-то его в разных местах — точно жестянки Сейф его развалится, и служитель выметет монеты метлой. Так или иначе, все это — мишура! Великая печальная сказочка для детей, именуемая рождеством, разукрасила Уайзер-стрит из конца в конец, и в темноте Гарри вдруг прозревает истину: человек богатеет, чтобы его грабили, человек богатеет, чтобы стать бедным.

Голос Дженис возвращает его к реальности:

— Прошу тебя, Гарри! Не делай из всего трагедии. Пру любит Нельсона, и он любит ее. Никакого развода не будет.

— Я думал не об этом. Я думал о том, что серебро начнет падать в цене.

— Ну и что, если даже начнет? В любом случае все это игра...

Неделя между праздниками — рождеством и Новым годом — всегда тихая для торговцев машинами: люди жмутся после рождества, а тут еще зима на носу — дороги покроются льдом и солью, и по краям установят барьеры, о которые можно смять крыло, так что все склонны оставаться при своем металлоломе. Езди до износа, пока не наступит весна, — таков закон. Хорошо, что хоть сани задвинули подальше, где никто их не видит, а то они стояли рядом с новенькими маленькими «Терселами», точно их дальний родственник. У Придорожной кухни, что напротив, через шоссе 111, дела идут тоже не блестяще: обедать на улице да и в машине — холодно, вот разве что не выключать мотор, но люди каждую зиму умирают от этого, вздумав заняться в машине любовью. И все равно у магазина Гарри скапливаются ужасающие горы промасленных бумаг от сэндвичей, картонок из-под молока и просто пыли. А в декабре пыль особая — более серая и колючая, чем летом, — может, на холоде воздушные течения не закручиваются вверх, и потому ближе к земле стелется пыль; а кроме того, холодный воздух выталкивает из себя влагу, и утром, когда просыпаешься, все стекла изнутри в росе. Подумать только, сколько всяких проблем. Металлы ржавеют. Дерево гниет. Мотор утром не заводится, пока ты не отвинтишь крышку и не протрешь клеммы. Не было бы конденсации — мир мог бы существовать вечно. К примеру, на Луне этой проблемы не существует. На Марсе оказывается, тоже. На Новый год Бадди Инглфингер устраивает у себя пьянку — наверно, испугался, что может выпасть из компании: узнал, что они отправляются на острова, а его не позвали. Интересно, кто будет помогать ему принимать гостей — эта плоскогрудая зануда с прямыми черными волосами, у которой какой-то idiotский магазин в Бруэре, или та девчонка, что была до нее, у которой все ноги в сыпи и даже сыпь меж грудей — это заметно, когда она в купальном костюме. Как же ее звали? Джинджер? Джорджина? Гарри с Дженис решили, что заглянут к Бадди лишь ненадолго, из вежливости — в определенном возрасте ты уже все знаешь про эти вечеринки — и смоятся сразу после полуночи. А потом еще шесть дней, и — фьють! — на острова. Вшестером. Крошка Синди будет там валяться на песке. Да и Гарри необходимо отдохнуть — все эти события просто доконали его. Если ты продаешь меньше одной машины в день, не считая воскресений, — худо твое дело. Все эти железки мигом становятся пыльными и ржавеют, а на хромированных частях появляются пузыри. Коррозия металла. Да еще серебро упало на два доллара за унцию в ту минуту, когда он купил его у этой стервы.

Нельсон, который все это время приставал к Мэнни по поводу починки «крайслера» — малый хочет, чтоб ему сбросили цену и не брали с него по семнадцать с полтиной, как с клиентом, а Мэнни снова и снова, точно он полный кретин, объясняет, что если брать меньше со служащих, это сразу отразится в бухгалтерских книгах, и тогда прости-поощай премия в конце месяца, — подходит сейчас к отцу и останавливается рядом с ним у витрины.

Гарри никак не может привыкнуть к виду парня в костюме: он кажется почему-то еще ниже и напоминает дилипуга-конферансье в смокинге, да еще эти длинные волосы, которые он теперь укладывает после каждого душа с помощью фена. Пру — право Нелли выглядит таким злым пижоном, человеком, совершенно не знакомым Гарри. В ярком свете возле зеркального стекла витрины Гарри замечает, что у Нельсона в складке носа вскочил прыщ, который вот-вот лопнет. Солнце в это время года светит под таким углом — и с

каждым днем оно клонится все ниже, — что зеркальное стекло кажется покрытым золотой пленкой пыли. Малый старается проявить дружелюбие. Давай. Расковыляйся.

— Ты остаешься смотреть семьдесят шестые финальные? — спрашивает его Гарри.

— Не-а... В баскетбол теперь играют одни идиоты, если хочешь знать мое мнение.

— Да, там многое изменилось с моих времен, — признает Кролик...

— Я люблю хоккей, — говорит Нельсон.

— Я это знаю. Когда на поле играют эти чертовы «Флайерс», крик стоит такой, что хоть беги из дома. Все эти обезьяны идут на стадион и только и ждут, когда вспыхнет драка и кому-нибудь выбьют зубы. Авось удастся увидеть кровь на льду. — Нет, разговор как-то не так пошел, и Гарри решает переменить тему: — А что ты думаешь по поводу русских в Афганистане? Хорошенький они себе подарок сделали к рождеству.

— Глупо это, — говорит Нельсон. — Я имею в виду, глупо, что Картер так взбесился. Мы ведь тоже были во Вьетнаме... с той только разницей, что Афганистан-то у русских под боком... Во всяком случае, пап, русские, если что задумали, так они делают. Мы же только пытаемся что-то сделать, а потом уязваем в политических передрыгах. Ни на что мы больше не способны.

— Да, если люди будут рассуждать так, как ты, — говорит Гарри сыну. — А что бы ты сказал, если бы тебе сейчас пришлось отправиться воевать в Афганистан?

Парень хмыкает.

— Пап, я ведь теперь женатый. И к тому же мне давно перевалило за призывной возраст.

Неужели возможно такое безразличие? Гарри, к примеру, не чувствует себя слишком старым, чтобы воевать, а ему в феврале будет сорок семь. Он всегда жалел, что его не послали в Корею, когда он служил в армии, хотя в то время рад был пополачиваться и в Техасе. Там у людей был до смешного примитивный взгляд на жизнь: деньги, пьянка и бабы — и больше ничего...

— Ты что же, хочешь сказать, что женился, чтобы не участвовать в будущей войне? — спрашивает он Нельсона.

— Да не будет никакой войны, Картер пошумит-пошумит и махнет рукой: пусть делают что хотят — спускает же он Ирану, хотя они там держат наших заложников. Собственно, Билли Фоснахт говорит, что мы их получим назад только если Россия оккупирует Иран. Тогда они вернут нам заложников и станут продавать нам нефть, потому что им нужна наша пшеница.

— Билли Фоснахт... этот подонок снова тут объявился?

— Приехал на каникулы.

— Не обижайся, Нельсон, но как ты выносишь этого типа?

— Он мой друг. Но я знаю, почему ты не выносишь его.

— Почему же? — спрашивает Гарри, чувствуя, как у него заколотилось сердце в предчувствии ссоры.

Мальчишка поворачивается к отцу на фоне покрытого золотой пылью стекла, и лицо у него сморщивается от ненависти — ненависти и страха, что он сейчас схлопочет по физиономии за свои слова.

— Да потому что Билли был дома в ту ночь, когда ты спал с его матерью. В то время как Скитер поджег дом и в нем сгорела Джилл.

Та ночь. Десять лет прошло, а она все не выходит у парня из головы, живет в нем, как клещ, мешающий его росту.

— Это все не дает тебе покоя, да? — мякно произносит Кролик.

Мальчишка даже не слышит его...

— Это из-за тебя умерла Джилл.

— Не из-за меня и не из-за Скитера. Невозможно, кто поджег дом, но во всяком случае не мы. Надо перестать об этом думать, мальчик. Мы вот с твоей мамой перестали.

— Я знаю, что перестали.

Электрическая машинка Милдред Краус стучит в отдалении, по магазину расхаживает пара в коричневых куртках, разглядывая цены, приклеенные к

стеклам машин с внутренней стороны, мальчишка смотрит прямо перед собой, словно оглушенный голосом отца, который тщетно пытается достучаться до его сознания.

— Что прошло, то прошло,— говорит Гарри,— надо жить настоящим... В моем возрасте, если носить в себе все горе, какое ты видел в жизни, так просто не встанешь утром.— Что-то промелькнуло в лице мальчишки на какую-то долю секунды: Гарри чувствует, что сын слушает, и это побуждает его продолжать.— Как только у тебя родится малыш,— говорит он сыну более задушевым, более теплым тоном,— хлопот появится хоть отбавляй. Ты иначе и смотреть будешь на многое.

— Хочешь, я тебе кое-что скажу? — спрашивает Нельсон каким-то мертвым голосом, глядя сквозь отца глазами, совершенно обесцвеченными косыми лучами солнца.

— Что? — Сердце у Кролика замирает.

— Когда Пру полетела с лестницы. Я не уверен, что не я толкнул ее. Не могу вспомнить.

Гарри смеется — от испуга.

— Конечно, ты ее не толкал. С чего бы тебе толкать ее?

— Потому что я такой же сумасшедший, как и ты.

— Ни ты, ни я — мы не сумасшедшие. Просто иногда тошно становится.

— Правда? — Похоже, малый благодарен за такую информацию.

— Безусловно. Во всяком случае никакой беды не произошло. Когда же вы его ждете? Его или ее?

От парня исходит такой густой дух страха, что Гарри не хочется поддерживать с ним разговор. Какие прозрачные стали у него глаза — каряя радужная оболочка словно вдруг вся растворилась.

Нельсон, снова насупясь, опускает взгляд.

— Они считают, еще около трех недель.

— Отлично. Мы как раз успеем вернуться. Слушай. Нельсон. Может, я не все правильно делал в жизни. Я знаю, что это так. Но самого большого греха я не совершил. Я не сложил руки и не умер.

— А кто сказал, что это самый большой грех?

— Все так говорят — церковь, правительство. Это против природы — сдаваться, человек должен все время идти вперед. А с тобой именно это и происходит. Ты не идешь вперед. Ты не хочешь быть тут и продавать драндулеты старика Спрингера. Ты хочешь быть там. — Он указывает на запад. — Чему-то учиться. Планизму, или работе на компьютере, или чему-то еще.

Слишком долго он говорил, и та брешь, которая на секунду образовалась было в стене, воздвигнутой Нельсоном, закрылась.

— Ты же сам не хочешь, чтобы я был тут, — обвиняюще говорит Нельсон.

— Я хочу, чтобы ты был там, где ты будешь чувствовать себя счастливым, а здесь счастливым ты себя не чувствуешь. Я не хотел сейчас тебе об этом говорить, но мы с Милдред просматривали цифры, и они не радуют. С тех пор как ты у нас появился, а Чарли ушел, продажа машин сократилась примерно на одиннадцать процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть ноябрь—декабрь.

У мальчишки слезы появляются на глазах.

— Я же стараюсь, пап. Стараюсь держаться дружелюбно и быть напористым и все такое, когда приходят покупатели.

— Я знаю, Нельсон, что стараешься. Знаю, что стараешься.

— Не могу же я выскакивать на улицу и втаскивать покупателей силой.

— Ты прав. Забудь, что я сказал. Понимаешь, дело в том, что у Чарли были связи. Я вот всю жизнь прожил в этом округе, если не считать двух лет армии, а у меня таких связей нет.

— Но я знаю уйму людей моего возраста, — возражает Нельсон.

— Угу.— говорит Гарри.— ты знаешь людей, которые продают тебе старые спортивные машины по фантастической цене. А Чарли знает тех, которые приходят и покупают машины. Он уверен, что они придут, и когда они явятся, это его не удивляет и их не удивляет. Может, все дело в том, что он —

грек, не знаю. А что бы люди ни говорили об мне и о тебе, малыш, мы с тобой не греки.

Шутка не помогает: мальчишку ранило куда сильнее, чем хотелось Гарри.

— Не думаю, чтоб дело было во мне, — говорит Нельсон. — Дело в эконо-

номике. Поток транспорта на шоссе 111 возрастает: люди спешат в сгущающихся сумерках домой. Гарри тоже мог бы уехать — ведь Нельсон будет в магазине до восьми. Залезть в «Корону», повернуть ручку приемника, подключенного к четырем динамикам, и послушать, как там обстоит дело с серебром. Хо-хо, серебро! Гарри говорит, и голос его — для его собственного уха — звучит так солидно, совсем как у Уэбба Мэркетта:

— М-да, экономика, конечно, имеет свои причуды. Эта история с нефтью ударяет по японцам еще больше, чем по нам, а то, что ударяет по ним, нам на пользу. Иена падает, японские машины нынче стоят в долларах дешевле, чем в прошлом году, и это должно было бы отразиться на продаже. — Лицо Синди на фотографии — Гарри никак не может выростить это из головы: взбудораженная, изумленная, счастливая, точно она сидит в корзине воздушного шара и вдруг почувствовала, что оторвалась от земли. — Цифры, — в заключение сухо изрекает он. — Цифры — они не врут, и они не прощают.

Именно в Новый год Гарри и Дженис решились сообщить мамаше Спрингер новость, которую вот уже неделю хранят при себе. Задержка вызвана их страхом перед тем, как старуха это воспримет, кроме того, желанием обставить все торжественно, выказать уважение к священным семейным узам, объявив о разрыве этих уз в немаловажный день, первый день нового десятилетия. Однако теперь, когда день этот наступил, они чувствуют лишь похмелье и пустоту в голове после того, как накануне проторчали у Бадди Инглфингера до трех часов ночи. Бадди и его новая пассия, шала тощая дылда с завитыми мелким бесом волосами и тремя детьми от неудачного брака, приготовили что-то вроде пунша из ананасного сока, рома и коньяка, а сейчас, хотя уже полдень, Гарри по-прежнему то и дело ощущает вкус ананасного сока во рту. У Гарри болит голова, а тут еще Нельсон и Пру, которые повели вчера вечер дома с бабулей у телевизора — шла передача из Нью-Йорка, непосредственно с Таймс-сквера... — засели в гостиной и смотрят парад с фестивалем хлопка из Техаса, поэтому Гарри и Дженис приходится отозвать мамашу Спрингер на кухню, чтобы поговорить с ней наедине. Какая-то мертвечина и застой отмечают начало нового десятилетия. Когда они садятся за кухонный стол для разговора, Гарри кажется, что они уже так сидели, а сейчас повторяю для дубля.

Дженис — глаза у нее от усталости обведены черными кругами — поворачивается к нему и говорит:

— Начинай ты, Гарри.

— Я?

— Господи, что же это такое может быть? — спрашивает мамаша, делая вид, будто сердится, а на самом деле очень довольная церемонностью, с какой они под руки привели ее сюда...

— Видите ли, Бесси, — начинает Гарри — мы ищем себе дом.

Игривость слетает с лица старухи, точно в нее стрельнули из рогатки. Гарри вдруг замечает, что кожа в уголках ее плотно сжатых губ вся в тоненьких, сухих, пересекающих друг друга морщинках. А ему-то казалось, что теща все такая же крепко сбитая, какую он впервые ее увидел, тогда как на самом деле незаметно для него кожа у Бесси обвисла и потрескалась, как замазка на слуховом окне, стала похожей на бумагу, когда ее скомкаешь, а потом расправишь. Он снова чувствует во рту привкус ананасного сока. Тошнота, черным шариком засевшая внутри, быстро разрастается, катясь по великой пустыне сурового, выжидающего молчания старухи.

— Ну и вот, — продолжает он, сглотнув слюну, — мы считаем, что нашли подходящий дом. Небольшой двухэтажный особнячок в районе Пенн-Парка. Агент полагает, что это был, очевидно, домик садника, который продали, когда ликвидировали поместья, а затем владельцы пристроили к нему более просторную

кухню. Это возле съезда с Франклин-драйв, за большими домами; стоит он совсем обособленно.

— И всего в двадцати минутах отсюда, мама.

Гарри никак не может оторваться от созерцания старухиной кожи в холодном свете, заливающим кухню. Таинственная жизнь вен под кожей, придававшая ее лицу этот румяный здоровый вид, который унаследовала от нее Дженис, сейчас как бы прикрыта налетом серой пыли, в которой морщины на ближайшей к нему освещенной щеке проложили ряд за рядом неразборчивые письмена вроде тех, что встречаешь на далекой известковой скале. Он чувствует себя таким огромным, словно башня, неуверенно возвышающаяся над обеими женщинами, и все жалкие слова, которые он со стыдом из себя выдавливает, перелегают через огромное пространство, страшную, все расширяющуюся пропасть, которая отделяет его от мамы, безмолвно ожидающей решения своей участи.

— Буквально рядом, — говорит он ей, — и с тремя спальнями наверху, точнее, там есть комнатка, в которой раньше играли детишки, а кроме того, две настоящие спальни, и мы будем счастливы приютить вас в любое время на столько, на сколько будет нужно. — Он чувствует, что не то говорит: ведь это значит, что старуха снова будет жить с ними и ее телевизор будет бормотать за стеной.

— Право же, мама, — встречает тут Дженис, — это куда разумнее, чтобы мы с Гарри сейчас поселились отдельно.

— Но мне пришлось уговаривать ее, ма: это ведь была моя идея. Когда мы с Фредом так по-доброму приняли нас после того, как мы снова съехались, я никогда не думал, что мы осядем здесь навсегда. Я считал эту ситуацию временной, пока мы снова не встанем на ноги.

А нравилось ему в этой ситуации — теперь он это понимает — то, что ему было бы легко расстаться с Дженис: вышел на улицу и оставил ее с родителями. Но он не ушел от нее и теперь уже не может уйти. Она же его богатство.

Дженис пытается смягчить мать, побудить ее нарушить молчание.

— И потом это — вложение капитала, мама. У всех наших знакомых есть собственный дом, даже у того холостяка, у которого мы были вчера вечером, а ведь многие зарабатывают куда меньше Гарри. Недвижимость — единственное, во что при такой инфляции можно вкладывать деньги, если они у тебя есть.

Мамаша Спрингер наконец раскрывает рот, с каждым словом произвольного повышая голос:

— Вы же получите этот дом, когда меня не станет, подождите немного. Неужели вы не можете еще немного подождать?

— Мама, ты же ужас что говоришь. Не хотим мы дожидаться твоего дома, мы с Гарри хотим иметь свой дом, сейчас. — Дженис закуривает и, чтобы спичка не дрожала, крепко упирается локтем в стол.

— Бесси, вы будете жить вечно, — заверяет старуху Гарри. Но теперь, увидев, какой стала ее кожа, знает, что это не так.

А она, широко раскрыв глаза, вдруг спрашивает:

— Что же в таком случае будет с этим домом?

Кролик чуть не расхохотался — такое детское стало у старухи лицо, да и голос совсем тоненький.

— Все будет отлично, — заверяет он ее. — Раньше, когда строили, так строили на века. Не то что эти сараи, которые наспех сколачивают теперь.

— Фред всегда хотел оставить этот дом Дженис, — объявляет мамаша Спрингер, снова сощурилась и глядя в пространство между головами Гарри и Дженис. — Чтобы обеспечить ее на будущее.

Теперь смеется Дженис.

— Мама, мое будущее вполне обеспечено. Мы же рассказывали тебе про золото и серебро.

— Когда так играешь с деньгами, что-то непременно теряешь, — говорит мамаша. — Я вовсе не хочу, чтобы после меня дом продали с аукциона какому-нибудь бруэрскому еврею. Они теперь переселяются сюда, после того как черные и пуэрториканцы поселились в северной части города.

— Да перестаньте, Бесси, — говорит Гарри, — не все ли вам равно? А кроме того, как я уже сказал, вам еще жить и жить, ну, а когда вас не станет,

значит, не станёт. Отпустите нас — всегда приходится ведь от чего-то отступать и переключать заботы на другие плечи. В Библии на каждой странице об этом говорится. Отпустите — господу виднее¹.

Судя по тому, как дергается Дженис, он, очевидно, наговорил лишнего.

— Мама, мы ведь можем еще и вернуться сюда...

— Когда старая ворона умрет. Почему вы с Гарри не сказали мне, что мое присутствие вам так тяжело? Я ведь старалась как можно больше сидеть в своей комнате. Спускалась на кухню, только когда видела, что некому, кроме меня, приготовить...

— Мама, прекрати. Ты чудесно себя вела. Мы оба тебя любим.

— Грейс Штул взяла бы меня к себе — она много раз предлагала. Хотя дом у нее и вполтину меньше этого, а крыльцо такое высокое. — Она дергает носом так громко, что это звучит точно крик о помощи.

Нельсон громко спрашивает из гостиной:

— Бабуля, когда обед?

— Вот видишь, мама, — тотчас вставляет Дженис. — Ты забываешь про Нельсона. Он же будет жить здесь со своим семейством.

Старуха снова дергает носом, уже менее трагично, и, поджав губы, глядя покрасневшими глазами прямо перед собой, говорит:

— Может, будет, а может, и нет. На молодежь трудно рассчитывать.

— Вот на этот счет вы совершенно правы, — говорит Гарри. — Они не желают бороться и не желают учиться, им только бы сидеть сиднем и накачиваться.

Нельсон входит на кухню с газетой, сегодняшним бруэрским «Стэндардом» под мышкой. Вид у него на этот раз веселый — должно быть, выспался...

Увидев выражение лица бабушки, он спрашивает:

— Что тут у вас происходит?

— Мы тебе потом объясним, лапочка, — говорит Дженис.

А Гарри сообщает:

— Мы с твоей мамой подыскали себе дом и намереваемся туда переехать.

Нельсон смотрит на одного, потом на другую, и кажется, он сейчас закричит — так побелело у него вокруг рта. Но вместо этого он спокойно произносит:

— Значит, удираете. Удираете, артистка. Ну и черт с вами обоими. Папочка и мамочка. Катитесь ко всем чертям.

И он возвращается в гостиную, где грохот барабанов и тромбонов заглушает слова, которыми обмениваются они с Пу, запутавшись в лабиринте своего такого еще недавнего брака. Малый испугася. Почувствовал себя брошенным. Обстоятельства захлестывают его. Кролику знакомо это чувство. Несмотря на все расхождения между ним и сыном, бываю минуты, когда у него возникает впечатление, будто между их с Нельсоном сердца проложена короткая стальная трубка — настолько точно он знает, что чувствует в данный момент парень. И тем не менее только потому, что человек боится остаться один, не должен же он, Гарри, торчать здесь, будто этакий большой толстый увалень, всеобщая палочка-выручалочка, как выразилась однажды Мим.

Дженис и ее мать сидят, держась за руки, лица у обеих в слезах. Когда Дженис плачет, лицо у нее расплывается, и она становится такой уродиной — совсем как в детстве.

— О, я знала, что вы искали себе дом, — причитает ее мамаша, словно бы разговаривая сама с собой, — но мне как-то не верилось, что вы действительно станете его покупать, если со временем получите этот бесплатно. Может, нам что-то тут изменить, перестроить, чтобы вы передумали, или, может, вы хотя бы дадите мне попривыкнуть к этой мысли? Слишком я стара — вот в чем дело. Слишком стара, чтобы нести такое время. Мальчик, он, конечно, полон добрых намерений, но у него сейчас такая каша в голове, а девочка — не знаю. Она готова все на себя взять, но я не уверена, что она это может. Честно говоря, я боюсь появления младенца — я все пыталась вспомнить, как это было, когда родилась ты, а потом Нельсон, и сколько ни стараюсь — не могу. Помню

¹ Переключка с фразой из Библии: «Отпустите народ мой» (Исход 5. 1).

только, что с молоком у тебя вышли какие-то неполадки и доктор был с тобой так груб, что Фреду пришлось вмешаться и сказать ему пару слов.

Дженис кивает, кивает, от слез нос у нее сбоку блестит, жилы на шее с каждым всхлипом обозначаются резче.

— Хотя мы и сказали, что подпишем бумаги, но, может, нам подождать, раз ты так к этому относишься, — подождать, по крайней мере пока не родится ребенок.

Обе сидят и раскачиваются, сцепив руки на столе, касаясь друг друга головами.

— Делай то, что ты считаешь нужным для твоего счастья. — говорит мамаша Спрингер, — а мы, остающиеся, как-нибудь справимся. Ну, не умру же я — ничего хуже ведь не случится, а если умру, так, может, и к лучшему.

От этих ее слов Дженис совсем раскисает: лицо все в слезах, под глазами, обведенными чернотой, набрякли мешки, она приникает к матери, отказывается от нового дома, умоляет простить ее:

— Мама, мы думали, Гарри был уверен, ты не будешь чувствовать себя одиноко с...

— С такой морокой, как Нельсон, в доме?

Крепкий орешек. Пора Гарри вмешаться, не то Дженис совсем капитулирует.

— Послушайте, Бесси, — говорит он жестко. — Вы хотели иметь эту мороку, вы ее и получили.

Свобода! Бетон летит назад под колесами; вот они оторвались от земли, и под одним из закругленных огромных крыльев мелькает старый рыжий Форт, а бензохранилища южной Филадельфии превращаются в белые шашечки. Колеса со стуком уходят в свои пазы, и пронзительно яркие огни сверкают на неподвижной алюминиевой поверхности рядом с окном. Самолет так стремительно поднимается вверх, что тело наливается тяжестью, рука Дженис стала влажной в его руке. Она попросила его сесть к окну, чтобы ей не приходилось смотреть вниз. А внизу — болота, высохшие и прочерченные полосками соленой воды. Гарри поражается обилию промышленных зданий за заливом Делавэр — плоские серые крыши размером со стоянки для машин и стоянки для машин — сплошь сверкающие автомобильные крыши, точно пол в ванной, выложенный вместо кафеля драгоценными камнями. Почти такое же впечатление производят и свалки старых машин. Надпись НЕ КУРИТЬ гаснет. За спиной Энгстромов звучат голоса Мэркеттов и Гаррисонов. Они выпили в аэропортовском баре, хотя было всего одиннадцать утра. Гарри летал и раньше, но в Техас, когда служил в армии, а также на совещания торговцев автомобилями в Кливленд и Олбени, однако ни разу вот так, на отдых, прямо на восток, к солнцу. Как быстро, как бесшумно «боинг-747» пожирает милю за милей — расстояния сверху кажутся игрушечными. Солнечный свет передвигается вместе с ними, вмиг пересекая озера, словно это зеркала. Зима до сих пор была на редкость мягкой — назло аятолле... Внизу машины еле ползут по идеально прямой дороге, будто по рельсам. Дома Кэмдена постепенно разбегаются, нехотя уступая место вспаханному полю или усадьбе с затейливым домом и глазком бассейна, упрятого среди леса; а через минуту самолет Гарри, продолжая набирать высоту, уже летит над черно-красным ковром сосновых крон Нью-Джерси, прорезанным желтыми дорогами и вырубками, однако по большей части еще не испорченным человеческим присутствием и прочерченным, следуя холмистому рельефу и водным потокам, венами более темных массивов вечнозеленых растений — вкрапления более светлых, лиственных деревьев, — отсюда, с высоты, глазу видны все оттенки, соперничающие на земле. Дженис выпускает руку Гарри — значит, преодолела свой страх.

— Что ты там видишь? — спрашивает она.

— Побережье.

И в самом деле, могучая машина, бесшумно сделав рывок, домчала их до конца зеленого океана и теперь под ними песчаная коса, отделенная от материка лентой поблескивающей воды и легкомысленно застроенная вытянувшись в одну линию летними курортами, воздвигнутыми строителями, которые—

в противоположность Гарри — не могли видеть, как легко океан может приподнять свое широкое блестящее плечо и загопит все, стереть всякий след присутствия людей...

Стюардесса с лицом, словно нарисованным на эмали, приносит им обед на подносе из светлого пластика, упакованном в целлофан. Хотя она сильно накрашена, Гарри кажется, что он видит под громом, когда она с улыбкой наклоняется к нему, чтобы спросить, что он будет пить, тени — следы бурно проведенной ночи. Он где-то читал — в «Клубе» или в «Уи», — что у этих девиц по дружку в каждом городе. Еще в аэропорту его поразили люди: в высланных бобриком коридорах толпились всякие чудилки, люди немислимых размеров в немисливых одеяниях, смертельно бледные девицы в огромных очках и с такой копной мелко завитых волос, что на голову можно надеть корзину; враскачку шли черные мужчины в длинных меховых шубах и приталенных бархатных костюмах, высокий бледный юноша в тюрбане и стеганной куртке на пуху, карлик в клетчатом шотландском берете, какая-то женщина, такая толстая, что, не умещаясь на пластиковом кресле в зале ожидания, вынуждена стоять, опираясь на алюминиевую палку о трех ногах. Да, жи нь за пределами Бруэра пестрая и шалая. Все точно разряженные клоуны. Карлик и его пятеро спутников тоже вырядились — на них под зимними пальто легкая летняя одежда. Синди Мэркетт — в открытых гуфлях без пятки, на вьсоком каблуке. Тельма Гаррисон шлепает в шерстяных носках и теннисных туфлях. Они все то и дело смеются друг над другом, выдавая тем самым, что они из округа Дайамонд, где принято так себя вести. Гарри не прочь немножко поднакачаться, но он боится утратить восприятие яркости окружающего мира, явившееся ему откровение, что за пределами Бруэра планета еще способна вызывать восторг... От счастья сердце его подпрыгивает. Бог, который теперь, в зрелые годы Гарри, значит для него не больше виноградины, закатившейся под сиденье машины, вдруг снова приобрел огромное значение — он всюду, словно всепроникающий бодрящий ветер. Свобода — мертвые и живые остались внизу, на расстоянии пяти миль под ними, в дымке, застлавшей землю, точно мутный налет от дыхания на зеркале.

Гарри отворачивается от маленького окошечка с двойными рамами, забранными каким-то цветным материалом, который весь в горизонтальных царапинах, точно прошел град из метеоритов. Дженис листает журнал авиакомпании — Как ты думаешь, они справятся? — спрашивает он ее.

— Кто?

— Твоя мамаша, Нельсон и Пру — кто же еще?

Она перелистывает гляцевую страницу...

— Думаю, лучше, чем при нас.

— Они тебе что-нибудь говорили про дом?

Гарри и Дженис два дня тому назад, во вторник, подписали купчую, а накануне, в понедельник, седьмого января, продали свое серебро «Финансовым альтернативам». Серебро под влиянием паники, обуявшей в связи с событиями в Афганистане тех, кто нажил большие деньги на нефти, стоило в тот день 36 долларов 70 центов. таким образом, каждый из серебряных долларов, которые они купили по 16,50 за штуку, включая налог на продажу товаров, стоил теперь, согласно подсчетам платиновой блондинки, 23,37 доллара. Дженис, которая недаром время от времени все эти годы работала в магазине отца, повернула к себе маленький компьютер и, пощелкав на нем, вежливо указала продавщице, что если серебро стоит 36,70 доллара за тройскую унцию, то семьдесят пять процентов от этой суммы составляют 27,52 доллара. Но, заметила молодая женщина, не хотите же вы, чтобы «Финансовые альтернативы» продавали серебро дешевле слитков, а покупали по той же цене. Выглядела она менее ухоженной — крошечный прыщик в уголке губ превратился в нечто такое, что пришлось прикрыть круглым кусочком пластыря. Однако, позвонив куда-то в глублину здания — сама-то она сидит в помещении, отделенном от улицы лишь тоненькими жалюзи, — она сообщила, что они могут получить ровно по двадцать четыре доллара за монету. Таким образом восемьсот восемьдесят восемь штук составили 21 312 долларов, иными словами, меньше чем за месяц они нажили 6660 долларов. Гарри пожелал оставить себе на память восемь красивых старых колес, так что цифра на чеке сократилась до 21 120 долларов — в любом

случае более магическое число. Они достали свое неподъемное богатство из жестяного ящика в Бруэрском кредитном банке и из сейфа в «Спрингер моторс», на сей раз заранее позаботившись о том, чтобы меньше нести его на руках. и запарковав «Корону» вопреки правилам во втором ряду на Уайзер-стрит. На другой день, когда цена на серебро упала до 31,75 доллара за унцию, они подписали все в том же Бруэрском банке обязательство на 62 400 долларов сроком на двадцать лет из расчета по тринадцать с половиной процентов годовых... Каменный домик в Пенн-Парке, некогда бывший приютом садовника, стоил семьдесят восемь тысяч долларов... И вот Дженис и Гарри вышли из банка между монументальными колоннами, щурясь от света зимнего дня, уже домовладельцами, которые через день улетят туда, где еще лето. Проходят годы, и ничего не происходит, а потом одно событие следует за другим. Закипает вода, расцветает кактус, объявляется рак.

— Мама, кажется, смирилась, — говорит Дженис. — Она рассказала мне длинную историю о том, как ее родители, которые, насколько тебе известно, занимали в округе более высокое положение, чем Спрингеры, предложили ей с папой поселиться у них, пока он изучал счетоводное дело, и он сказал — нет, если он не в состоянии дать своей жене крышу над головой, не следовало ему жениться.

— Надо бы ей рассказать эту историю Нельсону.

— Я не стала бы слишком жать сейчас на Нельсона. Что-то его грызет.

— Я не жму на него, это он на меня жмет. Так нажал, что выставил из дома.

— Возможно, наш отъезд перепугал его. Он почувствовал, что у него есть обязанности.

— Пора бы уже малому проснуться. А как, по-твоему, смотрит на все это Пру?

Дженис вздыхает — еще один звук, потонувший в шуршании, сопровождающем полет. Маленькие тупорылые насадки над их головой шипят, подавая кислород. Гарри так хочется услышать, что Пру ненавидит Нельсона, что она жалеет о своем браке, что рядом с отцом сын выглядит психопатом.

— Да, по-моему, никак, — говорит Дженис. — Мы иногда с ней беседуем, и она знает, что Нельсон несчастен, но она верит в него. Тереза ведь так рвалась уехать подальше от своих родных из Огайо, что теперь она не может быть слишком разборчивой — с кем свела ее жизнь, с тем и свела.

— Она по-прежнему продолжает хлебать этот мятный ликер?

— Она немного легкомысленна, но в этом возрасте они все такие. Кажется, что ни произойди — со всем ты справишься и дьявол никогда не попутает тебя.

Гарри дружески подталкивает ее локтем, показывая, что все помнит. Дьявол ведь попутал ее двадцать лет тому назад. Общая вина лежит на них, как пристяжные ремни, и держит их крепко, но чувствуют они ее, только когда пытаются пошевелиться.

— Эй вы, влюбленные птички! — небрежно раздается громкий голос Ронни Гаррисона, он смотрит на них сверху, из-за спинок кресел, дыша виски. — Уделите нам немного внимания, а ворковать будете дома.

И все остальные три часа полета они проводят со своими четырьмя друзьями — пересаживаются, стоят в проходе, передвигаются по широкому нутру «боинга», точно они в длинной гостиной Уэбба Мэркетта. Они накачиваются спиртным и вспоминают, как вместе проводили время: такое впечатление, что, забудь они все и замолчи, и эта задуманная ими совместная поездка лопнет как мыльный пузырь, а они все шестеро вылетят в пустоту, окружающую и держащую в высоте эту подрагивающую скорлупину — самолет. Синди все это время ведет себя любезно, но отчужденно, словно младшая сестра или посторонняя женщина, случайно очутившаяся среди людей, настроившихся на отдых. Она сидит на краешке своего кресла у окна нагнувшись вперед, стараясь не пропустить их шуток; глядя на нее, трудно поверить, что у этой женщины в строгом темном костюме и блузке с пышным белым бантом, напоминающим Гарри портреты Джорджа Вашингтона, есть укромные местечки и складочки и что Гарри поставил себе целью во время этой поездки обследовать их.

Самолет начинает снижаться; в желудке Гарри все сжимается; веший голос пилота объявляет с техасским акцентом, что пассажирам надлежит вернуться на свои места и приготовиться к посадке. Теперь, когда Дженис уже под парами, Гарри спрашивает, не хочет ли она сесть к окну, но она говорит — нет, ей страшно смотреть вниз, пока они не приземлились. А Гарри сквозь поцарапанный плексиглас видит молочно-бирюзовое море, испещренное пурпурно-зелеными тенями затонувших островов. Одинокая яхта. Затем неровный абрис каменистой косы, оканчивающейся белым песчаным пляжем, — словно рука в манжете. Домики с красными крышами летят над ним. Колеса самолета со стоном высвобождаются из своих пазов и замирают. Самолет облетает болото. Гарри приходит в голову помолиться, но он не может сосредоточиться, да к тому же Дженис так крепко сжала его руку, что болью костяшкам... Грохот прекращается, мотор сбавляет скорость, вот они на земле, и в поле их зрения появляется длинное низкое розовое здание аэровокзала, к которому подкатывает «боинг». И, внезапно вспотев держа на руке зимние пальто и поспешно отыскивая солнечные очки, они устремляются к выходу. На вершине серебряной лестницы, ведущей вниз, на бетон, тропический воздух такой теплый, влажный и ласковый, закручиваясь крошечными воронками, ударяет, точно из распылителя, Кролику в лицо, но все портит Ронни Гаррисон, шепнув ему сзади в ухо:

— Ух ты! Ни одна девка так ласкать не умеет.

Еще омерзительнее, чем голос Ронни, исхопивший эту бесценную хрупкую минуту первой встречи с новым миром, звучит смех женщин, для чьих ушей это и было произнесено. Дженис хохочет, этакая тупица. И стюардесса, чье лицо, словно нарисованное на эмали, покрылось каплями пота от жары, хлынувшей в дверь, стоит у порога и говорит: «До свиданья, до свиданья» — и улыбается всем без разбора.

Смех Синди взлетает девчоночьим взрывом и почти тотчас раздается ее протяжное: «Ронни!».

Дни отдыха сменяют друг друга, и когда Синди постепенно приобретает оттенок красного дерева — как всегда летом у бассейна в «Летающем орле», — и когда она выходит из бериллового Карибского моря в тех же черных бикини с тонюсенькими ляпочками, с нее так же стекает вода, только на коже поблескивает соль. Тельма Гаррисон в первый же день сильно сторела и из-за этой своей непонятной болезни плохо себя чувствует. Весь второй день она сидит в своем бунгало, тогда как Ронни почти не вылезает из воды, а на суше ведает пополнением напитков из бара, сооруженного из бочкомы прямо на песке. По пляжу расхаживают чернокожие старухи, предлагая бананы, ракушки и пляжные принадлежности, и на третий день утром Тельма покупает у одной из них широкополую соломенную шляпу и розовый халат до пояса, с длинными рукавами, так что теперь, полностью в него укутанная, намазавшись кремом против загара и прикрыв кончики ног полотенцем, она сидит в тени железного дерева и читает. Ее лицо под широкополой шляпой, когда она заглядывает на лежащего на солнце Гарри, кажется серым, худым и злокозненным. Рядом с ней он почему-то хуже загорает, но он твердо решил вести себя как себе. Там, где кожу нажгло солнцем, она болит, и это вызывает у него ностальгию — так болели мускулы, когда он занимался спортом. В море он плавает по мелководью — из страха перед акулами.

Каждое утро мужчины отправляются на поле для гольфа, примыкающее к курорту... По вечерам развлечения сменяют друг друга в строго установленном на неделю порядке. Прилетели они на остров в четверг — в этот вечер устраивали состязания крабов; на другой вечер они любовались танцем живота, а на следующий — в субботу — сами танцевали под джаз. Каждый вечер гремит музыка и танцы у олимпийского бассейна, под звездами, которые здесь кажутся гораздо ближе и как-то даже угрожающе мигают в небе — словно застывшие осколки взрыва...

Ах эта крошка Синди, к каждому ужину она является все более загорелой, всем своим видом взывая к любви. Призывно блестят даже ее зубы — такие они стали белые, а этот цветок олеандра, который она каждый вечер срывает с куста возле своего бунгало и втыкает себе в волосы, распушившиеся от долгого плаванья, а ее смуглые пальчики, на которых ногти кажутся светлыми лепестками.

Стремясь подчеркнуть свой загар, она носит белые платья, которые ярко блестят, когда смотришь на нее с другой стороны бассейна, где на дне по ночам зажигаются лампы, так что кажется, будто там затонула луна... Синди утверждает, что она толстеет: эти ананасные коктейли, и банановые дайквир, и ромовые пунши — в них столько калорий, просто стыд и срам. Однако она еще ни разу не отказалась выпить — никто из них не отказывается...

— Гарри, во что же это выльется при расчете? — недоумевает Дженис. — Ты только и делаешь что подписываешь счета за всех.

— Успокойся, — говорит он ей. — Лучше растратить деньги, чем отдать на съедение инфляции. Ты слышала, как Уэбб говорил, что доллар нынче стоит ровно половину того, что стоил десять лет назад, в семидесятом году? Так что в действительности это уже не доллар, а пятьдесят центов, успокойся.

На самом-то деле он относит все затраты за счет компании по завоеванию Синди — он просто должен с ней переспать до того, как истечет эта неделя. Он чувствует, что этот момент приближается, приближается для всех них, что стены, разделяющие их, словно бы утоньшаются: он, к примеру, в точности знает, когда Уэбб откашляется и потом закурит; постоянное пребывание друг у друга на глазах и непринужденное молчание час за часом ослабляют сдерживающие центры, пока они под солнцем и при луне лежат, выгнувшись в шезлонгах с виниловым плетением, которые повсюду тут стоят. Их руки соприкасаются, передавая напитки, или спички, или лосьон для загара, они то и дело заглядывают друг к другу в бунгало... Часам к четырем, когда по песку, словно узловатые пальцы, протягивается тень от железного дерева, а лица у мужчин становятся такими красными, точно их вынули из печки, хотя тележки с палками для гольфа снабжены небольшими навесами, они уходят с пляжа (до чего же шуршанье пальм действует Гарри на нервы: по ночам ему все кажется, что идет дождь, хотя дождя за все время ни разу не было) и перебираются на затененную площадку возле олимпийского бассейна, где местные парни в белых куртках официантов обходят их, принимая заказы на напитки, а раскаленное добела солнце медленно опускается к горизонту и ровно в шесть среди всплеска золота и багрянца стремительно погружается в море. Потрясенный этой картиной, доставившей ему острое наслаждение, Гарри смотрит вслед исчезнувшему светилу, в то время как Синди перекачивается в своем шезлонге — плегение его изрезало продольными полосами ее чудесное пухлое тело, оставив на нем следы, точно колеи в глине. Тельма сидит настороженная, вся укутанная; Уэбб о чем-то разглагольствует; Ронни заводит у бамбукового бара новых друзей. Это в нем живет торгош — он должен все время тренировать свое умение общаться... Дженис, хотя время от времени Гарри испытывает приливы любви к ней, сейчас представляется ему помехой, стоящей на пути сигналов, которые, возможно, посылает ему Синди; по счастью, Уэбб занимает Дженис разговором на неиссякаемую тему — о деньгах, видя в ней даму из бруэрской элиты.

— Нам кажется, четырнадцать процентов налога — это катастрофа, а в Израиле людям приходится платить сто одиннадцать процентов, цветной телевизор стоит там тысячу восемьсот долларов. А в Аргентине платят сто пятьдесят процентов в год, можете мне поверить — я не обманываю. В Токио фунт вырезки стоит двадцать долларов, а в Саудовской Аравии пачка сигарет идет за пятерку. Пять долларов пачка. Может показаться, это мы их обираем, но так или иначе у американского потребителя самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой другой промышленной нацией.

Дженис внимательно его слушает и таскает у него сигареты. Волосы у нее с лета отросли, и она стягивает их сзади в маленький толстенький хвостик; она сидит у ног Уэбба и болтает ногами в бассейне... Гарри приходит в голову, что вот так же она слушала всякую белиберду, которую нес ее отец, и это ему приятно.

К воскресенью им настолько приелась рутинная жизнь курорта, что они берут такси и едут на другой конец острова в казино. В темноте они проезжают деревни, где у дороги играют черные детишки — их присутствие выдают лишь сверкающие белки глаз. Внезапно в свете фар показывается стадо коз, которые трусят по шоссе, таща за собой веревки с кольшками. В темной хижине, сооруженной на фундаменте из шлака, вдруг открывается дверь, и оказывается, это

таверна, с полками, уставленными бутылками, и группкой посетителей у бара. Сквозь стрельчатые, незастекленные окна старой каменной церкви видны горящие свечи и доносится жалобная строка псалма, быстро замирающего позади. Такси, «понтрак» 1969 года с целым набором кукол-талисманов над приборной доской, нахально мчится по левой стороне дороги — это ведь бывшая английская колония. Деформированные конусы заброшенных сахарных заводов, вырисовывающиеся на звездном небе, помнят прошлое. всех этих погибших здесь рабов, а Дженис, Тельма и Синди как ни в чем не бывало болтают в гемноте, перемытая косточки своим бруэрским знакомым: какая у Бадди Инглфингера жуткая новая приятельница, такая дылда, да еще с детьми, — Бадди вечно кто-то садится на шею; а эта зануда Пегги Фоснахт — говорят, она ужасно обиделась, что ее и Олли не пригласили в это путешествие на Карибские острова, хотя всем известно, что оно им не по карману.

Казино находится возле другого курорта на берегу, который немного побольше. На освещенных коралловых рифах положены мостки для прогулок. Сколько же в большом мире маленьких миров, думает Гарри... Он приехал сюда, чтобы проветриться. А сам прилип к рулетке и, стремясь восполнить потери, стал удваивать и утраивать ставки, обменял на триста долларов чеков и на глазах у своих потрясенных друзей все проиграл. Ну что ж, все равно это меньше половины дохода с продажи одного «Терсела», меньше трех процентов того, во что обошлись проделки Нельсона. Тем не менее в голове у Гарри гудит, у него дрожат руки, и ему стыдно. Черный банкомет даже не взглянул на него, когда, обчищенный до нитки, он отодвинул стул и встал из-за покрытого ярким сукном стола. Он шагает по мосткам к черному горизонту, а тропический воздух ласкает его разгоряченное лицо, завихряясь нежными, как поцелуй, водоворотиками. Так, наверно, можно дойти и до Южной Америки, а там — рай земной; он тепло вспоминает о том уголке земли, где за асфальтовой площадкой у магазина разрослись сорняки, и о той ферме, к которой он пробирался, как вор, продираясь сквозь живую изгородь, вымахавшую за рухнувшей оградой из песчаника. Сейчас, зимой, трава в фруктовом саду полегла и пожухла, из одинокого дома в лощинке поднимается дымок. Другой мир.

Внезапно рядом с ним оказывается Синди — она дышит в такт шелесту моря. Наконец-то настал долгожданный миг, думает Гарри, только он сейчас не очень к этому готов, тем временем Синди высоким, сочувственным голосом произносит:

— Уэбб говорит, что, садясь за карточный стол, надо всегда ставить себе предел, тогда ты не дашь игре захватить тебя.

— А она меня и не захватила, — говорит ей Гарри. — Я действовал согласно теории.

Возможно, Синди решила, что надо как-то компенсировать его проигрыш и такой компенсацией будет она. Белая вязаная шаль оттеняет смуглость ее плеч; цветок над ухом придает ей кокетливый вид. Вот бы вжаться своим большим крупным лицом в ее крепкие, как у яблока, округлости — щеки, и лоб, и нос!.. Глядя на море, Гарри как бы случайно проводит кончиками пальцев по ее руке. От ее тела жарившегося все воскресенье на солнце, исходит электрический ток. Бурные водоросли шлепают о стоячий причал, о берег разбивается волна — настал момент действовать. Но что-то жесткое, появившееся в очертаниях ее лица, удерживает его, хотя она слегка улыбается и приподнимает лицо, словно хочет помочь ему быстрее отыскать ее губы.

Тут раздаются шаги, и Уэбб с Дженис — в неверном свете луны, к которому примешиваются голубоватое свечение моря и яркие отсветы огней казино, кажется, что они держатся за руки, потом их разнимают, — чуть не бегом достигают их и взволнованно объявляют, что там внутри Ронни Гаррисон срывает банк.

— Пойди взгляни, Гарри, — говорит Дженис. — Он уже выиграл по крайней мере восемь сотен.

— Ох уж этот Ронни, — говорит Синди удрученным тоном пай-девочки и устремляется к огням казино, на фоне которых отчетливо вырисовываются ее ноги под длинной юбкой.

К себе они добираются уже после двух. Ронни невозможно было оторвать от рулетки, а когда он наконец поднялся из-за стола, выигрыш его составлял всего несколько монет. По дороге домой они с Дженис спят, Тельма, напряженная, как струна, сидит на коленях у Кролика, а Уэбб и Синди сидят впереди с шофером — Уэбб расспрашивает его про остров, и тот нехотя бурчит что-то в ответ на языке, лишь отдаленно похожем на английский. Сторож в форме впускает их в ворота поселка. Все здесь охраняется: страшно много воровства — воры и даже убийцы вылезают из темных недр острова поживиться за счет осевших на побережье богатых приезжих. К бунгало, где они живут, ведут дорожки из зеленого бетона, проложенные по песку под шуршащими пальмами, между цветущими кустами, на которые по утрам слетаются птицы. Пока мужчины обсуждают, на какой час перенести завтрашний гольф, три женщины шепчутся, остановившись чуть поодаль — там, где от бетонной дорожки ответвляются тропинки к их трем бунгало.

Дженис, Синди и Тельма хихикают, поглядывая в сторону мужчин, их взгляды, точно птицы, перелетают с одного на другого в подсвеченном луною теплом ночном воздухе.

Шаль Синди блестит, словно клоч пены на волне. Наконец, разорвав тишину пальмовой рощи криками «спокойной ночи», каждая жена уводит своего мужа к себе в бунгало. Кролик... мгновенно засыпает, надеясь, что утро не настанет никогда.

Но оно возвещает о себе в положенное время полосками солнечного света, которые, проникая сквозь жалюзи на окнах, ложатся на выстланный шестиугольными плитками пол, тогда как маленькие желтенькие птички, о которых поется в местной песенке, летят вдоль бетонных дорожек вслед за чайными подносами с позвякивающей посудой. Гарри встает и, оказывается, чувствует себя не так уж и плохо. Тело его натренировано преодолевать неприятные ощущения. У него уже вошло в привычку делать небольшой осторожный заплыв с пустынного пляжа, где в песке все еще торчат оставшиеся со вчерашнего вечера пластмассовые стаканы. Это единственный момент дня или ночи, когда Гарри остается наедине с собой, если не считать старичков, которые тоже любят рано купаться и идут по песку, ведя за руку жен. Море между волнорезами цвета сетчатой дыни, молочно-зеленое. Покачиваясь на спине, Гарри видит на дорогах, вьющихся по крутым склонам холмов, окружающих залив, тех, кто живет на этом острове не для отдыха, — чернокожие, в ярких одеждах, они идут на работу; иные женщины несут на голове узлы и даже ведра. В самом деле. Их голоса далеко разносятся в свежем утреннем воздухе — вместе с шлепаньем, шуршанием и шипением теплой соленой воды, накатывающей на берег и отступающей у его ног. В белом пористом песке полно дырочек, чтобы крабы могли дышать. Гарри никогда еще не видел такого белого, мелкого, как сахар, кораллового песка. Раннее солнце легко касается чувствительной кожи на его плечах. Вот оно — здоровье. Тут девушка с завтраком на подносе подходит к их домику — у них бунгало № 9, — и Дженис в махровом халате открывает решетчатую дверь и кричит: «Гарри!» — крик ее пересекает пространство, где старый слуга в брюках цвета хаки уже сгребает в кучки морские водоросли и пластмассовые стаканчики, и праздник, охота начинаются сначала.

В гольф Гарри играет сегодня плохо: когда он устал, то слишком резко размахивает рукой, вместо того чтобы плавно вести по воздуху клюшкой, и мяч перелетает... Он ненавидит Уэбба Мэркетта за то, что тот сегодня бьет без промаха, если лунка находится в пределах двадцати футов. Ну почему этот жилистый старый петух не только имеет такую фантастическую пышечку-жену, но еще и побеждает всех на состязании в Нассау? Гарри жалеет, что нет Бадди Инглфингера — в его присутствии Гарри чувствует себя королем. А у Ронни волосы такие редкие да еще такой высокий лоб, что когда он нагибается для удара, голова его выглядит этаким розовым яйцом. Размахивает руками, точно обезьяна, волос на голове почти нет, зато плечи ужасно волосатые — и как только Тельма терпит его. Женщины, они, видно, с чем угодно готовы мириться, лишь бы мужик был хорош в постели. И снова в голове Гарри возникает мысль о трехстах долларах, которые он продул за вчерашнюю ночь, а ведь его отец

полтора месяца потел бы за такие деньги. Белый папка, не дожидаясь этих времен, когда деньги стали бумажками.

Однако днем, после двух коктейлей и сандвича с крабовым салатом, на душе у Гарри становится повеселее. Компания решает взять напрокат три маленькие яхты, все разбиваются по парам и Гарри оказывается вместе с Синди. Он никогда не плавал под парусом, поэтому Синди, стоя по грудь в воде, отлаживает руль, а он сидит наверху сухонький и держит концы, управляющие полосатым треугольным парусом, который, на взгляд Гарри, недостаточно прочно прикреплен к двум алюминиевым трубкам — они постукивают друг о друга, а парус хлопает на ветру, надувается то в одну сторону, то в другую. Все сооружение кажется на редкость хрупким. На станции заставляют надеть черный резиновый спасательный жилет, и Синди выглядит в нем презабавно — с этой своей короткой стрижкой она кажется женщиной-полицейским. каких показываю по телевидению, или женщиной-водолазом. До сих пор он не замечал, какие у нее черные и густые брови: они устремлены друг к другу и почти сцепляются на переносице, пока ей не удастся наконец выправить руль. Тогда со вздохом облегчения она подтягивается и ложится плавать на борт — при этом груди ее сплющиваются, так что видно, какие они белее там, куда не добралось солнце, а ноги бьют по воде, и над краем яхты показывается обтянутый черной блестящей материей зад, — нет, слишком много в этой женщине плоти для такой лодочки, и она резко накреняется. Гарри хватается Синди за руку выше локтя и втаскивает, в этот момент нижняя трубка, на которой укреплен парус, разворачивается и хлопает его по затылку. Синди, не выпуская рукоятки руля, выхватывает у него концы и кричит: «Шверт, шверт», — но он не сразу понимает, чего она от него хочет. Ах надо заткнуть в это отверстие длинную доску, что у него под ногами, Гарри вытаскивает ее из-под ног и вставляет в прорезь. Синди же, вместо того чтобы сказать спасибо, произносит: «А, черт!»

Скорлупка из стекловолна развернута параллельно берегу, где уже стоят полукругом зеваки-купальщики, и лодочку с каждой волной все ближе приближает к ним. Внезапно ветер надувает парус, туго натягивает его, так что трещит алюминиевая мачта, и они начинают медленно подпрыгивать на волнах в направлении мыса, который закрывает справа бухту.

А как только ты сдвинулся с места, то уже не ощущаешь скорости — на воде ведь нет опознавательных знаков. Гарри идет ближе к носу, пригнувшись, чтобы его снова не ударило трубкой по голове. А Синди, сидя, точно йог, в своем тугом спасательном жилете... следит за рулем и наконец впервые улыбается.

— Гарри, тебе вовсе не обязательно держать шверт: мы вытянем его, только когда пристанем к берегу.

А берег, пальмы, бунгало — все стало кристальным, точно на открытке.

— Ничего, что мы так далеко заплываем?

Она снова улыбается.

— Мы вовсе не далеко.

Веревки впиваются Синди в руки, яхта накреняется. Вода здесь уже не зеленоватая, как сетчатая дыня, а зеленая, как желчь, даже местами, в водоворотках — черная.

— Значит, не далеко, — повторяет он.

— Взгляни туда. — А там виднеется парус не больше гребешка на волне. — Это Узб с Тельмой. Они куда дальше нас.

— Ты уверена, что это они?

Синди становится жаль его.

— Мы развернемся, когда подойдем к тем скалам. Ты понимаешь, что значит развернуться, Гарри?

— Не совсем.

— Изменим направление. При этом трубка с парусом повернется, так что смотри, чтоб тебя не ударило.

— Как ты думаешь, тут есть акулы? — все-таки обстановка создалась интимная, твердит он себе: они вдвоем, и тем же брызги окатывают ее и его, а ветер и плеск воды заглушают все звуки, и его плечо блестит словно отлитое из металла в безжалостном свете добела раскаленного солнца; и вдруг в его памяти

встает солнце, к которому он привык с детства, — оранжевое, расплывшееся.

— А ты видел «Челюсти», фильм второй? — спрашивает она.

— Тебе не кажется, что в наше время идут сплошь многосерийные фильмы? — в свою очередь спрашивает он. — Точно у людей вдруг иссякла фантазия. — Он настолько физически измотан и так устал от долго сдерживаемого желания, что ему вдруг становится безразлично, останется ли он жив среди этих неукротимых стихий. Здесь даже солнечные блики на воде кажутся жестокими, словно само небо посылает на землю зло, они — как пламя, вырывающееся из-под крыльев садящегося самолета.

— Разворачиваемся, — говорит Синди..

Он пригибается, и трубка гика проходит над его головой. Он видит еще один парус — это Ронни и Дженис плывут к горизонту. Похоже, она сидит на корме и держит руль. Когда она успела этому научиться? В каком-нибудь летнем лагере. Надо с самого начала быть богатым, тогда будешь пользоваться жизнью на всю катушку.

— А теперь, Гарри, — говорит Синди, — садись на руль ты. Это несложно. Вон та тряпочка, что висит на верхушке мачты, называется флюгером. Она показывает, откуда дует ветер. А потом — следи за волнами. Надо, чтобы парус был под углом к ветру... Да ну же, Гарри, ничего не случится. Давай меняться местами.

Им удается удачно провести эту операцию — правда, лодка под ними раскачивается, как гамак. Маленькое облачко набегает на солнце, окрашивая воду в темные тона, потом вдруг снова отдает ее солнцу. Гарри берется за руль и пытается найти нужное положение, пока ветер не становится попутным. И тогда это уже настоящее удовольствие: парус и руль тянут яхту вперед, невидимый морской бриз подталкивает ее, расстояния сокращаются и уже не кажутся такими безнадежно огромными, когда ты — хозяин положения.

— Ты отлично справляешься, — говорит ему Синди; она сидит, скрестив ноги, и ему видны подошвы всех пяти пальцев на ее голой ноге, тонкая голубоватая кожа здесь вся в морщинах, самый маленький, такой милый пальчик плотно прижался к соседу, точно пытаюсь спрятаться. Синди доверяет ему. Гарри ей нравится. Теперь, немного освоившись, он уже осмеливается командовать яхтой и больше и больше натягивает главный парус, так что брызги летят мимо, а ладонь начинает гореть. Земля скачками приближается к ним, вот они почти достигли ее. как вдруг, нацеливаясь на то место, где уже причалили Дженис и Ронни и выгасили на берег свою яхточку, он чуть-чуть отпускает парус, и ветер, налетев сзади, мигом надувает его; нос яхты в ярости резко зарывается в волну, и вся скорлупка, накренившись, черпает воду, а они с Синди соскальзывают с палубы, запутавшись в концах. Над головой Гарри смыкается прозрачная, вся в прожилках, толща воды. «Воздух!» — мелькает паническая мысль и он выныривает в глубокой тени: яхта громадой вздымается над ними. Возле него в воде — Синди. Задышавшись, желая как-то загладить свою вину, он обнимает ее. Такое ощущение, что в руках у него акула, скользкая и шершавая. Их резиновые жилеты, набитые поролоном, сталкиваются под водой. Каждый волосок на бровях Синди сверкает при этом странном освещении, среди рожденных волнами теней и тишины — ветра ведь не слышно, только вода слегка пошлепывает по плоскому днищу яхты. Синди с гримасой отталкивает его, глубоко вбирает в себя воздух и ныряет под яхту. Он пытается последовать за ней, но жилет выбрасывает его назад. Он слышит, как она пыхтит и плескается по другую сторону торчащего вверх шверта, сначала хватается за него, затем взбирается наверх, и яхточка выравнивается, а с полосатого паруса, пересекающего солнце, летят крупные жемчужины воды. Гарри залезает в яхту, и Синди ловко подводит ее к берегу.

Происшествие не из тех, каким можно хвастаться, однако на берегу они весело смеются вчетвером, а в уме Гарри, умеющем быстро все себе прощать, их подводное объятие представляется чем-то нежным и многообещающим.

Обед на курорте подают у бассейна или приносят на подносе на пляж, а ужин — это уже нечто официальное, его подают в большом павильоне, где с балконов свисают длинные пушистые гроздья цветов, а позади, у дверей, ведущих на кухню, устроена огромная жаровня для шашлыков, и пламя с ревом устремляет-

ся вверх, отбрасывая пляшущие тени на плетеную стену и деревянные маски и осыпая искрами черные потные лица поварят. Главный повар, тощий бельгиец, в промежутках между обедами и ужинами всегда сидит в баре, и вид у него совсем больной, или же он удрученно что-то рассказывает строгим, как миссионерки, местным женщинам, которые восседают за стоикой портье. По понедельникам вечером здесь устраивают шашлыки, для чего приглашают исполнителя калипсо, а потом — танцы под электромаримбы; но все шестеро отдыхающих из округа Даймонд решают, что они слишком устали после ночи, проведенной в казино, и рано лягут спать. Гарри, чуть не утонувший в объятиях Синди, как только вылез на берег, сразу уснул, потом пошел к себе и еще вздремнул. Пока он спал, по его жестяной крыше минут десять барабанил внезапно налетевший тропический дождь; когда же он проснулся, дождь уже перестал, и солнце, окруженное оранжевой каймой, садилось в заливе, а его приятели, приняв душ, более часа накачивались в баре. Что-то явно затевается. Женщины то и дело подталкивают друг друга — их сообщество здесь явно укрепилось, вызванное к жизни пробудившимися сестринскими чувствами. Сегодня у Синди в волосах желтый цветок, а это ее арабское одеяние до половины расстегнуто. Она уже раза два протягивала руку и, дотронувшись поверх стакана Уэбба и его лежащих на скатерти узловатых смуглых рук до запястья Дженис, вспоминала того нахального цветного мальчишку, который сегодня прислуживает за баром. «Я сказала ему, что я тут с мужем, а он только передернул плечами — мол, ну и что?!» Уэбб мудро помалкивает, не нарушает течения их беседы, а Ронни сидит опухший, сонный, но, как всегда, полный всяких затей в своем мрачноватом стиле. Гарри и Ронни три года играли вместе в баскетбольной команде Маунт Чжаджского университета, и Кролику не раз приходилось бороться с ощущением, что хоть он и звезда, а тренер Тотеро все равно больше любит Ронни, который никогда не отступает и нахрапистее действует у заднего бортика поля. Все в мире надо брать нахрапом. Кролик же считает, что если что-то не получается само собой, — так и не надо. А как же тогда быть с Синди? Да ради такой аппетитной штучки человек может на убийство пойти. Овладеть ею, а там хоть и умеет, как паук...

— Вот уверена. — раздается вдруг голос Синди, и она, хихикнув, дотрагивается до плеча Дженис. — там у нас, в Бруэне, будут считать, что мы все тут друг с другом переспали.

— А может, стоит попробовать, — произносит Ронни, не в силах подавить отрыжку усталости...

Черные руки неслышно убирают со стола блгоданные косточки от шашлыка на ребрышках и раздают меню с десертом. Тут у них есть ореховый торт, который особенно любит Гарри. — правда, нельзя сказать, чтобы это было чисто карибское изобретение, скорее всего его привозят из Форт-Лодердейла.

Тельма, нацепившая на себя прозрачную кофточку, под которой просвечивает бюстгальтер какаоового цвета, смотрит куда-то в пространство и, точно учительница, обращающаяся поверх голов к сидящему классу, произносит:

— ...просто чтобы удовлетворить наше женское любопытство...

— Ты тоже так считаешь? — спрашивает Гарри у Дженис. — Тебе любопытно?

Она опускает взгляд на мерцающую свету в керосиновой лампе.

— Конечно.

— А мне вот нет, — говорит Синди, — несколечко. Я, наверно, нелюбопытная. В самом деле, нет.

— Ты еще слишком молоденькая, — говорит Тельма.

— Мне уже тридцать, — возражает она...

...На столе появляется десерт и кофе, и они прекращают обсуждение деликатной темы. Подкрепившись едой и ожив благодаря ночной прохладе, они решают все-таки посидеть за коктейлем и немного посмотреть на танцы под звездным небом, а Гарри в эту ночь кажется, будто звезды — это драгоценные камни на циферблате, где стрелки движутся до безобразия медленно, отстукивая минуты, пока он не окажется наедине с Синди, а для этого звезда должна, зашпиев, упасть в олимпийский бассейн. Как-то раз в далеком лете его детства, кто-то — должно быть, мама, хоть он и не может вызвать в памяти ее голос, — сказал ему, что если смотреть в ночное небо и считать до ста, то непременно увидишь падающую

звезду — это ведь, в общем-то, часто случается. Но сейчас, хоть он и откинулся от столика со стеклянной крышкой, на котором стоят коктейли, отъединившись от успокаивающего заговорщического перешептывания своих друзей, и запрокинул голову так, что у него заныла шея, все звезды над ним висят неподвижно в своих впадинах. Хриплый голос Уэбба Мэркетта объявляет.

— Что же, ребята. Пользуюсь привилегией старшего среди вас и объявляю, что устал и хочу в постельку.

И как раз когда Гарри уже опускает задранное к небу лицо, он вдруг краешком глаза видит, отчетливо и ярко, будто чиркнули спичкой, как падает и погружается в чернильную черноту океана звезда. Женщины встают, оправляя юбки... Они идут вдоль бассейна, и мимо портье, где изможденный алкоголик-управляющий пытается получить по телефону Нью-Йорк, и через площадку перед отелем, окаймленную тротуаром из белого кораллового песка, и дальше по затененному хитросплетению бетонных дорожек, между кустами спящих цветов. Над их головами все громче шуршат пальмы, по мере того как музыка замирает вдаль. И слышнее шуршание прилива. На залитом лунным светом пересечении дорожек, где они расходятся в трех направлениях, все как-то нервно произносят «спокойной ночи», но никто не двигается; затем женская рука протягивается и мягко берет за запястье руку мужчины, но не своего мужа. Никто ни на кого не смотрит — лишь один молча, опустив глаза, тянет другого за собой, каждая женщина ведет своего избранника к себе в бунгало. Гарри слышит в отдалении хихиканье Синди, так как это не ее рука, а рука Тельмы сжимает его руку.

Она почувствовала, как он дернулся в сторону, и молча крепче сжала его руку. Он видит: на пляже какая-то группа принесла лампу со свечой и напитки, лампа и сигареты светятся в темноте, а дальше за черным силуэтом большой яхты, стоящей на якоре в заливе, под опрокинутым навзничь полумесяцем простирается белесое, как молоко, море. Тельма выпускает его руку и роется в своей блестящей чешуйчатой сумочке, отыскивая ключ...

...Она закрывает за ними дверь и включает лампу под абажуром из плетеной соломки, висящую над кроватью...

— Я должна тебе кое-что сказать, Гарри Энгстром. Я хотела выбрать только тебя.

— Меня?

— Конечно. Я ведь обожаю тебя. О б о ж а ю.

— Меня?

— Неужели ты никогда этого не чувствовал?

Не желая признаваться, что не чувствовал, он тупо стоит дурак дураком.

— Вот черт, — говорит Тельма. — А Дженис вот чувствовала. Почему же еще, ты думаешь, она не пригласила нас на свадьбу Нельсона?

И, повернувшись к нему спиной, она подходит к зеркалу и принимается вытаскивать из ушей серьги — точно такое же зеркало в раме из плетеного бамбука висит в бунгало, доставшемся Гарри и Дженис. А вот батик здесь изображает тропический закат с пальмой на переднем плане, тогда как у них с Дженис висит толстая негритянка, торгующая фруктами, однако обе картины явно созданы одним и тем же человеком. Чемоданы же здесь — Гаррисоновы и одежда, висящая на крашеной палке, заменяющей шкаф, — тоже их..

— Ты в самом деле, — застенчиво спрашивает он, — уже какое-то время любишь меня?

— И не один год, — говорит она. — Не один. И ты никогда этого не замечал. Паршивец ты этакий. Сидишь под каблуком у Дженис и вздыхаешь по этой дурочке Синди. Ну, ты догадываешься, где сейчас Синди. Она с моим мужем. Он не хотел с ней идти, он бы предпочел быть со мной... Я ведь умираю, ты это знаешь, да?

— Умираешь?

— Ну, может, это слишком драматично сказано. Никто ведь не знает, сколько я протяну. — многое зависит от меня самой. Единственное, чего я ни в коем случае не должна делать, — это находиться на солнце. Я сумасшедшая, что приехала сюда, — Ронни пытался меня отговорить.

— Зачем же ты это сделала?

— Догадайся. Я ведь сказала тебе, Гарри, что я с ума по тебе схожу. Я приехала, чтобы избавиться от этого наваждения...

— У тебя что, волчанка? — спрашивает он.

— М-м-м,— произносит Тельма. — Смотри. Видишь сыпь? — Она приподнимает волосы с обеих висков — Красиво, правда? Это из-за того, что я по глупости посидела в пятницу на солнце. А мне так хотелось быть, как все вы, не чувствовать себя больной. В субботу было ужасно. Болели суставы, внутренности не работали. Ронни предлагал отвезти меня домой, чтобы мне сделали укол кортизона.

— Он так славно к тебе относится.

— Он любит меня... Гарри.— Голос ее звучит у самого его уха.— Я хочу провести с тобой эту ночь так, чтобы ты запомнил меня, чтобы ты испытал такое, чего ни с кем еще не испытывал...

— Я всегда буду помнить эту ночь... Спасибо. Я не забуду.

— Обещаешь?

— Мне как-то даже неловко... Тельма, я просто не могу поверить, что так дорог тебе. Чем я это заслужил?

— Просто тем, что ты существуешь. Тем, что излучаешь обаяние. Неужели ты не замечал, что на вечеринках или в клубе я всегда подле тебя?

— Ну, в общем, нет. Вокруг бывает много народу. Я хочу сказать, мы же часто встречаемся с гобой и Ронни...

— А вот Дженис и Синди заметили. Они знали, что я захочу выбрать именно тебя.

— Гм... я, в общем-то, не хочу у тебя выпытывать, но что же во мне так на тебя действует?

— Ох, милый! Да все! То, что ты такой высокий, и то, как ты движешься, будто ты все еще гоший двадцатипятилетний мальчишка. То, как ты всегда садишься на такое место, чтобы легко можно было сбежать. Как ты криво усмехаешься, точно юнец на вечеринке, который знает, что хулиганы через минуту доберутся до него. Какой ты добродушный. Как ты веришь людям: к примеру, Уэббу, ты же впитываешь каждое его слово, тогда как все остальные и внимания на него не обращают, а Дженис — ты так гордишься ею, что даже трогательно. А ведь она ничегошеньки не умеет. Даже в теннис — Дорис Кауфман говорила нам, — право же, она...

— Ну, просто приятно видеть, что она от чего-то получает удовольствие — у нее ведь была довольно унылая жизнь.

— Вот видишь? Престо ты невероятно широкий человек. Ты так благодарен судьбе, когда где-то бываешь, к примеру, в этом паршивом клубе или в этом уродливом доме у Синди, все кажется тебе просто раем. Это же чудесно. Ты так радуешься жизни.

— Ну, видишь ли, учитывая альтернативу...

— Я просто подыхаю. Я так тебя за это люблю. А какие у тебя руки. Мне всегда нравились твои руки.— Она сидит на краю постели и, взяв его левую руку, лежащую на простыне, целует по очереди белые лунки на каждом пальце.— ...Ох, Гарри. Пусть я помру оттого, что приехала сюда, но сегодняшняя ночь все окупает.

И вот в полумраке, прорезанном влажным голубым светом луны, сочащейся сквозь прорези ставен у кровати, под шорох пальм, Гарри раскрывает ей душу, точно читает молитву: он рассказывает ей о себе, как не рассказывал никому, о Нельсоне и о том, как малый раздражает его, как он раздражает мало и о своей дочери, а ему кажется, что это его дочь, выросшая, не зная его. Он осмеливается признаться во всем этом Тельме, потому что она отдала ему всю себя без остатка в доказательство своей любви, внушила ему, как чудесно, что он — такой, возродила в нем давнее убеждение, начавшее было испаряться под влиянием того, что энергия стала убывать, — убеждение, что есть на земле что-то такое, что именно он должен открыть, что он явился на свет со своего рода миссией.

— До чего же прекрасно, когда человек так думает,— говорит Тельма.— Ты от этого... — Ей не удается сразу подобрать нужное слово.— ...как бы светишься. И выглядишь таким грустным.— Она дает ему советы. Она считает,

что он должен разыскать Рут и напрямик спросить, его ли это дочь, и если да, то чем он может помочь. Что до Нельсона, то она считает, что вся проблема — в Гарри: если бы он сам не чувствовал себя виноватым в смерти Джилл, а до этого в смерти крошки Ребекки, он не боялся бы Нельсона, чувствовал бы себя увереннее и был бы добрее с ним. — Помни, — говорит она, — он же всего лишь молодой мальчик, каким ты был когда-то, мальчик, который только нащупывает дорогу в жизни.

— Но он совсем на меня не похож! — возражает Гарри, разговаривая наконец с человеком, который способен понять весь ужас этой истины, великого разлада между ним и сыном. — Он проклятый маленький Спрингер до мозга костей.

А Тельма считает, что Нельсон куда больше похож на Гарри, чем ему кажется. Увлечся, к примеру, планеризмом — неужели и в этом Гарри себя не узнает? А то, что в его жизни сразу две девчонки. Может, Гарри немного завидует Нельсону?

Постепенно разговор их уходит от сложностей его жизни, и она начинает рассказывать о своем браке с Ронни, о том, как он вечно озабочен, как неуверен в себе, несмотря на свою манеру хвастать, которая, она знает, так раздражает Гарри.

— Он ведь никогда не был звездой, как ты, ни на секунду этого не испытывал.

Они встретились, когда ей было далеко за двадцать и она уже считала, что скорее всего так и умрет одинокой учительницей. Хотя она не была юной девственницей, знала мужчин и умела распускать вожжи, тем не менее привычки Ронни немало позабавили ее... Однако если мириться с его странностями, то он на редкость преданный и, можно сказать, покладистый человек. Он не интересуется другими женщинами — это она твердо знает, что весьма любопытно, учитывая мужскую натуру. Он идеальный отец. Когда он занимал еще совсем незначительное положение в иерархии Скьюилкилской страховой компании, он на двадцать фунтов похудел оттого, что ночами не спал и все тревожился. Только в последние два-три года он вернул свой вес. А когда они впервые узнали, что у нее волчанка, Ронни расстроился куда больше, чем она.

— Для женщины, которой перевалило за сорок, Гарри уже нарожавшей детей... Если бы какой-нибудь фашист или кто-то еще явился ко мне и сказал: я забираю либо тебя, либо маленького Джорджи — он самый хилый, потому я о нем и подумала, — мне не трудно было бы сделать выбор. А вот Ронни, я думаю, было бы трудно. Трудно потерять меня. Он считает, то, что я для него делаю, не всякая станет делать. Наверное, он не прав, но это так... И вот когда я поняла, что влюбляюсь в тебя, я ужас как на себя разозлилась, я хочу сказать, это же ничего не могло дать. Но потом я поняла, что, видимо, в наших отношениях с Ронни чего-то не хватает, а может, так вообще бывает в жизни, и тогда я постаралась смириться и даже тихо радовалась своей любви — мне доставляло удовольствие просто глядеть на тебя. Маленький ты мой мохнатик...

...Тельма и Гарри засыпают, исполосованные светом нарождающейся зари, который проникает сквозь жалюзи, — засыпают так мирно, точно впереди у них не несколько украденных часов, а целая жизнь в освященном законом браке до гробовой доски.

Выйдя от Тельмы, Гарри успевае по пути проглотить рогалик без масла и сделать несколько глотков обжигающе горячего кофе. Тонкие, как папиросная бумага, оранжевые и красные цветы у дверей бунгало до боли ослепляют его своей яркостью. Уэбб и Ронни поджидают его у скрещения зеленых цементных дорожек. Играя в гольф, все трое без конца болтают и шутят, но избегают смотреть друг на друга. Когда они возвращаются после гольфа около часа дня, Дженис сидит у олимпийского бассейна в пунцовом габардиновом костюме, в котором она летела сюда.

— Гарри, звонила мама. Нам надо возвращаться.

— Ты шутишь. Почему? — Он еле держится на ногах от усталости и на-

меревался поспать, чтобы быть в форме к вечеру...— Что случилось? Что-то с ребенком?

— Нет,— говорит Дженис, и по тому, как обильно текут у нее слезы, он понимает, что она уже не раз плакала на протяжении утра, сидя здесь, на солнце.— Дело в Нельсоне. Он сбежал.

— Он — что? Нет, я лучше сяду.— И говорит черному официанту, который подходит к их стеклянному столику, стоящему под зонтом с бахромой: — Ана-насный коктейль. Джефф. Пожалуй, два. Да, Дженис? — Она кивает сквозь слезы, хотя перед ней уже стоит пустой стакан. Гарри обводит взглядом лица друзей.— Вот что. Джефф, принесите-ка, пожалуйста, шесть коктейлей.— Он уже усвоил законы этих мест. Все сидящие у бассейна, за исключением их компании, выглядят бледными — видно, только что сошли с самолета.

Из бассейна вылезает Синди, ее загорелые плечи отливают синевой, трусики купального костюма прилипли сзади к телу. Она одергивает их, прикрывая незагорелую кожу наверху и внизу. С каждым днем ее все больше разносит. «Не зевай»,— говорит себе Гарри. Но уже поздно. Ее лицо, когда она поворачивается, усиленно растирая полотенцем спину и так при этом изгибаясь, что одна грудь чуть не вылезает из лифчика,— серьезно. И она и Тельма уже все слышали от Дженис. Тельма сидит за столиком в длинном по шиколотку халате, таком же ярко-розовом, как ее нос... Большие солнечные очки с коричневыми стеклами, более темными кверху, которые она привезла из дома, лишают ее лицо всякого выражения. Гарри садится на стул рядом с ней. Он случайно задевает ее коленом — она тотчас отодвигается.

Тем временем Дженис, обливаясь слезами, рассказывает ему:

— В субботу вечером они поссорились с Пру: он хотел поехать в Бруэр на вечеринку к этому Тощему, а Пру сказала, что на таком месяце беременности ей не до развлечений, потом ей страшно даже подумать о той лестнице, тогда он взял и уехал один.— Она судорожно глотает.— И не вернулся.— Она охрипла от слез.

Уэбб и Ронни со скрежетом, отдающимся у Гарри в голове, подтаскивают стулья к их столику, стоящему в маленьком кружочке тени. Когда Джефф приносит напитки, Дженис прерывает свой ужасный рассказ, и Ронни делает предложения по поводу обеда. Он, как и его жена, в темных очках. А Уэбб — без очков, уверенный в том, что под его мохнатыми бровями и припухшими веками почти не видно глаз, которые смотрят на Дженис поистине по-отечески.

Щеки Дженис мокры от горя, и Гарри не может не любить ее, такую сейчас уродливую.

— Я же говорил тебе, что малый — подонок,— изрекает он. Все-таки прав он был. Ему даже легче стало.

— Он не вернулся.— Дженис уже чуть ли не навзрыд рыдает и глядит не на Уэбба, а только на него, вид у нее неопрятный, какой-то потерянный, затравленный, как бывало в начале их совместной жизни, пока она еще не заделалась зазнайкой.— Но м-мама не хотела тревожить нас на отдыхе, а П-пру считала, что ему надо дать выпустить пар, и делала вид, что не беспокоится. Но в воскресенье, вернувшись с мамой из церкви, она позвонила этому Тощему, и выяснилось, что Нельсон там не появлялся!

— А он уехал на машине? — спрашивает Гарри.

— На твоей «Короне».

— Ну и ну!

— Я, пожалуй, буду есть только яичницу,— говорит Ронни подошедшей официантке.— Только не пережарьте. Понятно? Чтоб была жидкая.

На этот раз Кролик уже намеренно пытается коленом коснуться под столом колена Тельмы, но она поджала ноги. Как и Дженис, она теперь стала помехой в его общении с другими. Официантка остановилась у его плеча, и он раздумывает, не съесть ли ему еще сандвич с салатом из крабов или не рисковать и взять сандвич с беконом, листочком салата и помидором. Солнце передвинулось, и лицо Дженис, находившееся в тени, попало в полосу света; на Гарри смотрят расширенные глаза, рот раскрыт, точно она сейчас закричит.

— Гарри, какой обед, одевайся и поехали! Я упаковала твои вещи, все, кроме серого костюма. Дежурная почти час дозванивалась, пытаюсь добыть нам

билеты на Филадельфию, но в такое время года это невозможно. Ничего нет даже на Нью-Йорк. Она устроила нам два места на маленький самолет, летящий в Сан-Хуан, и забронировала номер в аэропортовой гостинице, чтобы мы могли рано утром вылететь на материк. В Атланту, а потом в Филадельфию.

— А почему нам не воспользоваться нашей броней на четверг? Что один день изменит?

— Я сняла броню Гарри, ты не разговаривал с мамой. Она вне себя, я никогда не слышала, чтоб она так говорила, — ты же знаешь, она всегда такая разумная. Я снова ей позвонила и сообщила, что мы прилетаем в среду, но она едва ли сможет нас встретить: боится из-за движения ездить по Филадельфии; она расплакалась и сказала, что слишком стала старая.

— Значит, ты сняла броню. — Только сейчас это начало до него доходить. — Ты хочешь сказать, что мы не можем остаться здесь сегодня на ночь из-за того, что Нельсон что-то там выкинул?

— Ты не закончила свой рассказ. Джен, — говорит Уэбб. Значит, уже Джен? Гарри вдруг проникается ненавистью к людям, которые делают вид, будто все знают: по их милости ты не понимаешь, что и знать-то нечего. Внутри у нас у всех полнейшая темнота.

Дженнис снова судорожно глотает и дергает носом, немного успокоенная тоном Уэбба.

— А больше рассказывать нечего. Он не вернулся ни в воскресенье, ни в понедельник, и никто из их друзей в Бруэре не видел его, и мама под конец не выдержала и сегодня утром позвонила нам, хотя Пру твердила, что не надо нас беспокоить: это-де ее муж и она за него в ответе.

— Бедная девочка. Верно ты говорила: она, видно, считает, что может творить чудеса. — И объявляет жене: — Я не хочу до вечера уезжать отсюда.

— В таком случае оставайся, — говорит Дженнис. — Я уезжаю.

Гарри смотрит на Уэбба в надежде на помощь, но перед ним бесстрастное лицо благоразумного человека, который всем своим видом говорит — это меня не касается. Он переводит взгляд на Синди, но она смотрит в свой стакан с коктейлем, прикрыв глаза ресницами.

— Все равно я не понимаю, почему такая спешка, — говорит он. — Никто же не умер.

— Пока еще нет, — говорит Дженнис. — Тебе это нужно?

Веревка в его груди закручивается, образуя петлю.

— Вот ведь паршивец, — говорит он и, встав, ударяется головой об украшенный бахромой край зонта. — Когда, ты сказала, этот самолет на Сан-Хуан? Дженнис уже с виноватым видом дергает носом.

— Только в три.

— О'кей. — Он вздыхает. В известной мере так даже лучше. — Пойду переоденусь и принесу чемоданы. Кто-нибудь из вас, ребята, не мог бы, по крайней мере, заказать мне бутерброд с котлетой? Синди! Тельма! До скорой встречи. — Обе женщины разрешают поцеловать себя: Тельма — церемонно подставив губы, Синди — крепкую, как яблоко, щеку, поджаренную солнцем.

На протяжении всего двадцатичетырехчасового пути домой Дженнис не перестает плакать. Поездка в такси мимо заброшенных сахарных заводов, сквозь стада коз и через вытянутые цепочкой поселки черных под ласковыми поцелуями теплого воздуха: сорокаминутный перелет в подрагивающем двухмоторном самолетике до Пуэрто-Рико над спокойной зеленой водой, под сверкающей поверхностью которой гаятся рифы и стаи акул; остановка в Сан-Хуане, где в самом деле одни только испашки; бесконечно долгая ночь, когда они, обливаясь потом, спали в отеле, очень похожем на мотель на шоссе 422, где жила, кажется, целую вечность назад, миссис Лубелл; затем утром — два билета на реактивный самолет до Филадельфии через Атланту, и на протяжении всего этого времени щеки у Дженнис влажно блестели, глаза смотрели прямо перед собой, а на ресницах висели крошечные шарики влаги. Словно горе, захлестнувшее его на свадьбе Нельсона, подобралось наконец и к Дженнис, а он, Гарри, — спокоен, пуст и холоден, как это пространство, висящее под подрагивающим самолетом, точно огромный плод.

Он спрашивает ее:

— Это все из-за Нельсона?

Она отчаянно трясет головой, так что челка на лбу подскакивает.

— Из-за всего, — вырывается у нее настолько громко, что он боится, как бы не начали оборачиваться сидящие впереди. чьи головы им едва видны.

— Из-за Уэбба? — мягко продолжает он.

Она кивает, менее отчаянно, и закусывает нижнюю губу, так что рот у нее становится как у черепахи, такой рот бывает иногда у ее матери...

— Он был со мной такой милый. Он всегда так мило относится ко мне. Он высоко ценил папу. — И новый поток слез. Она делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. — Мне было жаль тебя, ведь тебе так хотелось быть с Синди, а оказалась Тельма. — После этого слезы льются уже ручьем.

Он похлопывает ее по лежащим на коленях рукам, в которых она держит влажную бумажную салфетку.

— Послушай, я уверен, что с Нельсоном, где бы он сейчас ни был, все в порядке.

— Он... — Кажется, она сейчас захлебнется. Стюардесса, проходя мимо, бросает на них взгляд — это уже получается неловко. — Он так ненавидит себя, Гарри.

Гарри прикидывает в уме. может ли такое быть. И хохочет.

— Ну, меня он во всяком случае подсек. Вчера, я думал, моя мечта станет явью.

Дженис дергает носом и вытирает бумажной салфеткой каждую ноздрю.

— Уэбб говорит, что она вовсе не такое уж чудо. Он без конца вспоминал своих двух первых жен

Под ними, в поцарапанном овале плексигласа. лежит Юг — неровные квадраты полей и бурые сухие леса лесов здесь куда больше, чем предполагал Гарри. Когда-то он мечтал уехать на Юг, отдохнуть измученным сердцем среди хлопковых полей. и вот они сейчас под ним, сплошные квадраты, они словно карабкаются вверх по склону огромной горы — поля, и леса, и города в излучинах и устьях рек, улицы. вгрызающиеся в зелень. Америка, униженная и истощенная, оплакивающая своих заложников. Они летят слишком высоко, так что поля для гольфа отсюда не разглядеть. Здесь на них играют всю зиму — клюшкой махать легко. Гигантские моторы, несущие Гарри, подвывают. Он засыпает... И, повернувшись в кресле, просыпается. Он вспоминает ночь, проведенную с Тельмой, и ему кажется, что это было во сне. Реальна только Дженис — рукав ее габардинового костюма грагически сморщился, контуры подбородка расплылись, голова откинута так, точно болтается на сломанной шее. Она тоже спит — на коленях у нее лежит все тот же журнал, который она читала по пути сюда. Они снижаются над штатами Мэриленд и Делавэр. где разводят лошадей и где Дюпоны — короли Богатые женщины с плоской, как у птиц, грудью, возвращаются с охоты в высоких черных сапогах. Проходят мимо дворцовых и идут длинными коридорами, шелкая хлыстом по мраморным столам. Женщины, которые никогда не будут ему принадлежать. Он достиг своего предела, и теперь на спуске — никогда уже у него не будет такой женщины, никогда не будет и многого другого. Даже снежной пыли нет внизу — ни на сухой земле, ни на крышах домов, ни в полях, ни на дорогах, по которым, точно заводные игрушки по невидимым рельсам, несутся машины. Однако с точки зрения людей, сидящих в этих машинах, это они мчатся вовсю и свободны, как птицы. Стальной лентой поблескивает река. самолет опасно накреняется: возможно, последнее, что слышит Гарри, — это свист воздуха в вентиляторе над головой; Дженис проснулась и сидит очень прямо. Она говорит ему что-то в ухо. но стук коснувшихся земли колес заглушает ее слова. Они уже на земле и катят к аэропорту. Он сжимает влажную руку Дженис — а он ведь не отдавал себе отчета, что держит ее.

— Что ты сказала? — переспрашивает он.

— Что я люблю тебя.

— В самом деле? Что ж, я тоже. Занятное у нас было путешествие. Я доволен...

Пока они долго, медленно катят к своему выходу, она застенчиво спрашивает:

— А что, Тельма была лучше меня?

Он слишком благодарен Тельме, чтобы опуститься до лжи.

— В определенном смысле. А как Уэбб?

Она кивает и кивает, точно хочет вытрясти последние слезы из глаз.

Он отвечает за нее:

— Значит мерзавец был хорош.

Она утыкается головой ему в плечо.

— А почему же, ты думал, я так плакала?

Потрясенный, он говорит:

— Я думал, из-за Нельсона...

В конце многомильного аэропортового коридора стоит мамаша Спрингер, немного в стороне от суетливой толпы встречающих. В футуристических пространствах аэровокзала она выглядит усохшей и согбенной в своем хорошем пальто — не в норковом, а в черном суконном, отделанном черно-бурой лисой, и в маленькой вишневой шляпке без полей с откинутой назад вуалеткой, которая еще могла бы сойти в Бруэре, но здесь кажется такой нелепой среди ковбоев, стройных молодых людей — непонятно, какого, мужского или женского, пола, — с коротко остриженными под панков, крашенными в пастельные цвета волосами и черномазых красоток, соорудивших из своих круто выющихся волос подобие огромных торчащих ушей Микки-Мауса из фильмов Уолта Диснея. Обнимая мамашу. Кролик чувствует, какой маленькой стала эта женщина, которая в дни молодости вселяла в него такой ужас

Ей не терпится поскорее все рассказать, и, отступив, чтобы торжественнее звучал голос, на шаг она объявляет:

— Ребеночек родился вчера вечером. Девочка, семи с небольшим фунтов. Я, как отвезла Пру в больницу, ни на минуту не сомкнула глаз — все ждала звонка доктора. — Голос ее дрожит от возмущения. По радио аэропорта передают аранжировку какой-то известной мелодии, которую выводят одновременно несколько скрипок, и слова мамыши сопровождаются такими победными звуками, что Гарри и Дженис еле удерживаются от улыбки, однако шагнуть к ней ближе, несмотря на толкотню, не решаются — так по-детски торжественно объявляет им старуха о случившемся. — А сейчас на «восьмерке» мне все время гудели грузовики, гудели вовсю, точно у нас гуман. Точно я могла куда-то свернуть — не по обочине же мне ехать на «крайслере», — говорит Бесси. — А на шоссе после Коншохоккена, я думала, меня убьют. В жизни не видала такого множества машин, а я-то думала, что к полудню их станет меньше, а потом эти указатели — на них ничего не прочтешь даже и с хорошими-то глазами. Всю дорогу, пока я ехала вдоль реки, я молилась Фреду и, право, считаю, это он помог мне добраться сюда, самой мне бы в жизни не доехать.

По всему видно, что больше такого путешествия она никогда не предпримет — Дженис и Гарри присутствуют при завершении ее последнего в жизни великого усилия. Отныне она всецело полагается на них.

V

Однако события не окончательно выбили мамашу Спрингер из седла, и у нее хватило ума позвонить Чарли Ставросу и вернуть его в магазин. Его матери в декабре стало хуже — вся левая сторона у нее онемела, так что теперь она боится передвигаться даже с палочкой, а двоюродная сестра Чарли Глория, как он и предсказывал, вернулась в Норристаун к своему мужу, правда, Чарли считает, не более чем на год, так что он накрепко привязан к дому. На этот раз загорелым на работу приехал Гарри. Он долго трясет Чарли руку — так он рад снова видеть его в «Спрингер моторс». Однако вид у Чарли не блестящий: флоридский загар слез с него, как краска. Он выглядит слишком уж бледным. Выглядит так, будто, проткни ему кожу, и кровь пойдет серая. Он стоит ссутулившись, точно курил всю жизнь по три пачки в день и теперь боится за свою грудь, хотя Чарли, как большинство латинян, никогда не увлекался саморазрушением — не то что скандинавы или негры. Еще неделю тому назад Гарри не стал бы так горячо жать ему руку, но теперь, переспав с Тельмой, он чувствует себя менее скованно и снова любит весь мир.

— ...Ты здорово выглядишь, — жмет он Чарли

— А я лучше себя и чувствую, — говорит ему Чарли. — Слава богу, зимы пока еще не было.

Через зеркальное стекло Гарри видит бесснежный, безлиственный пейзаж, неизбывная во все времена года пыль летит и крутится вместе с бумажным мусором, который ветер несет от Придорожной кухни через шоссе 111 В витрине висит новый плакат: ЭРА «КОРОЛЛЫ». «Тюёты» — это экономия.

— Чертовски грустно, — начинает разговор Чарли, — видеть, как Манна-мау быстро сдает. Она вылезает из постели, только чтобы сходить в ванную, и все уговаривает меня жениться.

— А может, это и хороший совет.

— Ну, я попытался приударить за Глорией, и, вполне возможно, она потому и помчалась назад к мужу. А этот малый — такое дерьмо. Она наверняка сюда вернется.

— Разве она тебе не двоюродная сестра?

— Ну и что ж. тем лучше. С перчиком. Невысокая, немного грузная в бедрах — не твоего класса, чемпион. Но миленькая. А видел бы ты, как пляшет. Я тысячу лет не был на субботних встречах Эллинского товарищества. Она тут уговорила меня пойти. И я получил большое удовольствие, глядя, как она старалась.

— Ты говоришь, она наверняка сюда вернется.

— Угу, но не ради меня. Этот поезд я упустил. — И добавляет: — Немало поездов я упустил.

— А кто — нет?

Чарли перекатывает зубочистку по нижней губе. Гарри старается не тарачиться на него: он стал похож на бруэрского старика из тех, что заходят в табачную лавку, ставят десятку на игру в числа и болтаются у прилавка с журналами, дожидаясь возможности с кем-нибудь поговорить.

— Ты все-таки кое-что от жизни урвал, — отваживается он сказать Гарри.

— Да нет. Слушай, Чарли! Я попал в такой переплет. Парень исчез, и на руках необставленный новый дом. — Однако эти два обстоятельства — образовавшаяся пустота и возможность начать новую жинзь — скорее возбуждают и радуют его.

— Малый объявится, — говорит Чарли. — Он просто выпускает пар.

— Вот так же и Пру говорит. В жизни не видал, чтобы человек был более спокоен в таких обстоятельствах. Вчера вечером, как только мы вернулись с островов, сразу поехали в больницу. и бог ты мой, до чего же она радовалась этой своей малышке. Можно подумать, она первая женщина в истории, которая сумела произвести на свет такое чудо. Наверно, волновалась, родится ли у нее нормальный ребенок после того, как она сверзилась с лестницы.

— Скорей всего больше волновалась за себя. Для таких девчонок, которых жизнь изрядно побила, рождение ребенка — это единственный способ доказать себе, что они тоже люди. Как же они собираются назвать малышку?

— Она не хочет называть девочку в честь своей матери, хочет назвать ее в честь бабули Ребенкой. Но хочет дожидаться Нельсона, потому что, ты же знаешь, так звали его сестру. Ту малышку, что умерла.

— Угу. — Чарли понимает. Это может принести несчастье. Звук машинки Милдред Крауст заполняет их молчание. В мастерской кто-то из ребят Мэнни изо всех сил колотит по непокорному металлу. Чарли спрашивает: — А как ты намерен поступать с домом?

— Переезжать — так говорит Дженис. Она просто удивила меня — как она разговаривала с матерью. Прямо в машине по пути домой. Она сказала, что мамаша может переехать вместе с нами, но она не понимает, почему бы ей не иметь собственный дом, как многие люди ее возраста, а, кроме того, Пру и малышка явно вынуждены будут жить теперь там, и Дженис не хочет, чтобы старухе пришлось тесниться в собственном доме. То есть Бесси.

— Хм. Давно пора Джен стоять на своих ногах. Интересно, с кем это она советовалась?

Гарри приходит в голову, что с Уэббом Мэркеттом в ту ночь любви в тропиках, но жизнь показала, что им с Чарли лучше не углубляться в обсуждение Дженис. Поэтому он говорит:

— Вся беда с этим новым домом в том, что у нас нет для него обста-

новки. А все теперь стоит целое состояние. За простой пружинный матрац на стальной раме надо платить шестьсот долларов, а если добавить изголовье, то еще шестьсот. А ковры! Три-четыре тысячи за маленький восточный ковер — они же все идут к нам из Ирана и Афганистана. Прфдавец говорил мне, что вкладывать в них деньги выгоднее, чем в золото.

— На золоте можно неплохо заработать, — говорит Чарли.

— Лучше, чем мы зарабатываем, а? У тебя еще не было случая заглянуть в бухгалтерские книги?

— Бывали времена, когда они выглядели лучше, — признает Чарли. — Но инфляция все поправит. Во вторник, в первый день, когда я вышел на работу после звонка Бесси, сюда зашла молодая пара и купила этот спортивный «Корвет», который принял к продаже Нельсон. Они сказали, что надумали купить спортивную машину и решили, что зимний мертвый сезон — самое подходящее для этого время. Старой машины не сдавали, в рассрочку не были заинтересованы, заплатили чеком, обычным банковским чеком. И откуда голько у них деньги? Обоим никак не больше двадцати пяти. А на другой день, вчера, приехал парень на «пикапе» и сказал, что слышал, будто у нас продаются электросани. Мы не сразу их откопали, а когда откопали, то у него так загорелись глаза, что я запросил за них тысячу двести и продал за девятьсот семьдесят пять. Я сказал ему: «Но ведь нет же снега». — а он сказал: «Неважно». Дело в том, что он переселится в Вермонт — дожидается атомной катастрофы. Сказал, что эта утечка из реактора в Три-Майл-Айленде совсем выбила его из колеи...

— Неужели ты действительно сбыл эти электросани? Поверить не могу.

— Люди больше не экономят. Нефтяная пятерка предала капитализм. Она сыграла в жизни нашей страны ту же роль, какую царь в жизни России.

Но Гарри сегодня неохота тратить время на разговоры об экономике.

— Извини, Чарли, — говорит он. — я ведь теоретически до конца недели еще в отпуске, и Дженис ждет меня в центре, нам надо сделать тысячу вещей в связи с этим ее треклятым домом.

Чарли кивает.

— ...Мне самому надо кое в чем навести порядок. В чем, в чем, а в аккуратности Нельсона не обвинишь — И кричит вслед Гарри, который уже вышел в коридорчик за шляпой и пальто: — Передай от меня привет бабушке!

Гарри не сразу понимает, что речь идет о Дженис.

Он ныряет в свой кабинетик, где на стене висит новый календарь, выпущенный компанией на 1980 год, со снимком Фудзиямы. Он делает в уме пометку — уже не впервые — позаботиться о старых вырезках, что висят снаружи на стене из прессованной крошки: слишком они пожелтели, а он слышал, что нынче научились переснимать старые фотографии, так что пожелтевшие места выглядят белыми, как новенькие, и увеличивать до любого размера. Можно будет их и увеличить, а расходы отнести за счет компании. Он снимает с массивной, на четырех изогнутых ножках дубовой вешалки старика Спрингера дубленку, которую Дженис купила ему к рождеству, и маленькую замшевую шляпу с узкими полями, которую он носит с дубленкой. В его возрасте надо носить шляпу. Всю прошлую зиму он проходил без простуд только потому, что стал носить шляпу. Да и витамин С помогает. Дальше уже придется пить геритол². Он надеется, что не обидел Чарли, оборвав разговор, но ему как-то не хотелось с ним сегодня говорить — малый совсем зашел в тупик и явно немного свихнулся, это действует как-то угнетающе. Ну к чему винить Большую Пятерку, когда мелкие нефтяные компании ничуть не лучше. Правда, с той высоты, на какую воспарил Гарри, кто угодно будет казаться мелким и свихнувшимся. А он оторвался от земли и летит высоко — к новому острову в своей жизни. Он достает из верхнего левого ящика жвачку, чтобы от него лучше пахло — а вдруг его поцелуют, — и выходит через заднюю дверь. При этом он осторожно вытягивает засов: достаточно ведь посадить пятнышко жира на дубленку, и от него уже не избавишься.

Поскольку Нельсон забрал его «Корону», Гарри взял себе голубую «Селику-Супра», последнюю модель фирмы «Тоёта»... Ему нравится эта машина — она

² Препарат, помогающий организму бороться со старением.

катит как по маслу. «Корона», хоть и надежная, но похожа на крепкого маленького жучка, а в этой голубой хищнице есть шик. Вчера, когда он к вечеру ехал на ней домой, черные, болтающиеся в нижней части Уайзер-стрит, так и тарасились. После того как они с Дженис отвезли мамашу на Джозеф-стрит, 89 в ее «крайслере» (который даже Гарри трудно было вести после того, как он целую неделю ездил на такси по левой стороне дороги) и уложили в постель, они вернулись в центр на «Мустанге» — Дженис сидела в нем такая гордая: еще бы, сумела все-таки отстоять переезд в собственный дом — и отправились в мебельный магазин Шахнера, где был большой выбор кроватей, уродливых кресел и столиков вроде тех, что стоят у Мэркеттов в гостиной, только хуже, без крышки в шашечку. Они так и не решились ничего купить, а когда магазин уже закрывался, Дженис отвезла мужа в «Спрингер моторс», чтобы он взял себе там машину. Он выбрал эту модель, цена на которую выражалась пятизначной цифрой. И черные, когда он мчался мимо в своей свергающей, чисто-голубой машине, тарасились на него из-под неоновых вывесок; он боялся, как бы кто-нибудь из этих болтающихся на холоде парней не кинулся к нему, когда он остановится у светофора, и не поцарапал капот металлическим ключом или не разбил ветровое стекло молотком, мстя за свою неудавшуюся жизнь...

Он солгал Чарли. С Дженис он должен встретиться только в половине второго, а сейчас на кварцевых часах его машины 11.17. Едет он в Гэллили. Он включает радиc — звук здесь еще мощнее, богаче, объемнее и многообразнее, чем в его старой «Короне». Хотя он крутит ручку настройки и вправо, и влево, и снова вправо, он не может найти Донну Саммер — она отошла в небытие вместе с семидесятыми. Зато какой-то малый поет гимны, так нажимая на слово «Иисусе», точно это апельсин и из него вот-вот закапает... Затем — известия, которые передают каждые полчаса. Молодая женщина с суровым голосом, работавшая диктором на местной станции, давно куда-то исчезла, — интересно, думает Гарри, где она сейчас: работает в дискотеке или помощником вице-президента в компании, производящей пиво «Подсолнух» Новый диктор говорит совсем как Билли Фоснахт — видно, губошлеп. Президент Картер объявил, что он за бойкот Московской олимпиады 1980 года. Реакция спортсменов — разная... Член палаты представителей от штата Иллинойс Филип Крейн в ходе весьма суматошной кампании по выборам назвал глупостью предложение сенатора Эдварда Кеннеди от штата Массачусетс перевести атомную электростанцию в Сибруке, штат Нью-Гемпшир, на уголь. В Японии бывшего участника ансамбля «Битлз» Пола Маккартни посадили в тюрьму, обнаружив при нем восемь унций марихуаны. В Швейцарии ученым удалось вывести бактерии, необходимые для производства чрезвычайно редкого человеческого протеина интерферона, антивирусного средства, которое может облагодетельствовать человечество не в меньшей мере, чем открытие пенициллина. Ну, а если золотые коронки подорожали, так это потому, что цена золота сегодня на нью-йоркской бирже поднялась до восьмисот долларов за унцию. А, черт! Слишком рано он продал свое золото. Восемьсот помножить на тридцать — это будет двадцать четыре тысячи, значит, почти на десять косых больше четырнадцати тысяч шестисот; надо было ему держаться золота, черт бы побрал этого Уэбба Мэркетта с его серебром... А теперь наша программа передает Приятную музыку для Приятных Людей — традиционный гимн «Храни меня, Спаситель». Гарри выключает радио и едет дальше уже лишь под урчание мотора «Супры».

Теперь он знает дорогу. Мимо гигантского менонита, указывающего путь к природной пещере, через вытянутый цепочкой городок с его продуктовой лавкой, и старой гостиницей, и новым банком, и коновязью, и агентством, где можно взять напрокат трактор. В полях белеет кукурузная стерня — все золото с нее слиняло. Вода в пруду замерзла у берегов, а в центре стоит черная — такая мягкая была зима. Гарри сбрасывает скорость, проезжая мимо почтовых ящиков Блэнкенбиллеров и Мутов, и сворачивает на грунтовую дорогу у почтового ящика с фамилией БАЙЕР. Нервы его настолько напряжены, что он подмечает всякую мелочь — камушки, торчащие из красноватой земли в разбитой колее старой дороги; окаймляющие ее кусты, с которых уже слетела листва, но они стоят почти такие же пышные, какими были минувшим летом; облезлый каркас школьного автобуса цвета тыквы; ржавеющую борону; маленькую, много лет

не крашенную теплицу и жалкие постройки за ней: амбар, сарай и каменный дом, который сейчас, когда он подъезжает с фасада, предстает перед ним в совсем ином виде. Гарри подводит «Селику» к площадке утрамбованной земли, где тогда останавливалась «Королла»; выключая мотор и вылезая из машины, он видит то место, откуда он все это наблюдал, — неровную линию вишневых деревьев и черного сумаха, проглядывающих сквозь яблони, откуда они кажутся куда дальше, чем ему представлялось. так что скорей всего никто его тогда не видел. Бред какой-то. Беги!.

Но так же, как в смерти, наступает момент, когда надо заставить себя пересечь грань, отрезок времени, столь же незаметный глазу, как зеркальное стекло, — такой момент наступил для него сейчас, и он делает необходимый шаг, черпая мужество в любви Тельмы. В своей дубленке и дурацкой, маленькой, как у эльфа, шлипе, в шерстяной гройке в тоненькую полоску, купленной всего лишь в ноябре у портного Уэбба на Сосновой улице, он шагает по земле, где когда-то была положена дорожка из гладких плит песчаника. Холодно — в такой день может пойти снег, в такой день ты чувствуешь внутри пустоту. Хотя почти полдень, солнца нет, нет даже серебристой полоски, которая указывала бы его место в небе, — сплошные серые, низкие, пузатые тучи. Справа висится позимнему голая унылая рощица. В другой стороне, где-то за горизонтом, надрывается электрическая пила. Он еще не успел снять с руки перчатку и постучать в дверь, с которой длинными хлопьями облезает ядовито-зеленая краска, как находящаяся в доме собака услышала его и залилась лаем.

У Гарри возникает надежда, что собака — одна, а хозяев нет. Вокруг не видно ни легкового автомобиля, ни «пикапа», — впрочем, машина может стоять в сарае или в этом цементном гараже с крышей из рифленых наложенных друг на друга внахлест листов стеклянного волокна. В доме не видно света, но ведь сейчас полдень, правда, день сумрачный и все больше темнеет. Гарри старается проникнуть взглядом сквозь стеклянную панель двери и видит свое бледное отражение в шляпе во второй двери с двумя высокими стеклянными панелями, точно такой, как эта, отстоящей от первой на толщину каменной стены. За старыми стеклянными панелями просматривается холл с вытертой полосатой дорожкой, уходящей в неосвещенные глубины дома. Напрягая зрение, чтобы увидеть, что там дальше. Гарри чувствует, как от холода у него пощипывает нос и руку без перчатки. Он уже собирается повернуть назад и сесть в теплую машину, когда в доме возникает тень и, тяжело дыша от злости, спешит к нему. А черный колли все прыгает и прыгает у внутренней двери, озверев от бессилия, пытаясь укусить стекло, — отвратительные мелкие зубы его ощерены, рассеченная черная губа и желтоватые десны — грязные. Гарри стоит точно парализованный, замороженный; он уже не видит широкой тени, материализовавшейся позади Фритци, пока рука не отодвигает на внутренней двери засов.

Другой рукой толстуха держит собаку за ошейник; желая ей помочь, Гарри сам открывает зеленую наружную дверь. Фритци сейчас же узнает его по запаху и перестает лаять. А Кролик под всеми этими морщинами и жиром узнает Рут с ее такими знакомыми живыми, горящими глазами. И вот среди всей этой суматохи, устроенной собакой, — а она машет хвостом и повизгивает, отчаянно требуя у старого знакомого признания, — двое давних влюбленных стоят друг против друга. Двадцать лет тому назад он жил с этой женщиной с марта по июнь. Восемь лет спустя они столкнулись у «Кролла» — она тогда пощадила его, не наговорила горьких слов, и вот прошло еще двенадцать лет, нанеся обоим непоправимый урон. Ее волосы, когда-то огненно-рыжие, сейчас сильно поседели и стянуты сзади в пучок, как носят менонитки. На ней широкие бумажные штаны и мужская рубашка в красную клетку под черным засаленным свитером с протертыми локтями, на который налипла собачья шерсть и опилки. И однако же это Рут. Ее верхняя губа по-прежнему припухло нависает над нижней, точно под кожей там нарыв, а голубые глаза по-прежнему смотрят на него из квадратных впадин с враждебностью, которая его раззадоривает.

— Что вам надо? — спрашивает она. Голос ее звучит хрипло, точно она простужена.

— Я Гарри Энгстром.

— Я это вижу. Что вам здесь надо?

— Мы не могли бы немного поговорить? Мне нужно кое о чем спросить вас.

— Нет, мы не могли бы немного поговорить. Убирайтесь.

Но она выпустила из руки ошейник, и Фритци уже обнюхивает щиколотки и колени Гарри и вся извивается от желания прыгнуть, разделить с пришедшим неумную радость, родившуюся в ее узком черепе за чуть выпученными глазами. Один глаз у нее, похоже, по-прежнему болит.

— Хорошая Фритци, — говорит Гарри — Лежать, лежать.

Рут невольно смеется этим своим звонким, рассыпающимся смехом — точно горсть монет бросили на прилавок.

— Ну, Кролик, ты даешь. Откуда ты узнал ее кличку?

— Я слышал однажды, как ее окликали. Я уже раза два был здесь — стоял там, выше, за деревьями, но у меня не хватило духу подойти ближе. Глупо, да?

Она снова смеется, чуть менее звонко, словно это в самом деле позабавило ее. Хотя голос ее погрубел, и она удвоилась в размерах, и на ее щеках и над уголками рта появился пушок и несколько темных волосков, все равно это Рут, оставившая в его жизни легкий, как облако след и снова материализовавшаяся. Она все такая же высокая — гораздо выше Дженис да и любой женщины в его жизни, кроме мамы и Мим. И она всегда была грузноватой — в ту первую ночь, когда он поднял ее на руки, он еще пошутил, что это выведет его из строя, ее грузноватость отталкивала его. зато другое крепко держало — ее всегдашняя готовность к любовным забавам, пусть места для забав у них было совсем мало да и времени было в обрез.

— Значит, ты испугался нас, — говорит она. И, слегка нагнувшись, спрашивает собаку: — Как, Фритци, впустим его на минутку?

Собаке он полюбился — от смутно вспыхнувшего в мозгу воспоминания хвост у нее заходил ходуном, и это склонило чашу весов в пользу Гарри.

В холле остро чувствуются застоявшиеся запахи прошлого — так обычно пахнут в старых фермерских домах. Яблоками в погребе, корицей, старой штука-туркой и обойным клеем — трудно сказать. В углу, на расстеленных газетах, стоят грязные сапоги, и Гарри замечает, что Рут — в носках, толстых, серых, мужских рабочих носках, это почему-то действует на него возбуждающе: она так тихо передвигается, несмотря на свои размеры. Она проводит его направо, в маленькую гостиную, где на полу лежит овальный лоскутный ковер и среди прочей мебели стоит садовый деревянный складной стул. Единственная современная вещь тут — телевизор, его огромный прямоугольный глаз мертв. В камине, выложенном из песчаника, догорают дрова. Прежде чем ступить на ковер, Гарри осматривает свои туфли, чтобы не занести грязь. И снимает модную замшевую шляпу.

Словно уже пожалев о том, что пригласила его, Рут садится на самый краешек кресла-качалки с плетеным сиденьем и так наклоняет его вперед, что ее колени почти касаются пола, а рука без труда дотягивается до шеи Фритци, и она чешет собаку за ушами, чтобы та лежала смирно. А он, полагает Гарри, видимо, должен сесть напротив, на потрескавшийся черный кожаный диванчик, который стоит под двумя тоскливыми фотографиями — им, наверно, не менее ста лет — в одинаковых резных рамках. на одной изображен какой-то бородатый тип, а на другой — его застегнутая на все пуговицы жена, оба, должно быть, уже давно превратились в прах. Однако, прежде чем сесть, Гарри видит в другом конце комнаты в свете, падающем из окна, широкий подоконник которого весь заставлен горшками с африканскими фиалками и этими растениями с разлапистыми листьями, что дарят в День матери¹ фотографии уже наших дней, цветные снимки, выстровившиеся в ряд на одной из книжных полок. забитых детективными и романтическими историями в карманном издании, которые Рут любила читать и, видимо, до сих пор любит. В те месяцы, когда они были вместе, его обижало, когда она с головой погружалась в низкопробное чтиво, где события разворачивались в Англии или в Лос-Анджелесе, хотя он был рядом, во плоти. Он подходит к книжным полкам и видит Рут, более молодую, но уже

¹ Второе воскресенье мая.

довольно полную. — она стоит у угла этого самого дома рядом с мужчиной по-старше, повыше и поплотнее, который обнимает ее за плечи, — это, должно быть, Байер. Крупный застенчивый фермер в непривычной воскресной одежде щурится, глядя на солнце с грустной полуулыбкой, какие видишь на больших старых портретах, — надо же откликнуться на просьбу фотографа. А Рут — волосы у нее тут еще рыжие и приподняты вверх пышной копной — явно забавляет то, что этот заботливый мужчина так ею дорожит. На миг — краткий и врезавшийся в память, словно хлопнула ставня. — Кролик чувствует зависть к этой жизни, которой он не знал, к этой крупной простой сельской паре, которая позирует возле угла дома с осыпающейся коричневой штукатуркой, стоя на мартовской или апрельской, судя по цвету, траве. Природа не устает задавать нам загадки. Есть тут и другие фотографии — цветные снимки тщательно причесанных, улыбающихся детей в картонных рамках, в какие обычно вставляют школьные фотографии. Гарри только начал их разглядывать, как услышал резкий голос Рут.

— Разве тебе разрешили их смотреть? Прекрати.

— Это же твоя семья.

— Конечно. Моя, а не твоя.

Но он не может оторваться от ярких цветных изображений детей. Они смотрят не на него, а куда-то мимо его правого уха, одинаково посаженные фотографом, который май за маем приезжает в школу. Мальчик и девочка примерно одного возраста — старшеклассники; затем, меньшим форматом, мальчик помладше, с более темными и более длинными волосами, разделенными на пробор с другой стороны, чем у брата. И у всех — голубые глаза.

— Два мальчика и девочка, — говорит Гарри. — Кто же из них старший?

— А тебе-то какое дело? Господи, я забыла, какой ты настырный, въедливый мерзавец. От колыбели и до могилы занят только собой.

— На мой взгляд, старше всех — девочка. Когда ты ее родила и когда ты вышла замуж за этого типа? Как ты, кстати, можешь жить в такой глуши?

— Преотлично. Ничего лучше мне никто никогда не предлагал.

— Я в те дни никому ничего не мог предложить.

— Но с тех пор ты отлично преуспел. Одет, как манекен.

— А ты — как могильщик.

— Я пилила дрова.

— Ты орудуешь электропилой? Господи, неужели ты не боишься отхватить себе палец?

— Нет, не боюсь. Кстати, машина, которую ты продал Джейми, отлично работает, если ты приехал об этом справиться.

— Давно тебе известно, что я в «Спрингер моторс»?

— Да всю жизнь. А потом об этом же было в газетах, когда умер Спрингер.

— Это ты проезжала мимо церкви в старом «универсале» в тот день, когда была свадьба Нельсона?

— Вполне возможно, — говорит Рут и откидывается в своем кресле-качалке так, что оно наклоняется в противоположную сторону. Фритци растянулась и спит. Потрескивают дрова в камине. — Нам случается проезжать через Маунт-Джадж. У нас пока ведь еще свободная страна, верно?

— Зачем тебе понадобилось делать такую глупость? — Значит, она его любит.

— Я же не говорю, что была там, да и потом откуда мне было знать, что у Нельсона как раз в это время свадьба?

— Из газет. — Он видит, что она хочет помучить его. — Рут, насчет девочки. Это же моя дочь. Тот самый ребенок — ты ведь говорила, что ни за что не хочешь делать аборт. Значит, ты ее родила, а потом нашла этого старика фермера, который был рад и счастлив получить в жены такое молодое существо, и от него ты родила двоих ребят, прежде чем он сыграл в ящик.

— Не хами. Этим ты ничего мне не докажешь, кроме того, что я была последняя дура, когда приютила тебя. Честное слово, ты — Ходячее Несчастье. Все время только и слышишь я да я, мне да мне. А я, когда у меня было что тебе дать, отдавала себя без остатка, хоть и знала, что ничего не получу взамен. Теперь же, слава богу, мне уже нечего давать — Вялым жестом руки она обводит жалкую маленькую комнату. За эти годы в ее речи появилась деревен-

ская медлительность, упрямое спокойствие, с каким деревня утаивает от города то, что город хочет у нее отобрать.

— Скажи мне правду, — молит он.

— Я только что сказала.

— Насчет девочки.

— Она моложе старшего мальчика. Скотт, Эннабелл и затем в шестьдесят шестом — Моррис. Последыш Шестого июня шестьдесят шестого года...

— Не упрямясь. Рут, мне ведь надо возвращаться в Бруэр. И не ври. У тебя в глазах появляются слезы, когда ты врешь.

— У меня в глазах слезы, потому что мне противно смотреть на тебя. Настоящий бруэрский ловкач. Торговец. Ведь ты же таких терпеть не мог, помнишь? И толстый. Во всяком случае, когда я тебя знала, ты хоть был стройным.

Он смеется, наслаждаясь этим столкновением: ночь, проведенная с Тельмой, дает ему силы легче переносить оскорбления.

— Это ты, — говорит он, — называешь меня толстым?

— Да, я. А почему у тебя такое красное лицо?

— Это загар. Мы только что вернулись с островов.

— О господи, так это из-за островов. А я-то думала, что тебя сейчас хватит удар.

— Когда твой старик отдал концы? Чем ты его доконала — постелью?

Она с минуту пристально смотрит на него.

— Лучше уходи.

— Скоро уйду, — обещает он.

— Фрэнк умер в августе семьдесят шестого от рака. Толстой кишки. Он даже до пенсионного возраста не дожил. А когда мы познакомились, он был моложе, чем мы сейчас.

— О'кей, извини. Послушай, перестань меня подзуживать — я вовсе не хочу язвить. Расскажи мне про нашу дочку.

— Это не наша дочка. Гарри Я тогда все-таки сделала аборт. Мои родители договорились с одним доктором в Поттсвилле. Он сделал мне аборт прямо у себя в кабинете, а примерно через год от осложнения умерла одна молоденькая девчонка, и его посадили в тюрьму. Теперь же девчонки просто идут в больницу и делают аборт.

— И считают, что налогоплательщики должны за это платить, — говорит Гарри.

— Потом я нашла себе работу дневным поваром в ресторане недалеко от каменоломни Стоджи, к востоку отсюда, и там в ту пору работала двоюродная сестра Фрэнка, ну, и одно за другим — все произошло довольно быстро. В конце шестидесятого года у нас уже был Скотт — в прошлом месяце ему исполнилось девятнадцать, родился под рождество, — такие дети всегда не добирают подарков.

— А потом дочь — когда же она родилась? Эннабелл.

— На следующий год. Фрэнк спешил обзавестись семьей. Мать не давала ему жениться, пока была жива, во всяком случае, он ее в этом винил.

— Ты врешь. Я же видел девчонку: она старше, чем ты говоришь.

— Ей восемнадцать. Хочешь, покажу свидетельство о рождении?

Наверняка блефует. Но он говорит:

— Нет.

Голос ее смягчается.

— А что ты так привязался к девочке? Почему ты не считаешь, что мальчишка — твой?

— У меня уже есть один сын. С меня довольно... — Слова вырываются сами собой. — ...ходячего несчастья. — И вдруг спрашивает: — А где они? Твои сыновья?

— Тебе-то какое дело?

— В общем, никакого. Просто удивляюсь, почему они не здесь, не помогают тебе.

— Моррис — в школе, он возвращается домой на автобусе после трех. А Скотт работает в Мэриленде, в заводских яслях. Я им сказала обоим — и Энни тоже: «Уезжайте». Мне было здесь хорошо — я здесь нашла прибежище,

а молодым людям делать здесь нечего. Когда Энни и Джейми Нунмейхер решили поселиться вместе в Бруэре, я не могла сказать «нет», хотя его родные решительно были против. Мы провели настоящее совещание, и я сказала им, что вся молодежь теперь так поступает — живут вместе, и все прекрасно, верно? Родители Джейми, правда, знают, что я старая потаскуха, но мне плевать, что они думают. Соседи никогда не вмешиваются в нашу жизнь, и мы в их жизнь не вмешиваемся. Фрэнк и старик Блэнкенбиллер пятнадцать лет не разговаривали после того, как Фрэнк начал за мной ухаживать. — Она замечает, что отвлеклась, и говорит: — Эннабелл с этим парнем всю жизнь не пробудет. Он, в общем-то, славный, но...

— Я с тобой согласен, — говорит Кролик, точно его спрашивают. Он видит, что Рут одинока и ей хочется поговорить, и ему от этого становится не по себе. Он ерзает на старом черном диване. Пружины скрипят. На улице, видимо, переменился ветер, и током воздуха дым от сырых поленьев спиралью выбросило в комнату.

Рут бросает взгляд на фотографии умершей пары в рамках над его головой, похожих на резные гробы, и признается:

— Даже когда Фрэнк был здоров, ему пришлось заняться доставкой детишек в школу, чтобы сводить концы с концами. А я теперь сдаю в аренду большие поля и вырубаю заросли, чтобы все здесь не заросло. Главные мои враги — это кусты и счета за нефть.

И в самом деле, в комнате так холодно, что Гарри даже в голову не пришло снять дубленку.

— Н-да, — вздыхает он. — Тяжело.

Фритци, разбуженная чем-то тревожным, привидевшимся ей во сне, когда она лежала, подергивая лапами, вдруг поднимается и идет на Гарри, словно собираясь на него залаять, но вместо этого снова опускается на ковер и доверчиво сворачивается у его ног. А Гарри, протянув длинную руку, берет фотографию дочери с книжной полки. Рут не возражает. Он внимательно изучает бледное, словно светящееся изнутри лицо в рамке из коричневого картона: на странном, в голубых потеках фоне, эдакой подделке под небо, девочка смотрит куда-то мимо него. Круглое, крепкое, как яблоко, благодаря глянцевитой бумаге и ретуши при печати, лицо не только не выдает своей тайны, а, наоборот, кажется еще более таинственным — столь же непонятное по облику как те формы морской жизни, что высвечивали прожекторы под мостками у казино. Рот она унаследовала от матери — эту верхнюю припухшую губу он заметил еще в магазине. И эти словно квадратные глазные впадины, хотя брови у нее более выгнутые, чем у Рут, а волосы, даже приглаженные до блеска для фотографии, выглядят более покорными. Гарри разглядывает ухо, ища шербинку на мочках, как у Нельсона, но для этого у девочки должны быть приподняты волосы. Носик у нее изящный и маленький, чуть вздернутый, так что видны ноздри — при таком носике нижняя часть лица кажется тяжелой. еще не сформировавшейся. Светлая кожа и холодный свет в глазах вполне можно отнести за счет шведов и их заснеженного мира — то же самое он углядел и в своем лице в зеркале ванной комнаты Мэркеттов. Его кровь. И вдруг Гарри вместе с Эннабелл заходит, прождав в беспорядочной очереди школьников, за занавеску в углу гимнастического зала и видит, как, ослепленная неожиданно ярким светом, она позирует для потомства, для художника, для дружка и для мамы, для своего времени, наконец, которое катится как колесо, и никто его не в силах задержать, — настала минута оцеречиться в пустоту и, придав лицу соответствующее выражение, стать звездой

— Она — вылитая я.

Теперь уже Рут хохочет.

— Желаемое выдаешь за действительное.

— Нет, правда. Когда она в первый раз явилась в магазин, меня будто оглоушило — может, ее ноги, не знаю что. У нее ведь не твои ноги. — А ноги у Рут были толстые и переливались белизной, когда она ходила голая по комнате.

— У Фрэнка тоже были неплохие ноги. Пока он не распустил себя, его можно было назвать даже стройным. И высоким, когда он стоял прямо. Люблю я, видно, больших мужчин. А вот мальчики — ни один не унаследовал его роста.

— М-да, Нельсон тоже не такой, как я. Козывка, совсем как его мамаша.

— Ты, значит, по-прежнему с Дженис. В свое время ты называл ее осто-лопкой, — напоминает ему Рут. Она чувствует себя теперь уже вполне уютно в этой ситуации — откинулась в качалке и покачивается, ее ноги в носках на-саются пола то кончиками пальцев, то пятками, потом снова кончиками паль-цев.— Собственно, с какой стати мне рассказывать тебе мою жизнь, когда ты ни слова не говоришь о себе?

— Жизнь у меня довольно заурядная, — говорит он. — Не держи на меня зла за то, что я остался с Дженис

— О господи, нет, конечно. Мне просто жаль ее.

— Сестринские чувства, — говорит он с улыбкой...

— А ты совсем вскружил голову Энни, — переводит разговор на другую тему Рут. — Она несколько раз спрашивала меня, слышала ли я о тебе — ведь ты же был героем баскетбола. Я сказала, что мы с тобой учились в разных шко-лах. Она была так разочарована, когда они с Джейми отправились забирать машину, а тебя там не было. Джейми-то больше склонялся купить «Фьесту».

— Значит, ты считаешь, что Джейми для нее не находка?

— Находка, но лишь на время. Ты же его видел. Он такой заурядный.

— Надеюсь, она не...

— Не пойдут по моей дорожке? Нет, все будет в порядке. Шлюхи нынче перевелись — кругом одни только здоровые молодые женщины. К тому же я вырастила ее очень наивной. Собственно, я всегда считала с е б я наивной.

— Все мы наивные, Рут.

Ей явно нравится то, что он назвал ее по имени, — надо быть осторожнее. Он ставит фотографию на место и смотрит на нее издали — Эннабелл между двух братьев.

— А как у тебя с деньгами? — спрашивает он, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как бы невзначай. — Не надо немного помочь девочке? Я ведь мог бы дать тебе денег таким образом, ну, ты понимаешь, чтобы это не выглядело, будто они с неба свалились. К примеру, на обучение девочки, если она хочет получить образование. — Он краснеет, и то, что Рут молчит, не облегчает дела. Качалка перестала покачиваться.

Наконец Рут произносит:

— Это, по-моему, называется отдавать старые долги.

— Я же не тебе их дам, а ей. Причем много дать я не могу. Я хочу ска-зать, я ведь не богат. Но если пара тысяч для вашего бюджета имеет зна-чение...

Он не доканчивает фразы в надежде, что его прервут. Не может он смот-реть на нее — на это незнакомое расплывшееся лицо. Голос ее, когда она начи-нает говорить, звучит презрительно, хрипло, как много лет назад, когда они разговаривали, лежа в постели.

— Успокойся. Можешь не волноваться, я тебя не подловлю. Если мне дей-ствительно станет трудно, я могу продать кусок земли вдоль дороги — пять ты-сяч за акр, такие деньги здесь она стоит. Словом, Кролик, поверь мне. Она не твоя.

— О'кей. Раз ты так говоришь. — И, почувствовав огромное облегчение, он встает.

Она встает тоже, и, когда они оба так стоят, вся эта нажитая за годы плоть словно спадает с них, и молодой мужчина и молодая женщина, жившая на втором этаже дома на Летней улице напротив большой церкви из известня-ка, снова стоят друг против друга, отделенные стенами от всего остального ми-ра — как и тогда, в комнате, принадлежащей ей.

— Вот что. — шипит она, как ему кажется, с наслаждением: перекошенное лицо блестит. — Я никогда не доставила бы тебе такого удовольствия и не ска-зала бы, что девочка твоя, даже пообещай ты мне миллион долларов. Воспи-тала-то ее я. Мы с ней немало времени провели тут, а где, черт подери, был ты? В ту пору, когда мы встретились с тобой у «Кролла» ничего же за этим не последовало, а ведь я все эти годы знала, где ты и как ты. тебе же было напле-вать, что происходило со мной или с моим ребенком, да и вообще.

— Ты же была замужем, — мягко произносит он. М о и м ребенком — как-то это странно прозвучало.

— Конечно,— спешит вставить она.— И за человеком намного лучше тебя — таким ты никогда не будешь, сколько ни язви, у детей был чудесный отец, и они это знают. Когда он умер, мы продолжали жить по заведенным им правилам, точно он все еще с нами.— вот какой это был человек. А как ты там живешь своей мелкой житенкой в Маунт-Джадже, я же ни черта не знаю...

— Мы переезжаем,— сообщает он ей.— В Пенн-Парк

— Лихо. Там тебе самое место, с этими задавалами. Надо было тебе уйти от этой твоей остолопки двадцать лет назад — для ее и для твоего же блага, но ты не ушел, так что теперь варись в этом котле, варись но оставь мою Энни в покое. Жуть, Гарри, да и только. При одной мысли, что ты считаешь ее своей дочерью, мне начинает казаться, будто ее вываляли в дерьме.

Он с трубным звуком выпускает воздух через нос.

— А у тебя по-прежнему добрый язычок.— говорит он.

Ей становится неловко; ее волосы с сильной проседью растрепались, и она приглаживает их ладонями так, точно хочет раздавить что-то затаившееся в голове.

— Не надо было мне так говорить, просто очень уж это страшно — то, как ты явился сюда, разодетый в пух и прах, и потребовал у меня мою дочь. Ты навел меня на мысль, что, не сделай я аборта, не уступи я родителям, все было бы иначе, и у нас могла бы быть сейчас дочь. Но ты же...

— Я знаю. Ты правильно поступила.— Он чувствует, что она борется с собой: ей хочется дотронуться до него, припасть к нему и чтобы он сжал ее в своих неуклюжих объятиях. Он ищет, чем бы закончить разговор. Несколько неуверенно он спрашивает: — А что ты станешь делать, когда Моррис вырастет и уедет из дому?

Тут он вспоминает про шляпу и берет ее тремя пальцами за мягкую новую тулью.

— Не знаю. Еще немного потяну. Что бы ни происходило, земля в цене не упадет. Каждый год, что я живу здесь, прибавляет денег в банке.

Он снова с шумом выпускает воздух через нос.

— О'кей, Рут, раз так, значит, так. Я поехал. Я так понял, что с девочкой номер не проходит?

— Конечно, нет. Подумай как следует. Представь себе, что это была бы твоя дочь. Да такое открытие сейчас только сбilo бы ее с толку.

Он моргает. Это что же — признание?

— Я никогда не умел думать как следует,— говорит он.

Рут улыбается, глядя в пол. Эта квадратная выщербинка, подсмотренная сверху, прежде всего бросилась ему в глаза, когда он увидел ее. Крупная, жесткая, но, в общем-то, добрая женщина...

— Мужчинам это не обязательно.— говорит она.

Собака заволновалась, когда они оба встали, и голос Рут зазвучал громче, злее, а теперь Фритци вышла из комнаты, опережая их, и ждет у входной двери, вопросительно помахивая хвостом, прижавшись носом к щели. Рут приоткрывает дверь — сначала внутреннюю, потом наружную — достаточно, чтобы могла пройти собака, но не Гарри.

— Не выпьешь чашечку кофе? — спрашивает она.

Он обещал Дженис быть в час у Шахнера.

— О господи, нет, спасибо, мне надо назад на работу.

— Значит, ты приезжал сюда только из-за Эннабелл? А обо мне ты ничего и знать не хочешь?

— Я же выслушал все, что ты мне рассказывала, верно?

— Не хочешь знать, есть ли у меня дружок, вспоминала ли я это время тебя?

— М-м, ну, я уверен, это было бы очень интересно. Судя по всему, ты отлично устроилась. И Фрэнк, и Моррис, и кто там у тебя еще?

— Скотт.

— Правильно. И у тебя столько земли. Мне, конечно, жаль, что я тебя бросил тогда в таком сложном положении.

— Ну, — произносит Рут раздумчиво, медленно, и Гарри кажется, что это говорит не она, а ее покойный муж. — Мы, наверное, сами создаем себе сложности

Сейчас она выглядит не просто толстой и седой, но еще и растерянной — в свитере застряла солома, растрепавшиеся волосы лежат на щеках. Неопрятное, одинокое чудище Гарри не терпится поскорее выскочить за эту двойную дверь на зимний воздух, ступить на землю, на которой сейчас ничего не растет. В свое время он сбежал, сказав ей: «Я сейчас вернусь», — теперь же он даже этого сказать не может. Оба знают — а люди никогда такого не должны знать, — что больше не встретятся. Он замечает на ее руке, держащей дверную ручку, тонкое золотое колечко, почти утонувшее в пухлой плоти. И сердце его бьется, как пойманная птица.

Наконец она сжаливается над ним.

— Береги себя. Кролик, — говорит она. — Я пошутила насчет твоего вида — выглядишь ты отлично. — Гарри наклоняет голову, словно намереваясь поцеловать ее в щеку, но она говорит: — Нет.

И не успевает он сойти со ступеньки цементного крыльца, как тень ее исчезает за темными стеклами двойной двери. День стал еще более серым, в воздухе появились сухие снежинки, но снегопада не будет — они просто летят вкось, точно пепел. Собака сопровождает Гарри до сверкающей голубой «Селики» и явно хочет прыгнуть на заднее сиденье, но Гарри не дает.

Катя по дороге мимо почтовых ящиков, на которых начертано крупными буквами БЛЭНКЕНБИЛЛЕР и МУТ, Гарри сует в рот жвачку и раздумывает, не следовало ли ему все-таки сказать Рут, что она берет его на пушку насчет свидетельства о рождении. А что, если Фрэнк до нее был женат и Скотт — его ребенок от первого брака? Ведь если девочке столько лет, как сказала Рут, она же должна быть еще в школе! Но хватит. Отпусти. Просто богу не угодно, чтобы у него была дочь.

В жарком торговом зале Шахнера среди новой шикарной мебели Дженис выглядит изящной процветающей женщиной и благодаря карибскому загару — гораздо моложе своих сорока четырех лет. Он целует ее в губы, и она говорит:

— М-м-м. Клевер. Что это ты скрываешь?

— Лук — наелся за обедом.

Она приближает нос к отвороту его дубленки.

— Ты весь пропах дымом.

— Хм, Мэнни дал мне сигару.

Но она едва слушает его ложь, вся наэлектризованная собственными новостями.

— Гарри, Мелани позвонила маме из Огайо. Нельсон у нее. Все в порядке.

Дженис продолжает говорить, он видит, как движутся ее губы, как подрагивает челка, как расширяются и суживаются глаза, а пальцы взволнованно перебирают нитку жемчуга, приоткрытую распахнутым пальто, но точный смысл того, что она говорит, не доходит до Кролика — он вспоминает, что когда нагнулся у двери к старушке Рут, то при свете, падавшем с улицы, заметил, как на морщинистой коже под ее глазами что-то блеснуло, и ему приходит в голову дурацкая мысль, которую, похоже, следует запомнить и потом продать, что наши слезы вечно юны. эта соленая водица, струящаяся из наших глаз, всегда одинакова — от колыбели до могилы.

Каменный домик, который Гарри и Дженис купили за семьдесят восемь тысяч долларов, уплатив аванс в пятнадцать тысяч, стоит на четверти акра поросшей кустарником земли, в глубине заасфальтированного тупичка, за двумя более просторными особняками, образцами того, что тут называют «Красой и Гордостью Пенн-Парка»... Гарри вышел осмотреть свои владения и найти место, где больше солнца и где весной можно было бы разбить огород. Участок за домом мамы Спрингер на Джозеф-стрит был для этого темноват. Гарри находит вполне подходящий уголок — надо будет только срубить несколько веток с дуба, принадлежащего соседу. Вообще участки в этом заросшем, обжитом при-

городе тенистые: половина его лужайки покрыта мхом, за эту мягкую зиму он, правда, подсох, но все равно лежит пружинистым ковром. Обнаружил Гарри и маленький, выложенный цементом пруд для рыбок — сейчас в нем нет воды, и выкрашенное голубой краской дно усеяно сосновыми иглами. Кто-то когда-то натывал ракушек в мокрый цемент по краю прудика. Чего только не покупаешь, купив дом. Дверные ручки, подоконники, радиаторы. И все это — его. Будь он рыбой, он мог бы весной плавать в этом пруду. Он пытается представить себе эту картину, когда кто-то — мужчина, женщина или ребенок, а может быть, все втроем — втыкали здесь ракушки летом, в тени деревьев, которые тогда были пониже, чем теперь. А сейчас слабый зимний свет заливает весь участок, исчерченный паутиной теней от безлистных сучков. Стоя на этой земле, он чувствует, какой груз забот передавался тут от владельца к владельцу. Дом был построен в то отмеченное депрессией, но добросовестное время, когда родился Гарри. Гладкий серый песчаник был добыт из карьеров на самом севере округа Дайамонд, и люди, сложившие из него стены, не спешили, старались работать не за страх, а за совесть. Потом, после войны, кто-то из владельцев пробил стену, что дальше от проезжей дороги, и сделал пристройку из досок неровно побеленного кирпича. Краска струпами слезает сейчас с досок под окнами будущей кухни Дженис. Гарри мысленно делает пометку срезать ветки, упирающиеся в стены дома, чтобы было не так сыро. Да и вообще несколько деревьев тут следует пустить на дрова, надо только дожидаться весны, когда появятся листья, — тогда и выяснится, какие деревья надо рубить. В доме два камина: один — в большой удлиненной гостиной, а другой, с тем же дымоходом, в комнатке позади, где Гарри намеревается сделать кабинет. Свой кабинет.

Они с Дженис переехали вчера, в субботу. Пру возвращается с ребенком из больницы, и, если они до того успеют переехать, она сразу сможет занять их спальню, при которой есть ванная комната, да и окнами она выходит не на улицу. А кроме того, они решили, что в такой кутерьме мать Дженис менее болезненно воспримет их отъезд. Уэбб Мэркетт и все остальные вернулись с Карибского моря, как и намеревались, в четверг, и в субботу утром Уэбб приехал на грузовичке одного из своих кровельщиков с притороченными к нему с двух сторон лесенками и помог с переездом. Ронни Гаррисон, этот подонок, сказал, что ему надо в контору — раскидать бумаги, скопившиеся за время его отпуска: он-де в пятницу работал до десяти вечера; а Бадди Инглфингер приехал с Уэббом, и трое мужчин за два часа перевезли Энгстромов. Мебели у них ведь почти не было, главным образом перевозили одежду, а также бюро красного дерева, принадлежащее Дженис, да несколько картонок с кухонными принадлежностями, которые им удалось спасти из дома, сгоревшего в 1969 году. Все вещи Нельсона они оставили. Одна из этих стриженных женщин вышла на свое крыльцо и помахала им на прощание: как быстро распространяются вести среди соседней, даже если люди не дружат...

У Шахнера они с Дженис купили в четверг — с тем чтобы им доставили в пятницу, — новый цветной телевизор «Сони» (Кролику ужасно неохота перекладывать свои денежки в карман японцев, но из журнала «К сведению потребителей» он знает, что в этом деле по качеству им нет равных), пару больших мягких серебристых, с розовым рисунком кресел (Гарри давно хотелось иметь глубокое мягкое кресло — он терпеть не может, когда дует в спину: люди ведь даже умирают от этого) и королевских размеров пружинный матрац на металлической раме, без изголовья. Матрац они с Уэббом и Бадди втаскивают наверх, в комнату окнами во двор, со слегка скошенным потолком, зато рядом со шкафом есть пустая стена, где можно при желании повесить зеркало, а кресла и телевизор ставят не в гостиной, настолько большой, что сейчас ее все равно не оставишь, а в более уютной комнате — кабинете. Гарри всегда хотелось иметь кабинет, собственную комнату, мало доступную для других. Ему особенно нравится, что в этой небольшой комнате помимо камин и встроенных полок, где можно расставить книги или безделушки и фарфор мамы Спрингер, когда она умрет, а под полками, внизу, сделан бар для спиртного и даже есть место для маленького холодильника, когда они соберутся его приобрести. — весь пол затянут зеленым бобриком с оранжевыми загогулинами, а окна — высокие, узкие, на скользящих вверх и вниз рамах, со свинцовыми ромбовидными пере-

плетами вроде тех, какие рисуют в книжках сказок. У Гарри возникает мысль, что в этой комнате он, пожалуй, даже станет читать книги, а не только журналы и газеты и еще, скажем, начнет изучать историю. Пол в кабинете на ступеньку ниже, чем в гостиной, и эта маленькая разница в уровне является для Гарри, словно молодые побеги на обрезанном дереве,— символом существенных изменений и нового положения в жизни.

Тупичок, где стоит их дом, ответвляется от элегантной Франклин-драйв, их почтовый адрес: Франклин-драйв, 14½; сам тупичок не имеет названия; они назовут его Энгстром-уэй... Гарри никогда еще не жил в доме с таким маленьким номером — 14½. С папкой, мамой и Мим он жил на Джексон-роуд, 303... Домик в Пенн-Вилласе был на Виста-кренг, 26; мамаша Спрингер живет на Джозеф-стрит, 89. Хотя 14½ стоит достаточно далеко от Франклин-драйв, почтальон, разъезжающий на маленьком синем с белым и красным «джипе», знает, где это находится. Они уже получили почту: рекламные проспекты, адресованные ЖИЛЬЦАМ, скопившиеся, пока они отдыхали на Карибском море, а в субботу около половины второго, после того как Уэбб и Бадди уехали, а Гарри и Дженис раскладывали по местам ложки, вилки и сковородки на кухне, забыв, что такие у них вообще есть, крышка над почтовым ящиком приподнялась, и на еще не застланный в холле пол упали открытка и белый конверт. На простом длинном штампованном конверте, какие продают на почте, не было обратного адреса и стояла пометка «Бруэр». Он был адресован просто МИСТЕРУ ГАРРИ ЭНГСТРОМУ теми же косыми печатными буквами, какими было написано письмо, что он получил в апреле прошлого года по поводу Скитера. А здесь лежала совсем маленькая вырезка из газеты, и тем же четким почерком, что и на конверте, шариковой ручкой было наверху написано: «Гольф мэ-гэзин». Заметка гласила:

ВОТ ТАК ГУСЬ

Дорого обошелся доктору Шерману Томасу канадский гусь, которого он убил клюшкой на территории, прилегающей к конгрессу. Он приговорен к штрафу в 500 долларов.

Дженис деланно рассмеялась, стоя рядом с ним в гулком пустом холле, откуда через белую арку вход в большую гостиную.

Гарри с виноватым видом посмотрел на нее и согласился с ее невысказанным предположением:

— Тельма.

Дженис стояла вся красная. А только что они сентиментально восторгались старым миксером, который, пролежав десять лет на чердаке у мамы Спрингер, тут же заурчал, когда его подключили к розетке.

— Она теперь никогда не оставит нас в покое,— вырвалось у Дженис.— Никогда.

— Тельма? Конечно, оставит — таков был уговор. Она это заявила без обиняков. Ты ведь тоже так условилась с Уэббом?

— Да, конечно, но слова для влюбленной женщины ничего не значат.

— Она же говорила мне, что любит Ронни. Хотя я лично не могу понять, как она может.

— Он — ее кормилец, причем неплохой. А ты — ее голубая мечта. Она действительно балдеет от тебя.

— Тебя это, видимо, удивляет,— не без осуждения говорит он.

— Ну, я не могу сказать, что я от тебя не балдею, я вижу, что она находит в тебе, просто...— Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Куда он ни посмотрит, всюду плачущие женщины.—...просто эта манера вламываться в чужую жизнь. Одно сознание, что это она послала тогда ту вырезку, мысль, что она все время следит за нами, ждет своего часа... Они плохие люди, Гарри. Я не желаю больше никого из них видеть.

— Да перестань ты.— Приходится обнять ее прямо здесь, в гулком холле. Ему теперь нравится, когда она вот так краснеет и насупливается и дыхание у нее становится жарким и словно затрудненным от горя: в такие минуты она всецело принадлежит ему, краугольный камень его богатства. В свое время, когда она была в таком же состоянии, он заразился ее страхом и сбежал, но

теперь, достигнув зрелости, понимает, что никуда не убежит, что может посмеяться над ней, его упрямым сокровищем. — Они такие же, как мы. Это ведь было на отдыхе. В обыденной жизни они вполне благопристойны.

— А я зла на нее, — пылко заявляет Дженис, — зачем она заигрывает с тобой — и так скоро, не успев вернуться. Они никогда не оставят нас в покое, никогда, тем более теперь, когда у нас есть дом. Пока мы жили с мамой, мы были от них защищены.

А ведь это правда: Гаррисоны, и Мэркетты, и Бадди Инглфингер, и эта его новая дылда-подружка с вьющимися бараном волосами, заплетенными в мелкие косички, и этими туземными бусами действительно нагрюнули к ним вчера, в их первый вечер в новом доме, принесли шампанское и коньяк и проторчали до двух утра, так что в воскресенье Дженис и Гарри проснулись с горечью во рту и чувством вины. У Гарри в этом доме еще не появилось привычек, а без привычек и без старой мягкой мебели мамы Спрингер ты чувствуешь себя незащищенным, и кажется, куда бы ты ни двинулся. — рухнешь в пустоту.

Кроме заметки, в субботу по почте пришла еще открытка от Нельсона.

Привет мам и пап...

Весенний семестр начинается 29-го, так что я как раз вовремя. Нужен гарантированный чек на 1087 долларов (397 — стоимость обучения, 90 — на общие расходы, 600 — доплата для студентов, живущих не в Огайо) плюс на жизнь.

2000—2500 долларов, наверно, хватит.

Позвоню, когда поставите телефон.

Мелани шлет привет.

Целую.

Нельсон.

На другой стороне открытки изображено серое кирпичное здание с большими вентиляционными трубами, похожими на те, что используются для подачи горячего воздуха, и надпись внизу: «Административное здание, факультет бизнеса, государственный университет Кент».

— А как же насчет Пру? — спрашивает Гарри. — Малый ведь стал отцом, но, похоже, не осознает этого.

— Очень даже осознает. Просто он не может все делать сразу. Он сказал Пру по телефону, что как только запишется на занятия, придет сюда, чтобы посмотреть на малышку и вернуть нам машину. Хотя, Гарри, может, нам оставить машину ему — пусть пользуется.

— Это же моя «Корона»!

— Но ведь он поступил так, как ты хотел: вернулся в колледж. Пру вот понимает.

— Она понимает, что связалась с безнадежным неудачником, — говорит Гарри, но без злобы. Малый уже не представляет для него опасности. Теперь он — в замке король.

И сегодня — экстрасокресенье Дженис пытается поднять его, чтобы ехать в церковь: она везет туда мамашу, но Гарри еще не пришел в себя после вчерашнего, и ему хочется юркнуть под теплое крылышко сна, который он видел, сна, в котором участвовала девушка, вернее молодая женщина, совсем ему незнакомая, с темными волосами: Гарри каким-то образом только что познакомился с нею на вечеринке.. Радость новизны — Гарри хочет, чтобы сон разворачивался дальше и дальше, но уже не может заснуть. Эта спальня с ее ослепительно белым скошенным потолком — такая странная. Надо побыстрее купить занавески. Интересно, Дженис собирается этим заняться? Вот ведь остолопка — вечно за нее кто-то все делает. Он устраивает себе завтрак из апельсина, выуженного из пустого холодильника, плюс немного соленых орешков, оставшихся от вчерашнего пиршества, плюс чашка растворимого кофе, разведенного в горячей воде прямо из-под крана. Холодильник им достался вместе с домом, и — что положительно купило Гарри — он автоматически готовит полукруглые кубики льда буквально бушелями. Хотя старый миксер работает. Гарри не забыл своего обещания купить Дженис кухонный комбайн. Возможно, она потому и не занималась готовкой, что у мамы Спрингер была такая допотопная кухня.

Гарри бродит по дому, тихо радуясь чугунным радиаторам, медным задвижкам на окнах, классным восьмиугольным плиткам в ванной и тому, что во всех дверях — круглые ручки с замком, все эти детали его нового дома особенно бросаются в глаза сейчас, когда в доме еще нет мебели, а со временем, когда все здесь будет заставлено, отойдут на задний план. Сейчас же они первозданны и обнажены

Наверху, в скошенном стенном шкафу, рядом с бывшей, по-видимому, спальней мальчиков — стены там в десятках мелких дырочек от кнопок и остатках клейкой ленты, придерживавшей плакаты и афиши, — он обнаруживает груды журналов «Плэйбой» и «Пентхаус» начала семидесятых годов. Рядом с кухонной лестницей, где медленно вращается диск электрического счетчика, он находит один из больших зеленых пластмассовых контейнеров для мусора, которые они с Дженис купили вчера, но прежде чем бросить туда очередной журнал, листает его, отыскивая середину: там из месяца в месяц и из года в год на развороте печатают снимки... молодых женщин с телом, словно созданным гениальным дизайнером, которые, распахнув negligé, лежат, изогнувшись, на диване, покрытом леопардовой шкурой, чтобы подписчицы могли наконец вдоволь насладиться зрелищем их сокровища и позора. Некая невидимая сила — по мере того как месяц идет за месяцем и меняются времена года — побуждает их шире и шире раздвигать ноги, пока в номере, приуроченном к двухсотлетию Америки — хвала конституции! — никакой тайны уже нет... За окном, выгнув дугою серую спинку, на Гарри смотрит черным настороженным глазом белочка. Природа, видит Гарри, она всюду вокруг. У самого дома растет дерево, кажется, вишня, вся кора у него в кольцах. Белка, заметив, что на нее тоже смотрят, спешит прочь. Приняв в себя весь груз журналов, контейнер становится почти неподъемным. Гарри стаскивает его вниз. После двух возвращается Дженис — она уже пообедала со своей мамашей. Пру и малышкой.

— Все были в таком хорошем настроении, — сообщает она, — включая малышку.

— А у малышки что, еще нет имени?

— Пру предложила Нельсону назвать ее Ребеккой, но он сказал — ни в коем случае. Теперь она собирается назвать девочку Джудит. Так зовут ее мать. Я сказала, чтобы они и не думали называть ее Дженис: мне мое имя никогда не нравилось.

— А мне казалось, она терпеть не может свою мать.

— Не то чтобы терпеть не может, но не слишком уважает. Это отца она терпеть не может. Но он уже дважды звонил ей и был очень — как же это говорят-то? — примирительно настроен.

— Ну и прекрасно. Может, он приехал бы и помог нам в магазине. Мог бы поработать слесарем-паропроводчиком. А как Пру относится к тому, что Нельсон удрал накануне события?

Дженис снимает шапочку — пушистый, сиреневый, редкой вязки берет, который она носит зимой, и когда надевает его с дубленкой, становится похожей на смуглого солдата, отправляющегося на войну. Наэлектризованные волосы встают у нее дыбом. В пустой гостиной ей не на что положить берет, и она швыряет его на белый подоконник.

— Видишь ли, — говорит она, — у нее к этому довольно любопытное отношение. Сейчас, по ее словам, она просто рада, что его нет — была бы только лишняя докука. Вообще, она считает, что именно так он и должен был поступить, чтобы выбросить из себя все дерьмо, как она выразилась. Я думаю, она понимает, что это она подтолкнула его к такому решению. Она полагает, что он будет чувствовать себя увереннее, когда получит диплом. Она, похоже, нисколько не волнуется, что может потерять его совсем.

— Ну и ну. Интересно, что надо нынче натворить, чтоб оказаться виноватым?

— Они очень терпимо друг к другу относятся, — говорит Дженис. — и, по моему, это славно — Она спешит наверх, и Гарри следует за ней по пятам, боясь потерять ее в этом большом непривычном доме.

— Она что же, собирается поехать туда, снять квартиру и поселиться с ним, или как? — спрашивает он.

— Она считает, что если явится туда с малышкой, он тут же запаникует. Ну и, конечно, маме было бы приятнее, если бы она осталась.

— Неужели Пру несколько не возмущена Мелани?

— Нет, она говорит, что Мелани последит за ним ради нее. Если им верить, у них нет этой ревности, какую мы чувствуем.

— Если.

— Кстати.— Дженис сбрасывает пальто на кровать и, нагнувшись, расстегивает «молнии» на сапогах.— Тельма просила маму передать нам, не хотим ли мы прийти к ним сегодня легонько поужинать и посмотреть игру на кубок. На сколько я понимаю, там будут и Мэркетты.

— И что ты сказала?

— Я сказала — нет. Не волнуйся, я была с ней очень мила. Я сказала, что к нам приедут мама и Пру посмотреть игру на кубок по нашему новому телевизору. И это правда. Я их позвала.— Она стоит в одних чулках, уперев руки в бедра, обтянутые черной юбкой костюма, в котором она ходит в церковь, и всем своим видом как бы говоря: «А ну, посмей сказать, что ты предпочитаешь пойти в эту поганую компанию, а не провести вечер дома с семьей».

— Прекрасно,— говорит он.— Я ведь по-настоящему-то еще и не видел...

— Ах да, еще одно, но уже печальное. Мама узнала об этом от Грейс Штул — она, кажется, в дружбе с тетей Пегги Фоснахт. Пока мы были на острове, Пегги пошла к своему врачу для очередной проверки, а к вечеру он уже уложил ее в больницу и отрезал ей грудь.

— Ну и ну! — Грудь, которую он целовал. Бедняжка Пегги. Бог щелкнул пальцем с этакой большущей лункой и — привет. Нет, жизнь нам в конечном счете не по плечу.

— Ей, конечно, сказали, что все вырезали, но они ведь всегда так говорят.

— Последнее время казалось, что с ней должно что-то случиться.

— Какая-то она была нелепая. Надо ей позвонить, но не сегодня.

Дженис надевает бумажные брюки, чтобы заняться уборкой. Она говорит, что в доме жуткая грязь, но Гарри ничего такого не замечает, кроме «Плэй-боев». До сих пор Дженис сама не отличалась особой аккуратностью. Зимний свет, падая в незашторенные окна, отражается от голых полов и пустых стен, серебрит ее, а плечи и руки словно покрывает налетом ртути, так что она кажется рыбкой, выпрыгнувшей из воды и тотчас исчезнувшей в его старой рубашке и изъеденном молю свитере... Он раздраженно спрашивает ее, что же все-таки будет с его обедом.

— Как? Разве ты ничего не нашел в холодильнике? — спрашивает Дженис.

— Там лежал один апельсин. Я съел его на завтрак.

— Я знаю, что покупала яйца и ветчину, но, видно, Бадди и как ее там...

— Валери.

— Ну не сумасшедшую она себе придумала прическу? Как ты думаешь, она принимает наркотики?.. Так они, видно, все съели, когда после полуночи делали себе омлет. Такой ненормальный аппетит разве не признак наркомании? Я знаю, Гарри, там осталось немного сыра. Ты не мог бы удовольствоваться сыром и крекерами, пока я не поеду позже за продуктами для мамы? Я не знаю, что тут по воскресеньям открыто, не могу же я гонять в супермаркет Маунт-Джаджа и тратить столько бензина.

— Нет,— соглашается он и довольствуется сыром с крекерами и пивом, оставшимся от трех шестибаночных картонок, которые привезли Ронни и Тельма. А Уэбб и Синди привезли коньяк и шампанское. Всю вторую половину дня Гарри помогает Дженис наводить чистоту в доме, моет окна, полирует деревянные поверхности, а она мокрой тряпкой освежает пол и даже до блеска начищает раковины в кухне и в ванной. У них тут есть ванная и внизу, но он не знает, где можно купить туалетную бумагу с напечатанными на ней комиксами. Дженис привезла в «Мустанге» от своей матери полотер, а также пасту, и теперь Гарри натирает воском светлый пол в большой гостиной — каждый завиток дерева, и каждый слегка вылезший гвоздь, и каждую проплешину, оставленную резиновым каблучком,— и все это его, это его дом. Пока Кролик накладывает круговыми

движениями воск, в мозгу его крутятся одни и те же мыслишки — глупые, как все, что приходит в голову, когда ты занят физическим трудом... Он вспоминает о том, что было на островах, и подозревает, что все тайны выплыли... Какой смысл что-либо утаивать, все мы скоро умрем, мы ведь уже доживаем свой век, вокруг полно детишек — это они заказывают музыку, творят новости. После встречи с Рут у Кролика такое чувство, точно у него что-то обрезали — лишили целого мира, за которым он краешком глаза наблюдал. Полотер, которым орудует Дженис, гудит и ударяется обо что-то позади него, и под это постукивание в мозгу его всплывает статья, которую он читал в прошлом году где-то в газете или в «Тайме», об одном профессоре из Принстона, утверждавшем, что в давние времена боги общались с людьми, напрямую воздействуя на их левое, а может быть, правое полушарие; люди были точно роботы с приемником в голове, и им диктовали, что они должны делать, а потом, во времена древних греков или ассирийцев, система эта разладилась, батареи стали слишком слабыми, и люди уже не слышали указаний богов, хотя до сих пор случаются прозрения — вот почему мы ходим в церковь, а теперь, со всеми этими черномазыми и чудилами, раскатывающимися на роликах в наушниках, подключенных к транзисторам, мы явно движемся назад, к тому первоначальному состоянию... Может, мертвые — они боги, что-то такое, во всяком случае, в них есть, взять хотя бы то, как они уступают тебе место. Теряешь же ты по мере старения свидетелей — тех, кто, как зрители с трибуны, наблюдал за тобой с детских лет и кому ты был дорог Мама, папка, старик Спрингер, крошка Бекки, славная девочка Джилл... Скитер, мистер Абендрот, Фрэнк Байер, Мэйми Эйзенхауэр, ушедшая от нас совсем недавно, Джон Уэйн⁴, Линдон Джонсон, Джон Кеннеди, «Скайлэб», гусь. И мать Чарли с Пегги Фоснахт, которые скоро отдадут концы. И его дочь Эннабелл Байер, исчезающая вместе со своим мирком, который он наблюдал краешком глаза, — так исчезаю целые планеты в «Войне звезд»⁵. Чем больше ты знаешь покойников, тем, похоже, больше живых, которых ты не знаешь. Слезы, показавшиеся на глазах Рут, когда он уходил, может, бог повсюду во вселенной, как соль — в океане, та, что придает вкус воде. Он никогда не мог понять, почему люди не пьют соленую воду — это же не может быть хуже, чем заедать кока-колу жареным картофелем.

Он слышит за стеной, как Дженис, неуклюже работая полотером, то и дело ударяется о плитусу, и он вдруг понимает, почему они так хлопочут: пытаются прогнать панику, которая может овладеть ими в этом доме, куда им вовсе не надо было переезжать, так далеко от Джозеф-стрит. Затерявшись в пространстве. Вот так же, наверное, чувствует себя душа, очнувшись в теле младенца далеко от небес: ей не только страшно, и потому она кричит, — она чувствует себя виноватой, такой виноватой. Ведь какую яму надо заполнить. А сколько понадобится денег, чтобы обставить эти комнаты, тогда как к их услугам было все задаром. — нет, разорил он себя. А выплаты по купчей — они должны 62 400 долларов из расчета тринадцать с половиной процентов годовых, значит, почти 8500 на одни проценты, по семьсот долларов в месяц в течение двадцати лет, пока главе семьи не стукнет шестьдесят шесть. Что сказала Рут о своем младшем сыне — что он родился 6.6.66? Забавные вещи бывают с цифрами — они не врут, но выкидывают фортели...

Вчера вечером Бадди — а он до того надрался, что даже стекла его очков в серебряной оправе запотели. — повернулся к нему и сказал, он-де понимает, он чокнулся, он знает, что все говорят, какая Валери дылда, да еще с тремя детьми, но именно она ему нужна. «Только она, Гарри», — сказал со слезами на глазах. А в «Легящем орле» большая новость — Дорис Кауфман снова выходит замуж. За одного малого, которого Кролик немного знал, — Дона Эберхардта, он разбогател на недвижимости, которую скупал в городе, когда она никоим образом не интересовала, до энергетического кризиса. Недаром говорят: жизнь на радость нам дана.

В пять часов, когда они заканчивают уборку, в окнах еще светло, свет лежит на белых подоконниках — дни в это время года уже начинают удлиняться.

⁴ Известный киноактер, игравший главным образом ковбоев.

⁵ Имеется в виду известный широкоформатный кинофильм.

Планеты, что бы мы ни делали, движутся своим ходом. В только что натертом холле у подножия лестницы Гарри берет Дженис за подбородок — там, где кожа нежная, а не неприятная на ощупь, и предлагает пойти наверх вздремнуть, но она целует его жарко и многоопытно — многоопытность умеряет жар поцелуя — и говорит:

— О, Гарри, отличная мысль, но я же понятия не имею, когда они могут приехать — все зависит от того, когда мама встанет после сна, она действительно стала слабенькая, а потом им надо накормить малышку, да и я еще не ездила за покупками.

Она уезжает в своем «Мустанге», а он идет наверх, потому что внизу негде прилечь. Он надеется снова увидеть белочку, но она исчезла. Он считал, что белки впадают в зимнюю спячку, но, наверное, просто нынче странная зима. Он прикладывает руку к радиатору — его радиатору — и с чувством гордости и удовлетворения ощущает тепло. Он ложится на их новую постель, застланную голландским стеганым одеялом, которое они привезли из Маунт-Джаджа, и почти тотчас засыпает... Просыпается он в испуге. Снизу раздается приглушенный взрыв — это Дженис закрыла входную дверь. Уже седьмой час.

— Мне пришлось доехать чуть не до самого кегельбана, пока я нашла мини-универсам, который еще был открыт. Там, конечно, ничего свежего не было, но я купила четыре замороженных китайских ужина — картинки на коробках вполне аппетитные.

— Но ведь в этой мерзости столько химии! Не хочешь же ты отравить молоко Пру.

— А тебе я взяла копченой колбасы, и яйца, и сыр, и крекеры, чтобы ты не ныл.

...Дженис накупила в мини-универсаме товаров на тридцать долларов, и пока она засовывает продукты в сверкающий холодильник, Гарри видит в уголке еще две банки пива, избежавшие вчера лап хищников. Дженис даже купила ему банку соленых орешков за доллар двадцать девять центов — пожевать, пока он будет смотреть по телевизору игру...

Устав сидеть в одиночестве в своем кабинетике и вместе со ста миллионами других идиотов смотреть игру, Гарри отправляется на кухню за второй банкой пива. Дженис сидит за картонным столиком, который ее мать одолжила им с большой неохотой, хотя сама играет в карты только в Поконах.

— Где же наши гости? — спрашивает он.

А Дженис сидит, наблюдая за тем, чтобы не подгорели китайские ужины, разогреваемые в духовке, и читает журнал «Красивый дом», который она, должно быть, купила в мини-универсаме.

— Наверное, заснули. Они ведь по ночам почти не спят, так что в известном смысле это великое благо, что нас там нет.

Он поджимает губы — такое горькое пиво. Плохое, видно, зерно. Все равно мужчины любят свою отраву.

— Ну, жизнь с тобой вдвоем в этом доме для меня, насколько я понимаю, верный способ похудеть. Кормить меня здесь, видно, никогда не будут.

— Будут, — говорит она, переворачивая глянцевитую страницу.

Ревнуя ее к журналу, к этому дому, который, он чувствует, она начинает все больше любить, он обиженно говорит:

— Это все равно что ждать манны небесной.

Она бросает на него сумрачный, но не враждебный взгляд.

— Последнее время на тебя манны небесной свалилось хоть отбавляй — теперь десять лет можно жить спокойно.

Судя по ее тону, она, видимо, намекает на Тельму, а у него этого и в мыслях не было — во всяком случае сейчас.

Гости их приезжают лишь в начале четвертого тайма... Дженис кричит ему, что здесь мама и Пру. Мамаша Спрингер оживленно щебечет в холле, снимая свое норковое пальто и рассказывая о том, как они ехали по Бруэру: машин на улице почти не было, все, наверное, смотрят игру. Она учит Пру водить «крайслер», и Пру отлично стала с этим справляться, как только они догадались отодвинуть сиденье: мамаше в голову не приходило, что у Пру такие длинные

ноги. А Пру стоит, крепко прижав к груди розовый сверток, оберегая его от холода; лицо у нее усталое, похудевшее, но более умиротворенное, разгладившееся.

— Мы бы раньше приехали, но я начала печатать письмо Нельсону и хотела закончить, — оправдываясь, говорит она.

— А я вот волнуюсь. — без всякой связи объявляет мамаша. — Всегда считалось, что некрещеного младенца нельзя таскать в гости — это дурная примета.

— Ах, мама, — вырывается у Дженис: ей не терпится показать матери, как она прибрала дом. и она ведет старуху наверх, хотя единственное там освещение — бра в новоколоннальном стиле с лампочками в сорок ватт, многие из которых предыдущие владельцы умудрились пережечь

Гарри снова усаживается в одно из глубоких кресел, обитых серебристой, с розовым рисунком материей. чтобы смотреть по телевизору игру, и слышит, как прямо у него над головой шаркает большими ногами старуха — обследует помещение. ищет комнату, куда со временем ей, может, придется переехать и поселиться. Гарри полагает, что Пру пошла туда с ними, но, судя по шагам, ее там нет, а через минуту Тереза тихо сходит со ступеньки в его кабинет и кладет ему на колени то, чего он давно ждал. Маленькая посетительница лежит в продолговатом коконе. не видя вспыхивающих на экране «Сони» ярких красок; тоненький, без стежков шовик закрытых глаз чуть скошен, губки под вздернутым носиком надуты, словно в презрительной гримаске: паршивка знает, что она хороша. В изгибе черепа чувствуется, что это женщина. — такие вещи проявляются с самого первого дня. Несмотря ни на что, она все же пробилась сюда и вот лежит у него на коленях, на его руках — нечто реальное, почти невесомое, но живое. Залог счастья, свет души, внучка. Его внучка. Еще один гвоздь, забитый в его гроб. Его гроб.

Перевела с английского Т. КУДРЯВЦЕВА.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕВАЗ МАРГИАНИ



Воспоминания одной ночи

Сосо Кипиани
Стихи набирает мои.
Усталыми пальцами
Перебирает он знаки.
Назавтра листовкой
Они в ожиданье атаки
Проникнут в окопы к бойцам,
Предваряя бои.
И вдруг я поверил,
Что нужно оно,
Мое слово,
И жажду тепла
Я обязан стихом утолить...
А в каменоломне
Коптилки дрожащая нить
В удушливой мгле Акманая
Погаснуть готова...
Убежища нашего трещины,
Помню, в ту ночь,
Как пасти чудовищ,
Ощерились, свет поглощая...
Согнувшись над оттиском,
Строчки свои проверяю
И точку последнюю ставлю,
Как дома — точь-в-точь...
...А там, на земле,
Где луна к небосводу прилипла,
Задравшее нос свой
Орудье от лая охрипло...



Недели к неделям и годы к годам —
Как много умчалось! Сочту их едва ли...
И радость и слезы за мной по пятам
Бежали. повсюду меня провожали...

И радость и горечь узнал на веку,
И что-то отверг я,
И принял я что-то...
Вокруг меня, словно зерно на току,
Кружились слова, и дела, и заботы.

Порою хурджин я вытряхивал свой,
 Вокруг рассыпал справедливости зерна.
 Я сеял пшеницу
 И просо порою,
 То был малышом,
 То юнцом непокорным...

Прокладывал мост,
 Проводил борозду,
 Жал хлеб
 Или грезил о подвиге ратном,
 И все, что имел —
 И зерно и звезду,—
 Подарком земли
 Я считал неоплатным!

И снова со словом грузинским борюсь,
 И что бы судьба со мной ни чинила,
 В сединах —
 Ребенком я все остаюсь,
 И все не смываются с пальцев чернила.

И миг, что мной прожит
 И мной пережит,—
 Волненья, тревоги,
 Пути-перепутья —
 Все это судьбе моей принадлежит:
 И сон о Гелати
 И сказка Гугути...

Я сладостью душу насытил сполна
 В родимом краю,
 Что судьбой мне подарен.
 Лишь хлеба куском да стаканом вина
 Довольствуюсь я —
 И судьбе благодарен...

Что сказал чунири

Я порою в нашем шумном мире,
 Смахивая радости слезу,
 Слушал пенье моего чунири,
 Молча, словно птицу иль грозу...
 Ворковал смычок мой навощенный,
 И рождался новый чистый звук,
 И в моем сознание восхищенном
 Искры строчек вспыхивали вдруг...

Вдохновенью
 Я повиновался...
 Вот струна
 Пронзила тишину...
 Жгучий звук
 Пословицей сорвался
 Да и сел, вихрастый,
 На струну.

Что сказал чунири?
 — В нашей власти
 Уловить.
 Как птицы звуки вьют...

Никогда не надо прятать
Счастья,
Если сердце и струна
Поют.

* * *

Жажду бродить я по склонам твоим неустанно,
Чтоб изнурили хребты и ущелья меня,
И разделять все твои сокровенные тайны,
И разделять все печали и радости дня.

Слитый с тобою всей жизнью своей и судьбою,
Стану — чем хочешь...
Я лягу костями за тебя.
Чистых вершин твоих свет унесу я с собою,
Свет негасимый — тебя испуленно любя.

Хочешь — я хлыну водою Ингури в долину,
Гривую буйной тряхнув, я с утесов сорвусь...
Прогрохочу я
О чуде из сказки старинной,
Чары недобрые чьи-то развеять возьмусь.

Хочешь — я стану подпоркой лозе виноградной:
Ляжет мне на плечи
В звездах полночная мгла...
Лишь бы, подобно любимой, блаженно-отрадно,
Крепко лоза винограда меня обняла.

Хочешь — рассыплюсь я дождиком,
Малым, весенним,
Нивы заставив шуршать,
Над травой закружу...
С неба сорвусь я на землю —
И с самозабвением
Я о небесном дыханье тебе расскажу.

Если угодно тебе — стану тучей в ненастье,
С черными тучами соединиться готов...
Чтобы потом в испуленье,
В безумии страсти
Всех всполошить в небесах
Громовержцев-богов...

Снова ненастье?.. Ненастий достаточно было,
Хватит с тебя и невзгод, и ненастий, и гроз...
Плакали предки, теряя и веру и силы...
Сколько лилось их —
Горючих, мучительных слез!

Знай же, я буду рабом твоим
Верным и вечным,
Лишь позови —
Отовсюду я кинусь на зов...
Ради судьбы твоей — верь —
С упоением сердечным,
Без размышлений
На смерть за тебя я готов.

Жажду бродить я по склонам твоим неустанно,
Чтобы к груди своей
Горы прижали меня.
И разделять все твои сокровенные тайны,
И разделять все печали и радости дня.

Только не карай меня за любовь

Прислушайся ты к исповеди этой,
Ее ты празднословьем не сочти;
Как много щебня на моем пути —
Не только перлы, камни-самоцветы.

Слова шершавы —
Я терзаюсь сам,
Что где-то с благозвучьем разминулись.
Сейчас, чтоб раны сердца затянулись,
Мне нужен твой врачующий бальзам.

Но если недостоин я —
Не надо
Щадить...
Казни,
Во всех грехах вина...
Лишь за любовь ты не карай меня,
Ведь сень твоя — приют мой и отрада.

Лишь об одном молю без лишних слов:
Мне руку протяни в моем унынье,
И верь и знай: навеки я отныне
Очистился от всех своих грехов.

Но если недостоин я —
Не надо
Щадить...
Казни, во всех грехах вина...
Лишь за любовь ты не карай меня,
Ведь сень твоя — приют мой и отрада.

Перевела с грузинского ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.



О ЧЕРК И НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

КОМБАЙН ПРОСИТ И КОЛОТИТ...

I

Очерк «Комбайн косит и молотит...» в мартовской книжке «Нового мира» за 1983 год был многими читателями принят как воздаяние — пусть и малое, частичное — опостылевшему попустительству. Отличительной чертой работы являлось полное отсутствие н о в о й информации. Говорилось только о том, что уже не один год было известно многим миллионам в данной агропромышленной сфере и легко узнавалось в сферах смежных. Однако же печатный разговор об известном вызвал большую почту.

«Безотраднa, тягостна, горька нарисованная Вами картина,— говорилось в отзыве литератора Л. Лазарева.— А еще говорят, что литература абсурда искажает действительность! То, что журнал рассказал, не снилось никакой литературе абсурда...

В одном из давних итальянских неореалистических фильмов, показывавших беспросветную жизнь послевоенного итальянского юга, герой в финале говорит: «У человека должно быть хотя бы на два гроша надежды, иначе жить невозможно». Для меня такой надеждой служит беспощадная правда, с какой у нас подчас пишут о состоянии наших дел, пишут, не давая себя отвлечь в сторону никакими привходящими обстоятельствами».

Поскольку у автора возникли неприятности, широкий читатель решил помочь советами, первым из которых был — не праздновать труса.

«Вас поддерживают втайне и комбайнстроители, я знаю мнение многих,— писал из Таганрога Геннадий Иванович Чернов.— В свое время (а мне было шестьдесят пять лет) я, будучи директором Таганрогского комбайнового завода, вступил в одиночку в борьбу с самим Х. И. Изаксоном... И победил-то я! Главный конструктор Изаксон, лауреат самых больших премий и пр., был снят. Правда, мне и до сих пор не могут простить кое-какие товарищи наверху (а где они были, когда Изаксон творил глупости?)... Уверен, что победа будет за народом и сельчанами, главное — сохранить совесть и порядочность».

Почта часто оказывалась весомой в самом буквальном смысле. Присылали посылками и бандеролями болты без нарезки и подшипники без вращения, дебильные муфты и уродливые шарниры, этакие капричные механизации — в глазах сельского отправителя они сами собой были нездоровой фантазией, и автору оставалось только признать, что все и смешней и грустнее, чем ему удалось изобразить. В сопроводилках к красноречивому металлу рядом с обыкновенными приглашениями приехать поработать («тогда узнаете!») встречались и обобщения. Какого рода?

Раньше российский работник подтягивался к городской машине, она была как бы умнее и основательнее его, степняка хуторянина. Машина несла с собой просвещение — и заставляла просвещаться. А теперь при полном вроде бы торжестве механизации и невозможности шагу ступить без техники человек должен подтягивать машину до степени своей обученности и серьезности, если не хочет оставить хозяйство без кормов, страну — без хлеба. В примеры приводились кроме зерновых комбайнов

ненадежные изделия Гомеля и Херсона, назначенные снабжать фуражом фермы, фантастические по качеству чада башкирского Сельмаша и так далее. Автора предупреждали: смотрите, тут политика! Тридцать лет колхозник был неравноправен экономически и юридически — теперь бесправен технически! Давно пора разобраться, как завелась эта фальсификация — машина вроде и есть, а на самом деле ее нет. И как городу всерьез надеяться, что из села потекут добротные, непорченные зерно и молоко, если сотни тысяч людей, строящих машины, гонят селу откровенную липу? И откуда эта чума, эпидемия, неужто из русского (украинского, казахского и так далее) национального характера? А если нет — так выясняйте же скорей, товарищи пишущие!

Сейчас в этих рассуждениях уже не бог весть какая смелость и новизна, но письма-то начали идти в восемьдесят третьем...

Сюжеты, житейские истории, протяженность во времени...

Сотрудник Всесоюзного института механизации Ю. И. Кузнецов, считая писательское дилетантство в чем-то даже полезным и выигрышным, вспоминал мой давний «Ржаной хлеб», напечатанный в «Новом мире» еще при Твардовском: «Та статья побудила меня заняться проблемами Нечерноземной зоны. Была поставлена задача создать простое и надежное орудие, обеспечивающее за один проход высокое качество предпосевной обработки почвы в этой зоне (независимо от квалификации и усердия тракториста). Такой агрегат нам совместно со специалистами НИИСХ центральных районов удалось создать и внедрить в производство за два года под маркой «РВК-3» («РВК-3.6»). В 1980 году за создание агрегата авторскому коллективу была присуждена премия Совета Министров СССР в области сельского хозяйства». Ю. И. Кузнецов благодарил за постановку проблем и требовал ни в коем разе не уступать зажимщикам критики.

Профессиональный фотограф Г. С. Леонтьев из Кургана признался, что письмо Николая Ложкового, лауреата премии Ленинского комсомола, одного из лучших комбайнеров Казахстана, то самое письмо в «Литературную газету» с рассказом об издательском подарке — неработающем, еще на конвейере покалеченном комбайне, сочинил не Ложковой, а он, Леонтьев! Правда, записал со слов комбайнера, тот вечером прослушал и подписал. Но сам Ложковой, измотанный уборкой и поломками, не стал бы обращаться ни в какую газету; у него не было ни времени, ни сил, ни... чистой бумаги. Уборка — это пыль, пот и желание выспаться.

«Возможно, вам будет интересно знать результат той заметочки в «ЛГ» (от 31 октября 1979 года)? Новый комбайн взамен дареного брака в совхоз никто, конечно, не послал. Приехал представитель завода и с директором совхоза договорился о необходимом письме взамен необходимого количества необходимых запчастей к комбайнам. Две или три машины запчастей доставили в совхоз. Совхоз к марту отремонтировал все комбайны, что очень сказалось на сроках уборки. Директор как-то поймал меня за полу, затащил к себе на квартиру и напоил коньяком «КВ». Я к этому делу непривычен, на другой день очень болел, хотя директор уверял меня, что я оказал совхозу большую помощь. Вывод: печатное слово имеет силу, его боятся, но почему-то редко кто пишет по-бойцовски, как это делал В. Овечкин (обожаю его, люблю)».

И совсем уж историческое письмо прислал из Ворошиловградской области пожилой (ему, должно быть, было далеко за семьдесят) человек по прозвищу Сашко Комбайн. По-настоящему зовут его А. Е. Иванов, что же касается прозвища... Письмо стоит обширного цитирования.

«Это было очень давно, когда буденовка называлась своим первоначальным именем — шлемом, а дубленка — кожанкой. Тогда-то меня, восемнадцатилетнего комсомольца, и нарекли Комбайном. Я, Сашко, механически сдал комсод по хлебозаготовкам и возглавил комитет содействия коллективизации деревни. Дело это было в просторной станции степной Кубани — в Новопокровской с населением свыше 50 тысяч казаков.

Одержимый романтикой и модной в то время риторикой, я раз на собрании бордачей провозгласил:

— На поля придут не только тракторы, но и комбайны!

Что такое трактор, станичники знали, видели. Одиннадцать «фордзонов» бороздили поля Ивана Васильевича Абеленцева — «образцового хозяина», участника Всероссийской сельхозвыставки. А про комбайны услышали впервые.

— Сашко, подробнее про комбайн, что это за диковина? — оживились и те, кто дремал в просторном коридоре школы.

— Вот смотрите рисунок,— раскрыл я учебник географии Г. Иванова, где была показана машина с впряженными цугом восемью лошадьми.

Книжка пошла по рядам А я, будто был очевидцем машинной уборки, расписывал, как зерно, отсортированное «на три рукава», ссыпается в мешки — успевай завязывать и сбрасывать на стерню...

Не думаю, что мне тогда поверили. Но кличка Комбайн присохла ко мне на долгое время. Пока в совхозе «Гигант» около Сальска не появились завезенные из США комбайны «маккормик», прототипы наших «Коммунаров» и «Сталинцев».

В числе моих знакомых — друзей и недругов — был Василий Меркулович Бабиц, глава семьи в 179 душ (были и крупнее семьи, например, Лагутиных, Киташевых — за 300 человек). Так вот он, Василий Меркулович, особо заинтересовался комбайном. Вначале мы, молодежь, потом и старики побывали в «Гиганте». Мы, комсомольцы, приметили, как пожилые хлеборобы провеивают полову, разбросанную машинами по полю, нохают стерню (не пахнет ли керосином), считают перепелов, выпорхнувших из-под ног. Этими «фактами» я насыщал свои выступления, доказывая, что деревня — дурра, земледелец — консерватор. Однажды после искрометной моей речи в том же коридоре начальной школы меня подождал в темном переулке Василий Меркулович. Не хотел старик выдавать, что якшается с молодыми, да еще с комсомольцами. В станице старого Бабица считали колдуном, про него и его сыновей — семерых богатырей — ходили легенды. Ежегодно десятого сентября они выходили в поле с двухпудовыми лущилками. С утра разбрасывают зерно. Но с паузами! Мерят сажеными шагами не особенно щедрый чернозем, потом вдруг замрут и смотрят на старика...

— Шибко горяч ты, Сашко,— сказал мне Василий Меркулович.— Много горячих голов, как у тебя, а думать некому. Эта твоя машина и к богатству и к голоду привести может. Смотри как повернуть, а то и станичники перемерут, и городские опухнут...

Пугает старик-консерватор? Не хочет в колхоз, в подкулачники подался? Но Василий Меркулович, присев в темноте на дубовый ствол, стал выкладывать свои доводы насчет комбайна — я и поныне помню все аргументы Колдуна.

— Когда начинаем убирать колосовые — ячмень, пшеницу? — экзаменовал он меня, ничего толком не знающего в хлеборобском деле.— В восковую спелость. Еще плющится зерно под пальцами — вали пшеницу наземь. Бабы спешат вслед за лобогрейкой. К вечеру на обратном пути к табору снопы в крестцы сложи, да с песнями.

Позже я сам удостоверился, что колосовые доходят в снопах, зерно наливаются, дозревает, пшеница золотится, а ячмень — серебрится. Да и овес в крестцах становится налитым.

— Без дозрева, считай, нет тридцати пудов с десятины, вытекло золото. Возьмет такую «кубанку» за граница? — допытывался Бабиц и сам отвечал: — Пожухнет колос. А не дай бог дождь? Какому герману нужен такой хлеб!..

И пошел Колдун пророчить: при комбайновой уборке погибнет второе богатство — солома и солома. Вначале эти корма просто распыляли по полю. Позже, когда стали копнить, их сжигали: с начала сентября по октябрь полыхала кубанская (донская, терская, ставропольская) степь. Это был огненный многолетний смерч, расправившийся с элементарной культурой земледелия, накопленной казаками к 30-м годам. Помню, как под душераздирающее мычание голодного скота мы снимали с хат, половней, сараев столетней давности солому и ею кормили животных...

Не предполагали тогда, в 1929 году, что не мы, а Василий Меркулович мыслит системно. Он думал о том, как выращивать хлеб и для себя (казаков) и для рабочих, чтобы с голодухи не пухли... В 1928 году в станице было: овец — 150 тысяч, быков и лошадей — 80 тысяч; в 1980 году овец — около 15 тысяч, лошадей около 400, быков нет, коров — около тысячи, но вечная кормовая проблема: эти оставшиеся слезы нечем прокормить!.

Случилось так, что я побывал во многих странах. И нигде не пришлось видеть той агротехники, которую я пропагандировал в своей наивности, называясь Сашком Комбайном..

Сердцевина ошибок — обвинение работников земли в консерватизме. Дорогой автор мне человеку, покидающему сей мир, хотелось бы увидеть, почувствовать то, что называется демократизмом, увидеть, как исчезают в деревне признаки феодализма (право командовать единолично).. Нас, пожилых, радует, что нынче появляется много такого, когда можно сказать: **вперед, к Ленину!**

Вот какое письмо из города Рубежного от бывшего комсомольца А. Е. Иванова.. Оно живо напомнило «Рассказ» М. Горького, напечатанный осенью 1929 года в «Известиях». Тот же совхоз «Гигант», та же показательная уборка комбайном, те же комсомольцы, гордые оседланной техникой.— и тот же «полудикий степняк», который «пришел посмотреть, как собирают хлеб машинами пришедшие люди». Полудикость крестьянина. тупость чувств, невежество, звериное недоверие к новому — все это общие места литературы 20—30-х годов, они объединяют и классика и станичного оратора восемнадцати лет от роду Системность взгляда. умение вместить весь круг жизни, а равно и чисто российский экспортный подход к земледелию (неотлучная мысль, согдится ли «герману» такой хлеб или нет) будут поняты и оценены Сашком Комбайном пятьдесят пять лет спустя.

Очерк мой критиковали Говорю не о торопливой, испуганной критике, где в ход шли не аргументы, а ярлыки, где разбор дел Ростсельмаша именовали срывом Продовольственной программы, а продрозверсточные приемы заготовок выдавались за оскорбление хлеба, который, понятное дело, все му голова.. Такая энергия не в счет — с нею пословичный персонаж издревле гасит горящую свою шапку. Речь о критике истинной, деловой.

Научный сотрудник Н. И. Лившин из Москвы не согласился, что можно в сельской механизации без посредника, без какой бы то ни было Сельхозтехники вообще. «Приводимые Вами аргументы («за работу без посредника». —Ю. Ч.) часто поверхностны, а иногда просто ошибочны и некорректны» Кандидат технических наук киевлянин С. А. Авербух упрекал в том, что не охвачены целые секторы механизации, не прослежен в действии «основной принцип. машина может дорожать, лишь бы дешевила единица сделанной ею работы». Протестовал он и против разорительной гигантомании:

«Масса трактора «К-701» — 12,5 тонны, плуг к нему — две тонны, луцильник — 5,5 тонны. Белорусский «МТЗ-82» весит 3,37 тонны его плуг — 0,5 тонны. луцильник — 1,2. Такое же соотношение между массой сеялок культиваторов Точность сева и обработки — одно из важнейших условий получения высоких урожаев Чем шире захват обрабатывающих орудий, тем больше вероятность отклонения от установленных параметров. Для поддержания точности обработки в допустимых нормах конструкторы вынуждены придавать несущим деталям все увеличивающуюся жесткость, то есть увеличивать их вес. Получается паровоз на пашне Огромные прицепные машины не транспортабельны. Но главное — в таких машинах больше деталей. следовательно, большая возможность отказа. Убытки от простоя относятся к полезной выработке как пять к одному если не больше. При поломке агрегата для снятия и замены некоторых деталей требуется подъемный кран. Все это не значит, что я против широкозахватной техники. Но наша действительность для этого еще не созрела. А на Украине в каждом административном районе уже по 15—25 тракторов «К-701». Большинство из них не имеют шлейфа машин, используются как транспортные средства. Что значит поехать на тяжелом тракторе домой на обед?! Не заглушить его на время обеда?! В общем, польза от этих тракторов весьма сомнительная. Подчеркну: в наших условиях распределения и эксплуатации»...

Но нечего кривить душой: серьезной дискуссии «Комбайн косит и молотит»... не вызвал — и вызвать не мог. Опровержений не было не потому, что автор такой уж спец и дока (в механизаторы он не рвется, по диплому — филолог), а потому, что про это десятилетиями писали люди всякие, от тракториста до академика. Дискуссия же.. а что, собственно обсуждать? Тракторать еще можно — стриженое или кошено, а уж что на корню не стоит — и самые некраснеющие признавали. Пост фактум писано, пост фактум!

Комбайнов уже наплодили без малого миллион при верхней нужде в 470 тысяч. Урожайность уже продержали многие пятилетия без перемен А в нашем цеху документалистов уже сложился жанр безошибочного «очерка-вскрытия», когда проблеме повредить, увы, поздно и литератор со своим скальпелем если и рискует чем, так только личным заражением, от которого, известно, некогда умер тургеневский медик Базаров. Именно так: не лечащий врач действует, способный и помочь и ошибиться, а более или менее искушенный прозектор, девиз которого — «вскрытие все покажет!».

Покажет, имеется в виду, уже для другого, иного случая. Схватило за горло транспортом — вот «Нерв экономики» В. Селюнина. Не на чем книги печатать — читай-

те «Бумажное дело» А. Нежного. Но и при таких тщательных вскрытиях механику перепроизводства дрянных сельхозмашин надо, выясняется, прозектировать наново. Как и, положим, судьбу тюменских факелов или смысл краснодарского риса.

В середине 50-х годов, находясь еще под Карагандой, один из замечательнейших ученых века А. Л. Чижевский (астроном, историк, медик, поэт!) открыл структурный анализ движущейся крови. Живой, текущей по жилам! Потому что в мазке на стеклышке кровь мертва: жизнь уже отошла.

Так вот, анализировать движущееся... Патологоанатом крайне полезный специалист, он может вовсе не ошибаться, но — жизнь, увы, отошла.

Постфактумная гласность слишком часто есть соло в пустыне. Так хитроумно и предусмотрительно все устроено, что только перепоясались принципиальностью и набрали полную грудь, чтобы устыжать, как «иных уж нет, а те далече»!

И дело не столько в физическом исчезновении (хотя все, известно, под богом ходим), сколько в юридической гладкости взятка.

«Не мешайте работать! Дайте сделать дело, потом и лезьте с разборами и мнениями!» Этот силовой подход стоит на внутренней уверенности, что никакого «потом» нет. В природе не существует, как нет, допустим, Страшного суда или чего-то столь же мистического. Поезд уйдет раньше, чем успеют что-либо понять.

Кто б мог подумать, что в пору, когда Конские плавни Днепра — «Великий луг» казачьих преданий — еще зеленели под солнцем, Славутич слыхом не слышал о сине-зеленых водорослях, а Довженко писал свою «Поэму о море», в тома проектов днепровского каскада уже была опущена релейка, выключалочка, которая делала наивной саму идею последующего спроса! Пошло обрушение берегов, волны не связанных природными законами морей подъедают внутри Украины чернозем в сотни километров по фронту, сползают в мелководья левады и пашни, уходят улицами от наступающих обвалов вековые Покровки и Ивановки, уже на третьем кургане после подлинной могилы покоится прах славного кошевого Ивана Серко, подписавшего письмо запорожцев султану, а цветению вод, а проклятию «сине-зеленых» не видно конца — и попробуйте теперь докопаться до технических истоков греха, пробейте тридцатипятилетний толщу времени, найдите человека, который запустил неуправляемый механизм! Вам повезло, нашли? Так наберитесь храбрости спросить — от имени времени, так сказать...

Ваш визави крепок и сух, порезы на сильных ладонях заклеены пластырем, потому что он теперь любитель-пасечник, сам строгаёт ульи, он бодр и свеж, консультант в проектном институте, которым долго руководил, будучи автором проекта всего днепровского каскада, вы знаете его имя — Е. А. Бакшеев... Ну, чего же вы? Формулируйте без обиняков: как можно спокойно жить-поживать, строгать рамки и качать мед, навещать свой «гипро». если знаешь, что по твоей вине ров в семьсот (да пусть хотя бы в сто!) километров ползет на землю отчич и дедич, не собираясь остановиться, помиловать?

«Да вы поймите наконец, что сработка берега в проекте учитывалась только на десять лет. — терпеливо улыбается ваш визави. Словно оттуда, из начала 50-х, улыбается. — Таково было условие, отсюда все обсчеты. И те десять лет истекли четверть века назад. А идет сработка — что ж... Нужны какие-то укрепления берегов, отмоски, все это стоит денег. Немалых денег! Хотите прочности — платите. Это теперь уже ваши проблемы...»

Да что так глубоко нырять — с кого спросить за деяние 80-х, Кара-Богаз? Заливу, еще обозначенному на всех картах мира, сдавили горло — и в три лета великой солевари в закаспийских песках не стало. Шок постиг самых бесшабашных из преобразователей, экстренно дан задний ход — и те самые газеты, что ликовали: «Есть плотина на Кара-Богазе!» — вышли с аншлагами: «Вновь течет вода в Кара-Богаз!» Течь-то течет, но только треть прежнего, а две трети — это, скажем так, фонд спасения чести мундира. Зачем было пересыпать пролив, если уровень Каспия сам собою, помимо воль и опеки, повышается? Зачем было, уступая протестам, врывать в дамбу трубы с пропуском такого объема воды, какой и залив не воскресит, и на уровне моря не скажется? Очевидно, вина признается только на одну треть, отсюда и доза пропусков... И абсолютно не с кого, повторим, спросить — зачем погубили залив в сто шестьдесят километров длиной и с почти всей таблицей Менделеева в химических запасах. Диво природы осталось разве что в знаменитой повести Паустовского, нет больше

города Кара-Богаза, нет порта, причалы ушли в тело дамбы, и вы со всей патетикой окажетесь тут буквально вопиющим в пустыне. Пустыне Каракумы.

Спрашивать надо тогда, когда не поздно дать по рукам.

Впрочем, вернемся в аграрные рамки... «Комплекс», то есть большая бетонная ферма с механизацией не только доения, а всей коровьей жизни, десять лет назад был провозглашен «магистральной дорогой» сельского хозяйства. Кроме чудовищного удорожания молока (место для одной коровы обходится в цену однокомнатной квартиры с удобствами!) «комплексы» привели к сокращению коровьего века до трех отелов. Поскольку это животное до шести лактаций только прибавляет надой, на промышленных фермах коровы в массе не доживают до биологической зрелости. Появились, известное дело, энтузиасты и теоретики «обновления поголовья»: в чертовой «кофемолке» исчезают что ни год миллионы буренок! Экономика этого безумия? Фуражная корова — возьмем для круглого счета — это тысяча рублей. Если под нож идет не треть, а пускай только четверть поголовья, и то от 30 миллионов коров в общественном секторе это составит 7,5 миллиона забитых голов ежегодно — 7,5 миллиарда рублей основных средств, не успевших себя окупить и похищенных на «магистральной дороге»! А с кого прикажете спрашивать? Родилось умиротворяющее словцо «данность». Так вот, коровий век не в пятнадцать отелов, а в противоестественных три есть данность эпохи «комплексов», а данности на то и создают, чтоб с ними считаться.

Свою главную мысль в экономической дискуссии, что технику делает гуманной гласность, общественный контроль, иначе она легко превращается в самоцель, становится социально опасной, Сергей Павлович Залыгин прилагал, понятно, к проблеме переброски. Но и право на этот контроль, стоящее, считает писатель, прямым образом на завоеваниях Октябрьской революции, и отсутствие какого-нибудь злого умысла, ибо все дело в монополии на истину, в вечном стремлении бюрократа облагодетельствовать весь род людской (или хотя бы его частицу), — все эти позиции полностью применимы к кормящей разновидности техники — тракторам, комбайнам. Контроль в технике — дело сугубо специальное. Кто его может осуществлять? Обстановка гласности, материально выражающаяся в открытых конкурсах, независимости судейства, в общедоступности соревнования за прогресс.

Наше отставание в сельской технике, в агрикультуре вообще легче всего изменить отклонениями от социальной этики.

Я уже методически ездил в Кубанский институт испытаний (КНИИТИМ), когда здесь произошло одно полузабытое теперь ЧП. Практически одновременно пришли на испытания два трактора — харьковский «Т-150» и волгоградский. Харьков особой новизны не сулил, но Волгоград... Его конструкторы замахнулись на бесступенчатую автоматическую трансмиссию! Вы понимаете, автоматически выбирается режим наиболее экономичной работы. На «кадиллаках», «фордах», то есть на экстр-автомобилях, эта новинка уже стояла, но никогда в мире обыкновенному трактористу такого комфорта еще никто не предлагал. Новинка была столь яркая, что мой приятель Геннадий Любашин диссертацию кандидатскую по ней защитил. Однако он же, Любашин, вскоре получил команду прикрыть испытания волгоградца. «Не распылаться! «Т-150» — политическая машина!» Распылиться не распылелись, да и волгоградский вариант полностью не смогли прихлопнуть (чем энергичней закрывали «ДТ-75С», тем активней работали конструкторы с Волги), а вот что на тринадцать лет отстали, что пришли с трансмиссией-автоматом в тракторный мир, когда она уже общепринята, опустилась до нормы, — факт, и где искать крайнего, если сменился третий министр?

Ничто так успешно не обрывает естественный конкурс, как досрочный веночек выше. Может ли целина забыть историю с «пропашной системой»? У А. И. Бараева уже была почвозащитная техника, была практика паровых севооборотов, когда известному Г. А. Наливайко из Барнаула за одно только соблазняющее предложение заменить пары кукурузой было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Уже через два года внезапный лавроносец нигде не мог появиться со своей наградой, но вред степному земледелию причинен был такой, что пятилетия пришлось расхлебывать.

Но вот крупнейшая и радостная победа гласности («до того», публицистики «предфактумной»), общественного научного анализа со спором сторон на равных — переброска северных и сибирских рек правительством признана нецелесообразной, работы решено свернуть, точка! Думается, победа общественного мнения сохранится в истории как пример отвержения монополии на истину, взятия публицистикой на себя

научного анализа (Залыгин — ученый-мелиоратор, но Распутин, Белов, Бондарев овладевали, так сказать, квалификацией в процессе драки), пример массовости отпора (недавний российский съезд писателей был преимущественно «экологическим», все-союзный — в значительной мере) и привлечения массовых средств, введения в суть дела. Подумать только! Переброска, еще на подступах поглотившая сотни миллионов, уже в архиве бюрократических затей. Значит. можем!

А что новенького в комбайнах?

II

1 июля 1984 года мне дали хо-орошего пенделя, от которого я летел километров десять за реку Кубань, в ту самую полевую бригаду, где последние лет двенадцать после тех или иных пенделей получаю кров, борщ и вечерние дискуссии.

Пенделем на языке моих черноморских племянников зовется резкий выброс ноги для придания другому телу ускорения, близкого к величине М. С тем первоиюльским пенделем я получил уникальное право не интересоваться новым семейством комбайнов «Дон», не вникать, не касаться, не соваться и так далее, а одновременно был обременен и обязанностью не лезть, не путаться, не спрашивать, то есть не мешать. Наделил меня этой привилегией генеральный директор Ростсельмаша Юрий Александрович Песков. Для завидующих — два слова о ритуале.

Церемония имела место в богатых полях Новокубанского района Краснодарского края, где будущие корабли степей зарабатывают путевку в жизнь. День выдался как по заказу. Легкий ветер шевелил валки спелого гороха. Я находился в кабине комбайна «Дон-1500» под номером 00004, спутником у комбайнера Кислякова В. С. Как районный чемпион страды Владимир Семенович был послан на испытания техники будущего, а меня райком партии направил к нему выяснить условия труда в новой кабине, отразить их в печати и по телевидению. Условия мне очень понравились, хотя сидеть пришлось на железном ящике для инструментов.

Пообвыкнув и оглядевшись, я стал выяснять у Кислякова, почему это его «Дон» в чужой сбруе. Ремни, электроника, кондиционер воздуха носили на себе неизглядимую печать «сделано не у нас». Как бы не вышло так, предостерегал я скорее самого себя, что новое семейство наработает надежность на заемном, взятом поносить, а к потребителю явится в несколько ином, домотканом обмундировании. Говорят, и завода еще нет для ремней таких типоразмеров — вдруг да не выйдут сразу на мировой уровень на неведомой новостройке? Надо предостеречь руководство Ростсельмаша! Я чувствовал себя пионером в лопнувшего рельса и хотел принести свое маленькое открытие как дружественный знак комбайностроению. Брань, дескать, бранью, а дело делом — вот у деловой прозы какие наблюдения..

За разговором мы с Кисляковым не сразу заметили, что на дальнем краю поля готовится мероприятие. Скапливались легковые автомобили, из них выходили разгоряченные ездой люди и выстраивались полукольцом. Они разминали ноги и решали похода мелочь дел. Явно назревал сюрприз.

— Володя, Песков приехал! — подсказало мне сердце. — И Коробейников с ним.
 — Нет, не Песков, — возразил испытатель. — У Пескова живота нет.
 — Коробейников сзади, а в белом кепарике Песков.
 — И белого кепарика у Пескова Юрия Александровича нет, — упрямылся комбайнер, — по прошлому году знаю.

Пишущему надлежит уважать в себе пишущего — но непременно с оглядкой! Если же зашкалит, если он, допустим, вообразит, что его катание на ящике с инструментами родит у генерального директора гигантского предприятия (весь остальной мир выпускает комбайнов меньше, чем один ростовский Сельмаш!) желание все бросить и мчаться в квадрат юго-западнее пункта Армавир к комбайну номер 00004, то налицо минимум переутомление. Время искать психиатра.

Однако же в центре дуги, прочной, как мужское объятие, стоял именно Ю. А. Песков! Тут же находились директор Кубанского института испытаний (КНИИТИМ) Коробейников А. Т., ответственные работники районной Сельхозтехники, другие официальные лица. При таком численном превосходстве срочный одиночный вылет кодексом южной чести дозволен. Даже поощряется.

Генеральный директор широко шагнул для стыковки — и выдал... Выдал, одним словом! Автор комбайна он, Песков! И он запрещает подходить к этой машине! Решения у меня нет и не может быть... И добавил в неказенной, доступной форме,

что если еще когда-нибудь.. безразлично где.. то тогда уже он.. Не до чужой тут было сбруи, свою бы не потерять, три-два-один — взлет!

Вы знаете, Юрий Александрович, неприятные ощущения были только во время набора высоты. А когда я на встречных потоках пошел нордом к Ставропольскому плато, оставляя под правой рукой приусадебный сектор Армавира, места отдыха трудящихся, а под левой — поля, сады, фермы, остатки укреплений полковника А. В. Суворова, прохлада освежила лоб, и оно пришло, ничего не ожидая, гулкое, как ростовский колокол «Сысой»: «Поделом!.. Поделом!.. Поделом!..»

Виновен — и получил самый минимум.

Виновен в социально опасной вере в магию! Вот внедрим, освоим такую-то машину, или насадку на нее. или даже метод пользования, групповой или, наоборот, одиночный,— и расточатся врази, откроется небо в алмазах... Кто насаждал раздельную уборку осенью 1956 года в Верх-Чуманке Алтайского края как истину в конечной инстанции? Кто валил колосья на стерню, облыжно внушая, что «колос в валке — это хлеб в мешке»? Зерно прорастало, зелень переплела солому, валок потом тянулся бесконечной ковровой дорожкой — в какой-то аграрный ад. Да осталось бы оно за горизонтом времен, являлось бы к тебе одному, как приходили лемовским героям на планете Солярис их тайные грехи. так нет ведь: и осенью восемьдесят третьего на том же Алтае видел те же самые адские коврики.

Какие испытания прошла готовность ликовать!

Ну, переделку прицепного комбайна в самоходный, чтоб ползал сам, как Емелина печка, забыли. списали на волонтеризм, но эксцентрикковые мотовила, бункера-накопители, переворот валков, ипатовский метод да герметизация, сдвигание то ножей, то валков, то еще чего-то, и непременно со схемой в местной газете, с решением о повсеместном внедрении,— все это поныне кипит и бушует... На вдумчивых ЭВМ считают потребность машин на конец века: Сибирь с Казахстаном, 40 миллионов гектаров зернового засева, относят к графе «урожайность 1! центнеров». Чушь, надо бы — и а м о л о т 11 центнеров, рожает земля гораздо больше! Еще в пятилетке 1905—1909 годов — мне приходилось про это печатать — сбор зерновых по Алтаю составил 10,2 центнера на круг. Неужто за восемьдесят лет прибавлено только 80 килограммов, это в двадцатом-то веке?! Галиматня, как говорит наш бригадир Андрей Ильич. Это все коврики, все вера в чудо! Страда стала временем, когда в поле почти узаконенно остается 20 процентов зерна.

Виновен в сокрытии фактов национальной значимости. Знал, но не донес о крутом росте парка комбайнов и о синхронном, столь же крутом росте доли ввозимого зерна. Эти явления вступили в преступный сговор для покушения на казну с двух сторон, а я, зная, что выпуск комбайнов перевалил за 100 тысяч штук в год, а длительность уборки все прежняя — двадцать четыре дня, зная, что импорт зерна за время моей работы вырос в 15, а потом и больше раз, все объяснял то серией технических промашек, то заговором стихийных сил, сознательно не произнося слов «производственные отношения». Убедился, но не сообщал, что производственные отношения, материализованные в машинах уборки, настолько не отвечают требуемым производительным силам, насколько собственный сбор зерна не отвечает нужде в нем — и просит валюты на импорт. Абстрактное понятие «попустительство» метрический может быть выражено весом продовольственного ввоза, а графически — качеством, использованием и ремонтом уборочных машин. А если — в итоге расчлененок, степных досборок, коррупции вокруг сальников-ремней и завскладовского алкоголизма — все-таки она вертится, то единственным гарантом тут — подгруженный планом, семейством и бригадным подрядом хуторянин в промасленном ватнике, мерцающем, как доспех, и он представляет первое агропоколение, которое знает: машинка-то неважнецкая, и металл третий сорт, и сборка шалая-валяй, и штампы тяп-ляп, тут тебе не дедовы лобогрейки-молотилки, что проходили через поколения целыми, разве что на старости лет хлопали сшитым ремнем. А сейчас выбирать не из чего, машина тебе назначена.

Признаю вину в застарелом гегельянстве: раз действительно — стало быть, и разумно. И где авторитет, там приоритет. Вот был А. А. Ежевский главой Госкомсельхозтехники — и стоял как скала за модернизацию уже существующих комбайнов, за подъем ступенями, против штурма неведомых высот. А стал тот же А. А. Ежевский министром сельхозмашиностроения — и «поворот все вдруг», аргументы полетели вверх тормашками, вместо степенного подъема — рывок к «Дону-1500». (Конечно, точ-

ка зрения инженера — не у попа жена, ее менять можно, но только как впечатляет здесь сама живость перемен! И как мобильность эта связана с переменной кресел!..) Если три министра (до Госагропрома действовала такая триада — Минсельхоз, Минсельмаш и Госкомсельхозтехника вкупе решали судьбу машин и вложения) вместо фактически нужных селу 470 тысяч работающих комбайнов запрашивали 1050 тысяч и успешно достигали просимого, то, значит, остается повторить за древним фанатиком: «Верую, ибо абсурдно».

А раз веруешь, то лети, не жалуйся. Не жалуясь, а... захожу на посадку.

Вон внизу наша бригада: мастерская, кухня, автовесы. Андрей Ильич в холодке играет свой обеденный блиц. Я сел — грамотно, на три точки — в бригадном огороде (лук, щавель, картошка), которым мы откликнулись на лозунг всеобщего самопрокор-ма. Отряхнулся, вышел...

— Что, пенделя дали? — не отрываясь от доски, спросил бригадир, видящий кадры насквозь. — Идите к Римме, пока борщ горячий, а чесночину я дам...

Для гласности у Андрея Ильича есть навес с голубыми перильцами. Сюда он выходит и сам — вовремя сказать нужное слово, оттенить некелейность решения. Здесь вывешивает «молнии» и решает вопросы оплаты труда, громко ища истину, счетовод бригады Анна Дмитриевна. У навеса выкуривает последний «Памир» дня мой терпеливый учитель Виктор Васильевич Карачунов — это тот тихий момент, когда комбайны согнаны под ночной надзор, а состав механизаторов принимает душ перед отправкой на восстановление сил в станицу Прочноокскую, посещенную в свое время путешествовавшими Пушкиным и Лермонтовым.

С голубых перил я и сознался в происшедшем, допустив, что у вас, Юрий Александрович, был в резерве и другой способ дискуссий.

— Галиматня, — оборвал меня Андрей Ильич. Он у нас резковат, зато по складу ума философ. Килической скорей всего школы. — Когда в соревнованиях участник один, прессы не надо. Победителя мы с утра знаем, чего посторонним гуртоваться? Пенделя, чтоб не путались.

— Ну, вы не загибайте, Андрей Ильич, как же это — один? Были ж и конкурсные испытания с западными машинами. И «Нивы» кругом ходят — сопоставляйте...

— Если б рядом шел «Ротор» таганрогский, а в другой загонке, скажем, «доминатор» или синий «немец», я бы мог сравнить и, какой понравится, купить — тогда вы нужны. Сфотографировать на киноплёнку, какой такой комбайн Прочный Окоп себе выбирал. А если оно так, как сегодня, то сократил Песков вас правильно. Толку все равно никакого.

Это его давний пунктик, Андрея Ильича: словесные споры («а-ла-ла» называет он дискуссии) — дрянной эрзац спора делом. И мы, пишущие, встречаем к себе внимание только потому, что «бедному крестьянину некуда податься», ни пощупать, ни прицениться, все за него решат и фонды разделят. В реальности кругом монополия. Это как в Фергане... Продаёт узбек лыню, держит в руках. Подходит к нему председатель, по-тамошнему раис. «Что, дыню продаешь?» — «Да, выбирай, какая нравится». — «Так она ж у тебя одна, из чего выбирать?» — «Так и раис у нас тоже один, а мы тебя все выбираем да выбираем»...

— Вот когда Агропром или кто заведет многополию, тогда и я на тот курс, наверно, поеду. И меня оттуда не попрут. Потому что я там нужный, а вы — нет.

Таков наш Андрей Ильич. Странно, но аналогичный взгляд, уже укорененный в жизни, я встретил среди социографов Венгрии. Не писарей дело решать за работника! Такой знаток деревни, как Бертó Булча, не знал — можете себе представить? — стоимости одного скотоместа на комплексах крупного рогатого скота! А в журнале «Форраш», глубинном, почвенном, даже удивились речи о расходе кормовых единиц на один килограмм привеса... «Это знает Свинопром, а не знает — всех заказчиков у него переманил Агробэр», — объяснял свое неведение Даниэл, редактор «Форраша». Глядишь, и заставят задуматься над хваленой осведомленностью нашей очерковой прозы: от какой она радости? какую пустоту заполняет? и что ее, собственно, вырастило?.. Специалист подобен флюсу, а флюс как-никак болезнь.

— Вот вы все ворчите, Андрей Ильич, а «Дон», если расчеты подтвердятся, сократит четыреста тысяч механизаторов, он и уборочный парк сократит, он гораздо производительней «Нивы»...

— Сколько «Донов» будет Ростов выпускать?

Отвечаю, как у вас, Юрий Александрович, не раз читывал:

— Семьдесят пять тысяч в год.

— А «Нивы» сколько теперь печатает?

— Тоже семьдесят пять тысяч.

— Значит, сколько делали, столько и будут делать? Где ж тогда хваленый прирост производительности? Поле остается старым, выпуск комбайнов тем же... Выходит, сами не верят в то, что сулят, — к смеху бригадного веча развел руками софист.

Ну, насчет числа «Донов» мне еще есть что возразить. Ростсельмаш поначалу может выпускать и 75 тысяч, пока не скопится оптимальный парк. К тому же срок уборки сейчас такой протяженный, что потери на полосе от осыпания, прорастания в колосе, «угорания» клейковины очень велики и вполне сопоставимы с объемами наших зарубежных закупок зерна. Но потом, в туманном пока будущем, придется сокращать «сплошную комбайнизацию» и производить выпуск только на поддерживающем уровне, иначе никакой бюджет не выдержит. На этот счет есть обшчитанная учеными стратегия, есть Система машин (которая так с прописной и пишется, чтоб уважение было). В больших делах не повольничает!

Философ из Прочнокопской прав, однако, в самом подходе: чтоб хлебный вал и производительность труда в земледелии устойчиво росли, число главных уборочных машин должно... сокращаться. Парадокс? Никак нет. Это обязаны быть машины такого прироста мощности и надежности, какой бы опережал рост урожайности.

У Соединенных Штатов Америки уже был тот миллион комбайнов, к которому звали нас не так давно три министерства. Был — и сплыл! В 1961 году довольно скромный их урожай в 176 миллионов тонн (зерно кормовое, продовольственное плюс соя) убирался армадой в 980 тысяч комбайнов. Выработка за сезон, легко подсчитать, составляла около 180 тонн зерна на машину. У нас тогда, в 1961-м, при 598 тысячах комбайнов и 130 миллионах тонн валовки сезонный намолот превышал американский: он находился у 215 тонн. Спустя четверть века уборочный парк Штатов сократился приблизительно на одну треть и держится у 600 тысяч единиц, тогда как валовой сбор (кормовое, пищевое зерно плюс соевые бобы) достиг 394 миллионов тонн. Выработка на агрегат превысила 650 тонн в осень. Это значит, что техника соответствует, будем объективны, запросам рынка и требованиям надежности. У нас за минувшую четверть века выработка за сезон на одну машину практически сохранилась прежней: около 240 тонн намолота, если принимать за истину валовой сбор, названный журналом «Наш современник» (№ 7 за 1985 год), то есть 200 миллионов тонн. (ЦСУ в последние пять лет публиковать данные о зерне перестало.) Но парк комбайнов круто вырос, достиг 822 тысяч — в смысле амортизации, расхода горючего, металла, объемов труда это, разумеется, рекордно неэффективный путь. Такова плата за ненадежность. Добавим, что американская сезонная мерка (около 650 тонн) вовсе не что-то аховое: наш стандартный «Колос» в руках испытателей показывает и 900 и тысячу тонн за осень, а «Нива» — в условиях порядка, повторим, — нарабатывает пятьсот и выше.

Но чего это мы вдруг сошли на параллели с заокеанским хозяйством? А с того самого, что наш Андрей Ильич соревнуется с Соединенными Штатами Америки.

Серьезно. Там могут не знать о существовании такой хозяйственной автономии — бригады № 1 колхоза имени Кирова Новокубанского района. По территории одна сторона (бригадная) явно уступает второй, как и в производительности труда. Кроме того, гидротермический коэффициент на Ставропольском плато, то есть осадки, их распределение, сумма температур и прочее, а также всегдашняя опасность эрозии («Армавирский коридор») ставят Андрея Ильича в проигрышные условия в сравнении с Миссури, Огайо, Иллинойсом, вообще Средним Западом, где и формируется продовольственное могущество Юнайтед Стейтс. Это, однако, не остановило нашего философа, и с приобретением хозяйственной самостоятельности (с переходом на полный хозрасчет и чековые внутренние деньги) он выбрал себе далекого, но серьезного соперника. Сложилось так отнюдь не потому, что Андрей Ильич, давний кубанский работник, прежде противостоял то Айове, то Шампани (чего только не провозглашалось за время нашего с ним знакомства!), а как раз напротив — вопреки разудалой бывальщине. Просто я, корпя над книжкой «Работающий американец», стал снабжать нашего хозяина кое-какой статистикой, отбирая, естественно, только сопоставимые

натуральные показатели, и постепенно всякий бригадный итог стал рождать независимое и любознательное «ну, а как там у тех с этим вопросом?».

После каждого дождя председатель Орехов считает долгом обежать поля соседей, чтобы лично определить число выпавших миллиметров и тем вписаться в обстановку. А Андрей Ильич вынужден верить бумажным данным, но функция та же самая — определить координаты. Ближний испытательный институт КНИИТИМ в дни новой техники знакомил бригадиров и вообще механизаторскую элиту с элементами производительных сил США — с вишневыми «интерами», зелеными «джонами дирами» с бегущим оленем, потому что фамилия основателя фирмы и значит олень, синими «фордами», с машинами Кейса, который тогда еще не поглотил «Интернешнл харвестер». А поскольку и мосфильмовскую игровую картину «Свой хлеб» с вопросом, почему это мы все возим да возим оттуда, наша киногруппа целое лето снимала именно в этой бригаде, то известная международность представлений и оценок укоренилась и стала нормой.

У всякого свои сложности. У тех нет проблем с зернофуражом, элеваторы забиты прежними урожаями, зато задолженность фермеров сравнялась с внешним долгом Мексики и Бразилии, вместе взятыми, — 200 миллиардов долларов, не баран начихал! Бригада при наружном денежном благополучии все-таки задолжала... натурально задолжала магазинам, скажем, ближнего Армавира такие объемы продовольствия, какие делают очереди в гастрономах проклятием местной жизни — примерно таким проклятием, каким была малярия на старой и сытной Кубани. Или оспа в старинной Руси. Наши бригадные тоже стоят в тех армавирских очередях, и, если государственный хлебный импорт Андрей Ильич не принимает в круг своих напряжений, то нахлебничество станицы у города его гнетет, выводит из себя.

Соревнование, о котором речь, лишено гласности и от этого, может, несколько односторонне зато убавляет хуторской застенчивости, лечит от комплекса неполноценности, каким страдают иной раз ого-го какие вышестоящие люди, и дает бригаде, я говорил, собственные координаты на аграрном глобусе.

В натуральной отдаче гектара дела складываются так. По озимой пшенице: 40,1 центнера в бригаде и 26,7 в среднем по США, Андрей Ильич всю пшеницу поставляет сильно — мировые стандарты освоены, и мотив, что американцы думают о клейковине, поэтому намолот мал никак не проходит. Ячмень, основная фуражная культура Прочного Окопа: 55,9 центнера у Андрея Ильича и 28,9 — у «дяди Сэма». В колосовых, как видим, прочноокопцы дают фору. Урожайностью кукурузы (72 центнера по стране) Штаты, увы, одолевают (бригадный сбор не выходит за 50 центнеров): сказываются гибридизация, фермерская оснащенность и четкая специализация внутри «кукурузного пояса», чего Андрей Ильич, ловязанный диктуемой структурой, достичь не может. Сборами сахарной свеклы наша бригада, были годы, не уступала заокеанскому партнеру (там получают 450,6 центнера корней по стране), но теперь сверху припаяли такой план посевных площадей, что своих рук не хватает, приходится открывать границу, брать договорников из Армавира, а от приходящего известно какое старание. Недаром ведь и отдельные штаты и вашингтонский конгресс принимали акты против практики «мокрых спин» — сезонных рабочих из Мексики. Что-то похожее и в молоке. Разница, снаружи глядеть, большая: 3700 килограммов годового надоя у колхоза (что для засушливых степей считается прекрасным показателем) и 5587 килограммов у США. Но опять-таки надой в Прочном Окопе сдерживается искусственно — расписанием, сколько держать коров и сколько чего сеять, поэтому в разгар лета молочные гурты давят бескормица, дают полову да старый силос...

Ну, это уже детали-подробности, а самый существенный факт состоит в том, что в крестьянствовании, то есть уловлении способностей данного неба и данной земли, заведомого первенства нет, успех переменный. Даже сою, если на то пошло, наши освоили, хотя догнать Штаты в валовке (от 50 до 60 миллионов тонн в лето) надежд у бригады нет.

Сравнимость результатов и сопоставление условий, из которых необходимо эти результаты вытекают, придают взглядам Андрея Ильича независимость и прямоту.

Закончим толки у голубых перил.

— «Будьте хозяевами, будьте хозяевами»... Уговорили! Хозяин начинает с того, что прикидывает: дай-ка я сделаю не так, а вот так. Это «не так» связано у него с машинами. Даже не связано, а прямо-таки из машины вытекает. Если начального выбора нет, то нет и хозяина, какие бы хороводы вы ни крутили.

Это, вы поняли, Андрей Ильич. А я ему возражаю, что выбирать реально им предстоит не из «или—или», а между «да» или «нет». Вот тоματοуборочному, скажем, комбайну, вы можете сказать «нет», оставите его стоять на заводском дворе в городе Бельцы, потому что вас страшит система ССУ — студенты, солдаты, ученики. Нажали — выручат, до экономики, рентабельности и так далее тут просто не дошло. А с зерновыми не пошалишь, и побежите вы за «Доном» как миленькие! Он и намолачивает в сезон — Ростсельмаш публиковал — до 4,5 тысячи тонн. И финансово вас побудят только к такому выбору. Госкомцен напечатал же в газете: «Дон-1500» — машина современная и дорогая, завод в Ростове будет получать за экземпляр 27 тысяч рублей, но колхозу отпускная цена составит только 11 тысяч. 16 тысяч экономии на каждом — побежите!

— Не-а,— покачал головой Андрей Ильич.— Может, если заставят, а сам — не-а. Как узнал, что «Дон» на пять с половиной тонн важче от «Нивы», про себя решил, что первый за такой цацкой не побегу. Тринадцать тонн четыреста кило с порожним бункером — это ж половина танка «Т-34»!

(Андрей Ильич — ветеран войны и, когда уйдет на пенсию, напишет воспоминания, не такие, может, как у Рокоссовского, но уж интереснее, чем у Штеменко.)

— Четыре с половиной тысячи — это, значит, они ему тысячу га огородили одному, так? И колотил он минимум месяц сроку, верно? А у нас девиз: «Уборку в декадный срок!» — Легко вылущивал суть бригадир.— А за полцены сбывать — это, думаете, от хорошего?.. Госбанк не растягивается, здесь отпустили — в другом натянут. На шифере, допустим, или на бетоне. Колхоз сейчас тоже научился говорить: «Я не такой богатый человек, чтоб покупать дешевые вещи» .. А вот груз — это да, проблема. С полным бункером да заправленный — это ж будет почти двадцать тонн! Земля пищит. Когда я забуду шестьдесят девятый год, тогда, может, побегу, а пока — не-а.

Жуткой зимой 1969-го здесь, на Ставропольском плато, я снимал с оператором подступы к атомной войне: сдутый до известкового хряща чернозем, занесенные лесополосы, фермы, станичные хаты... Андрей Ильич внедрил почвозащиту, поднял лесополосы, последние пятнадцать зим дьявол проснуться не может, частные победы над агрокомплексом США есть прямое следствие одоления эрозии, и бригадир вынужденно внимателен к давлению колес на почву. Агротехника просит, чтобы давление было не больше 1,5 килограмма, иначе гибнет вся биология, умоляет — не больше 1,7 килограмма на квадратный сантиметр, а «Дон» даже на широких новых шинах обещает 2,6.

— А разве «Нива» давила меньше, разве тот ваш «Ротор» из воздуха? — зову я к реальности.— Вроде взрослые люди, а ищите какую-то страну Муравию, только в технике...

— Спросил бы меня кто-нибудь: «Слушай, ты, такой-сякой-немазанный, ты сорок лет на одном месте хочешь ты такую машину, на какую мы пока способны, за полцены?» А я б тем сказал: «Дорогуши, разве в цене дело? Я лично в «Уцененные товары» не хожу, мне комбайн не сам по себе нужен, пускай он и вообще даром дается. Мне его заподлицо вогнать нужно во все хозяйство, он мне ровный со всем остальным нужен, как зуб в исправной шестерне»...

— Вот тут, Ильич, ты правильно,— вдруг вступил, докурив, мой прямой наставник Карачунов.— Машина мощная, кабина удобная, много разного со всего света взяли, это здорово. Ну а если он прогоняет с работы сегодняшнего механизатора? Отсталый, видите ли! Я в районе еще когда говорил: электроника нам не нужна. Люди к ней не подготовлены, ремонтировать негде. Гаражей нет — где я часовых наберу на каждый комбайн? «Нива» тем хороша, что весь дефицит один мужик унесет с нее за одну ходку.. И кого я посажу на «Доны» — Орехова, Вербова?

(Орехов Юрий Александрович, инженер по диплому, наш председатель, Вербов — главный инженер.)

Во-первых, Карачунову как члену бюро райкома партии не следовало бы выступать против электроники как нового этапа. Мы должны давать по рукам — и крепко давать! — за антикомпьютерные настроения в общественном растениеводстве. Да и всей электроники — один указатель потерь! У тех чуть не к каждому колесу датчик пробуксовки, комбайн набит электронной техникой, глядишь, человека вообще убирать станут, а Ростсельмаш сам осторожен, с пониманием... Если «Дон» создается с известным упреждением, так локомотив и обязан опережать состав! Раз жили без гаражей, по-печенежски, так и наперед так жить?.. Мы с Андреем Ильичом просто

обязаны были призвать Карачунова к порядку — слушали ведь люди разные, без четких берегов нашей дискуссии было никак нельзя.

— Я знаю одно, — вздохнул мой наставник. — Машина пускай дорожает, лишь бы дешевле выходил центнер хлеба. «Ниву» и «Колос» просто так вчерашним днем не объявишь — нам на них ехать до девяносто пятого года. Условия труда, надежность, конец потерям — вот и все, что нам надо! Чернышук, Машкин, Зинченко вывели нас на сорок и пятьдесят центнеров без электроники, им электроники не надо — и нам других работников не надо. Да их и нет!

Охо-хо, тысячу раз прав старый писатель Энгельгардт: «Есть ли такой ум, который мог бы обнять всю сумму факторов, имеющих влияние в хозяйстве, и определить их истинное значение. все взвесить, вычислить, рассчитать?» Поди узнай, где тут у наших настороженность, дутье на воду после ожога на молоке, что перемелется — и мука будет, а что, неровен час, и жернов поломают, и всю мельницу раскурочит. . . Хорош насмешливый лозунг академика Мигдала. им будто бы где-то читанный: «Дадим потребителю не то, что он хочет, а в чем он нуждается!» Если бы так откровенно, простецки и писалось, а то ведь все «унификация», «модернизация», «интенсификация», а насчет монополии — монополии нашего Андрея Ильича — ни гу-гу. Наоборот. все напористой закрепляется идея всепогодности «Дона-1500» в державе четырнадцати морей. «Предназначен для уборки зерновых... во всех зерносеющих зонах страны», как пишет в рекламках Ростсельмаш.

А как «бедному крестьянину» узнать и пощупать, чего же он, собственно, хочет? Способ некрасовский — «столбовая дороженька», личное выяснение, кому на Руси что удалось, где и чем куют машинную Муравью.

В разгар жатвы 1985 года мы покатали в станицу Каневскую. Миссию НТР возглавлял Орехов — в сущности, райком партии послал его на разведку. А нам предстояло посвятить новинке очередной телевизионный «Сельский час».

III

Мы увидели в действии вековые крестьянские правила: страда сведена к жатве, а молотья выполняется не на пашне, а на току. Значит, ты только жнешь в зоне риска, в условиях естественных, а молотишь уже под крышей, в искусственных условиях. и волен растягивать этот этап, как тебе нужно. Старина-то старина, но тут была в самом деле новая технология, придуманная и испытанная для себя колхозным строим: не мост новый или кабина, не новая ширина барабана — тех-но-логия во всем разнозубцовом ее кругу. Возвращались ветры на круги своя, но совсем на иной высоте.

Электрическая молотья...

«Первое место в работе электромоторов занимает, конечно, электрическая молотья...» — читали шестьдесят с гаком лет назад посетители первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки СССР; в простом и всеобъемлющем «Спутнике по выставке» черным по белому было написано: «Электрическая молотья важна для сельского населения еще и тем, что электромотор в отличие от других двигателей легко переносится с одного места работ на другое и таким образом может обслужить много крестьянских дворов. Также важно и в пожарном отношении — потому, что электромотор совершенно безопасен... Но самое главное преимущество электрической молотьи заключается в том, что она дает больше выхода зерна при молотье примерно на 12% по сравнению с ручной молотьбой и на 5% по сравнению с конной. Так что если все наши крестьяне будут молотить с электромоторами во всей России, то это даст увеличение зернового хлеба около 270 мил. пуд. для России. Эта огромная экономия по ценам нынешнего (1923.— Ю. Ч.) года стоит 135 мил. руб. золотом».

Все в мире по несколько раз изменилось, электричество научили водить ледоколы, взбивать коктейли, безболезненно лечить зубы, стирать, творить непредсказуемое в компьютерах, а вот великую вечную работу человечества — молотью — как переложили после мускульной силы на двигатель внутреннего сгорания, так и с концами! Будто еще прадедам не была известна антитеза: конная молотилка — или электричество, локомобиль — или электричество, древний цеп, «потату-потатъ», 22 тысячи ударов за десять часов сплошного пота — или электричество.

Председатель Каневского (имени Калинина) колхоза Анатолий Тихонович Кузовлев, тоже инженер-механик, «эжидитель храма сего», говорил с нашими просто, понималось все с полуслова. Вozить молотилку по пашне и требовать еще, чтобы не рассевала зерно,— вообще вариант обреченный. Завтра ли, послезавтра, а прекращать обмолот на бегу придется — такова тут гипотеза.

Комбайн идеален как машина для уборки зерна. Не урожая целиком, а заготовительной его сердцевины. Солому и полову он всегда бросал — за государственной ненадобностью — колхозу, а тот тратил на доуборку всегда больше, чем обходилась собственно молотья. Комбайн незаменим как машина спешных хлебозаготовок, когда единственной зерновой емкостью всего колхоза остался железный короб на верхотуре — бункер, из него хлеб сразу мчат на элеватор. Но у земледельца. желающего добра себе, земле и внукам, есть чем и попрекнуть машину, перенятую нами когда-то у прерий и пампы.

Потери зерна — они порождение тряски и молотья на бегу, но как не видеть потерю от того, что комбайн простоял? Влажный хлеб вообще молотить нельзя, этого и впредь не смогут ни «Дон», ни «Енисей», ни какой-нибудь «матадор» или «доминатор». А малы ли у нас территории, где нормой в недели страды является сырость, влажность, «временами дождей», а сухая масса — исключение? Далее. Солома, брошенная на полосе, не дает пахать, но в степях помогает почве сохнуть: затяжка обработки создает «чемоданы», глыбы земли, а разбиваешь их — помогаешь эрозии... А человеческий фактор — можно ли требовать от комбайнера работы по двадцать часов в сутки? Ночная работа не только родит потери, она и человека истязает.

По всему по этому колхоз, поддержанный районом и краевой краснодарской наукой, вступил в спор с целым ведомством сельскохозяйственного машиностроения. Он предложил механическую жатву и электрическую молотью. Передвижение только там, где без него нельзя,— и стационар на заключительном этапе. А когда у каневских стало получаться, когда параллельно и вполне независимо от Ростсельмаша станица Каневская повела испытания «вухфазной» уборки, то и среди профессиональных конструкторов нашлись сочувствующие. Таганрогский Сельмаш, не боясь конкуренции, передал сюда «Ротор», сделал МПУ...

Чем здесь жнут? Этой самой МПУ, «машиной полевой универсальной», она происходит от «Колоса», молотилки лишена, но и избавлена от главного минуса всех комбайнов: работать только на уборке, а одиннадцать месяцев в году пребывать, как выражается Андрей Ильич, на бюллетне. Машина генерального таганрогского конструктора Юрия Николаевича Ярмашева представляет собой самоходное шасси — может после страды работать на фермах, возить, даже землю копать. Полтораста «лошадей» двигателя могут быть заняты круглый год.

(Как подумаешь, что энергоблоки почти миллионного парка комбайнов — это минимум 100 миллионов лошадиных сил, «бюллетенящих» одиннадцать месяцев в году, то уступаешь тоске и ярости: и впрямь, должно быть, тут тупиковый вариант!) Хлебной массой набивают восьмидесятикубовые короба тележек — и после одного прохода на пашне не остается ничего, «лишь паутины тонкий волос»... Почва не изрубцована, не укатана, стерня цела, потери определяют в тридцать кило — вместо пяти прежних центнеров. Уже в день жатвы можно пахать.

Как молотят? Уже говорено: электричеством. В две смены, без перегрузок. Под крышкой, при свете. Здесь потери исключены вовсе: ворох можно подсушивать, асфальтная площадь не даст зерну уйти в землю. Пневмотранспорт разгоняет солому и полову по хранилищам, здесь же действует гранулятор, штампуют брикеты для ферм: безотходная технология.

Тут-то и увидели наши впервые полузапретный, но оттого еще более интересный «Ротор» Автор его, Юрий Николаевич Ярмашев, пробился к колхозным энтузиастам и первую работающую машину сделал стационарной. Мы со станичниками наблюдали, таким образом, первую машину с «аксиально-роторной молотилкой» — единственную из 30 тысяч комбайнов «СК-10-12», какие должны были быть произведены таганрогским заводом в 1985 году.

Не может быть, чтобы кто-то здравый и порядочный не изучил досконально и не описал в назидание будущей наглости, в урок мастерам силовых приемов историю южнорусского «Ротора» — историю сознательного задержания в колыбели новой машины, с которой мы могли бы претендовать на действительный приоритет! Четверть века связанный с цехом пишущих, лезущих куда их не просят, я не могу идеализи-

ровать его — но и поверить не могу, что акция с «Ротором» останется под спудом.

Роторные молотилки были предложены советскими инженерами еще в 60-х годах. Ротор — это вращающийся цилиндр, он расположен вдоль оси комбайна (обычный барабан всегда стоит поперек) и обеспечивает кроме большой производительности на сухой массе щадящий, деликатный режим колосу. Он не сечет зерно на крупу, как это, увы, способен делать «классический» барабан, и не размалывает его в мучную пыль, исчезающую в соломе бесследно. Станем богаче — непременно заговорим о травмах зерна, об ударах и трещинах, которые урождают посевной материал, приводят к невероятным завышениям норм высева, и роторная «вежливость» войдет в агрономический обиход.

Не только в 60-х — до начала 70-х годов ротор в мировом комбайностроении реальностью еще не был. И когда в 1979 году большой синклит наших ученых, располагая ЭВМ «Минск-32», обсчитал перспективный типаж комбайнов на 1981—1990 годы, то среди четырех базовых моделей был выделен «большак» класса 10—12 килограммов массы в секунду, и таганрогское ГСКБ, традиционно ориентированное на «тяжелые» (вспомним «Колос») машины, предложило на ту вакансию принципиальную новинку — ротор.

Пожалуйста, задержите свое внимание.. Ни о какой всевозможности не было речи в том стратегическом плане! Шаблоном все уже были сыты по горло, и в строгую Систему машин (пишется, повторю, с заглавной) внесли четыре класса комбайнов, удовлетворяющих разным ступеням урожайности: от 11 центнеров (увы, больше 40 миллионов гектаров!) до 20 и выше (около 30 миллионов гектаров). Логично? Вполне. Даже приятно сознавать, как спокойно и расчетливо спланировали. «Большак», тогда еще без имени и плоти, был назначен обслужить острова высокой урожайности в море сдержанных, скажем так, намолотов — те острова, которые по не изученным пока законам шумихи служили особо страстным людям для искажения истинной картины: уж так всюду преуспели с буйной урожайностью, что вовсе нечем обмолотить!

Регионы, фактически заработавшие право требовать комбайн класса 10—12 килограммов в секунду, — это Северный Кавказ, юг и юго-запад Украины, Донбасс, Молдавия и Эстонская ССР. В общем парке страны таких комбайнов должно быть не больше 15 процентов. Классу 8—9 килограммов (поля ЦЧО, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Латвии, Литвы, Азербайджана) надлежит достичь четверти комбайнового парка. А до 60 процентов в общем составе должно принадлежать классу 5—6 килограммов, это производительность «Нивы» — если сделать ее надежной. Разумеется, и Омск может (островами или архипелагом хозяйств) потребовать класс комбайна «большака», а где-то и на Северном Кавказе вполне удовлетворятся классом 5—6 килограммов: решает, понятное дело, целесообразность, а не административная карта.

Но «всеобщность» идет от лукавого и представляет собою технический блеф. Если нельзя сшить сапог, годный на любую ногу, и нельзя создать единую неделимую агротехнику, то машину такую нельзя создать и подавно. Да и не нужно! Поэтому техническая характеристика «Дона-1500», печатно распространяемая Ростсельмашем, где прямо провозглашается — «предназначен для уборки зерновых.. во всех зерносеющих зонах страны», есть или мания грандиоза кого-то из сочиняющих бумажки, или (никак не хотелось бы верить!) замах на монополию, покушение на Систему машин.

Таганрогский СК-10 «Ротор» родился практически одновременно с «Доном-1500», и в представлении аграрного бодельщика (а имя ему ныне легион) открывал как бы новый вариант привычно конкурировавшей пары «Нива» — «Колос». Наш брат взялся знакомить с принципиально новой машиной широкий круг жаждущих перемен, и съемки для телевизионного «Сельского часа» я делал еще на зимней молотье: автор машины Юрий Николаевич Ярмашев вел испытания в ангаре на запасенной с лета хлебной массе.

И вдруг — стоп! Визг тормозов. Таганрогское ГСКБ, лишив его автономности, передают в подсобники Ростсельмашу. Ярмашева сажают на мост и жатку для «Дона». Своей машиной ему дозволено заниматься в часы досуга — как пионеру планеризмом. С экранов ТВ «Ротор» исчезает, поминать о нем становится дурным тоном. Новой пары не составилось, «Дон» прошел всю дорогу испытаний (с усмешками и признанием умелости отмечают это специалисты КНИИТИМа!) без единой встречи с опыт-

ными экземплярами «Ротора»! Затем разговор словно бы возродился, но уже на другой базе: сделать «Дон» в роторном исполнении. Унифицировать былую пару в одной приоритетной машине.

Материал будущему летописцу... ГСКБ Таганрога насчитывает более 1200 человек, за тридцать пять лет работы здесь создано 56 конструкций машин, поставленных на производство, авторские свидетельства запатентованы в США, Англии и Канаде, эффект от внедренных машин превысил 5 миллиардов рублей. Никого не пожалеем в подсобники, если дело коснется унификации!..

Утекло много воды. И когда несколько экземпляров таганрогской машины класса 10 килограммов все-таки поставили на государственные испытания, уже девятью фирмами Запада был освоен выпуск роторных комбайнов и даны их товарные партии. Например, «Кейс-Интернэшнл» теперь предлагает потребителям 4 модели уборочных машин: «1620» с дизелем в 124 лошадиные силы, «1640» — дизель в 150 «лошадей», «1660» — турбодизель в 180 и «1680» — турбодизель в 225 лошадиных сил. всюду стоит ротор длиной в 2,77 метра...

Постановка «Дона» на производство не восполнит нужды в «большаке»: промолот 8 килограммов в секунду, характеризующий ростовский комбайн, не снимает нужды в классе 10—12 килограммов. Потерю стольких сезонов, величину отрицательную, легиону агролюбителей придется суммировать с победами Ростсельмаша — иначе списать не на что. И еще материал летописцу: если бы в войну Яковлева подчиняли Ильюшину, Петляков бы работал на Лавочкина, а все унифицированно — на Туполева, не стали бы наши системы лучше немецких. Кроме всего прочего, тут человеческая сторона, естественное самоутверждение. Если даже мил насильно не будешь, то уж умён, даровит дерзок — подавно. Когда Ю. Н. Ярмашеву предложили участвовать в постановке роторной молотилки на «Дон», он не проявил, мягко скажем, энтузиазма, и, грешный человек, я могу понять почему...

Итак, на могучем току в Каневской мы, ходоки из Прочноокопской, наблюдали, как через колхозный, независимый, конкурентоспособный стационар ищет выхода в жизнь коллектив в тысяча двести умов. На борту роторной молотилки стояло странное для сельских пейзажей слово «МАРС». Ярмашев, приехавший пояснить нам кое-какие детали, расшифровал сокращение: молотилка аксиально-роторная, стационарная. Но что-то от научной фантастики в космодромном этом устройении все же оставалось. Предельное малолюдье... Сами разгружаются здоровенные кубы с намолоченной массой, колесник живо подает ее на линии — и пошло, молотилка проколотит, провеет зерно, пневматика разгонит отвейки по трубам, красота! Наверно бородачи у Сашко Комбайна с таким же недоверием разглядывали жнею-молотилку, как мы — этот прообраз будущего...

Значит, можно и влажную массу косить, раз есть возможность подсушивать?

А уже и косят и сушат! В Ейске работает стационар в семхозе люцерны: принудительная сушка зелени и потом обмолот, стали получать по пять центнеров семян — прежде и полутора не видели... А Сибирь, Казахстан испытывают накопление хлебной массы для обмолота ее зимой. Ведь истари молотили в мороз и снега — вспомните: «Хаджи-Мурат», русская семья Авдеевых...

Хорошо, ток постоянный, но ведь и он может «идти к Магомету»? Давний южный укатанный «гарман» никаких ведь особых вложений не требовал — площадка для молотилки да энергоблок? Ясное дело, может, отвечал хозяин Кузовлев, это у нас фундаментальный, базовый, а будут варианты и удешевленные... Ну, раз коснулись финансов — дает ли выгоду стационарная молотьба? Кроме, конечно, долговременных факторов: что земля не «пищит», почва не сохнет, палов нет и так далее.

Гектар уборки по сравнению с «нивской» технологией обходится на 27 рублей 43 копейки дешевле. На гектаре, считает Кузовлев, подняли умолот минимум на 5 центнеров — за счет прежних потерь. А что уборка кончается не просто хлебовывозкой, а уже кормовым брикетом, где с соломой спрессованы и люцерновая мука и концентраты, — это крепко помогло животноводству...

Новизна простирается, однако... на 500 гектаров пашни. Двухфазный способ обкатывается в колхозе имени Калинина лишь в одной бригаде, остальное — комбайновая молотьба. Почему?

Радиус эффективности ограничен. Издали не подвезешь, и вообще такой ток — дело дорогое. «Материально дорогое», — уяснил себе Андрей Ильич, всегда

подчеркивающий, что материальный интерес означает интерес к материалам: к шиферу, лесу, кровле, асфальту...

Другой колхоз станицы Каневской — «Победа» — устами знаменитого своего председателя В. Ф. Резникова отменил всякий налет чуда:

— Мы три года всем районом без металла сидели из-за этого стационара! А молотится даже у соседа Кузовлева сколько — одна восьмая урожая?.. Лично я жду «Донов». Отбрали комбайнеров, послали на курсы. Построены гаражи. Чем покупать по тридцатке «Нив» ежегодно, лучше выбить партию «Донов»...

Если бы наш Орехов мог, не ходя годами по острию ножа, не рискуя будущим двух своих крепеньких пацанов, купить тот стационар готовым к монтажу! Если бы прочный бюджет Прочноокопской тоже мог делить призы на финише, одним приказом банку признавая или отрицая чей-то рекорд! Нет, как раз в сопоставлении с действительной новой технологией проявит себя игра ценами, протекция — включение едва подошедшей к конвейеру машины в «уцененный товар».

Удивительно, тепличная пленка протекционизма натянута именно над теми машинами, которых страна производит больше всех в мире, — вроде хозяйства и сами не заинтересованы коситься на импорт. «Магирусы», «татры» среди «КАМАЗов»? Обычное явление. Синие гэдэзровские косилки с наклонной кабиной? Всюду и везде они живо упрочили кормодобывание. Сеялки, оборудование для ферм? Нет проблем... Но зарубежный комбайн — табу!

Когда в полях Белоруссии, Прибалтики появился гэдэзровский комбайн «Е-516», среди механизаторов пошли дуэли: простое не знает, тип-топ целую осень, потери аптекарские, люди по полторы тысячи тонн намолачивают — на сырых-то хлебах. Позвонил раз ночью Бедуля, знаменитый брестский председатель Владимир Леонтьевич Бедуля, «Летающий мужик», по стихотворению Андрея Вознесенского, и в характерной своей манере заявил:

— Цыган две зимы за одно лето отдавал. А я три «Нивы» отдам за один «пятьсот шестнадцатый!» Ап-парат!! Если вы в «Сельском часе» не покажете эту прекраснейшую машину, если не передадите наше острое желание покушать ее — не хочу и видеть вас в нашей Беловежской пуще.

Взялся я исполнять заказ хозяина-белоруса. В ответ: «Опять подкоп под „Дон“?» Даже сказать про «Е-516» на телевидении тогда не дали: «Мы что, рекламбюро заграничной техники?» Понимаю: выгодней продавать комбайны, чем покупать таковые. Но если дожились, что на международной выставке «Сельхозтехника-84» наша экспозиция, насчитывая тринадцать разделов, даже краешком не могла показать комбайн, чтоб не конфузить страну на кругу, так может и не вредно освежать кровь импортом? Почему Бедуле, Нечерноземной зоне вообще ждать у моря погоды, а не покупать давно серийную, по СЭВу спланированную, надежную машину социалистической фирмы «Фортшрит», что означает «Прогресс»? И разве не обидна такая протекционная пленочная теплица самому крупному комбайновому заводу мира, ему ли бояться свежего ветра? И как я должен был отвечать председателю? «Помилуйте, Владимир Леонтьевич, мы тут поражены вашим выбором. «Е-516» — машина старая, в производстве уже десять лет, и колеса тяжелые, и кабина старых стандартов, ведь удивим Москву лаптями»...

И от преда-белоруса получил бы хор-роший пендель!

...А поездка наша была благодетельна. Она восполняла недостающие звенья. Мои заречные консерваторы увидели беговую дорожку уборочного прогресса совсем иною. Считайся с этим арбитр или нет, а параллельно с «Доном», вроде как за бортиком, бежал-дышал живой «Ротор», а рядом действовал (не скажешь ведь — бежал!) колхозный, ни на что не похожий, в кузнечном еще исполнении двухфазный метод.

Мне очень хотелось бы подверстать здесь абзац-другой, как наши заложил свой молотильный стационар, а второй бригаде Орехов добыл «Дон-1200» и во что вылилась дискуссия у голубых перил. Но мне еще к своим возвращаться, сочинять не могу: «Донов» вообще в район не прислали, на стационар нет ни материала, ни подрядчика, и молотили мы и в начальную страду эпохи Агропрома обыкновенными старыми «Нивами».

А сами дивились мы вот чему. Новая техника? Что тут хитрого, путь ясный, делай барабан шириной в полтора метра, куй под него новую железную телегу, ставь мощнее двигун... Но это одна ясность, арифметическая. Другая — ротор — пускай будет алгеброй. А как смело и здорово, что у кого-то хватило дерзости и непохожести

Момент ответственный: на конвейер становится «Дон». Если тут просто технический шажок («Нива» подновленная пропускает 6 килограммов в секунду, а «Дон-1200» — уже 6,5), то незачем было тридцати министерствам и огород городить. Надо, видно, не о вундеркинде хлопотать, а основать самонастраивающуюся техническую систему с внутренней генетикой обновления, чтобы не приходилось периодически всей громадой на шумном майдане, доводя до пенделей, до телемонологов Жванецкого, в пожарном порядке ковать нечто столь же звучное, как и отнюдь не тихий даже в своих истоках «Дон». Без такой живородящей системы не достичь самообеспеченности зерном, факт. А систему надо отлаживать сразу, не откладывая на потом, ибо опыт учит, что этико-юридического «потом» спустя срок не оказывается.

Машина, как все рукотворное, несет на себе отпечаток и пальцев и натур, делавших ее. Уходя в большой мир, становясь частью производительных сил людей, она одновременно воздействует и на производственные отношения. Даже в упрощенном виде. Сеет вежливость, взаимоуважение, такт — или зубовный скрежет сеет, брань, учит силовым приемам... Обращение с пишущим братом, повторяю, не в счет. Но силовые приемы, применяемые даже там, где никакого отпора ждать вроде неоткуда, обладают — по закону сохранения энергии — способностью накапливаться, суммироваться и со временем, интегрированные, вдруг треснут с силой таранного бревна, не шадя среди виновных и безвинового.

Я не только не боюсь ошибиться — хочу ошибиться в опасениях своих! Гораздо выгоднее, чтобы кто-то из пишущих, пусть даже весь их клан, оказался во лжепро роках, беликовыми предстал бы перед массой, «как бы чегоневышлестами», чем снова являть чудеса анатомической точности.

Я прошу вас Юрий Александрович, помочь разобраться в вашей статье, ознаменовавшей пуск «Дона» на конвейер, точнее, в интервью «Комсомольской правде» за 26 апреля 1986 года «„Дон“ задает тон».

Тон — оно, конечно, дело авторское, вкусовое, нужно о цифрах-фактах спрашивать, а не судить о том, на что, по словице, товарища нет. Но именно тон показан здесь и настораживающим и опасным. В следующую ночь после выхода вашей статьи произошло событие, окрасившее всю пору попустительства, хвастовства и разгильдяйства иным светом: расплачиваться за Чернобыль приходится всей стране. И не скрою — вашу публикацию перечитываю с элементами постчернобыльского мышления, насколько сумел и способен был его приобрести.

«По всем основным параметрам «Дон» своих конкурентов превзошел... Так что мы не только вышли на уровень мировых стандартов, но и превысили их» Ну, зачем так уж сразу, Юрий Александрович, — «превзошел» «превысили»... Является ли основным параметром вес машины? Наверное, да, потому что тут все: и конструкция, и материал, и технология изготовления. «Эра бегемотов» осталась позади, и «превзойти» теперь — значит, сделать легче. Возьмем на проверку стародавнюю страну комбайностроения — те США, каким подкладывает сюрпризы Агропром «Общего рынка». Из шести моделей, предлагаемых потребителю компанией «Джон Дир» аналогом «Дону» будет скорее всего машина «8820» Мощност турбодизеля 225 лошадиных сил, объем бункера 7,82 кубометра, вес 10 149 килограммов. У «Дона-1500» соответственно — 162 лошадиные силы, 6 кубометров и 13 370 килограммов веса. На 3221 килограмм тяжелее! И бункер меньше! И габариты у «Дона» больше по длине на три метра, по ширине — на два. Совсем как в «Борисе Годунове»: «Что, брат? Где тут 50? видишь? 20».

Может, иначе пока не выходило, не из чего было сделать, но и в наше-то техническое задание (11 500 килограммов) новый комбайн «не влезался», но зачем же городить небывальщину? Не подходит «Джон Дир» — берем аналог из шести моделей фирмы «Аллис Чалмерз». Комбайн «L3», дизель 145 лошадиных сил, бункер 6,9 кубов, вес 9421 килограмм, длина меньше на три с половиной метра, ширина — на три с лишним даже по высоте на шестьдесят сантиметров ниже... Да вообще веса в 13 тонн среди девятнадцати моделей комбайнов поставляемых четырьмя основными компаниями, в помине нет он оставлен давно позади! А о числе моделей (не модификаций, тех сотни!) приходится поминать в связи с не менее отчаянным вашим утверждением насчет «небывалого в мире случая»: «Нигде и никогда в комбайностроении не совмещались воедино, как у нас, стадии создания конструкции, технологии, проектирования и изготовления оборудования, испытания реконструкции строительства. Все это позволило нам создать принципиально новый комбайн в небывало короткий срок. И глав-

ное — не об одном комбайне речь. Это — семнадцать модификаций машин, а если и роторный теперь в семейство «Дон» войдет, то получится более двадцати машин на поток одновременно — вообще небывалый в мире случай!»

Аж уши закладывает.. Узел, конечно, затянулся тугой, но в нем скорее беда, чем доблесть. А как вспомнишь, что модели-то всего две, с шириной барабана 1500 и 1200 миллиметров, а только у четырех тех фирм — девятнадцать моделей, а зерновое-то поле Штатов единообразнее нашего и компактней, такого перепада, как между Карелией и Закавказьем, там не найдешь, а насадок для тех ли, иных культур каждая компания предлагает (навязывает, да в кредит!) по полтора десятка на модель. что роторный «Дон» — не только не убитый, но толком и не выслеженный медведь, на испытаниях этого лета гнал зерно в половину к ярости агрономов, так только и остается сказать: «Грех. Проповедуем-то — молодым!»

Конечно, юный читатель пятнадцатимиллионной «Комсомолки» склонен к энтузиазму: приятно и весело входить в мир везучих, могучих, всепобеждающих. Но, будучи молодым, он издревле отличается тем, что на второй раз уже не верит, нет! Недаром в очень-очень старом наставлении особо оговорена необходимость беречь доверчивость младших: кто, дескать, соблазнит единого из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Так, метафора, мифотворчество... И прежде, конечно, корыстные преувеличения часто сходили с рук.

Только говоря молодому человеку правду, какой бы она ни была, мы уверены в том, что «перетакивать» не придется. Сознаний разделяющую дистанцию будет тянуться, сжав зубы. Да, мировые стандарты — дело ныне нешуточное, да, техническая революция экзаменует предельно серьезно, прощать не умеет, даром не венчает, но у нас средства, таланты и опыт, нужно много и упрямо работать — удача придет... Но когда тебя уверяют — «в сравнении с лучшими образцами зарубежных комбайнов намолот у «Дона» был в два-три раза выше», ты начинаешь себя ощущать одним из персонажей перовских «Охотников на привале». Скорее всего тем, что смеясь, чешет в затылке. И уже не к мировой информации тянешься, а к домашней, доступной всем. Сами же пишете, Юрий Александрович, что «Нива» теперь молотит 6 килограммов в секунду. А паспортная характеристика «Дона-1200» называет производительность в 6,5 килограмма (хотя модель тяжелее старой на 4 тонны), у «Дона-1500» этот показатель — 8 килограммов. Понятно, что столь сдержанное превышение делает и обгон старушки «Нивы» не простым делом. Чтобы намолот был в самом деле в два-три раза больше, надо пропускать 12—18 килограммов в секунду! Фантазия? Значит, те «лучшие образцы» должны были отставать в намолоте от ушедшей с мировых рынков «Нивы»...

Усваивать у западных фирм можно много разного, только не тягу к рекламной шумихе. Тем более что — об этой малости мы, кажется, забыли — и сбывать пока нечего, товар не наработан, реализуется не воплощенный в железо успех.

А из реальностей огорчает в вашей беседе, Юрий Александрович, одно туманное место:

«Первые партии комбайнов распределяются пока по регионам, сосредоточенным вокруг Ростова. Их обслуживание обеспечивает Ростсельмаш. Как будет дальше, сказать пока трудно».

Сказать трудно два слова: «фирменное обслуживание». ВАЗ давно сказал — и победил тем старый «Москвич», довел АЗЛК до затоваривания, вынудил экстренно обновляться. КамАЗ тоже признал мировой технический закон — кто делает машину, тот и обеспечивает ее работу. Мы уже имели с вами, Юрий Александрович, диспут насчет «кукушкиных детей» (термин Н. Н. Смелякова). Извините, но я и поныне убежден, что как раз практика отрыва машины от завода (забросить яйцо в гнездо, а там уж дело птички-невелички) — лишь временное и местное отклонение от общего закона, этот сбой различим в своем начале и понятен в своем конце, виден и в экономической вакханалии с запчастями, и в круговой поруке переброски ответственно-сти. Вы же сами так выразительно писали в «Правде» о потоке брака, какой может хлынуть в новый комбайн: «В нынешнюю уборку выходили из строя некоторые комплектующие изделия из-за низкого качества резинотехнических изделий, стальных сварных труб, подводили гидроагрегаты, их соединения подтекали. По-прежнему вызвали нарекания конструкция и качество шарикоподшипников разовой смазки, гене-

раторов, стартеров, электронных блоков контроля, приводных ремней узкого сечения. Говорю об этом, чтобы еще раз подчеркнуть важность роли поставщиков».

А фирменное обслуживание как раз и сделает для покупателя не важным, кто там поставщик, есть он вообще или детали падают готовыми. Есть завод и его фабричная марка, есть финальный интеграл, больше покупателю и знать ничего не надо! Методика «кукушек» завешала Госагропрому такой объем хлебоборобского гнева, но и скопила такой ресурс быстрого улучшения, что первый Сельмаш, который отважится на фирменный присмотр за всеми своими детьми, получит и признание и признательность. Почему же «Дону» в этом таком социально важном деле не выйти на мировые стандарты?

А из чего собирать тот стандарт, если тебе впрямь шлют калечь?

Конечно, тут и вы, Юрий Александрович, наткнетесь на монопольность: бракованный подшипник шлет один завод, он назначен поставщикам Ростову, другому не закажешь, а станешь качать права — и в таком-то добре откажут... Как быть — я не знаю, совсем не моя епархия, понимаю лишь, что тут еще одно подтверждение: монополия родит отставание всегда, повсюду, непременно — и с плодovitостью трески. И не дадим себя обмануть, наблюдая порядки промышленных монополий Запада: капитал-то, понятно, монополистический, но все не так элементарно, в одиночку тебе не позволят выпускать ни комбайн, ни карандаш, ни куриные котлеты. Пока не зарегистрирован соисполнитель, соревнователь, конкурент, вам изделие выпустить не позволят — капитализм оберегает технический уровень!

Я буду восторженно ликовать, как самый молодой подписчик «Комсомолки», если впрямь будет спокойно доказано, что какой-то из советских комбайнов производительней, экономней, легче машин «Сперри Нью Голланд», «Кейс-Интернэшнл», «Аллис Чалмерз», — это будет и мой светлый день. Но думаю, что он будет и последним днем монопольности как метода, принципа, подхода. Пока же, увы, монопольность закреплена в запчасти, какую по-прежнему добудешь только в данной мастерской, заплатив и за деталь и за якобы ремонт. Она затвердела в громоотводном разьездном гарантийщике, который от вашего завода мотается, спорит — и гнев перерабатывает в заявления. Монопольность, какой уж тут спор, четко выражена в единственности СМУ, вам назначенного, и в тех фондах, что у строителя в кулаке. Пока практически всюду, где хлебоборобское право решать входит в сферу реальностей, хочет материализоваться, оно встречает ответ, когда-то изреченный одним из персонажей чеховской «Жалобной книги»: «Лопай что дают»...

Само создание Госагропрома, все согласны, убавило сил у монопольности юридически. Слияние продовольственного комплекса в структуру с единым бюджетом, планом, курсом, с единой мерой успеха — мерой хлебом, урожаем, видом магазинных полок — обещает жизненному многообразию и де-факто материальную плоть. Если же ждать указаний на этот счет...

Указания поступили! И не сказать, чтобы недавно.

«Надо бороться против всякого шаблонизирования и попыток установления единообразия сверху... С демократическим и социалистическим централизмом ни шаблонизирование, ни установление единообразия сверху не имеет ничего общего. Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается *многообразием* в подробностях, в местных особенностях, в приемах *подхода* к делу, в *способах* осуществления контроля...»

Подписано: Ленин.

«...централизм, понятый в действительно демократическом смысле, предполагает в первый раз историей созданную возможность полного и беспрепятственного развития не только местных особенностей, но и местного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения к общей цели... Чем больше будет такого разнообразия. — конечно, если оно не перейдет в оригинальничание, тем вернее и тем быстрее будет обеспечено как достижение нами демократического централизма, так и осуществление социалистического хозяйства. Нам остается теперь только организовать соревнование, т. е. обеспечить гласность...»

Ленин!

«Разнообразие здесь есть ручательство жизненности...»

Владимир Ильич Ленин.

В 1986 году проходит государственные испытания метод двухфазной уборки — в Каневской, в Ейске, в Сибири, в Казахстане и в прочих местах, где он себя уже — энергией спорящих с вами — проявил. В это же лето держит госиспытания опытная партия таганрогских «Роторов». Мне бы хотелось поставить на испытания — пускай пока ведомственные, в своем кругу — пробные нормы отношений между делателями техники и фиксирующими память о ней. Чего скрывать, тут личный интерес! Мне в жизни потрафило писать о Мальцеве, Бараеве, Лукьяненко, Гарсте, Ремесло и страсть хотелось бы сочинить реалистическую, нестыдную оду отечественной машине уборки.

Малых детей и тех знаменитый кот Леопольд учит жить дружно. А нашему с вами возрасту еще две тысячи лет назад был подан пример — вон как завидно Плиний Младший писал Тациту: «Меня восхищает мысль, что потомки, если им будет до нас дело, постоянно будут рассказывать, в каком согласии, в какой доверчивой искренности мы жили!»

Умели жить люди!..

Июнь 1986.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СУРКОВ



СКОЛЬКО БЫЛО ГАМЛЕТОВ?

С тоит так поставить вопрос, чтобы сразу же оказаться в самом средоточии сложнейших проблем — теоретических и творческих. Между тем были времена, когда над ними никто не задумывался. Сейчас задумываются. И все более тревожно. Значит, что-то сдвинулось, заново сгустилось и осложнилось в вопросе, который еще столетие назад никого не волновал.

Впрочем, и сейчас можно со спокойной совестью ответить на этот вопрос однозначно: сколько их было, Гамлетов? Столько же, сколько и сейчас есть. Один. Тот, что в пьесе Шекспира.

И это верно. Хотя и недостаточно, чтобы охватить вопрос во всей его реальной сложности. Шекспировский Гамлет — реальность, объективная данность, материально выраженная в строках прославленного текста.

Тем не менее Гамлетов было много. И, думаю, будет еще больше. Гамлет Гаррика, Эдмунда Кина, Ирвинга, Мочалова, Росси, Сальвини, Сары Бернар, Муне-Сюлли, Ленского, Южина, Цаккони, Моисси, Качалова, Чехова, Лоренса Оливье, Смоктуновского, Скофилда, Е. Самойлова. Разве они все не были Гамлетами? Но при этом такими разными Гамлетами. Иногда решительно противостоящими друг другу. И разве их можно позабыть, не иметь в поле зрения, когда задается вопрос, вынесенный в заглавие этой статьи?

Значит, Гамлетов было столько, сколько было актеров, выступавших в этой роли? Я этого не думаю. Наоборот, я твердо уверен: Гамлет был и есть один. Тот, что в трагедии Шекспира. Но вот какой он? Такой каким его воплотил Гаррикс? Кин? Адольф Зонненталь? Йозеф Кайндц? Иванов-Козельский? Качалов? Моисси? Джон Гилгуд? Редгрейв?

О том, как играл единственный шекспировский Гамлет — Ричард Бербедаж, мы мало что знаем. Не знаем мы и того, был ли им доволен автор трагедии.

Ну а если бы и знали? Если бы достоверно было установлено, что Шекспир каждый вечер в порыве восторга заключал Бербедажа в свои могучие объятия и изливался ему в любви и благодарности, изменилось ли бы от этого знания что-нибудь в интересующей нас проблеме? Неужели мы и сегодня стали бы играть Гамлета... по Бербедажу?

Мы знаем, что Чехову очень нравилось, как играли в Художественном театре его «Три сестры». Но не придет же кому-нибудь в голову сегодня поставить спектакль точно «по мизансценам» тогдашнего Художественного театра!

А Вл. И. Немирович-Данченко перед войной поставил пьесу в том же Художественном театре наново. И все увидели: это настоящий Чехов. Только не тот, что шел в начале века в Немировичем же возглавляемом театре.

Я привожу этот всем известный факт, чтобы спросить себя: значит, единственного, эталонного Гамлета все-таки... не существует? Гамлетов столько, сколько было актеров, выступавших в этой роли?

Да, одного эталонного исполнения роли не было и не будет. И тем не менее релятивистский подход к обозначившейся (начерно, пока еще только в самом первом своем натяжении) проблеме мне представляется и теоретически ошибочным и практически опасным.

То, что Гамлет был, есть и будет один, тот, что в томике шекспировских пьес, у меня сомнений не вызывает. Но он один во множестве ипостасей. На диапазоне многих и разных воплощений. Так сказать, один в ста лицах.

Знаю я и то, что далеко не каждая интерпретация роли Гамлета может быть идентифицирована как шекспировская. Были ведь интерпретации и антишекспировские. В контексте этого разговора данный факт, практически тоже всем известный, надо иметь в виду постоянно. Надо к нему возвращаться с неослабевающим вниманием и бдительностью.

Когда инсценировка или экранизация не нравится, прежде всего сыплются упреки в пренебрежении к автору. Что его не поняли, не захотели или не сумели выразить. Исказили. Вывернули наизнанку. Подняли под себя. Взорвали изнутри.

И тут же раздаются возражения: а почему бы и нет? Разве театр (экран) не самостоятельный творец? И разве то, что возникает в результате творческого взаимодействия режиссера с автором, их диалога, ведущегося на равных (самое важное тут как раз то, что диалог должен идти на равных, иначе какая же может быть у режиссера самостоятельность, как он сможет проявить себя как самостоятельный творец?), не является всегда новым, принципиально новым эстетическим феноменом?

Вопросы, мы это уже знаем, совсем не простые. И однозначным решениям не поддающиеся. Казалось бы, это так очевидно: классик — величина настолько абсолютная, что и вопроса быть не может, кто должен выразиться в спектакле (фильме) — режиссер или автор? Автор, конечно, автор! А режиссер? Да что же тут непонятного?! Режиссер воспроизводит текст своими средствами. Пересказывает его на языке своего искусства.

Видите, как все просто. О чем же тут спорить?

Но тут в разговор вступает режиссер, пусть им будет на этот раз Анатолий Эфрос. Его постановки «Трех сестер» (в первой редакции), «Дон Жуана», «Месяца в деревне», «Женитьбы», «Живого трупа», «На дне» в театре, «Бориса Годунова» и «Дневника Печорина» на телевидении стали настолько заметными вехами на нашем пути к классике, что в его праве принять участие в споре никто, думаю, не усомнится.

В беседе с корреспондентом альманаха «Современная драматургия» (1982, № 3) Эфрос сказал: «Сила театра не только в чуткости к автору, но и в овладении своими средствами, своим языком. Пьесу надо превратить в спектакль, а не просто чутко воспроизвести ее на сцене. Превра-

тить в спектакль — то есть в другое искусство. Когда это удается — тогда мы по-новому начинаем осознавать и саму пьесу».

И еще: «Режиссер, конечно, должен быть очень чутким по отношению к автору. Но на этом его задача не кончается. Даже такие, скажем, сугубые реалисты, как Вл. И. Немирович-Данченко, никогда не довольствовались вторичной ролью театра. Театр — это самостоятельный художественный творец»

Но если поставить пьесу — значит, превратить ее в другое искусство, то что же следует сказать в этом контексте об экранизации? Пьесы ведь для того и пишутся, чтобы их играли на сцене, и все-таки, если верить Эфросу, а ему в этом надо верить, они превращаются в другое искусство, когда их осуществляют сценически. А если из них делают фильм? Тут, надо думать, дистанция между автором и режиссером, между пьесой и экраном еще увеличится. А если в театре ставят не пьесу, а роман или повесть? Или если их экранизируют в кино?

Впрочем, вернемся к положениям, сформулированным Анатолием Эфросом: спектакль это не просто пьеса, прочитанная со сцены, а пьеса, сценически истолкованная. И ставшая спектаклем. То есть другим искусством. Созданием режиссера, который, как мы теперь знаем, является по отношению к пьесе «самостоятельным художественным творцом».

Но если это так, то зачем оговариваться и напоминать, что театр должен быть еще и чутким к автору? Откуда это следует? И так ли это для всех людей театра бесспорно, как это было бесспорно, скажем, для Станиславского, Немировича-Данченко, Кедрова, Товстоногова, Равенских?

Существует ведь и такая точка зрения: «Театр, — писал один из крупнейших наших режиссеров начала века, — обращается к литературе лишь как к необходимому ему на данной ступени его развития материалу. Только такой подход к литературе является подлинно театральным, так как иначе театр неизбежно перестает существовать как самоценное искусство, а превращается лишь в хорошее либо скверное данника литературы, в граммофонную пластинку, передающую идеи автора. Вы знаете, что высшей похвалой режиссеру считается сказать: «как вы правильно истолковали Шекспира» или «как удивительно верно вы передали Мольера». Воля ваша, но

Для меня такая похвала звучала бы как напев похоронного марша».

Как видим, исходная посылка у обоих авторов схожая, тем не менее выводы из нее извлекаются разные. В то время как один отрицает необходимость какой бы то ни было проверки спектакля пьесой, режиссера — автором, другой оговаривается: режиссер по отношению к автору должен быть очень чутким. И не только оговаривается так теоретически, но так поступает и практически — в лучших своих постановках классиков.

Одного автора мы уже знаем: это Анатолий Эфрос. Назову второго: Александр Таиров.

Многие, наверное, возмутятся: зачем вы ворошите старое? Таиров сам изжил ошибки своей юности. И тогда, когда ставил «Федру» и «Адриенну Лекуврер», и тем более тогда, когда инсценировал «Мадам Бовари».

Все это мне, смею уверить, известно, как известно мне и другое: что изменения в подходе Таирова к классике обуславливались не только изменениями, какие происходили в обстановке вокруг театра вообще, Камерного театра в частности, а и логикой его собственного развития. Диктат вне его искусства складывающихся требований имел своим последствием обеднение таланта Таирова, вынужденного стискивать себя по априорно заданным ему нормативам и схемам. Что же касается самого подхода режиссера к пьесе, то он просто не мог оставаться таким, каким он сложился в начале 20-х годов. На путях полной автономии — спектакля от пьесы, режиссера от драматурга — нельзя было создать сколько-нибудь серьезного, по-настоящему содержательного и глубокого искусства. В этом, уверен, Таиров убедился сам, без помощи разного рода корректирующих инстанций, а просто следуя требованиям и своего собственного таланта, и таланта своих актеров. Алисы Коонен в первую очередь.

Чтобы выразить себя как актрису, она должна была играть в Расине Расина, во Флобере Флобера и в Чехове Чехова

Казалось бы, этим все сказано. Нет, не все. Вопросы, как мы сейчас убедимся, остаются, и для того чтобы в них разобраться, не надо забывать о тех — парадоксальной остроты — крайностях, к каким в определенных условиях приходили в своем стремлении осознать искусство театра как особое искусство многие другие режиссеры. Скажу больше: возможность выхода на этот край проблемы всегда надо

видеть, помнить, с такой возможностью всегда надо считаться, поскольку она, эта возможность, не произвольна, случайна, а по-своему закономерна. Является результатом абсолютизации, догматического окостенения одной стороны противоречия, имеющего — это-то и надо понять — объективный характер.

Еще одна цитата, снова из 20-х годов. В книге «Статьи о театре. 1918—1922» Сергей Радлов анализирует отношение автора к сцене, к спектаклю. И приходит к таким выводам. «Вся беда нашего русского репертуара, — пишет он, — в том и заключается, что русские драматурги были слишком от литературы, слишком прочны в этой профессии, слишком далеки от такого (превосходного!) взгляда на драматическую поэзию, который делал почти невозможным и нелепым печатание пьес наравне с «благородной» поэзией, который считал такую публикацию неприличной во времена Шекспира».

И далее: «Вся беда в том, что мы не в состоянии с достаточной ясностью уразуметь, что понятие «драма» производное от понятия «театр» и от этого непонимания — вся дальнейшая ложность выводов».

Не будем прятаться от фактов: сперва действительно был театр — ритуальный, бытовой, синкретический, а уж потом появилась драма как особый, по мнению многих теоретиков, высший род литературы.

Но если это так, то, может быть, слово в театре и впрямь только «яйцо, из которого чудесною птицей вылетит спектакль»? А историю театра, соответственно, только по предубеждению, начало которому в «Поэтике» Аристотеля, было принято «до недавнего времени рассматривать... как часть истории литературы»?

По мнению Радлова, настала пора освободить театр от диктата автора, раскрепостить творческие силы, имманентные именно театру. «Приходило ли вам в голову, — допытывается он, — что драма с твердым текстом есть очень своеобразная разновидность театра, так сказать «словесный балет», где актер так же привязан к каждому данному слову, как балетный танцовщик к жесту. Терпим же мы, однако, очень вольное творчество актера в области движения, не связывая это ничем, кроме общего плана роли. Почему же считается незаконным такой вид театрального искусства, где актер будет обращаться со словом с тою же мерой свободы и вольного творчества на сцене, которые да-

ны ему даже в пантомиме, в области жеста?»

И на этот раз меня могут упрекнуть: зачем вы перелистываете старые книги? Эти книги умерли, давно позабыты, никому сейчас не нужны. Позабыты? Разве призыв «обращаться со словом с той же мерой свободы и вольного творчества», с какой обращаются в пантомиме с пластически зафиксированным сценарием, не положен в основу многих сегодняшних спектаклей и фильмов? Разве не этому принципу следуют режиссеры, когда переписывают пьесы, перемещают в них целые куски, отбрасывают, как ненужности, эпизоды, в которых подчас и воплотилась авторская идея, замещают тексты, после долгих раздумий отобранные авторами, другими, позаимствованными из неудовлетворивших их черновиков? Разве не свободы театра от пьесы требуют и критики, которые видят в спектакле только самоактуализацию личности режиссера и поэтому, как это сделал Л. Аннинский, провозглашают: пьесы надо читать, на сцене надо смотреть не их, а то, что на их основе, отталкиваясь от них, отходя от них, мог сказать своего тот или иной режиссер?¹

Нет, еще и сейчас часто шокирующими кажутся только крайности, нарочитые парадоксальности в применении цитированных тезисов, а не их суть. То, что противоречие между пьесой и спектаклем, текстом и фильмом всегда существует, тоже ведь более чем очевидно. Пьесы-то ведь играют по-разному, никогда не воплощаются с одинаковым результатом, даже если театр и относится к исполняемой пьесе со всем необходимым пиететом.

Это ведь тоже факт, который надо не игнорировать, а анализировать. Чтобы избежать перекосов и вульгаризаторских искажений, каких сейчас если и меньше, чем в 20-е годы, то ненамного.

Коклен-старший в статье «Искусство и актер» (1880) писал: «Значительное расстояние всегда отделяет литературный образ от образа сценического; дело в том, что создать душу — это еще не все: нужно поместить ее в теле, и мало поместить ее в теле, надо, чтоб это тело было ее совершенным и живым выражением».

Ну, а затем? Что происходит после то-

го, как тело найдено? Оказывается, оно прирастает к роли. Коклен свидетельствует: «Кожа, которой актер облакает роль (будь то даже шекспировская роль!), в конце концов так закрепляется за ней, что существуют отдельные сценические моменты, отдельные мимические штрихи, найденные Гарриком или Кином, без которых в театре нельзя представить себе Гамлета или Отелло. Во французском театре существуют традиционные приемы, о которых нет ни одного упоминания в тексте мольеровских пьес, но без которых невозможно себе представить пьесы Мольера на сцене и которые зритель, когда он снова делается читателем, восстанавливает в своем воображении...»

Это очень важное положение. Верно отражающее понимание проблемы «классика — актер», какое сложилось в XIX веке в «дорежиссерском» театре повсюду: во Франции, Англии, России, Германии, Австрии. Сценические образы Гамлета и Макбета, Шейлока и Ричарда III непрерывно менялись во внутреннем содержании, в том, как их истолковывали Гаррик, Кин, Макреди, Ирвинг. Но было нечто, в чем они если и менялись, то мало, только в деталях. Это — внешний рисунок роли, та «кожа», какую закрепила за ней традиция. Так было в Англии, так было во Франции с Мольером и Мариво, так было и в России с персонажами Грибоедова, Гоголя, Островского, Шекспира, Шиллера, Мольера. Внутренние пути, какими шли к образу исполнители, менялись, внешние очертания его оставались примерно одни и те же. Можно сказать, что время, традиция сформировали определенные модели знаменитых ролей.

Фамусова играли то как сановитого московского барина, то как бюрократа средней руки, но в пределах этой, в общем-то, не очень широкой амплитуды он тем не менее всегда был узнаваем. Всякий раз возникал на сцене как вариант вполне определенной образной модели. Изменения происходили, но обязательно внутри этой модели. Модель обростала подробностями, и когда молодой актер, к примеру, брался за роль Чацкого, старейшины труппы спешили «начинить» его рассказами о том, как выбегал Чацкий на сцену в первом акте у Роцина-Инсарова и как у Орлова-Чужбинина, на каких стихах в последнем монологе делал цезуры и где поднимался до форте Ленский и где Южин. Но то, что Чацкий должен быть красив, одет уже в первом акте как денди, что он должен быть безусловно эле-

¹ См. статью Л. Аннинского «В контексте театра...» («Литературная газета», 1984, № 7) и мои возражения Аннинскому в статье «Спектакль: круг взаимодействий» («Советская культура», 1984, № 32).

гантен и читать стихи обязательно красиво, с эмфазой, было так же очевидно, как и то, что кончать монологи надо обязательно у самой рампы и так, чтобы последнее повышение голоса послужило сигналом к аплодисментам в зрительном зале. Это все не вызывало сомнений ни у Соболевцова-Самарина или Соловцова, ни в Малом театре или в Александринке. Чацкий, Фамусов, Городничий, Гамлет, Офелия, Гарпагон, Журден были ведь не только характерами, а и сценической формой, которую надо было заполнять по своему, у которой нельзя было не соответствовать.

Это тоже очень важно, очень существенно для определения путей, по которым шло освоение ролей классического репертуара в театре прошлого столетия. Зритель заранее знал, какими предстанут перед ним Гамлет и Городничий, Отелло и Чацкий. И если по ходу спектакля актер предлагал новацию — в толковании какой-то фразы, психологического мотива, — это воспринималось только в том случае, если изменения происходили внутри отлитой временем формы. Исполнители Гамлета по-разному толковали сущность, мотивы его гибели, настолько по-разному, что об этих различиях можно было бы написать не одну книгу. Но почти не было актеров, которые решились бы порвать с внешней формой роли.

В этой связи интересно вспомнить, как складывалась в России сценическая судьба Гамлета Томмазо Сальвини.

Сальвини играл Гамлета вопреки канону, принятому повсюду, в России в том числе. «Эта тревожная, разочарованная, ранимая душа, мучимая поисками страшной истины, — писал он в своих «Этюдах», — скрыта в теле тучном, но мало-кровавном, с легко возбудимой нервной системой. Одним словом, это лимфонервический темперамент: отсюда колебания, страхи, нерешительность, которые поминутно овладевают Гамлетом и которые были бы невозможны у молодого человека иного склада».

Но к такому облику роли не привыкли ни зритель, ни сцена.

И именно поэтому первое появление сальвиниевского Гамлета на русских подмостках было встречено с недоумением. Несмотря на то, что встреча была подготовлена восторженными откликами, которые вызывал Сальвини — Отелло и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, а в самой России — патетической статьей Аполлона Григорьева, восклицавшего: «Чу-

до пронеслось перед нами, обвело нас каким-то знойным и бурным дыханием» — начало было обескураживающим. Биограф артиста свидетельствует: «Гастроли открылись «Гамлетом». По-видимому, это было ошибкой, так как исполнение Сальвини не столько понравилось, сколько удивило... Сальвини... показался слишком массивным, даже грубоватым. Огромный рост, глубокий бас не вязались с привычным образом Гамлета».

«Не вязались с привычным образом Гамлета» — в этом и была вся суть дела. И это несмотря на всевластный темперамент Сальвини, гениальную простоту и глубину его игры, несмотря на то, что он был — Сальвини!

В конце концов Сальвини победил и в Гамлете. Но и победив, не оставил последователей. Роль Принца Датского продолжали играть согласно модели, отлитой традицией, а не по-новому, не так, как трактовал его великий итальянец. (Впервые попытку вернуться к «тучному Гамлету» — так отзывается о сыне в сцене поединка королева, так, судя по преданию, играл его и Бербеж — сделали в 1932 году Акимов и Горюнов; результаты известны.)

Тучных, «лимфонервических» Гамлетов русская сцена не знала. Тем не менее модель в начале XX века была сломана. После революции в Москве появились Гамлет Чехова — низкорослый, с глухим, хриловатым голосом, и Гамлет Сандро Моисси (впервые он выступил в этой роли еще в 1909 году) — с огромными, наполненными страданием глазами на нервическом лице современного интеллигента, одетый просто, а не по привычной модели. Их исполнение произвело в аудитории, уже прошедшей через школу Художественного театра (и, в частности, через казачовского «Гамлета») и дерзкие, вызывавшие бурю споров опыты Мейерхольда, всеобщее признание. Но театральную традицию не взорвало. Когда много лет спустя Гамлет после длинной паузы снова появился на сцене — сперва в спектакле Н. Соболевцова-Самарина (1938), а потом у Н. Охлопкова (1954), герой трагедии снова внешне точно соответствовал стереотипу: длинные светлые локоны, изящный черный камзол, плащ, элегантно драпирующийся вокруг по-юношески стройной, легкой фигуры, движущейся с безупречным изяществом и пластической завершенностью каждого жеста и поворота. Внутренние линии роли А. Дубенский (в спектакле Соболевцова-Самарина) и

Е. Самойлов (у Охлопкова) прокладывали по-своему, хотя и очень близко друг к другу. Но внешне они были так похожи, что можно было подумать, что они были изготовлены одним и тем же мастером. Так оно и было. Только мастером этим был не какой-то отдельный человек, а сама Традиция.

И все-таки одинаковых Чацких, Фамусовых, Гамлетов, Альцестов, Валленштейнов, Катерин не было и никогда не будет. Движение внутри каждой художественной концепции (роли, пьесы в целом) — закон ее существования на сцене, действующий даже там, где его не хотят признавать.

Петр Проскурин сравнительно недавно писал с тревогой и негодованием: «Классика, как отечественная, так и зарубежная, все больше подвергается диктату, на мой взгляд, совершенно недопустимого режиссерского эксперимента. «Самовыражение», «новое», якобы современное «видение», «прочтение», «преломление» через незрелую, зачастую лишенную твердого мировоззрения и социальной ясности позицию новоиспеченных «новаторов» — вот что видим мы порой в ином современном театре. Не согласен с бессмертными — не трогай их вовсе, ради всего святого, пиши себе на здоровье свои собственные пьесы и сценарии и разыгрывай их, как тебе вздумается»².

Тревога Проскурина мне понятна и близка. Все, что и в его статье, и в ряде других, моих в том числе, статей последних лет говорилось о взаимоотношениях современного театра (кино) с классикой, говорилось и говорится ради того, чтобы повторить вслед за Проскуриным: «Не согласен с бессмертными — не трогай их вовсе!»

Повторяю, это очень верная, очень актуальная в нынешних условиях позиция. Тем более что сейчас, к сожалению, гораздо активнее другая, против которой и протестует Проскурин. С классическими пьесами теперь действительно часто обращаются в театре так, как будто режиссер свое основное предназначение видел в том, чтобы доработать, доразвить, довыявить старые пьесы, на которые он смотрит только как на материал для собственного самовыражения.

Начало такого подхода — в 20-х годах, когда классические пьесы открыто объявлялись классово ограниченными и их

стремились любой ценой «довести» до уровня современных идейных и социальных требований. При таком подходе классиков приходилось постоянно поправлять. Надо было изгонять из их пьес зловредные идеи, им свойственные, последствия их реакционности (или половинчатости, непоследовательности), мелкобуржуазную (буржуазную, дворянскую) ограниченность их идеологии. Надо было, не останавливаясь перед самыми крайними мерами, их активизировать политически. И вот на сцене Малого театра в новой постановке «Волков и овец» Мурзавецкую (ее играла Пашенная) превратили в игуменью, а Глафиру — в монашенку. Так казалось острее, активнее (на очереди дня вставляли задачи антирелигиозные). Ставя «Горе от ума», всячески «извинялись» за Чацкого, стремились дать понять зрителям, что театр вовсе не в восторге от этого говоруна и прекрасно видит дворянскую, барскую подоплеку его красноречия. (На сцене одного крупного периферийного театра я даже видел в 1930 году спектакль, в котором Чацкий решительно ставился под сомнение, но зато поднимался... Молчалин — как представитель прогрессивной молодежью буржуазии!) Курьезов, словом, было много. Но было пусть и неверное, но понятное, естественное желание приблизить классическую пьесу к проблематике дня, к той духовной ситуации, которая тогда складывалась в стране. По этой же причине так много тогда ставили Гюго и Шиллера (особенно «Разбойников» и «Коварство и любовь»), инсценировали Щедрина и Глеба Успенского. И почти не ставили Чехова (часто игрались только «Вишневый сад» и «Водевии»), Толстого (изредка играли «Плоды просвещения», но совсем не ставили «Власть тьмы»), Достоевского (из этого «упадочного писателя» во МХАТе шел «Дядюшкин сон», а на других сценах — «Униженные и оскорбленные»). Островский, Гоголь, Грибоедов шли много, часто, а пушкинские маленькие трагедии и «Маскарад» — очень редко. Даже дореволюционного Горького ставили избирательно: чаще всего шли «Мещане», которых нередко трактовали как разоблачительную сатирическую комедию, и инсценировки «Матери» и «Фомы Гордеева»; но совсем не шли «Зыковы», «Старик», «Фальшивая монета» — пьесы эти были «открыты» одни перед самой войной, другие — после нее.

Не надо по этому поводу иронически пожимать плечами: у всякого времени свои пристрастия, свой круг запросов, обра-

² Петр Проскурин, «Обновление традиций» («Литературная газета», 1984, № 44).

ценных к классике. Мы, например, очень много играем всего Чехова и «Живой труп» Толстого, снова и снова ставим инсценировки почти всех романов и повестей Достоевского, но только на сценах детских театров играем Гюго или «Коварство и любовь». И по-прежнему не играем «Маскарад» и пьесы Пушкина! Такие ситуации надо, полагаю, серьезно анализировать, а не превращать в повод для риторических упражнений, как это частенько бывает.

В том, что каждое время обращает к классике свои особые вопросы, ничего предосудительного нет. Дурно, когда вопросы ставятся так, что пьеса не может, не должна дать на них ответа. И чтобы нужные ответы были все-таки получены, пьесу начинают ломать, подгонять под заранее заданные ей формулы. Тогда неизбежно возникают разной тяжести увечья, искажения, вульгаризаторские упрощения и «осовременивания» старых текстов.

Методологическую опору такие искажения в 20-е годы и в первой половине 30-х годов получали в вульгарном социологизме, это общеизвестно. Большую дань вульгарному социологизму отдал даже такой могучий художник, как Мейерхольд. Но в середине 30-х годов вульгарный социологизм подвергся резкой и хорошо аргументированной критике. В театре перелом отозвался прежде всего в форме возврата к тому отношению к классике, который как закон предполагает бережное отношение к тексту, да и не только к тексту, что и нужно и правильно, а и к приемам его сценической передачи, сложившимся в прошедшие годы. Мейерхольд был предан анафеме. «Принцессу Турандот» Вахтангова в расчет брали, но со множеством оговорок и с извинительными ухмылками по поводу эстетского характера этого талантливого (то, что спектакль был талантлив, никем, кажется, не оспаривалось) опуса молодого режиссера. Играть классику призывали, опираясь на традиции, созданные Художественным театром, но на деле все чаще оглядывались на опыт дореволюционного Малого театра. «Горячее сердце» Станиславского, к примеру, прославлялось в театроведческих трудах, но я что-то не помню в 40-е и 50-е годы спектаклей, которые генетически восходили бы к этой гениальной режиссерской симфонии великого мастера.

Все в наших взаимоотношениях с классикой упростилось и посерело, потускнело. Иногда покой нарушался — то Диким, то Акимовым, то Крушельницким. Но их воле-

ности сразу же получали «заслуженный отпор», и снова все затихало вокруг. Прекрасные и боевые традиции театра 20-х — начала 30-х годов, давшие новаторские примеры прочтения классики, такие, как «Ревизор» и «Лес» у Мейерхольда, «Мать» и «Кола Брюньон» у Охлопкова, «Федра» Таирова, были не просто забыты — осуждены. От них только «отталкивались», чтобы поскорее достичь берега, где все было издавна известно и многократно опробовано режиссерами без своего лица и собственных художественных концепций.

Это не означает, что движение совсем застопорилось, остановилось. Прекрасные, принципиально новые программные спектакли появлялись всегда, скажу даже так: редкий год не давал образец такого прочтения.

Спорить в 40—50-х годах надо было не столько с актерами и режиссерами, сколько с тем теоретическим подходом к проблеме, который декларировался в десятках статей и книг И, разумеется, получал отражение в еще большем числе серых и робких спектаклей. Плоха была непрактика, тут как раз многое следует и запомнить и творчески удержать, безнадежно плохи были теория и точно по ее меркам скроенные спектакли-репризы, спектакли, в которых старые пьесы не истолковывались, а докладывались со сцены в строгом соответствии с известными образцами.

Именно тогда были поставлены под сомнение принципы современного прочтения классики. Протестовали против того, чтобы пьесу ради подгонки под современность ломали, перекраивали, взрывали, до неузнаваемости переиначивали, любой ценой подгоняя ее под заданный заранее результат. С таким способом «решения» проблемы современного прочтения классических текстов действительно надо было не просто спорить, надо было бороться всеми доступными критике средствами.

Но вульгарное осовременивание классики одно, а современный подход, интерес к ней — нечто совсем другое. Каждое время, настойчиво подчеркну снова этот не мной сформулированный тезис, ищет в классике своего собеседника. Стремится найти у него отзвуки на душевные тревоги и сомнения, волнующие зрителей именно этой эпохи. Совершенно бесплодными оказались поэтому даже самые добросовестные попытки найти в классической пьесе не партнера в диалоге, а застывший образец.

Петр Проскурин поэтому проявляет

очень уж большую и неосмотрительную поспешность, когда, справедливо протестуя против попыток развязной полемики с классиками, в то же самое время иронически ставит под сомнение само понятие «режиссерский эксперимент». А заодно и такие понятия, как «современное видение», «современное прочтение» и тому подобное. Потому что без современного видения старой пьесы ее ставить и незачем да и вряд ли сейчас возможно. Не думает же Проскурин, что Шекспира и Шиллера, даже более близких нам по времени Островского и Чехова можно играть так, как их играли прежде, в момент их первой сценической адаптации, как бы такая адаптация ни казалась совершенной их современникам.

Современникам! — вот то слово, которое все в этой ситуации проясняет и ставит на место. Театр — искусство остро современное; существует спектакль сегодня, здесь, в этой зрительской аудитории. И только поэтому можно рассчитывать на понимание и успех.

Мне приятно отметить, что в этом вопросе мои позиции близко сходятся с позициями М. Б. Храпченко, писавшего: «Среди некоторой части зрителей, читателей распространено убеждение, что всякая экранизация, всякая постановка классического произведения должна дать... единственно возможное его воспроизведение. Но в истории театра, а в определенной мере и в истории киноискусства, хорошо известны многие различные и одновременно очень хорошие постановки или экранизации одних и тех же произведений... То, что мы называем жизнью художественных произведений, в театре получает свое выражение в не схожих по своему типу, стилю постановках, осуществленных разными мастерами и в разное время».

Все это — святая правда. С тем разве дополнением, что очень разными и очень хорошими могут быть постановки одной и той же пьесы, осуществленные разными мастерами в одно и то же время. Индивидуальность режиссера — фактор огромного значения. И он далеко еще не поглощается фактором историческим. Товстоногов и Ефремов почти в одно время поставили «Дядю Ваню» и дали спектакли, конечно, разные, но в понимании пьесы все же близкие друг другу. Но когда Товстоногов и Эфрос, тоже почти в одно время, ставили «Трех сестер», спектакли возникли принципиально другие, почти не пересекающиеся между собой.

В этом смысле сноза прав Храпченко,

который настаивает: «Если воздействие художественного опыта литературы предшествующих эпох на современную литературу читатель чаще всего не замечает, то при экранизации и инсценировке классических произведений, в театральных постановках соприкосновение современного искусства и искусства прошлого ощущается достаточно отчетливо. Воссоздание поэтических образов классических произведений в театральной постановке или кинофильме осуществляется теми художественными средствами, которыми пользуются театр и киноискусство нашего времени. И так как поэтика, стилистика классической литературы отлична от поэтики, стилистики современного искусства, то ощущение взаимодействия этих двух начал свойственно многим, а не только обладающим большим эстетическим опытом зрителям и читателям».

И тут мы неизбежно выходим на новый виток проблемы. А как обстоит дело со стилем великих драматургов, со стилистическими концепциями, блистательно разработанными в их пьесах? Они-то остаются неизменными? Или тоже эволюционируют во времени?

Или, возвращаясь к формулировкам, предложенным в начале статьи: есть ли единый стиль в сценических адаптациях пьес Шиллера, Гёте, Мариво, Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина, Горького?

И на этот вопрос нет однозначного ответа.

Не эволюционируют во времени, не могут эволюционировать только бедные стили — бедные как в содержательном отношении, так и в чисто сценическом. То, что по-настоящему значительно, знает бесчисленное разнообразие реализаций, в том числе и в рамках одной и той же сценической эпохи.

Можно поэтому утверждать: возможность разных прочтений, разных истолкований какого-либо драматургического стиля (персонифицированного в чьих-то пьесах или — шире — понятого как некое стилевое образование, предположим, как комедийный театр испанского ренессанса или трагедия французских классицистов XVII века) может служить ярчайшим доказательством его мощи и — отсюда — его энергии, жизненной укорененности, его непреходящего значения.

Мочалов создал эпоху в истолковании Шекспира на русской сцене. Но играть сейчас Гамлета («по Мочалову») было бы так же нелепо, как играть Франца Моора по

Иффланду или Ромео по Росси. Даже самые замечательные исполнители ролей, созданных величайшими гениями драматургии, обозначают в своем творчестве только разные ступени на пути к их постижению. Повторяю еще раз: путь к Шекспиру и Чехову для театра бесконечен. Надеяться поставить на этом пути некую завершающую точку — значило бы думать, что классика исчерпаема. Что в ее постижении можно дойти до всезавершающего конца.

Тем более что во взаимоотношениях театра с автором возможно и такое парадоксальное положение, когда между автором и театром возникает противоречие, которое — вот что тут и интересно, и важно — решается не в пользу автора.

Чехов был в восторге от того, как играли в Художественном театре «Дядю Ваню» и «Три сестры». Но постановку «Вишневого сада» он воспринял резко критически. Факт этот широко известен, поэтому не буду приводить все чеховские высказывания, проникнутые горечью и тяжелым разочарованием.

Достаточно напомнить, что Чехов обвинял Станиславского и Немировича-Данченко в том, что они «в моей пьесе видят положительно не то, что я написал», и даже утверждал: «Я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». Приговор автора был категоричен и, увы, не оставлял для театра никаких надежд: «Одно могу сказать: сгубил мне пьесу Станиславский».

Но «Вишневый сад» в Художественном театре жил, пережил и те спектакли, которые так нравились автору.

Разумеется, сам по себе этот факт нуждается в подробных и обстоятельных комментариях. Сухово-Кобылину, если верить Е. А. Салиасу-де-Турнемиру, очень не понравился в роли Расплюева Садовский. Между тем в сценическую историю пьесы исполнение Садовского вошло как одно из наивысших достижений, получивших поистине всеобщее признание. Однако в случае с «Вишневым садом» все обстояло значительно сложнее, чем в споре Сухово-Кобылина с Садовским-старшим. Недовольство Чехова спектаклем ведь не сводилось к неудовлетворенности отдельными исполнителями. Неприятие вызывало самое понимание пьесы театром.

Он был уверен, что написал комедию, почти фарс, а театр играл ее как драму, полную поэзии и горького, недоуменного лиризма. Характерно: вспоминая спустя почти полвека о том, что произошло зи-

мой 1903 года, Немирович ни одним словом не упоминает о том, что театр проглядел комедийную энергию, которую находил в ней автор.

Между тем спор о том, что такое в жанровом отношении «Вишневый сад», комедия или драма, все разгорался. Вскоре после Художественного театра попытку поставить пьесу как комедию, об этом уже после революции писал Юрий Соболев, предпринял в провинции известный актер и режиссер Н. Соболец-Самарин. Такую попытку он не раз предпринимал и позже, уже в советскую эпоху, но придать «Вишневому саду» комедийное звучание ему если и удавалось, то за счет заметного спрямления психологических линий и упрощения, огрубления характеров. Однако количество желающих прочесть «Вишневый сад» не по Станиславскому и Немировичу, а по Чехову не убывало. Наиболее заметной среди таких опытов стала постановка, предпринятая талантливейшим А. Лобановым на сцене Симоновской студии во второй половине 30-х годов.

В спор включился даже Горький. В своей статье «О пьесах» он утверждал: «Чехов создал... совершенно оригинальный тип пьесы — лирическую комедию. Когда его изящные пьесы играют как драмы, они от этого тяжелеют и портятся».

Увы, на театре было все прямо наоборот. Когда «Вишневый сад» играли как лирическую комедию (на то, чтобы сыграть «Три сестры» или «Дядю Ваню» как комедии, никто, к счастью, не замахнулся), пьеса тяжела и портилась. Побеждали постановки, где расставание с прошлым осознавалось с болью, как неизбежность, но таящая в себе горечь невозвратимых потерь, как победа грубого и пошлого практицизма над никому уже не нужным, но все еще полным очарования идеализмом обреченных на вымирание поколений.

Что же все это должно было означать? Только одно: сцена, театр, интуиция талантливых и чутких актеров и режиссеров проявили в пьесе те ее пласты, которые не осознавались самим драматургом. Он так хотел оторваться от прошлого, так звал к этому отрывать молодость страны, тех, в ком были ее истинные надежды, что в своем собственном восприятии опережал меру своего разрыва с прошлым. Конечно, прошлое в его пьесе отмирало, развеивалось в беге времени, уже стучавшегося в калитку вишневого сада, красивее которого ничего нет в губернии. но, во-первых, стучались в нее не только Аня и Трофимов, а и Лопухин, который, купив вишне-

вый сад, конечно же, осуществит свой план и настроит на его территории десятки дач. А во-вторых, какая все-таки в этом уходе прошлым была разлита красота и поэзия.

В критике всего этого не замечать было не так уж трудно. Была даже книга В. Ермилова, в которой дело было представлено так, как будто Чехов ликует, видя агонию этой пошлячки и тунейдки Раневской и ее никчомушного брата, и даже над гибелью Фирса готов посмеяться смехом победителя, который отправил на свалку не только хозяев всех вишневых садов России, но и их (хозяев) рабов.

Но одно дело критическая монография, где все ограничивается нанесением неких письменных знаков на лист бумаги, а другое дело театр, где ведь надо сыграть, то есть воплотить и Раневскую с ее тоской и неустроенностью, и гибель Фирса, которого живым замуравывают в брошенном до новой весны доме. Попробуйте-ка, смеясь, расстаться на сцене с таким, так увиденным прошлым...

Я ничего не хочу упрощать: спор о «Вишневом саде» продолжается и будет продолжаться, пока жива будет пьеса, то есть как минимум еще не одно столетие. Значит будут пересмотрены, обновлены и те принципы в сценическом истолковании пьесы, которые утвердились, победили сегодня.

Победили не одного лишь Ермилова, а и самого Чехова. Вот что тут важно, вот что тут остро необходимо понять на возможной большей глубине.

С позиций чистого литературоведения подобные казусы не объяснишь, как не объяснишь его только под театроведческим углом зрения. Здесь необходим стык литературоведения и театроведения, их синтез. А пока такой стык не осуществился, остается спросить себя: чем же все-таки является для пьесы театр? Индикатором всех заложенных в ней возможностей! Силой, вызывающей к жизни все объективно свойственные ей художественные потенции.

Ибсен как-то сказал: я пишу свои пьесы, как хочу, а потом предоставляю актерам играть их так, как они могут. Но это не доминирующая позиция. История театра знает гораздо больше прямо противоположных примеров. Когда драматург стремится сковать театр своим видением героев, сценической обстановки, своим ощущением сценической атмосферы, которую должен будет воспроизвести в своей

постановке театр. В пьесах таких драматургов как бы заложена подробная программа будущего спектакля, обозначена его настойчиво, иногда навязчиво разработанная партитура. (Так, кстати, и у Ибсена: декларируя свое безразличие к тому, как станут играть его пьесы в театрах, он сам писал пьесы, закладывая в них программу будущих спектаклей, которую видел с почти иллюзорной определенностью.) Но в том и состоит парадокс театра, что чем более определенный образ будущего спектакля ему навязывает, диктует автор и чем вернее, преданнее театр стремится этому образу следовать, тем более самостоятельным в своем творчестве он становится.

Крупнейшие мастера театра это всегда понимали. Никогда не считали истинно великую драматургию исчерпанной. И не пытались после своих постановок опускать шлагбаум перед новыми искателями истины. Опускать шлагбаумы пытались в 50-е годы некоторые актеры и режиссеры МХАТа, но отнюдь не его создатели.

В своей библии сценического искусства — в знаменитой «Моей жизни в искусстве» — Станиславский предупреждал: «Произведения тех, кто, подобно Чехову, водружает вехи, перерастают поколения, а не поколения перерастают их. Жизненные темы, трактуемые художниками, стареют, утрачивают остроту современности, перестают увлекать тех, для кого не существует перспективы истории. Но настоящие художественные произведения от этого не умирают, не лишаются своей поэтической ценности... Поэтому глава о Чехове еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу».

Написано это было в полемике со временем, которое действительно не могло, не успевало, а то и не хотело вслушиваться в поэзию чеховских прощаний с прошлым. И все же, думаю, было бы очень близиуко свести смысл этого рассуждения Станиславского только к данной — быстро себя исчерпавшей — коллизии. Станиславский ведь мог сказать: искусство еще вернется к нашим интерпретациям чеховских пьес, оно еще повторит наш опыт. Но он сказал нечто прямо противоположное: что глава о Чехове в русском театре еще не прочитана как следует, что ее еще будут читать и читать. И всякий раз читать наново.

Пора перейти к вопросу, который давно уже стоит перед нами: а что такое, собственно, сценическая интерпретация пьесы,

в чем ее смысл и содержание как понятия, как теоретического постулата.

А. Горнфельд, ученый серьезный, много и вдумчиво занимавшийся изучением психологии творчества (с потебнианских позиций), писал: «Создание художника — это только фермент новой жизни, всякий художественный образ есть, в сущности, только прообраз. Можно спорить о подлинном грибоедовском Чацком, но надо помнить, что... грибоедовского Чацкого как устойчивого образа, как некоторого законченного содержания, нет и никогда не было: грибоедовский Чацкий это прекрасная, необходимая абстракция, но это абстракция, схематическое представление, нуждающееся в том, чтобы чье-нибудь индивидуальное понимание заполнило его содержанием». И еще: «Образы, созданные художником, остаются неподвижными, непоколебимыми, бессмертными, пустыми формами, которые сменяющиеся поколения читателей заполняют новым содержанием, новым смыслом».

Тут есть кое-что верное — в эмпирическом отношении, как результат непосредственного наблюдения над процессом художественного восприятия текста. Но все глубоко неверно, ложно методологически. Философски это рассуждение восходит к агностицизму маховского толка, фактически опровергается нашим повседневным художественным опытом. Любого режиссера, думающего так, как Горнфельд, или делающего так, как это вытекает из предложенной им концепции (часто даже не подозревая о ее существовании), можно ведь попросить вложить свои персты в любой художественный образ и убедиться, что он не абстракция, а сама действительность. Что он не только форма, полая и пустая, а всегда еще и определенное содержание.

Горнфельд говорит, что Чацкий, как и всякий художественный образ, это только пустая и, значит, внутри себя ничем не заполненная форма, которая еще только должна быть заполнена нами, в данном случае — театром. Хорошо. Но в этом случае мы должны были бы задаться и другим вопросом, из первого вытекающим. Ну а тот образ, который возникнет в результате интерпретации произведения актерами и режиссерами, он что — только для них будет содержательным? А не такой же пустой формой, какой образ был в первоисточнике? Почему же здесь-то снова не возникнет — для зрителя, критиков — та же необходимость заполнения образов сценических своим, только зрителям принадле-

жащим содержанием? Тот, кто сказал «а», ведь должен сказать и «б». Тут остановиться негде, не на чем. Тут опоры нет, и все зыбко, все расплывается в эфемерном опыте каждого данного сознания. Тут и для полнейшего субъективистского произвола предела нет. Образ-то ведь полый, пустой настолько, что в образованную им форму можно напихать любое содержание.

Иные режиссеры так и поступают.

Но разве Чацкий — это и впрямь только пустая форма, внутри которой нет определенного содержания? Но это же абсурд! Мы столько знаем о Чацком, что было бы нелепостью полагать, что его еще надо заполнить содержанием, чтобы вывести из состояния бессодержательной абстракции. Да и каким именно содержанием его следует заполнять? Отвечающим имманентным ему свойствам? Но их нет, образ-то ведь внутри своей формы пуст. Значит, по произволу — моему, твоему, их? Но такому произволу образ будет жестко сопротивляться: вот ведь как всегда бывает на деле. Он — живой и произвола над собой не терпит. Навязанные ему трактовки отторгает. Он ведь определен и есть такой, каким его создал Грибоедов. Как и всякий живой образ. Поэтому когда в недавней книжке об Островском М. Лобанов рассказывал о Кабанихе, что она ревностная и справедливая попечительница интересов своего рода и только оберегает его устои от нарушившей их Катерины, то есть когда он предлагал нам встать на точку зрения Кабанихи против Катерины, то эта точка зрения на пьесу, может быть, и была любопытна как крайняя точка на пути, идя по которому часть нашей критики еще недавно торопилась продвигаться как можно дальше от наследия критиков революционно-демократического лагеря. Но к пьесе эти домыслы никакого отношения не имели и не могли иметь. Как ни крути, как ни трактуй «Грозу», а все-таки каждому видно: Островский писал ее за Катерину и против Кабанихи, против охраняемого ею калиновского царства, где нравы — жестокие, не забудьте и этого, товарищи критики и режиссеры!

То же и с Чацким, который показался таким абстрактным Горнфельду. Он ведь рассуждает, думает, любит, ревнует, ненавидит. И совершает целый ряд поступков, ставящих его в определенную позицию по отношению и к Софье и ко всему ее окружению. И попробуйте-ка абстрагироваться от этого фактического содержания и его роли и всей пьесы в целом!

В чем же в таком случае состоит воз-

можность, нет, скажу точнее, определеннее: необходимость движения внутри образа, которая составляет суть и предназначение сценического искусства?

В творческой и, значит, современной интерпретации объективно данного в пьесе и каждом отдельном образе содержания. Объективно данного — вот тут в чем суть проблемы. Вот в чем ее реальные, ни для кого не являющиеся нейтральными (условными, абстрактными) границы и перспективы.

Подобно тому как литературный образ не дает зеркальный образ реальности, так и театр никогда не дает зеркальный сценический образ образа, данного драматургом. Он его не повторяет, а интерпретирует. То есть прибавляет к нему самого себя. Свой жизненный, социальный опыт. Свое эстетическое видение, свою точку зрения на жизнь и идеи, воплощенные в образе драматургом.

Активным является восприятие текста и в процессе обычного чтения. Напомню в этой связи то, что говорил о сотворческой природе чтения В. Асмус. «Повторяя в какой-то мере путь воображения, чувства, мысли, пройденный при создании произведения автором... — писал он в работе «Чтение как труд и творчество», — читатель вновь пройдет этот путь в своем восприятии не в точности по авторскому маршруту, а по своему и — что всего важнее — с несколько иным результатом».

Теперь замените слово «читатель» словом «режиссер» или «актер», и вы получите ступок проблемы, как она стоит в каждодневной практике театра у нас и во всем мире. С той лишь разницей, что читатель не может «прокрутить» в своем восприятии отдельные кадры, из которых складывается рассказ, по-своему меняя их порядок и очередность (хотя, бывает, что читатель какие-то «кадры» и пропускает как для него неинтересные), а режиссер — может. И часто пользуется этим правом с неосмотрительностью, заслуживающей самого резкого осуждения. Возьму только один пример. В 1980 году О. Ефремов заново поставил в Художественном театре «Чайку». В Художественном — прошу это заметить особо! Спектакль во многом оказался достоин его таланта. На сцене была чеховская атмосфера, были глубокие и интересные интерпретации отдельных кусков, были актеры, игравшие превосходно, по-чеховски тонко и умно: Вергинская — Нина, Попов — Сорин, Мягков — Треплев. Но что сделал Ефремов с текстом?! Как он с ним обошелся! **Дивный** финал

первого акта («О, колдовское озеро!») перенес во второй, причем дал его почти впритык к финалу этого акта, не менее вдохновенному и поэтичному. Переставил внутри актов многие реплики и даже целые диалоги. А роль Медведенко позволил сыграть Сергачеву по черновикам Чехова, им отброшенным, даже не удосужившись, видимо, подумать о том, почему все-таки автор этот текст отбросил (по-своему он очень ярок, но придает Медведенко несколько анекдотический характер, в чем-то как бы предваряющий Епиходова). С текстом, словом, он обошелся так, как будто это был не Чехов, а какой-нибудь безвестный и бесталаный имярек. Я ожидал бури возмущения в критике. Но только в статье Т. Шах-Азизовой я прочел: в спектакле Ефремова «спора (с духом текста Чехова.— Е. С.) нет, есть согласие с Чеховым, но и «вторжения» в текст тоже есть. Восстановленные бытовые реплики мельчат образ; исповеди героев наедине с собой теперь обращены к молчаливым собеседникам; перекомпоновка сцен не всегда оправдана (она нигде не оправдана! — Е. С.) и рвет порой мелодику пьесы (всегда ее рвет! — Е. С.) в спектакле, построенном именно на внутренней музыке „Чайки“».

Сказано — по моему темпераменту — излишне мягко, но сказано! Спасибо Шах-Азизовой и за это! Другие ведь и так об этом вопиющем пренебрежении авторской волей Чехова на сцене театра Чехова не сочли нужным упомянуть. То есть не выполнили свой прямой долг по отношению к Чехову, которого они, я знаю это, искренне любят и превосходно изучили.

Но бог с ней, с этой «новацией» Ефремова. бывали ведь случаи и похуже, страшнее. О некоторых из них мне пришлось писать за последнее время не один раз. Впрочем, я заговорил не о ком-то другом, а именно о Ефремове именно потому, что это — особый случай. Случай грубого членовредительства, произведенного над Чеховым художником умным и Чехова любящим, понимающим (что подтвердил и его замечательный «Дядя Ваня», где, кстати, каждая строка была на месте и всякому куску определена та позиция, какая задана ему в пьесе).

Возвращаюсь к теоретической сути интересующей нас проблемы. Мы уже знаем: Гамлетов было столько, сколько было выдающихся актеров, игравших эту роль. Чацких — тоже. Но это были все же разные ипостаси того единственного Гамлета

(Чацкого), который материально закреплен, зафиксирован в тексте пьесы Гамлет был и есть один, но во множестве воплощений

Значит, понятие образа предполагает его лабильность? Его относительную (то есть в пределах, предудказанных некоторыми константными свойствами, изначально и навсегда свойственными образу) подвижность, способность к изменениям, когда внутри образа героя актером меняется точка зрения на те или иные мотивировки совершаемых им поступков; когда, тоже в пределах констант, указанных автором, переосмысливаются и переоцениваются некоторые его мысли: на первый план выдвигаются те, на какие не обращали внимания прежние исполнители, и отодвигаются в тень другие, на которых как раз и акцентировали наше внимание в театре прежде; меняются подтексты; открываются новые просторы внутри совершенно определенной, заданной автором реальности каждого данного художественного образа — не только Гамлета или Чацкого, но и Полония и Клавдия или Загорецкого и Репетилова.

Да, отрицать лабильность художественного образа значило бы идти против очевидности, обречь себя на непонимание того для всех очевидного факта, что Гамлет, и оставаясь самим собой, неостановимо меняется. И на встречу с нами выходит из рук разных актеров разным, иногда очень не похожим на тех Гамлетов, каких мы знали раньше.

И это не дурно, а хорошо, это сообщает нашему восприятию классических текстов динамизм, позволяет бросить на них новый свет, излучаемый именно нашим временем.

Сирано де Бержерак заметил в утопии «Иной свет»: истина есть во всем. Что же, в искусстве интерпретации классики так и бывает. За исключением тех случаев, когда театр не входит в образ, а ломает его, обращает в поле для своих совершенно произвольных комбинаций. Тот же автор считал, что человеку «дает зрение огонь его души». И тут он снова был прав: художник театра правильно видит текст тогда, когда зажигается от него пламенем, освещающим не только этот текст, но и время, когда спектакль создается, со всеми его проблемами и духовными исканиями.

Но почему все это оказывается возможным? Казалось бы, если текст един и лежит перед нами такой, каким его в последний раз пересмотрел и отредактиро-

вал сам автор, то на этом и надо остановиться.

Нет, останавливаться на этом не надо. Нельзя. Ведь в каждом тексте, в каждом художественном создании наличествует не одна, а две формы: внешняя и внутренняя. Внешняя — это и есть само произведение в реально присущей ему последовательности событий, определенности поступков, ритмических членений, поступательном движении диалогов и повествовательных пластов. Внешняя форма — это то, что мы можем потрогать, процитировать, явить во всей неопоримости ее бытия, ее конкретности. Я знаю: «Горе от ума» начинается монологом Лизы, который занимает столько-то стихов, знаю, что потом входит Фамусов и начинает свою игру с Лизой; что вслед за этим появляются — так нестати — Софья и Молчалин; что после того, как мужчины уходят, на сцене остаются Софья и Лиза, которые взволнованно обсуждают случившееся, а попутно вспоминают о Чацком, и что только после этого является сам Чацкий, предваряемый докладом лакея. Это все и есть то, что я называю внешней формой произведения. И она, эта форма, для всех одинакова. И для всех одинаково обязательна. Она образует первый ряд констант, строго детерминирующих деятельность интерпретирующего этот текст художника.

В чем же она, эта деятельность, может проявляться? В том, что составляет внутреннюю форму текста. В этой сфере все открыто для инициативы художника, так как именно его воли, его интенций и не хватает тексту, чтобы в каждом данном случае приобрести свою особую определенность. Свою выраженность и осмысленность, объясненность — всякий раз в чем-то иную, особенную.

Конечно, эта внутренняя форма неразделимо связана с внешней формой и проявляется только в ее границах. Связи тут тотальны, всепроникающи. Внутренняя форма проявляет себя только в границах внешней, а внешняя практически не существует как некая «вещь в себе», так как сейчас же превращается в «вещь для нас», едва только мы эту внешнюю форму воспримем и, следовательно, начнем как-то интерпретировать. Внешняя форма, таким образом, детерминантна по отношению к форме внутренней, а внутренняя придает ей те значения, которые определяются направленностью нашей — актера, режиссера, зрителя — идеологической, моральной, художественной установки.

Что же кроется под термином «внут-

ренняя форма»? Все, что относится к объяснению, истолкованию текста, все, что выбирается из многих возможных вариантов как наш единственный вариант для объяснения и данного куска, и всей линии поведения героя в целом, и всей суммы взаимоотношений его со всеми другими персонажами. Как на уровне каждого данного куска, так и на уровне всего произведения, во всей его сложности и внутренней многомерности

Если бы был прав Горнфельд и образ действительно являл собой всего лишь некую пустую форму, то ее, эту форму, повторю это еще раз, можно было бы заполнять любым содержанием. Но это не так. Всякое доминантное, регулирующее начало при таком понимании художественного произведения стало бы условностью, определяемой разве только требованиями нашей художественной памяти, диктатом до нас сложившейся традиции. Но диктат традиции в таком понимании — начало только консервативное, тормозящее свободное движение театрального да и всякого искусства. Так что лучше бы такое консервативное начало совсем отбросить и... наполнить «пустую форму» образа, хотя бы Гамлета, так, как, к примеру, попытались ее наполнить в начале 30-х годов Н. Акимов и А. Горюнов? Вместо борений духа, призванного веком понять, почему так катастрофически распалась связь времен и почему именно ему, Гамлету, приходится эту связь восстанавливать, у них появился brutальный деляга-парень, у которого отняли корону, а он вовсе не собирается ее отдавать. И дерется за нее с такой энергией, с какой дрался бы за свою корону какой-нибудь Фортинбрас.

Иначе взламывали внешнюю форму трагедии английские кинематографисты, представившие свою экранизацию на фестивале в Западном Берлине. В этом фильме Гамлет раздваивался на начала мужское и женское, и каждое из этих начал вело в нем борьбу за преобладание, за власть. Мужское начало заставляло принца любить свою мать (по Фрейд) и ненавидеть возлегшего на ее ложе Клавдия, а женское начало делало Гамлета безоружным перед Клавдием, перед его чисто мужским обаянием, которому Гамлет в своей женственной ипостаси не мог противостоять.

Привожу эти примеры чтобы сказать: внешняя форма произведения не пуста, а содержательна. И далеко не все интерпретаторам разрешает

С этой точки зрения трактовка, предложенная в английском фильме, отличается

от того, что сделал с трагедией Шекспира в Театре имени Сундукяна режиссер А. Хандикян, только тем, что та, английская трактовка была непереносимо пошла, а в армянском театре — тенденциозна, грубо одностороння и навязчива. Хандикян услышал в Гамлете только то, что Дания — тюрьма. И закрыл свои уши для всех других значений, в трагедии развернутых. И богато, многоцветно в ней разработанных. Декорация в Театре имени Сундукяна вся состояла из системы решеток, то на несколько сантиметров поднимающихся над полом так, чтобы какой-нибудь персонаж мог просунуться, пролезть почти ползком в открывшееся на миг пространство, то образующих сплошное кольцо. Что же до персонажей, то они только тем и были озабочены, чтобы мы ни на секунду не забыли, что мы — в тюрьме. И преотличной! Даже Горадио стал при такой трактовке шпионом, представленным королем к опасному претенденту на престол. А все действие свелось к тому, что Гамлет стремился вырваться из тюрьмы, где все остальные персонажи чувствовали себя как дома, и так и не преуспел в этом своем — ни для кого не достижимом — намерении.

Естественно, так сузив контуры внутренней формы спектакля, режиссер должен был сломать и ее внешнюю форму. И настолько что, как я сам в этом скоро убедился, слушать спектакль без наушников оказалось для человека без знания армянского языка делом совершенно невозможным. Чем лучше вы знали текст трагедии, тем труднее вам становилось понять, что же именно в каждую данную минуту происходило на сцене!

Но это опять пример, позволяющий сделать вывод: разрыв с внутренним смыслом пьесы всегда (или почти всегда) ведет за собой разрушение, разлом ее внешней структуры также.

Между тем внешняя форма уже сама по себе достаточно полисемантическая, чтобы дать простор для конструирования внутри своей структуры многих и разных внутренних структур.

Здесь, в этой сфере, все подвижно, лабильно, все неистощимо изменчиво, все постигается (через анализ внешней формы) в многообразии вариантов, по сути, не знающих какого-то одного всезавершающего варианта, делающего раз и навсегда ненужными все дальнейшие поиски.

Тут, впрочем, я слышу предостерегающий голос критика, пусть им будет Вл. Гусев. В дискуссии о судьбах (о печальных

судьбах, следует признать без обиняков) классики на современном киноэкране, проведенной на рубеже 1984—1985 годов «Литературной газетой», он спросил меня: вот вы настаивали в своей статье («Победитель проигрывает») на том, что важен дух, а не буква (я писал не совсем так, дух от буквы не отрывал, в этом читателю статьи легко было убедиться, но не ради этого уточнения я вспомнил о Гусеве), а кто же будет решать, каковы результаты, добытые в итоге такой ориентации не на букву, а на дух произведения? Вл. Гусев писал: Сурков «снова вспоминает, что главное — дух произведения, что если и менять детали, так в угоду духу, а не букве и так далее (я несколько спрямляю его широко развернутый тезис, но суть именно такова). На это встает новый тревожный вопрос: а судьи кто? Одному кажется, что дух, другому кажется, что буква. Они ломают копья — а между тем Васья слушает да ест: классические тексты искажаются. А там разбирай, дух или буква».

Кто судьи в этом вопросе? Да мы с вами. Вл. Гусев, и есть эти самые судьи! То есть не мы, конечно, как таковые, а мы как профессия, которую мы представляем, мы как выразители общественного мнения, если, конечно, мы на такую роль способны, мы — как коллектив, которому и надлежит сообща, в открытой дискуссии решать такие вопросы. Иначе зачем мы вообще существуем?

Или кто-то думает, что проблему можно «снять» приказом: с сего числа спектакли и фильмы ставить, верные классике не только по духу, но и по букве! Что же, бывали и такие приказы, людей моего поколения не удивишь и такого рода административной категоричностью, сейчас, к счастью, совершенно невозможной.

Да только какой именно «букве» надо следовать? Той, что была в роли Чацкого у Качалова, или той, что у Царева? Какова буква, огненными письменами начертанная на страницах шекспировского «Гамлета», — та, что была у Мочалова, или та, что у Смоктуновского?

Раз уж издавать приказы, то придется в них и такого уровня вопросы оговорить. Иначе снова придется спрашивать: а в этом-то вопросе к кому обращаться как к непогрешимому судье? К традиции? Но ведь и она тоже развивается, меняется, живет. Ее нельзя хранить, как консервы! Значит, что же остается? Спорить. Всякий раз на деле, на практике уяснять теоретические аспекты проблемы. Словом, зани-

маться делом, ради которого критика и существует.

Тут-то и возникает тот главный вопрос, вокруг которого вот уже не первое десятилетие ведется спор о наших правах и обязанностях по отношению к классике.

Я сформулировал бы его суть так, как его формулировал еще Гамлет. Когда, восхитившись способностью актера воспламеняться от предложенной ему автором драматической ситуации, он взволнованно и растроганно хотел понять: что ему Гекуба? Почему и ради чего его так волнует ее судьба?

Вл. Гусев совершенно прав, когда, имея в виду отношение к классике в театрах и на экране, действительно часто способное вызвать даже не огорчение пополам с недоумением, а только гневный протест, напоминает в уже цитированной статье: «В этой ситуации безответственность смерти подобна. Рисуем слишком многим. Культура и дух не даются задешево, а мы, с легкой руки иных деятелей кино и телевидения, порой хотим взять их именно духовно задешево... Вульгаризации никогда не доводили до добра: самые высокие идеи в мире были более всего скомпрометированы не их прямыми врагами, а их вульгаризаторами. То же будет и с классическими идеями и, главное, с самим классическим художественным уровнем».

Прекрасные слова! И тревога в них выражена столь же обоснованная, сколь и жгучая. Тут нельзя не волноваться. Не волноваться тут — значило бы молча наблюдать, как расхищают, опощляют самое дорогое, что есть у нации: ее культуру, выраженную в великих шедеврах слова, как ее, эту художественную память народа, размывают грубыми поделками и развязными домыслами.

В этом смысле был глубоко прав и Петр Проскурин, когда просил режиссеров, не способных полюбить великие ценности народного духа, лучше не касаться их своими «бестрепетными руками».

Но ведь касаются! И с каким самодовольством! С какой странной уверенностью, что классик только и ждал, чтобы имярек порезвился побойчее на его кровью собственной души вспоенных страницах...

Хуже того: находятся критики, которым такое опускание классических шедевров до уровня вкусов наименее требовательной, эстетически не воспитанной части публики кажется делом естественным и даже нужным. Приведу только два примера. Оба заимствованы из журнала «Искусство ки-

но» и оба поражают глухотой к литературному слову, к его значению и сути.

Ю. Богомолов, критик одаренный, острый, но на этот раз ставший жертвой своеобразного «киноцентризма», напомнил недавно о печально известном фильме Л. Гайдая «Инкогнито из Петербурга». Богомолов согласен с тем, что фильм потерпел неудачу, но, оказывается, не потому, что «Ревизор» в нем был опошлен и неузнаваемо вульгаризирован, о чем в свое время много и откровенно писала критика (наиболее определенно писала ранее в том же журнале И. Вишневская). Вопрос об отношении фильма к Гоголю вообще занимает Богомолова мало. А если и занимает, то настолько своеобразно, по-особому, что грешно было бы не остановить на его статье внимания. В ней, повторяю, неудача картины Гайдая признается, но безотносительно к самому «Ревизору». Если в чем, по Богомолову, и виноват Гайдай, то только в том, что не сумел достаточно последовательно и цельно выразить себя самого, свою любовь, род недуга, к комедиям «эксцентрического кинематографа маскарадного типа»! Не удалось дать простор своей тяге к погоням и дракам, которые были так увлекательны для части зрителей в «Кавказской пленнице» или «Бриллиантовой руке»!

Ну а если бы удалось? Если бы эта тяга к комедии трюкового типа была осуществлена на костях «Ревизора» профессионально крепко? Умело? Обрадовало ли бы это автора статьи?

Казалось бы, как-то неловко даже задавать такой вопрос человеку умному и образованному. Но, оказывается, критик такую возможность не отвергает. «Конечно, «Ревизор» Гоголя для Гайдая — новый повод для новых трансформаций и погонь (бр-р! Страшно такое подумать, не то что написать.— Е. С.), и никакой другой роли в фильме «Инкогнито из Петербурга» классический текст не играет». Что это: беспощадный и безоговорочный приговор фильму? Нет. Богомолову кажется, что возможен и такой подход к классике «Согласимся, — благодушно рассуждает он, — что роль (текста, гоголевского текста! — Е. С.) эпизодическая. Но ведь играют же большие актеры маленькие роли. И судят их критика не за то, что они играют, а за то, как играют».

Ну а кому судить критика за то, что он санкционировал придание гоголевскому тексту (гоголевскому! — Е. С.) роль всего лишь «эпизодического лица»? Кому судить журнал за то, что он повел дискуссию о

судьбах отечественной классики на экране на подобном антилитературном уровне.

Но к Богомолову спешат пристроиться и некоторые другие критики, обратившиеся, например, к рязановской экранизации «Бесприданницы».

Очень не хочется возвращаться к этой теме. После гневных статей М. Швыдкого «Достоинство классики» («Правда», 1984, № 351), Д. Урнова, Вл. Гусева (обе в «Литературной газете», 1984, № 44 и 47), В. Туровского («Советская культура», 1984, № 137), А. Дрознина («Комсомольская правда», 1984, № 249) — всех не перечислить, так их было много, — после потока читательских писем в редакцию «Литературной газеты» снова начинать разбираться в «Жестоком романсе» скучно и, казалось бы, не для чего. Оказывается, есть для чего. Оказывается, возможно не только защищать постановочные решения режиссера (глухо оговаривая свое огорчение по поводу того, что не все из них Рязанову удалось одинаково успешно реализовать), но и строить на основе своего разбора картины целую теорию ориентации части советских кинематографистов на так называемые нижние слои культуры.

С одобрением и сочувствием строить — вот что тут самое удивительное, самое нелепое!

О том, что такие слои у нас есть, что их бытование — не выдумка досужих теоретиков, а факт, реальность, что есть у нас и искусство, ориентированное на эти слои, занятое их добросовестным обслуживанием, писали Ю. Давыдов, В. Толстых. В чем-то спорно, но целеустремленно, взволнованно рассуждал Ю. Андреев, который серьезно был озабочен поисками путей как эту ориентацию преодолеть. Не потеряв при этом читателей и зрителей, эти «нижние слои культуры» образующих!

Но все они писали об этих «нижних слоях культуры» с тревогой, как о сложной и трудной проблеме, нуждающейся в том, чтобы мы начали наконец ее решать. Решать в свете наших исходных представлений о народной, демократической культуре социалистической эпохи. В свете великой ленинской мысли о том, что искусство при социализме призвано, объединяя «чувство, мысль и волю» масс, «поднимать их», что искусство при социализме «должно пробуждать в них художников и развивать их». В том, чтобы последовательно, действительно следовать этой ленинской установке, как всем известно, даже нашим

недругам, всегда была цель и задача партии, была цель и задача всего нашего искусства.

Не так выглядит эта ситуация в статьях, где некоторые критики, обнаружив в «Жестоком романсе» сознательную ориентацию на «низшие», то есть отсталые³ слои зрительской аудитории. что, к сожалению, во многом верно. именно за это (!) и хвалят картину⁴. «Жестокий романс»,

³ В наших общественных условиях говорить о «нижних слоях культуры» можно только в этом значении. Низших и высших слоев в нашем обществе ведь, как известно, нет. Значит, есть только проблема той части зрителей и читателей, которая отстала от передовых слоев общества в своем понимании искусства и литературы, в своих интересах, запросах и вкусах. Стоит пока еще на более низкой, чем другие читатели и зрители, ступени в своем эстетическом развитии. Как преодолеть эту отсталость, которая вовсе не сводится к вопросу об образовательном цензе, так как отсутствием слуха к искусству, неразвитым вкусом могут страдать и некоторые представители высокообразованных слоев, и составляет проблему, над разрешением которой задумываются все чаще философы, социологи, критики, писатели, все кроме, пожалуй, работников кинопроката. Которые слишком часто ориентируются как раз на отсталые вкусы части зрителей, не стремятся к поиску путей к тому, чтобы систематически способствовать поднятию художественной культуры зрителей, пробуждению в них художников. То есть людей воспринимающих искусство осознанно творчески, а не потребительски, не как средство непритязательного развлечения и отдыха.

⁴ Мотивы такой трактовки картины имеют место и в статье Г. Масловского «Вечно новый старый спор» («Искусство кино», 1985, № 3). На статье этой стоит остановиться особо. Г. Масловский считает, что нельзя жанровое решение двухсерийного фильма уподобить романсу, поскольку романс форма короткая, а фильм — длинная. Наблюдение интересное. Жаль только. Гарсия Лорка погиб так и не прочитав статьи Масловского. И поэтому так и не узнал, как он заблуждался, когда простодушно наименовал свою драму «Мариана Пинеда» «народным романсом в трех актах». Не менее интересно узнать, что А. Петренко играет Киурова так, что остается впечатление, будто он, Киуров, «может вполне серьезно рассматривать вариант женитьбы на Ларисе». Между тем Петренко, конечно, хорошо известно, что Киуров женат, а Ларису — после того, что случилось, — хочет сделать своей содержанкой. И именно таким он Киурова и показывает. Паратова критик жалеет, поскольку тот «терпит уже не просто поражение, а сокрушительный крах»; продает «Ласточку» и женится на дочери сибирского золотопромышленника-миллионера, которую не любит. Критику невдомек, что такой брак для Паратова, и для того, которого дает Н. Михалков, и для того, что у Островского, — не крах, а жар-птица, сле-

читают они, демонстрирует свою устремленность именно к этим слоям. И, следовательно, к Эльдару Рязанову мы должны относиться как к режиссеру, все свое творчество поставившему на службу не серьезной, взыскательной авангардной части современной киноаудитории, а только ее низшего, отсталого слоя!

Уверен, что это не так. И что в этом пункте талантливый режиссер нуждается в том, чтобы его решительно защитили от его неловких адвокатов.

У Рязанова бывали уступки плохому вкусу, бывали и целые фильмы («Итальянцы в России»), сделанные в расчете на самую невзыскательную часть аудитории, бывали просчеты — художественные, стиливые — и в некоторых сильных его работах («Вокзал на двоих», «Гараж», «Зигзаг удачи»). Но в лучших своих достижениях он работал не на понижение, а на повышение и социальной активности и художественного уровня советской кинематографии. Работал талантливо, ярко, шел в одном ряду с лучшими мастерами советской и мировой кинокомедии. Его «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман» — классика советской кинокомедии. В них скрывается ум, острая самобытная мысль, празднует победу тонкая точная наблюдательность, в них — умение мыслить не шаблонно, идти своими путями, открывать свои типы в реальности и свои приемы для их комедийной трактовки.

Как же можно было автора таких картин — с похвалой! — отнести к числу тех (а они, такие режиссеры, у нас есть, и в количестве поистине утрашающем), кто ориентируется на «нижние слои культуры»? Версию эту, думаю, надо отбросить как полностью несостоятельную. И под видом похвалы непростительно принижающую значение картин этого мастера.

Как, в самом деле, не подивиться тому, что теория ориентации на «низшие слои

тевшая к нему в руки; что же касается свободы, то, спешу успокоить Масловского. Паратов как-нибудь с этой проблемой справится. Критик полагает далее, что экранная Лариса вполне отвечает отзыву Вожеватова, который считал (диалог этот в фильм не вошел), что Лариса простовата: «Не глупа, а хитрости нет...» Хитрости в Ларисе — Гузеевой действительно нет, но нет и той простоватости, которую нашел в ней критик. Роль Гузеевой удалась мало, но к простоватости она, конечно, героиню пьесы не вела. Перечислять лягушсы, которыми пестрит каждая страница статьи Г. Масловского, можно долго, очень долго. Но скучно. Неинтересно.

культуры» развивается в стране, где впервые в истории человечества осуществилась истинная демократия И в политике, и в отношении к искусству. Ведь это у нас к высшим достижениям культуры — впервые в истории человечества — оказались приобщены широчайшие массы зрителей и читателей Приобщены — к Шолохову и Твардовскому, Леонову и Ауэзову, Айтматову и Быкову, Эйзенштейну, Довженко, Пудовкину, Козинцеву, Юткевичу, Шукшину. Как же у нас могла появиться теория согласно которой равенство на отсталые слои зрителей провозглашается как норма как программа, которой, видим, надо следовать — и не только постановщику «Жестокое романса», а и его коллегам.

Нет, какая уж тут Гекуба! Зачем она кинематографистам, театральным режиссерам, критикам, ориентирующимся на этот круг потребностей, интересов, вкусов действительно определившийся, выкристаллизовавшийся среди некоторой части зрителей и читателей? При активной помощи, добавлю современной эстрады или таких пластов нашего кинематографа, какие представлены «Пиратами XX века», «Трактором на Пятницкой», «Лидером», «Опасными гастролерами», «Вакансией», да что там перечислять отдельные названия, когда их сейчас на афише целый сонм. А книжки известного толка??

Существует даже мнение, что такие картины, повести, эстрадные шлягеры играют свою положительную роль. Поскольку способствуют приобщению к искусству тех групп читателей и зрителей, которые ни в каком искусстве потребности вообще не испытывают. В театр почти не ходят, о вернисажах слыхом не слыхали, а если и читают, то только детективы Николая Леонова и Леонида Словина. Полагают: почитают такие читатели Николая Леонова, а потом глядишь, и за Леонова Леонида возьмутся, посмотрят «Трактор на Пятницкой» или «Опасные гастролеры», а потом валом повалят на «Неоконченную пьесу для механического пианино» или таланкинский «Звездопад». Я в такую «эстафету» не верю. Я думаю, что плохая литература, как и плохой кинематограф, плохой, дурного вкуса театр стоят преградой на пути к искусству истинному. Читателя и зрителя испортить, деформировать ему вкус легко, даже легче легкого. А вот потом вернуть его от «Инкогнито из Петербурга» к «Ревизору», от «Вакансии» к «Доходному месту» — трудно, очень трудно. Если вообще возможно.

Все это, как видим, имеет прямое отношение и к проблеме современной адаптации классики. Что нас интересует в ней? Жесткие романы или все-таки Гекуба? Кому быть в наших театрах и кинозалах? Высокой классике или ее уцененным эрзацам?

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать Ст. Рассадина, который оспаривая антиоблолюбовскую трактовку «Обломова» в картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», писал: «Спорить можно со всеми в том числе, конечно, и с Добролюбовым (современное наше литературоведение получило — и использовало — возможность разглядеть в романе то что не вполне было видно ему, который вел войну вплотную и врукопашную) — есть, однако, нечто неоспоримое: существование обломовщины, Обломовки, не придуманной Гончаровым в припадке художественной фантазии, не сухо сформулированной Добролюбовым, а увиденной ими обоими в реальной русской действительности того явления, которое история наша изживала с такой страстью и мукой, что любоваться издали «обломком Эдема» или куском «некогда громадного пирога» — это не только, ну, скажем, неисторично. Это просто не занятие для серьезных людей, ибо того, что было мучило, не изъять ни из истории, ни из исторического сознания».

По-моему, это сказано превосходно. Из прошлого-то к нам ведь действительно протянуты не только высокие традиции народности, обостренного чувства социальной справедливости, гордости за наш великий народ, уважения и любви ко всем другим народам, но и — обломовщина, мещанский эгоизм, небрежение чужой судьбой, шовинизм и многое другое, что волновало, мучило, тревожило и гневало в свое время не только величайших выразителей народного духа, но и всех честных, любящих Россию не показной, а деятельной, требовательной любовью писателей и артистов, художников и критиков. Глупо списывать все наши недостатки на пережитки прошлого. От этого прошлого нас отделяют уже без малого семьдесят лет, и за эти семьдесят лет мы, увы, успели не только создать свои новые — высокие и благородные — традиции, но и свои собственные пороки и изъяны. У нас возникли и навыки своекорыстия, и — как нередкая черта общественной психологии — обломовское нежелание и неумение честно трудиться, лень, как и привычка путать карман общественный, государственный со своим личным. И мно-

гое — увы, действительно многое — другое, не менее тягостное и обидное.

Так для чего же нам стоит обращаться к произведениям великих правдолюбцев наших, великих мучеников за идею и социальную справедливость? Именно для того, чтобы эти духовные заветы требовательно и, если надо, то и тревожно стучали в сердца современных зрителей. Для того, чтобы новые спектакли и фильмы, поставленные по классическим текстам, выводили зрителей на духовные высоты, в этих текстах обозначенные. Не их снижали до вкусов пресловутых «нижних слоев культуры», а если надо, то и поднимали до них. До тех идеалов человечности, социальной справедливости, исторического оптимизма, народности, глубокого демократизма, непокупной правдивости, совестливости, честности, душевной тонкости и чуткости, которые были присущи всем истинно великим нашим предшественникам и учителям.

Спор о способах и принципах современной интерпретации классики — это не спор узкотерейтический и уж, конечно, не спор, который ведется и решается в узком кругу профессионалов. Это спор, который ведется и решается на просторах всей нашей современности, в контексте революционной нашей эпохи, той культуры, которую социалистическая революция создала и утвердила. чтобы впервые в истории стало возможно подымать массы к высотам культуры и пробуждать в них художников, формировать высокое и зрелое общественное, художественное самосознание.

...Что ему Гекуба? — с изумлением спрашивал себя Гамлет, видя как заливается волнением и болью лицо актера, которому выпало на долю изобразить несчастную жену последнего троянского царя. Действительно, что ему было до нее, видевшей, как в бою с Ахиллом погиб ее сын Гектор и как были уведены в плен ее дочери Андромаха и Кассандра, но пережившей все это так давно, века тому назад. У него же были свои заботы и свои волнения, с теми, что терзали далекого от него, как звезда, царяцу ничего общего не имевшие. Но он загорелся, вспыхнул, как пламя, едва только ему пришлось принять в себя страдания Гекубы. И тем пристыдил, взволновал и духовно приподнял Гамлета, у которого, как он сам говорит, было несоизмеримо больше, чем у забредшего в Эльсинор комедианта «повода и подсказа для страсти».

Ему потому-то и стал нужен он, этот актер, с его высоким умением «держать зеркало перед природой», что Гамлет смог с его помощью высвободить в себе волю к действию. И ощутить в себе ту жажду справедливости, в какой так нуждалась его собственная душа.

...Так что нам Гекуба? Сегодня, сейчас. Что она режиссерам, актерам, зрителям, критикам?

Думаю, и сегодня она — призыв к искусству, несущему в себе огонь высоких помыслов и стремлений, идеалов и надежд. И сегодня она — знак искусства, рождаемого стремлением к тем духовным ценностям, ради которых человек сбросил с себя «ветшающего Адама» и вышел навстречу своему очищающемуся от мешанского своекорыстия и пошлости будущему.

Не забудем же об этом, когда будем оценивать новые постановки классиков — наших и западных. И, конечно, коль скоро именно это имя вынесено в заглавие статьи, постановки величайшей из великих трагедий мира — трагедии о Гамлете, принце Датском. Гамлетов было много, будет еще больше. Надо только, чтобы все они, будучи разными, отличными друг от друга, были шекспировскими. И через его трагедию вели разговор с нашими зрителями о таких вопросах жизни и смерти, таких бытийственного значения проблемах, какие не только были под стать шекспировскому герою, но и, что особенно важно, актуальны, остро значимы для нашего современника.

Теоретики, специально занимающиеся проблемой интерпретации как проблемой гносеологического значения, пишут «об онтологической открытости художественного явления», о «переводе его культурного содержания из знаковомерных форм в реально-конститутивные, функциональные формы культуры»⁵.

Этого тоже никогда не следует забывать ни режиссерам, ни актерам, ни, боже упаси, критикам. Интерпретация классики в свете современных проблем — задача настолько важная, что любая вульгаризация, любое упрощенчество в этих вопросах должны вызвать настороженное внимание всей нашей читательской и творческой общественности.

⁵ См.: А. Я. Зис и М. П. Стафеецкая. Методологические искания в западном искусствознании. Критический анализ современных герменевтических концепций. М. 1984.

АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ



«РАЙОННЫЕ БУДНИ»

К тридцатилетию выхода в свет

Тридцать лет назад в «Новом мире» завершилась публикация очерков Валентина Овечкина «Районные будни».

«Районные будни» сразу стали событием не только литературной, но и общественной жизни страны. Словно важнейший партийный документ, они горячо обсуждались в газетах и журналах, на партсобраниях и пленумах райкомов партии. Такая реакция не была случайной. Может быть, ни в каком другом писателе тех лет не отражалось так отчетливо, как в Овечкине, общественное сознание. Глубина и острота постановки социальных (касающихся не только вопросов руководства сельским хозяйством, но и многих других аспектов) проблем, честность и прямота разговора, принципиальность позиции — эти черты очерков не утратили своей подлинной ценности и поныне, как не потеряли актуальности и важности размышления писателя о путях социальных преобразований нашей жизни.

Публикуемая статья Анатолия Стреляного — убедительное свидетельство злободневности «Районных будней» в наши дни. Статья написана с сознанием проблем, так и оставшихся до конца не решенными, а в ряде случаев и еще более усложнившихся.

Писатель сосредоточивает внимание и на Овечкине, как бы предполагая, что дело было прежде всего в его личности, в его творческом кредо. Порой даже кажется, что автор статьи сам нет-нет да и впадает в тот же «кадровый» уклон: будь Овечкин — Овечкины! — другим, напиши он «Будни» по-другому — может быть, иначе сложились бы судьбы деревни.

Для нас важно, что статья А. Стреляного принадлежит перу союзника и в главном — единомышленника В. Овечкина. Не случайно в тексте ее ощущается и горячий темперамент и напор автора «Районных будней».

Мы можем предполагать, что позиция А. Стреляного обретет и сторонников и противников, вызовет споры и возражения. Но мы уверены, что пафос статьи — в русле решений XXVII съезда КПСС, поставившего цель активизировать творческую активность широких масс, освободив их от мелочной опеки, бюрократической регламентации, административного произвола. И чтобы это произошло скорее, нам надо смело идти навстречу самым острым проблемам жизни честно и открыто обсуждая все, что наболело, что настала пора решать. Творчество Овечкина именно в этом смысле сохраняет все свое значение и в наши дни.

1

«Р»айонные будни» Валентина Овечкина — это книга «о бурном администрировании» над селом, и как таковая она и сегодня ошеломительно злободневна.

Это книга о том, что система хлебозаготовок в стране «смахивает на продраз-

верстку», а отсюда и методы руководства колхозами: «Нужно и не нужно — грозим, страшаем, нажимаем... Двадцать заседаний в месяц — вот работа и кипит! А заседания-то все закрытые...»

Это книга о том, что «очень уж много развелось у нас вокруг колхозного строя бюрократов», что проведением «хозяйственно-политических кампаний» и «мелоч-

ным опекунством» невозможно заменить «настоящей заинтересованности колхозников в хорошей работе».

Это книга о том, как устали от «опекунства», от работы «на сводку, на рапорт» лучшие, подлинно народные руководители и как процветают худшие, самозванцы: «Когда уж совсем до какой-то невыносимой подлости дойдет ответственный работник — тогда только снимают его», а народу «за что сняли, почему сняли?» — так и не скажут. Это книга о том, что «мы совсем забыли простое, благородное слово «купил». Только и слышно: «достал», «добыл», «вырвал» «отхватил»...».

Это книга о людях, которые задумываются, почему «у нас привыкли только перед верхами отвечать», почему «таких случаев не было, чтобы народ разжаловал, скажем, председателя облисполкома», почему партийная конференция не может выбрать секретаря без рекомендации сверху, почему «у нас на выборных собраниях на конференциях так уж строго придерживаются списка» и «что страшного в том, если б еще было записано лишних человек пять».

Это книга о коммунистах, которые в сороковые годы уже отдавали себе отчет в том, что «надо все же как-то свободнее выбирать верхушку наших партийных органов». что «самый страшный враг у нас сегодня — формализм» которые спрашивали себя, «что же все-таки нам делать с Советами» и с «непомерно разбухшими» аппаратами управления, включая и партийный, с показушным соцсоревнованием и с «повсеместным взяточничеством», чему способствовал «идиотский» закон, одинаково карающий и взяточника и взяточателя, с «возрастным составом наших кадров» и с теми из них, кому выгодно постоянно шуметь о наших успехах и чужих неудачах.

Главным «администратором» в Троицком районе будни которого наблюдает писатель, служит Виктор Семенович Борзов, первый секретарь райкома партии.

Это человек, который не просто забыл, а никогда и не подозревал, что колхозы создавались «не для упрощения лишь хлебазаготовок», а «для самих крестьян, для улучшения их жизни». Жесткий, недружелюбный, он мотался по полям, как объездчик, и эти самые крестьяне от него только и слышали. «Лодыри! Саботажники!» Все недостатки в колхозах он объяснял в своих телефонограммах не чем иным, как «исключительно... преступной беспечностью (председателей.— А. С.) и полным забвением интересов государства». Он мог

в третьем часу ночи позвонить в сельсовет и приказать немедленно разыскать председателей колхозов и бригадиров. «Для чего я это делал? Чтобы люди чувствовали: от этого секретаря и ночью нигде не скроешься! Я, бывало, не сплю — весь район не спит... Умел держать район в страхе божьем!...»

Борзов — человек, который считает, что действовать приказом, окриком, залпами директив — значит, руководить «по-пролетарски». Материальную заинтересованность он с презрением называет «крестьянской справедливостью» и глушит самую мысль о ней. Борзов — это уравниловка, постоянный грабег сильных хозяйств «на том основании, что стране нужен хлеб», и равнодушие к слабым, нередко отданным на откуп проходимцам. Ему невдомек, что «холоуй и угодник урожая не сделает». Достойные люди при нем не хотят становиться председателями колхозов, потому что боятся: «что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку».

Иные страницы «Районных будней» звучат так сиюминутно, будто читаешь Салтыкова-Щедрина.

Большая часть книги писалась в 1954—1955 годах. Как раз в эти годы, после смерти Сталина, было немало сделано для оздоровления сельского хозяйства и сельской жизни: подняты закупочные цены, снижены налоги и списаны недоимки, ослаблены приказные порядки. Меньше стало разболтанности, блата, парадности и «поповской раздвоенности на слова и дела», больше — критики и самокритики. И вот уже через два года первый секретарь обкома партии Крылов говорит:

«Я недоволен нашей печатью... Там недостатки, там непорядки, там преступления. Нельзя же так односторонне освещать жизнь... Уже есть большие сдвиги. Сейчас нам надо уже не столько бичевать недостатки, сколько утверждать то новое, хорошее, что появилось у нас!»

Это он говорит секретарю райкома Мартынову, человеку из глубинки, оттуда, где не все еще и слышали само слово «перестройка», в то время тоже бывшее в ходу, где еще не у всех тридцатитысячников, посланных в деревню наводить порядок, улеглись волосы, вставшие дыбом от того, что они там увидели. Москвич Долгушин, например, увидел, как сдавали молоко на землю из-за нехватки бидонов, как половина колхозных коммунистов болтались без определенных занятий, а другая половина... «Пьют же сукины сыны до умопомрачения,— объясняли колхозни-

ки. — От водки болеют, водкой лечатся, водкой все дела вершат».

Свое недовольство печатью хозяин целой области выражает секретарю сельского райкома, бывшему газетчику, который волком выл в своем дневнике: «Сколько бед причинила нам трусливая, угодливая, лживая информация!» — и никогда не умел «написать статью о чем-нибудь хорошем, чтобы тут же не разозлиться на плохое».

Не зная всего этого за Мартыновым, Крылов делится с ним своим раздражением:

«Много стали нам писать в последнее время. Пишут и доярки, и свинарки, и учителя, и железнодорожники, и водопроводчики. У каждого какие-то государственные предложения, советы».

Какая же охватила его досада, когда выяснилось, что и свой брат, партийный работник, встал на тот же путь: перспективный Мартынов явился к нему в обком не с чем иным, как с целой рукописью на сорока восьми страницах о «нерешенных вопросах по сельскому хозяйству».

Крылов захлопнул папку с этой рукописью, отложил ее на край стола.

«Егозишь ты что-то все, товарищ Мартынов. Ну, чем ты недоволен? Чего тебе еще надо?.. Меньше уже надо заниматься всякими прожектами, а на той реальной основе, что создалась у нас, бороться за крутой подъем сельского хозяйства».

Описание обстановки этого разговора — может быть, лучшее место в книге.

«Полупущенные голубые шелковые шторы задерживали быщие прямо в окна солнечные лучи, мягко рассеивали свет. Огромный, чуть не на весь кабинет, толстый ковер приятно пружинил под ногами — будто почва на старом высохшем торфянике. В углу медленно, с чуть слышным тиканьем ворочался под стеклом футляра-шкафа бронзовый маятник больших часов. Тихо журчали два вентилятора: один на сейфе, другой на столе. Но кроме них, видимо, еще какие-то электрические приборы охлаждали воздух — в кабинете было прохладно, как в мраморных подземных залах московского метро... И Мартынову вдруг вспомнилось, как однажды на фронте его, командира стрелковой роты, вызвали с передовой, чуть ли не прямо из боя, в штаб дивизии...»

Человек, который окорачивает Мартынова — тот самый Крылов, который совсем недавно, какой-нибудь год назад, в этом же кабинете с гневом говорил о своих областных «„классиках“ пустозвонства», называл его, пустозвонство, «признаком обы-

вательского отношения к партийной работе», рассказывал этому самому Мартынову, как трудно «таких артистов развенчивать», жаловался: «У них и стаж, и безукоризненная анкета, и диплом, и солидная осанка, и многолетнее пребывание в юменклатуре. И — связи».

2

«Районные будни» появились не на пустом месте. Печатная критика партийных работников и партийных организаций, целых направлений и явлений в партийной жизни была в то время, обычным делом. В тридцатые — сороковые годы этой критики было не меньше, чем в пятидесятые — шестидесятые, не говоря уже о семидесятых, а больше, на порядок больше. Причем часто это была критика уничтожающая. Один герой написанного в 1983 году рассказа Марка Кострова «Снова мы у себя в Березове», лежа на печи в брошенном сельском доме, читает старые газеты, которыми оклеены стены. «Секретарь территориальной парторганизации нередко является на заседания исполкома навеселе, — узнает он из «Великолукской правды» 1946 года. — Накачка, запугивание руководителей колхозов, ругань — таков метод Орлова». «Неужто в те времена так смело можно было критиковать? — удивляется герой Кострова. — На всю область прищепили хвост Орлову!.. Я на всякий случай отклеил газетку. Сохраню ее на память о том боевом насыщенном времени».

Командирство, бюрократизм и комчанство назывались своими именами с такой решительностью, которая даже сейчас, в самом пылу разговоров о гласности, кажется невероятной. Во всяком случае, приведенное выше место из рассказа Кострова наши современники-редакторы Лениздата, где в 1986 году печаталась его книга, вымарали. Некоторые страницы Овечкина не случайно как две капли воды похожи на газетные корреспонденции сороковых годов.

«В третьей полеводческой бригаде они не нашли на поле бригадира коммуниста Милушкина, бригада начала сев без него. Милушкин в воскресенье справлял именины, третий день уже опохмелялся и все никак не мог вернуться к работоспособному состоянию... В первой бригаде некому было убирать с поля прошлогоднюю солому... Такая расхлябанность с первых же дней полевых работ не предвещала ничего хорошего в смысле сроков сева».

«Кучка негодяев в «Борьбе» преврати-

ла колхоз в свою вотчину. Разложившимся пьяницам и жуликам было не до хозяйства».

«Шайка бессовестных мазуриков захватила в свои руки главенство в колхозе... Долгушин предложил первым пунктом исключить из партии Бывалых: за полное бездействие в течение четырех месяцев, за попустительство врагам колхозного строя, за шкурническое стремление удрать из колхоза, ничего не сделав для его подъема».

«Районные будни» продолжали обыкновенное по тем временам дело критики партийной работы и партийных работников. Своей книгой Овечкин показал, что писателю тоже можно болеть тем, чем давно болеют селькоры. Напечатав ее (первый очерк «Борзов и Мартынов» — в 1952 году, последний — «Трудная весна» — в 1956-м), «Новый мир» в свою очередь показал, что толстому журналу тоже можно хлопотать о том, о чем хлопочут газеты. Только газетные столбцы предавали гласности факты, а с журнальных страниц вставляли картины. Селькоры называли фамилии чинуш и головотяпов — писатель представил портреты, образы.

Что это были за картины? Что за образы? Первое, что бросается в глаза, — взвешенность овечкинских картин и образов. Думал об этом Овечкин или нет, но, на мой взгляд, он был и остается самым осмысленным из лучших очеркистов-деревенщиков. Даже солиднейший Иван Васильев иной раз не так тщательно заботится о конструктивности каждого своего слова, как это делал порывистый автор «Районных будней». Книга, кажется теперь, создавалась не только Овечкиным-писателем, но и Овечкиным-редактором. Это было образцовое, братское содружество. Начиная работу в 1952 году, еще при жизни Сталина, они, писатель и редактор, молчаливо условились: книгу делаем не в стол, а для печати. Умный издатель должен будет сразу увидеть, что неприятностей она ему не причинит.

Рядом с плохим первым секретарем райкома партии трудится хороший второй. Плохого очень скоро, через сорок страниц, снимают, а на его место ставят хорошего, который через короткое время по собственному почину уступает свой пост еще лучшему. Сам же уходит поднимать другой, более запущенный район. Что еще надо?!

Плохой Борзов плох по-настоящему, от него много нешуточного зла. Это наиболее мощный образ плохого партийного руково-

дителя в советской литературе. Но поглядите, что с ним делается в финале «Районных будней». Он становится председателем самого крупного в соседнем районе колхоза. И вот Борзов — против борзовщины! Хозяин, умница, а какой напор! Быстро осмотрелся и явился в обком — «заметно постаревший, загорелый, в запыленных сапогах, с головой не бритой наголо, как раньше, а коротко остриженной под машинку», — явился требовать, чтобы ему на деле предоставили обещанное Центральным Комитетом «свободное планирование».

«Дали нам крылья, машем, машем мы ими, а взлететь не можем. — Вон как заговорил! — Сколькo груза еще на ногах, этого бюрократизма проклятого!.. Послали меня в колхоз — так дайте же мне возможность развернуться там по-настоящему!»

Новый Борзов критикует самого Крылова, который, когда выезжает в колхозы, то «везет с собою в портфеле какие-то резервы для раздачи нуждающимся — память о посещении колхоза первым секретарем обкома партии».

«Нехорошо это, некрасиво!» — говорит Борзов.

И не кому-нибудь, а самому Борзову принадлежат наиболее точные слова о нем вчерашнем: «На меня стучали кулаками, и я стучал; на меня давили, и я давил. А насчет планов мы все тогда были так воспитаны: выполняй и не рассуждай, что из этого получится!.. Думаешь, у меня не болело сердце, когда иной раз заставлял колхоз чистосортные семена вывозить в хлебопоставку?..» И то еще достоинство надо учесть, которое выросло в наших глазах за прошедшие годы до масштабов героизма: не был Виктор Семенович «самоснабженцем». Когда вторая жена попробовала было его склонить — «Нет, говорю, голубушка! Борзов во многом, может, виноват перед партией, но в одном не виноват: никогда не залезал в государственный карман!» — прогнал я ее».

И как сбалансирован положительный Мартынов! Он сталкивается со множеством безобразий, трудностей и проблем, но ни в одном случае не проходит мимо, во все вникает, все меняет к лучшему. Чего не может решить сам, о том пишет докладные и письма в область и в Москву...

В одном колхозе ему сказали, что у них «третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого

вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства...».

Поездив по другим колхозам, он узнал, что никуда не годятся существующие системы оплаты труда. Получается, что дояркам платят «не за надою молока и сохранение телят, а за то, чтобы не было на ферме ни телят, ни молока», трактористы зарабатывают тем больше, чем хуже урожай, который им приходится убирать. «Надо написать в обком»,— решает он. Послушав шофера-комсомольца, который пришел к нему «с практическим предложением: как в два счета ликвидировать повсеместное взяточничество» («надо сделать так, чтобы тот, кто дал взятку, не отвечал перед судом»), Мартынов тут же пообещал, что это предложение специальной «докладной запиской пошлет в Москву в Министерство юстиции».

Писание докладных, особенно таких, которые касаются крупнейших вопросов внутренней политики,— неотъемлемая часть служебной деятельности Мартынова. Он хочет, чтобы и другие его зили.

«Не в наших правах изменять законы, издавать новые указы, да. Но мы обязаны доводить до сведения наших руководителей все, что слышим в народе, думы народа»,— внушает он директору МТС Гловтову, впавшему в «политическую пассивность». Тот рассказывает о замордовавших его уполномоченных. Приказывают, угрожают...

«—Так на кой леший я здесь нужен, директор? Садись в мое кресло и командуй за меня!

— Больно податлив! Первому встречному свое кресло уступаешь! Тебя Центральный Комитет посадил в это кресло!.. А ты не пробовал жаловаться на таких гастролеров в обком, в Цека?

— До бога высоко, до царя далеко.

— Вот за эту поговорку тебе выговор следовало бы влупить!»

И даже признаваясь в конце книги одному председателю колхоза, требующему «свободной торговли, без разнарядок и без блага», что «уже устал писать письма по таким вопросам», Мартынов продолжает настаивать: «Ты сам человек грамотный Пиши, брат! Пиши в «Сельское хозяйство», в «Правду». Не носи эти мысли за пазухой».

То, что Мартынов такой писатель, очень удобно: он придает книге конструктивность и тем спасает ее — ведь поднимаемые проблемы получают хотя бы литературное разрешение.

Чтобы все истории и картины благополучно и правильно завершались, Овечкин следит сугубо. В книге нет ни одного не совсем проясненного пути решения, ни одной нотки сомнения, что все «думы народа» будут вот-вот услышаны и, стало быть, исполнятся. Не в этом ли заключалась основная работа над книгой, думается иной раз. Суровые начала — творчество, крик души, а благополучные концовки и «рессоры», которых все понимающие критики и братья-писатели будут великодушно и для пользы дела не замечать тридцать лет,— работа.

Даже первая часть очерка («Борзов и Мартынов»), где автор еще не знает, «какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как вернуться личные судьбы людей», не вызывает сомнений, что решения будут скорыми и правильными, дела пойдут лучше, судьбы людей повернутся по их заслугам. Эта несомненность зиждется на том хотя бы, что положительному герою Мартынову совершенно ясно, в чем все дело: в председателях. «Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук,— говорит он,— положение не улучшится, если в колхозах где-то останутся шляпы, пьяницы!..»

У Мартынова нет ни одной ошибочной или спорной мысли. Он все понимает правильно и обо всем судит зрело. Заночевав по случаю метели в общежитии трактористов, он, например, не только выслушивает их жалобы, но «долго и обстоятельно» разъясняет им, что «нельзя за неудачами отстающих колхозов не видеть огромных успехов передовых», что «двадцать три года существования колхозов не такой уж большой срок в истории после тысячелетий единоличного хозяйства, всего за такой малый срок не сделаешь...».

Мартынов знает: «Когда хорошо с партийным руководством, тогда все в жизни налаживается правильно... Вот кто может повести за собой всю массу колхозников — рядовые колхозные коммунисты! Если они действительно коммунисты... В этом, в здоровых партийных организациях, залог прочности дела... Партия, партия и еще раз партия — вот ключ ко всему!..» Партийных работников он, помимо того, называет инженерами человеческих душ, полагая, что писатели, которым первоначально были адресованы эти слова, не обидятся. «Во всяком случае, партработники должны быть инженерами человеческих душ!..» —

горячо говорит он влюбленной в него жене Борзова.

К слову: влюбленность эту замечает, но ничего такого себе не позволяет, любит свою, морально устойчив, что отмечает потом и приревновавший было Борзов...

Зимой Мартынов провел собрание районного партактива, где позволил людям говорить от души. «Смотри-ка, задал ты тему для разговора: о вреде пустословия, и уж который человек об этом говорит, повторяют друг друга!» — заметил ему редактор районной газеты. После этого Мартынова по сигналу присутствовавшего на собрании инструктора обкома вызывают в обком. Он ждет выволочки, а получает полное одобрение. «Пустословие — это душевная отравка, какой-то усыпляющий сознание дурман», — согласился с ним первый секретарь обкома. Он «говорил ровным голосом, медленно, с большими паузами, как бы проверяя вслух перед самим собой и Мартыновым мысли, давно выношенные.

— Партсобрание, актив, пленум — не самоцель. Собрание мы проводим не ради самого собрания, а ради того, чтобы после него коммунисты ринулись в бой!

Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, Мартынову более чем приятно — радостно».

В другой раз Мартынов втайне от обкома проводит пленум райкома, на котором по его призыву решают послать председателями отстающих колхозов чуть ли не всех районных начальников: от председателя райисполкома до судьи. Опять он ждет неприятностей, но первый секретарь обкома и тут его поддерживает: «Ты — старый газетчик, а ну-ка распиши это все для нашей газеты». Жена Мартынова, слышавшая их телефонный разговор, «заглянула смеющимися глазами в лицо мужу, запустила пальцы в его густые волосы, вздохнула их».

Чем прискорбнее явление или история, которыми наполнены районные будни, тем благополучнее, красивее, сказочнее концы. Овечкин первым показывает, что после войны во многих колхозах управляли не лучшие люди, а худшие. Целые деревни и районы были в настоящей, похуже кулацкой, кабале у проходимцев. Чуть ли не все коммунисты колхоза «Рассвет», например, оказались шайкой пьянчуг и воров, занявших самые хлебные места. И что же? Стоило посланцу Москвы, директору МТС Долгушину добраться до «Рассвета», как с ними тут же было покончено, что нисколько не удивило лучших людей села. Ведь они всегда отлично

понимали, что, как говорит Долгушину дьярка Зайцева, «не все то идет от партии, что наши здешние партейцы делают. Слышим Москву по радио — вот то партия с нами разговаривает, то ее голос. Читаем газеты, постановления Цека — это партии слова. А на своих перестали уж и внимание обращать... Не верим мы, чтоб партия на таких пустобрехах держалась! Это мы все понимаем — где партия, а где охвостье, которое к партии примазалось. Нас эти поганцы не собьют с того пути, куда нас Цека зовет, не потеряем мы из-за них веру свою».

Второй секретарь обкома партии Маслеников («добродушный на вид толстяк в широком сером макинтоше и зеленой плюшевой шляпе», а человек такой, для которого райкомы — «перевалочные пункты для директив», которому нужны «манекены, а не живые люди с умом и сердцем») дает Долгушину за вмешательство в дела «Рассвета» самый жесткий нагоняй. Более того, он вытаскивает Долгушина и Мартынова на бюро обкома, надеясь там с ними окончательно расправиться. Но первый секретарь обкома и тут выручает их. Заодно и на самого Масленикова раскрывает глаза непримирямому Мартынову:

«Вот ты назвал Масленикова толкачом и погонялой... но представь себе, что такие люди все же нужны в обкоме... Плохо ты знаешь наши кадры! Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получат предупреждение или выговор... И вот тут-то и необходимы нам такие люди, как Маслеников... Он способен трое суток не спать, пока не проверит лично сам в каждом колхозе все сеялки или комбайны... Никто не может так, как он, расшевелить бездельников, создать в районе напряженную обстановку вокруг какой-то кампании. Это тоже надо оценить!..»

Второй секретарь Троицкого райкома партии Медведев, заменявший Мартынова, пока тот болел, оказывается человеком хуже Борзова, тупым и жестоким, самолюбивым и мелочным, с упоением давившим все, что было в районе живого, честного и деятельного. Председатели колхозов и директора МТС были для него не товарищами по работе, а «саботажниками», «срывщиками планов», «дезорганизаторами» и даже «вредителями колхозного строя». О рядовых колхозниках уж и говорить нечего — на них он смотрел только как на живых виновников невыполнения того-то или того-то. И что же опять?

Собирается пленум райкома и без ведома обкома по предложению одного молодого колхозного парторга решает: «Объявить секретарю Троицкого райкома партии товарищу Медведеву выговор за возрождение в районе борзовских методов руководства колхозами!» Узнал об этом второй секретарь обкома Маслеников... «Что это за дикий случай на пленуме райкома? Как можно без согласования с обкомом допустить такие вещи?.. Какой-то цирк устроили из пленума! Безобразие! Мальчишество! Мы думали, что у нас в Троице зрелая партийная организация!» Узнал первый секретарь Крылов и... «Хорошо», — говорит он Мартынову, соглашаясь обсудить на бюро обкома его предложение о снятии Медведева.

Наблюдая за тем, как старательно Овечкин обкатывает каждый свой булыжник и обкладывает подушками острые углы своих монолитов, как ловко он делает вид, что ничего особенного не совершает, а лишь следует за нашей жизнью, в которой все и всегда кончается хорошо, иногда можно было бы и улыбнуться той или иной из его хитростей. Можно было бы.. Если бы только не так явственно тут пахло кровью — кровью литературного самодуства.

Лучшего места — и того не пощадил! Воспоминание Мартынова о вызове с передовой в штаб дивизии, где «было куда тише и не пахло так солдатским потом, гарью стреляных гильз, испражнениями и еще чем-то гниющим (разрядка моя. — А. С.) там впереди, за проволочными заграждениями, откуда подувал ветерок», в штаб, где ему попадались молодые щеголеватые военные, имевшие «все же смутное представление о настоящем бое, настоящей войне», а начальник связи дивизии держал в своем блиндаже под койкой «прикрытую газетой эмалированную посудину специального назначения», — воспоминание это закончено все-таки тем, что командир дивизии оказался и храбрым («съел с солдатами не один пуд соли и видел смерть в глаза, вероятно, тысячу раз») и «мудрым человеком», знавшим, что «отрыв на длительное время от трудностей которые несет на переднем крае народ, иной раз притупляет у начальника способности чутко улавливать настроение людей, обрывает те душевные нити» и так далее.

Да и обескураживающе быстрый поворот первого секретаря обкома Крылова от самокритики к самовосхвалению Мартынов старается понять не как-нибудь, а «по-че-

ловечески», объяснить не политически — тем, например, что Крылов испугался зашевелившихся низов («много стали писать нам в последнее время...»), а тем, что он слишком долго работал «в трудных условиях» и «ему уже хочется поскорее бы увидеть полный порядок всюду и сплошное довольство. Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного и уже про наши дни. А тут опять о недоработках, неполадках, неурядицах. Надоело ему уже это все хуже горькой редьки!.. Устал? Укатали сывку крутые горки?..»

3

Зачем и почему Овечкин это делал, помимо того, что хотел увидеть книгу напечатанной?

Зачем и почему одновременно с реалистической, критической книгой о «бурном администрировании», одновременно с теми «Районными буднями», о которых вот уже тридцать лет уважительно говорят в печати, он писал другую — утопическую, фантастическую книгу о перестройке?

В те годы о районных буднях писал еще один человек — Ефим Дорош, автор «Деревенского дневника», публицист, равный Овечкину по таланту, но совсем на него не похожий. Он тоже сознательно делал книгу не в стол, а для печати, но благополучных концовок не придумывал и розового тумана не подпускал — просто кое о чем особенно неугодным борзовым и крыловым умалчивал. Он не рассчитывал, что от его писаний что-то сразу и ощутимо изменится, не требовал принятия мер. А Овечкин рассчитывал и требовал, изо всех сил стремился своим пером ускорить и улучшить ход вещей, перед съездом колхозников посылал в Москву собственный проект колхозного устава и, выступая в жанре своего Мартынова, страшно страдал, когда оказывалось, что все впустую: «Пишешь-пишешь — и хотя бы на градус Земля сдвинулась!..» (А и то сказать: как болтало бы ее, как трясло и швыряло бы туда-сюда, если бы она могла сдвигаться от наших писаний!) Ефиму Дорошу с самого начала было ясно то, что нам открыл только позднейший опыт: обращение к с л у ж а щ и м, как бы высоко они ни стояли, мало что дает, наше дело — обращаться к массе, к рядовому читателю, поскольку в конце концов только массой, уровнем ее культуры и остротой боли все решается.

Овечкин, наверное, думал иначе.

Не хочу я сказать, что твой брат
 Не был гордую волей богат,
 Но, ты знаешь, кто ближнего любит
 Больше собственной славы своей,
 Тот и славу сознательно губит,
 Если жертва спасает людей.

Может быть, эти строки Некрасова и об Овечкине?

Он грешил против искусства («славы»!) ради политики. Он поступался правдой жизни, чтобы приблизить другую правду — правду-справедливость, чтобы быстрее прошли времена «бурного администрирования» и начались новые — времена бурных демократических преобразований. Его благополучные концовки и струйки розового туманца, если не закрывать, но и не вылупливать на них глаза, — это ведь не что иное, как проекты и призывы, советы и намеки. «Районные будни» — это не только сказка, но и подсказка: делайте так, как у меня написано, как мой Мартынов, как превосходший его умом и силой посланец Москвы Долгушин! Делайте, и все будет хорошо.

Если найдется вдруг первый секретарь райкома, который позволит людям говорить от души на собрании партактива, не гоните его!

Если в каком-нибудь колхозе кто-то похожий на Долгушина соберет «море беспартийных» и с их помощью устроит «что-то вроде чистки партии», не гоните и его, не надо!

Если где-то сойдутся вдруг коммунисты целого района и без всякой команды снимут своего секретаря, оказавшегося, как выражался Мартынов, «пошляком и дубиной», не спешите кричать: «Безобразия! Мальчишество!»

Если где-то расширят заготовленный список кандидатов так, чтобы из десятка выбрать троих, не горюйте, а радуйтесь.

Не гоните и не горюйте — подражайте, следуйте примеру. Не бойтесь, решайтесь. Смотрите: раз это делают в книге, раз это напечатано, значит, точно так можете действовать и вы... Мартынова, который годами ездит, подает в обком и в Москву сигналы и «прожекты» и продолжает оставаться первым секретарем райкома, — в жизни такого Мартынова не было, нет и неизвестно, когда он будет. Но в том, что он, такой упорный писатель докладных, существует в книге, тоже подсказка одним: пишите и вы, пишете! И призыв к другим: прислушивайтесь к этим писателям, от них худа не будет, они хотят доб-

ра родине, не надо, как Крылов Мартынову, заглядывать им в глаза и спрашивать: «Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?..»

Как ни странно, как это ни противоречит тому азбучному положению, что сила литературы именно в ее художественности, правдивости несущих те или иные идеи образов и картин, «Районные будни» все еще могут быть кому-то полезны и своими слабостями — тем людям полезны, которые ждут от писателей не только сказок, но и подсказок. Впрочем, подсказки публике и властям — всегдашнее, природное занятие публицистики, особенно русской. Ефим Дорош подкашивал больше публике, Валентин Овечкин — властям, многие после них — ведомствам и даже учреждениям, из литературных дел это уж последнее...

Мне эта книга дорога другим.

Борзовы всегда считали и продолжают считать сейчас, что продрозверстка и приказ — как раз по нашим недостаткам и развитию. Переходить от продрозверстки к продрозлогу и от приказа к договору — значит, упираться на материальный интерес. А какая, говорят они, может быть материальная заинтересованность, когда хорошо платить нечем? Какой может быть договор вместо приказа, если мы почти поголовно уверены, что сверху виднее, что так — лучше, так — по природе, ведь и семья не существовала без большого пирога. Бедные, пока они бедные, управлять собой не могут и не хотят, бедному не до политики, ему лишь бы как-нибудь наесться да прикрыть наготу. Бедному, если уж говорить все до конца, лишь бы что-то урвать, отломить кусок неважно от чьего, но особенно, конечно, от ничейного пирога. Общественное интересует бедного только с этой точки зрения, потому и надо всячески охранять общественное — охранять от бедных и для них же, для бедных. Выгрести из их амбаров все под метелку... Что и призваны делать они, борзовы.

Это свое тайное убеждение борзовы сумели донести до многих даже очень хороших, хотя и не самых умных, людей. В тайне борзовых, думают они, что-то есть, не может не быть... по нашим-то недостаткам да по нашему развитию, по нашей-то сознательности. С нашей сознательностью далеко не уедешь. Это согласие с борзовыми я улавливаю даже у тех, кто говорит о приказном управлении, что оно устарело, изжило себя, не отвечает возросшему тому-то и тому-то. Ведь при этом подразумевают, а подчас и прямо пишу,

что прежде — пятьдесят, сорок, тридцать лет назад — оно было оправданным. Когда слушаешь такие рассуждения, тогда и вспоминаешь, что «Районные будни» были завершены тридцать лет назад.

И думаешь: уж если такие коллективисты, как Овечкин и Мартынов, уже тогда считали приказ и продрозверстку вредоносными... Через шесть лет после войны, когда моя мать с теткой за неимением быков и коровы сами впрягались в борону и мать, сгибаясь до земли, мне говорила: «Смотри и запоминай, как мы работаем!» — если уже тогда Овечкин с Мартыновым не усматривали никакого общественного интереса в продрозверстке, а только шкурный интерес борзовых: властвовать, то о какой исторической или экономической необходимости можно толковать?!

Страдая оттого, что сельское хозяйство в упадке, что рядом с очень богатыми колхозами есть множество очень бедных (Мартынов: «Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне»), Овечкин не желал признавать никаких объективных причин. Он видел все зло только в борзовых. «Вот он волнуется, хлопочет, нажимает, чтоб зябь пахали, хлеб везли, всякие планы выполняли, а близко ли к сердцу принимает он все это? — рассуждает Мартынов о Борзове. — Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб нам понадобится и в будущем году, не одним днем живем?.. Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может быть, он только о себе думает? Не выполнили то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь». Мартынов, надо полагать, не раз слышал и про бедность, и про новизну пути, и про враждебное окружение. И все равно. Бедность — бедностью, новизна — новизной, окружение — окружением, «а времени прошло немало с тех пор, как мы колхозы организовали. Война была, оккупация, разорение, но и война уже давно окончилась»...

«Давно» — это шесть лет назад.

Чтобы внушить людям такое понятие насчет давно и тем самым ускорить перемены, Овечкин и писал. Сполна наделенный гордою волей, ради этого он и пренебрегал славой художника, безусловно верного натуре: выдавал желаемое за действительное, сглаживал острые углы.

А может быть и так: то, что названо здесь жертвой, Овечкин понимал совсем иначе. «Я не искажал действительность, я ее щадил», — мог бы, наверное, сказать он

сейчас. Она ведь лежала перед ним в еще дымящихся развалинах, за нее только что было пролито столько крови — как было ему, уцелевшему фронтовику, не пощадить ее, не пойти на уступки? Бесстрашный и бескорыстный, он боялся потревожить ее слишком прямым взглядом, ранить деловито-холодной требовательностью, боялся разворошить ее до дна, ведь тогда и у него самого могла бы пошатнуться вера, а без веры — как же?

Как ответила действительность на уступки Овечкина, на это бережное к себе отношение? Она ответила черной неблагодарностью. Множество мучивших Овечкина проблем не решены до сих пор. Что же касается «опекунства» над колхозами, то в наши дни оно даже усилилось и продолжает усиливаться. Число тех, кто с ложкой присматривает за теми, кто с сошкой, выросло многократно: по служащему населению иной райцентр сейчас не уступает тогдашнему областному, нынешняя колхозная контора — это послевоенный райком с исполкомом, не меньше. Часток инструкций, плановых, полуплановых, почти плановых и сверхплановых заданий и показателей — вешек, которыми сдерживается хозяйственная и общественная активность колхозов, гуще, чем во времена Овечкина.

Тридцатитысячник Долгушин приходит в ярость, когда узнает о «торгашеских извращениях» одного преуспевающего колхоза. Чем там только не промышляют, лишь бы не переводилась в кассе свежая копейка. На хлебе, на мясе-молоке не заработаешь — цены такие, что выручка не покрывает даже расходов на доставку этой основной продукции к железной дороге, так колхоз наловчился жить с другого, подсобного: с чеснока, клубники, барышничества. Долгушин, святая простота, жаждет председательской крови, секретарь же обкома, мордovorот Маслеников и ухом не ведет, все, что он считает нужным сделать, да и то уступая принципиальному Долгушину, — небрежно осудить «купца» и тут же о нем забыть. Сейчас бы ему, этому купцу, пощады не дожидаться...

А многое ведь не изменилось к лучшему и в главном вопросе — хлебном. В 1986 году во многих местах все было так, как и в 1952-м, и в 1962-м, и в 1972-м, и в 1982-м. Заготовки проводились по-борзовски, в той «напряженной обстановке», создавать которую был такой мастер Маслеников, проводились, как выражался Мартынов, «без политики», то есть без мысли о завтрашнем дне, о поощрении лучших

колхозов — хлебная выдача практически была одинаковой везде и всюду, жалкие триста граммов на заработанный рубль получали и те, кто вырастил полсотни центнеров на гектаре, и те, кто — двадцать. Как и вчера, позавчера, и позавчера... А ведь это — то есть «хлебный вопрос», заготовки — был первейший вопрос в борьбе Борзова и Мартынова, с него началась книга, наделавшая шуму на тридцать с лишним лет, но так и не помогшая решить этот вопрос в пользу Мартынова.

Партийный работник из Горьковской области пишет мне: «Сей зимой одинаково скудно обеспечены фуражом и южные районы, где все «сгорело», и северные, где получили небывалый урожай». Это равенство в бедности было наведено древним борзовским способом дополнительных заданий — заданий, запрещенных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом» и потому как бы негласных, да они и давались только устно. Этим же способом перевыполнялись планы в Удмуртии. «Как мы должны смотреть людям в глаза? — пишет человек из республиканского управленческого аппарата. — Ведь они же — секретари райкомов, председатели колхозов — думают, что это мы — болтуны, мы — карьеристы. Они не знают, что нам команда из Москвы, да притом телефонная».

«Старые язвы кровоточат по-прежнему, — пишет агроном из Лебединского района Сумской области. — Продажа хлеба: сначала план, потом задание, потом —

план-задание, потом — план первый дополнительный, потом — второй... Колхоз — отдай все, а колхозу — что сможем».

Ответственный работник Агропрома, это уже из Москвы:

«Без четверти восемь утра был на работе, в десять вечера пришел с работы. Лежу пластом, гляжу в потолок. Что я делал четырнадцать часов? Слушал крик сверху и передавал вниз: «давай, давай!» Люди на местах возмущены до предела, им ведь обещали совсем другое. Лежу пластом, гляжу в потолок и думаю: что же это делается? Одной рукой пишем хорошие постановления, обещаем селу простор, кислород, стимулы, а другой рукой тут же рвем их в клочья... Соотносимо ли такое с серьезной работой по перестройке?.. Таким ли должен быть подход к решению насущных проблем современности?»

А уже раздаются голоса: лучше слушайте, больше замечайте, смелее воспевайте перестройку. И есть отклики. Талантливых пока нет, да их на этом витке, наверное, и быть не может, но старательные, искренние — пошли. Может быть, это тоже бережность — называть зеленым майским шумом первые мартовские просветы, надеясь тем самым ускорить вращение Земли? Есть, что ли, некий закон: пока хозяйничают борзовы, будут находиться и Овечкины — будут создавать Мартыновых, чтобы хоть так, на бумаге, торжествовать над борзовыми? Не знаю... Твердо знаю, ясно вижу только одно: на писательские уступки действительность никогда не откликается.

ЖИЖИЖИ ОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Костырко. Обретения и издержки публицистичности.— Андрей Битов. Прорвать круг.— Эдуард Пронилов. Связующая нить.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Кузнецов. По следам одного преступления.— С. Неретина. Образ минувшего.

Литература и искусство

ОБРЕТЕНИЯ И ИЗДЕРЖКИ ПУБЛИЦИСТИЧНОСТИ

Юрий Аракчеев. Ростовская элегия. Повесть. «Знамя», 1986, № 6.
Юрий Аракчеев. Зажечь свечу. Рассказы и повести. М. «Советский писатель», 1985. 447 стр.

В предисловии к первой книге Юрия Аракчеева «Листья» (1974) Ю. Трифонов писал, что прозаик этот «будет расти, крепнуть, видоизменяться. Его последующие вещи будут не похожи на первые». Казалось бы, это неотъемлемое право писателя — быть неожиданным в каждой новой работе. И тем не менее проза Аракчеева после «Листьев» смутила критику. Писатель обратился к новой для себя стилистической манере. Появились книги, в которых Аракчеев работал почти на стыке художественной и научно-популярной литературы, прозы и публицистики. Но хотя новые его работы действительно оказались не похожими на первые, внутренне писатель не изменился, с прежним напором и страстностью обращается он к проблемам острым и актуальным, стремится добаться до их сути. Последние вещи Аракчеева — повесть «Ростовская элегия» и сборник рассказов и повестей «Зажечь свечу» — движение писателя именно в этом направлении.

Еще в ранней своей повести «Переполюх», вошедшей в сборник, писатель размышлял над вопросами, актуальность которых не ослабевала с годами, наоборот, возрастала.

...Специальная комиссия проверяет работу одного из стройуправлений. Вскрывшиеся злоупотребления поражают даже издав-

ших виды членов комиссии — липовая отчетность подтасовка, приписки, махинации с премиями и так далее. Казалось бы, Хазаров, возглавляющий организацию, которая направила комиссию должен торжествовать. Но Хазаров встревожен, более того — напуган. Оказывается, у избобличенного им начальника брат работает «наверху». И вот Хазаров уже дает отбой — членам комиссии рекомендовано не слишком усердствовать. В ход идет испытанная демагогия: «Послушайте, так это что же получается? А? Как же мы скажем об этом народу? Лучшее СУ в городе, работало, перевыполняло план, знамя... И вдруг... Что же получается? Получается, что это был блеф?» — обращается Хазаров к непокорным ревизорам «А моральный фактор ты учитываешь? А? То, как воспримет общественность все это? Я вовсе не против наказания виновных. Но это надо делать так, чтобы не повредить делу, нашему делу... Ты о врагах подумал?»

Заключительное заседание по итогам ревизии проходит по сценарию Хазарова. Участники его равнодушно кивают в такт обкатанным формулировкам и откровенно ждут конца этого тягостного спектакля. Однако в конце его происходит неожиданное — встает всегда тихий и незаметный инспектор Нефедов и прерывающимся от волнения голосом говорит, что выводы ко-

миссии фальсифицированы. Ровный ход заседания взрывается.

Финал повести остается открытым. Каким будет решение дела — неясно. Но писатель вполне однозначно завершает внутреннюю линию повествования. На ней стоило бы остановиться.

Похожие производственные ситуации встречались в литературе. Почти одновременно с «Переполохом» появилась «Премия» Гельмана. Однако и различия между ними существенны. Гельман делает упор на социально-экономическом анализе ситуации, Аракчеев — на социально-психологическом. И потому принципиальной мне кажется разница в выборе главного героя. Бригадир Потапов у Гельмана, решительный и уверенный в себе, обладает еще и бойцовскими качествами. У Аракчеева же Нефедов — один из самых покладистых подчиненных Хазарова. Писатель внимательно следит за тем, как идет внутренняя борьба в Нефедове, как исполнительный, склонный к компромиссам чиновник побеждается человеком, долгие годы с тоской и надеждой ожидавшим какого-то поворота в судьбе, настоящей работы, наполненной, интересной жизни. Нефедов вдруг осознает, что наступил рубеж: пойдя на этот компромисс он никогда не сможет больше относиться к себе с уважением. До какого же края дошли мы в своем потворстве полуправде, полусправедливости, если даже Нефедов не выдержал! — вот мысль, к которой подводит Аракчеев читателя. Его героям плохо Всем. И тем, кто вынужден отречься от своих убеждений, от своей работы, и тем, кто заставляет их отречься (от страха, то есть от слабости, а не от силы, делают это хазаровы). Плохо и тем, кто молча, с надеждой наблюдал за работой комиссии. Но почему, как бы говорит писатель, почему мы забываем о главном: ведь ситуация эта — дело наших рук? Эту жизнь мы устроили себе сами. Ведь даже Хазаров, однозначно воспринимаемый нами, и он способен испытывать если и не угрызения совести, то хотя бы чувство некоторой неловкости. Не успокаивает «удобная» логика: сегодня я отступлю, потому что власть моя недостаточно окрепла, но вот когда укреплюсь по-настоящему, тогда уж повоюю за правду!

Речь в повести идет о социально-нравственном состоянии нашего общества, и причины тех болезненных явлений, что изображены, ищет писатель прежде всего в психологии героев. Аракчеев тщательно исследует (чуть ли не в каждом из своих персонажей) внутреннее противостояние

между совестью, жадной ясности и привычкой подчиняться обстоятельствам, равнодушием, эгоизмом, страхом утратить свое благополучие, пусть даже мнимое. Естественно, это потребовало от автора и соответствующих художественных средств. Одно из них — внутренний монолог героя, помогающий писателю выстраивать основную сюжет.

Наметившийся уже в «Переполохе» интерес к изображению диалектики чувств и мыслей персонажа начинает постепенно уводить Аракчеева от внешнего сюжета. Ничего, казалось бы, не происходит, например, в рассказе «Праздник». Обычная молодежная вечеринка, люди собрались в ожидании именно Праздника. Но так слаба их способность быть простыми и естественными, быть самими собой, так сильна нелепая подчиненность ритуалу застолья, что ожидаемый Праздник превращается в заурядную пьянку с пошловатыми тостами и шуточками. Поразителен контраст между теми умными, по-человечески интересными людьми, какими они бывают наедине с собой, когда каждый сам по себе, и теми ролями, что исполняют друг перед другом. На этом контрасте, на своеобразной психологической хронике одного вечера и строит писатель свой внутренний сюжет.

На мой взгляд, вполне логичным стало обращение Аракчеева к лирической прозе, уже не стесненная жесткими рамками сюжета, она позволяет автору свободно делиться с читателем наблюдениями и размышлениями Такова «Ростовская элегия».

Элегична эта повесть лишь поначалу. Автор-повествователь путешествует на велосипеде по средней полосе России. Обостренным взглядом путешественника видит он и речные разливы, и сумрак лесов, и фигурки девочек, собирающих ягоды, и так далее. А впереди ждет его встреча с грандиозным архитектурным ансамблем Ростова Великого.

Но вот в Ростове герой знакомится с Ниной, и перед ним открывается странная жизнь, протекающая на фоне древних соборов и величественной природы. Герой попадает в гости: «Для каких нужд была создана эта большая длинная комната, я не знаю... Помещение это напоминало какой-то склад или кочеварку — если бы не десяток кроватей, стоящих в тесном ряду... Это и было общежитие девочек-студенток... На столике стояли две бутылки — из-под водки и из-под портвейна. Последняя — полная на три четверти. Пепельница полна окурков». Знакомась ближе с Ниной и ее подругами, автор видит удручающую пусто-

ту, бездуховность их жизни. Страшна обыденность, с какой опорожняются все новые бутылки, слетают с уст восемнадцатилетних девиц «энергичные» выражения. Противоестественна та замороженность, с какой внимает Нина рассказам своего приятеля Сереги о том, как избивали они какого-то заводского парня, чем-то задевшего их: «Там тетка проходила, поэт, а мы его канаем, поэт, а он свалился уже, кровяща, а она кричит, вы чего, говорит, делаете, он же умрет, а мы-то знали, поэт, иди, говорим, пока цела, поэт, дали еще ему, он уже так — ы! ы!..— видим, правда, кончается, оставили, поэт, но ничего, отлежался, конечно, и не донес никуда, тетка, правда, пожаловалась, но его вызвали, а он сказал, ничего не было, просто упал, ушибся, поэт, ничего парень попался, зато к нам уже заводские не приставали никогда, уважали нас...»

Подобные откровения поражают извращенным представлением о независимости, мужестве, удалстве, благородстве, товариществе. Убогим, инфантильным и по-настоящему опасным суррогатам нравственных принципов следуют эти молодые люди. Но ведь не в уголовную же среду попал герой! Это обычная молодежь обычного провинциального города. Нет в них зла, нет внутреннего душевного уродства. Они просто не знают, какой должна быть настоящая жизнь. Им хочется полноценной радости, любви. Их тянет к людям, к музыке, к празднику. А они идут на танцплощадку и маскируют свою боль, неуверенность маской бравалости, бесцеремонностью, отнюдь не безобидной бравадой, подогретой выпивкой.

Есть еще одна тема в «Ростовской элегии», важная для Аракчеева. В гостинице, где остановился повествователь, живут приехавшие полюбоваться русской старинной туристы. Жизнь ростовской молодежи, которую наблюдают они, вызывает у этих умных, интеллигентных людей почти безразличность. Да ничего они не хотят, кричат в споре один из художников, раз они так живут, значит, им так нравится, значит, большего они недостойны! Это не слова, сказанные в запале, это — позиция. И тем печальнее, что принадлежит она художнику, человеку, призванному заботиться о духовной жизни.

За энергичностью аргументов художника автор видит его слабость, растерянность и страх перед этой нерегламентированной хорошим воспитанием, интеллигентным образом жизни стихией.

В чем драматизм ситуации? — размыш-

ляет герой.— В бездуховности этой молодежи? В отсутствии у нее подлинных нравственных ориентиров, а значит, в просторе действия для людей злых и жестоких? Да. Но основная беда в другом — в бездействии людей умных и добрых. Мысль эта — сквозная для большинства произведений Аракчеева. Отсюда и внутренний сюжет: герой, размышляя в трудную для себя минуту над причинами постигших его бед, приходит к пониманию, что причина, как правило, в нем самом. Разумеется, и во внешних обстоятельствах тоже. Но главная вина — на нем. Казалось, что может быть горше такого сознания. Однако рефлексирующему герою Аракчеева именно эта мысль и приносит облегчение. Ибо, если виноват он, значит, зло не всеильно, значит, он сам может изменить жизнь к лучшему. А раз может, значит — должен. Значит, надо действовать.

Вот этот ход авторской мысли, заложенный в первых вещах Аракчеева в саму структуру образа, внутреннюю логику его развития, в дальнейшем, появляясь в рассказах и повестях, выглядит все более и более обнаженно, пока не становится величиной самодовлеющей, подчиняющей себе и сюжет и способ создания образов. А в некоторых последних вещах писателя подчиненность этой сюжетной схеме начинает разрывать и художественную ткань произведения. Как бы не желая ждать, пока мысль сама родится у читателя под воздействием художественного образа, писатель стремится сформулировать ее с помощью выпрямления сюжета, в любовных противопоставлениях, в специальных отступлениях. Художника начинает заметно теснить «проповедник».

Склонность к публицистическому заострению мысли, видимо, в самом характере дарования Аракчеева. Скажем, обращение к лирической прозе в «Ростовской элегии» было попыткой, не нарушая целостности художественного образа, достичь предельного обнажения авторской мысли. Писатель выбрал своеобразную форму лирического репортажа. Город, пейзажи, приметы времени даны чуть ли не с репортерской точностью. Используются некоторые приемы документального повествования; жизнь провинциальной молодежи предстает перед читателем с удивительной достоверностью. Однако выбранная им форма повествования — от лица велопутешественника с установкой на «репортерность» — ограничивает писателя в художественных средствах. Автор не может, например, дать в повести развернутый монолог Нины, показать

ее в привычной для нее обстановке — среди подруг, в техникуме и так далее. О Нине мы узнаем ровно столько, сколько узнал случайно познакомившийся с ней путешественник. Образ ее остается лишь штрихом в коллективном портрете ростовской молодежи. Впрочем, перед повестью и не стояло другой задачи. Заметное обеднение жизненного материала, подчиненность его заранее поставленному авторскому «уроку» сказались в некоторых других вещах, например, в рассказе «Фантазер». Здесь «проповедник» явно берет верх над художником.

Алеша, герой этого рассказа, поражен болезнью современных инфантильных молодых людей — боязнью жизни. Алеше проще воображать жизнь, чем жить ею. В реальной жизни он — конформист. Осознание этого мучает его, Алеша понимает, насколько жалка его общественная роль. Скажем, уступая хамству мастера у себя в цехе, он предает не только себя, но и то хорошее, что, возможно, есть у мастера. Ведь покорность только утверждает хама в своем праве на самодурство.

Болезнь распространенная. И писатель как бы ставит перед собой практическую задачу — помочь таким молодым людям. Рассказ адресован прежде всего им. Изобразив мучительную раздвоенность Алеши, автор заставляет его действовать — для начала хотя бы подойти и заговорить с незнакомой девушкой, которая ему нравится. Решимости Алеши хватает на то, чтобы назначить девушке встречу на следующий день. Не дождавшись ответа, он позорно бежал. Таков первый шаг, до победы над собой еще далеко. Но вот, ожидая девушку в назначенное время, Алеша становится свидетелем развлечения пятерых молодых людей. Стоя над переходом, в который спускаются прохожие, они бросают полтинник и, подловив человека, который поднимает и прячет монету, окликают его. Застигнутый в подобной ситуации человек чувствует себя виноватым, униженным. Алеша взбешен. Привычно начинает работать воображение — как бы он расправился с этими подонками, если б... И вот тут его взгляд замечает те пятеро. Один из них роняет к ногам Алеши монету и требует: «Подними». Казалось бы, не поднять нельзя — избыток, к тому же он ждет девушку. Пережив мучительную борьбу, Алеша решает: пусть делают что хотят — он не подчинится. И сразу все становится просто. Почувствовав его твердость, пятеро отступают. В награду Алеше — и непривычное для него чувство уверенности в себе

и неожиданное появление девушки: «Они медленно шли по солнечной площади... и это было так, как в лучшей из его фантазий. Но ведь это же — подумать только! — была действительность жизнь».

Автор здесь вполне справился со своей задачей. Но остается чувство досады — для решения ее задействованы силы, явно способные на большее. Избыточная щедрость писателя в данном случае не радует, а огорчает. Ведь у образов и ситуаций в этом рассказе потенции были более значительными. Много обещала только намеченная Аракчеевым линия взаимоотношений Алеши с мастером. Нереализованными остались возможности другой сюжетной линии, связанной с компанией пятерых молодых людей. Для подобной истории вполне хватило бы, наверно, заурядных хулиганов. Писатель же несколькими штрихами обозначил контуры достаточно емкого образа — очень уж своеобразно развлекаются эти пятеро. Монета, которую они подбрасывают прохожим, — своеобразная психологическая ловушка. Пойманные на корыстности, жадности, отсутствии чувства собственного достоинства прохожие только утверждают ребят в их презрении к толпе, в их убежденности, что люди слабы и ничтожны. Но откуда возникла эта убежденность у них? Каково им жить с такой убежденностью? За этими вопросами просматривается значительный простор для писательской мысли. Увы, только просматривается.

Выигрывая в своеобразной «дееспособности», писатель явно проигрывает здесь в полноте и глубине художественного исследования. Разумеется, рассказ этот может оказать сильное воздействие на тех, кому адресован, но сила воздействия в данном случае — не в энергии, заключенной в тексте, а скорее в остроте самой жизненной проблемы инфантильности.

Автор идет на такое сознательно, придерживаясь, видимо, распространенной точки зрения, что сегодняшние проблемы требуют от писателя практических действий, непосредственного вмешательства в жизнь и что невольная роскошь — заниматься в нынешней общественной ситуации углубленным исследованием тайн человеческой души. У этой позиции есть сильные стороны. Но есть и слабые. Мне кажется, что все отдельные перекосы нашей хозяйственной и общественной жизни, накладывающие свой отпечаток на нравственное, духовное состояние общества, на самоощущение каждого отдельного человека, — все они являются симптомами некой

общей болезни (обозначим ее условно волюнтаризмом, недостаточной культурой хозяйствования). И дело писателя — исследовать эту болезнь изнутри, пользуясь средствами, которыми обладает только художник.

О сегодняшней остроте этих вопросов свидетельствуют дискуссии в критике, сошлюсь хотя бы на обсуждение «Печального детектива» В. Астафьева и дискуссию «Начинается с публицистики?», прошедшие недавно в «Литературной газете». Спор шел о том, во благо ли нашей литературе некоторое преобладание открытой публицистичности в последних работах В. Распутина, В. Астафьева, Ч. Айтматова, Д. Гранина и других. Критики не пришли к единому мнению. Да и вряд ли это было возможно. Дело тут не только в степени таланта того или иного отдельно взятого писателя, но и в тех задачах, что ставит каждый данный этап времени перед литературой

Что касается Юрия Аракчеева, то мне кажется, что наметившаяся в последних

его работах тяга к открытой публицистичности часто не позволяет ему использовать свое дарование в полную силу. И в то же время, можно, как это ни парадоксально, допустить, что нынешний этап способен обогатить писателя, и прежде всего как художника. Ибо конкретная цель, публицистическая установка требуют от автора предельной нацеленности всех используемых средств, придают взгляду особую жесткость, не позволяют растекаться мыслию по древу. А главное, вовлеченность писателя в такую горячую сегодняшнюю работу — верное средство сохранить свое неравнодушие, свою личную заинтересованность в решении традиционной для русской литературы миссии «исправлять нравы». Активная, «проповедническая» струя в последних работах писателя убергает его от простого тиражирования уже достигнутого Аракчеев постоянно в поиске, и возможно, что завтра мы познакомимся с новой ипостасью этого активно работающего прозаика.

Сергей КОСТЫРКО.



ПРОРВАТЬ КРУГ

Лидия Гинзбург. Из старых записей. В кн.: «О старом и новом».

Л. «Советский писатель». 1982.

Лидия Гинзбург. Записки блокадного человека. «Нева», 1984, № 1.

Лидия Гинзбург. За письменным столом. Из записей 1950—1960-х годов.

«Нева» 1986, № 3.

Лидия Гинзбург. Еще раз о старом и новом (Поколение на повороте).

В кн.: «Тыняновский сборник». Рига. «Зинатне». 1986.

На днях говорю Тынянову, что работа над Вяземским подвигается плохо: мне не нравится все, что я пишу. Он: «Я уже давно в таком же положении». И при этом ухмыляется удовлетворенно.

Лидия Гинзбург. 1925 год.

Я написать о Вяземском хотел...

Александр Кушнер.

Уточных и неточных наук однажды оказалось все противоположно. Точные гордились, если не кичились, объективностью предмета изучения, своих посылок и выводов, относясь к гуманитарным наукам снисходительно, если не пренебрежительно, как и к впрямь неточным. Неточные испытывали комплекс, вставали в оборонительную позицию, настаивали на своей насущности, прежде дела вынуждены были оправдывать его. Точные были защищены непробиваемой броней: вы не понимаете, или вам не по уму... Неточные будто изучали то, что все ясно и так, и без них понятно, и стоит ли... Между тем

все давно поменяло знак в этом распределении: и точные зашли в своем развитии почти в гуманитарный туман, не заметив, что делением на человека и природу как нечто объективно существующее вне, сами установили преграду между миром и человеком, а теперь в нее же и уперлись; неточные же, так и не отделив объект от субъекта, никуда от себя не ушли — тем же и заняты, только занятие это становится все более заманчивым и оправданным к концу века. О том, что точно, а что неточно, можно теперь еще и поспорить.

У точных и неточных наук и до сих пор все: противоположно, кроме слова «наука».

У точных, собственно, точен предмет, а не вывод; он внешен, он тверд, он отчетлив. Но о качествах работы, пытающейся описать и объяснить эту точность, судят лишь специалисты; нам это неизвестно, насколько они бывают точны, мы этого не проверим.

Другое дело наука неточная: тут мы, может, читать не станем, но кое-что как бы поймем и свое суждение наверняка иметь будем. Допустим, литературоведение...

Но как же мне согласиться, скажем, с тем, что сама литература не есть точный объект? Тем более та, с которой имеет дело наука, а не критика, то есть — великая? Почему же, стоя у подножия гения, ученый кажется карликом, а стоя на пороге природы — гигантом? Не менее самонадеянно постигать физические законы, чем законы гения... По-видимому, гений — природа.

Скажем так, литературоведению недоступен эксперимент. Изучая «Евгения Онегина», мы и не пытаемся своими силами создать подобие его строки. Что же получается? Мы изучаем то, чего не умеем, но, и изучив, не научимся... Однако эксперимент есть опыт, опыт есть удел каждого человека, а литература лишь человеком и занята. Это одна сторона, по которой человек, не испытавший на себе что такое поэзия или проза для поэта или писателя, может-таки изучать их творчество. Между ученым и объектом тогда находится именно тот барьер непрямого отношения, что необходимо науке. Эксперимент же — попытка воспроизвести частично природный процесс своими усилиями, — не входя в практику литературоведения, применяется тем не менее не так уж и редко.

Кроме того, что научная проза — тоже проза и в ней наблюдается свое изящество и свои стилистические красоты, как правило, подтверждая именно научное качество, не исключена и попытка исследователей самим испытать на себе предмет изучения, выступая в качестве художника. На склонах дней маститый ученый завоевывает себе право выпустить книжку грамотных стихов, на протяжении жизни сопутствовавших его полконению предмету изучения — великой поэзии.. В XIX веке о литературе писали все люди пишущие. Да и в нашем: Тьнянов, великий ученый, так был просто замечательный прозаик; Шкловский прозу писал не хуже своей науки да и науку свою писал тою же прозой...

Так что были примеры. Потом их не стало.

У читателя — своя хронология: последовательность прочтения. Даже если он столь внимателен и пристален, чтобы обратить внимание на даты написания, произведения автора укладываются в его сознании в последовательности прочтения, а не написания, и, подсознательно, «позже написано» то, что позже прочитано. Позже прочитанным же может оказаться просто позже изданное. Это очевидные вещи, но происходит не менее сотни лет чтобы классик выстроился в сознании читателей в последовательности собственного развития. С современным автором такое не может произойти — при жизни ему на это не хватает времени.

Бывают и счастливые случаи. «В России писатель должен жить долго», — говорил Корней Чуковский. Писатель растет внутри своего поколения, добывая признания поколением предыдущим (отцов, учителей...), ветшает на глазах у поколения следующего (детей, учеников...) и вдруг возрождается, как огурчик, в сознании внуков.

Лидия Яковлевна Гинзбург была признанным литературоведом тыняновской выучки, доктором филологии, специалистом по русской поэзии задолго до того, как стала «известной». Известность ее выплеснулась за академически очерченный круг достаточно внезапно и необратимо — с выходом книги «О лирике» в 1962 году. Последующие книги — «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979) — расширили эту известность до масштабов славы (в литературоведческих масштабах). Каждая из этих книг была современной и своевременно выпущенной, то есть «новой», то есть была следующей, позволяющей наращивать эпитеты к имени — от «известного» до «выдающегося». Пользуясь формулой Пушкина о Вяземском, книги эти были оригинальны, ибо «мыслили». Они обозначили уровень. (Уровень — это не равенство, уровень — это рекорд.)

Книга «О старом и новом» (1982) оказалась и старее и новее этих составивших заслуженную известность книг. Стереотипное словосочетание, давнее название книге, рождается заново по прочтении ее: это не только «старое и новое» в историческом смысле, не только закамуфлированные «архаисты и новаторы» былого учителя, но и в самом прямом смысле — самое старое и самое новое в сочинениях самого автора в естественном переплетении и единстве. Статьи 80-х годов в ней соседствуют со статьями 20-х, 30-х, 40-х; мемуары 80-х о 20-х и 30-х с записями тех же лет. Со-

сведствуют на редкость мирно. Если специально не ориентировать себя на даты, то и не ощутишь шестидесятилетнего срока, увлеченный некой на всем протяжении общей энергией мысли. В этом сборнике литературоведческих работ есть элементы романного строения, романного же течения времени. «Откровение наступит тогда, когда добудется вещь, которая окажется и исторической вещью, и вместе с тем вещью, а не бесплотной тенью литературной борьбы». «Добывание каждой жизненной ценности сопровождается избыточной тратой энергии или материала. Иногда перерасход очень значителен. Для того чтобы мгновенья настоящего счастья и страдания приобрели вес, по-видимому, нужно, чтобы на них всю тяжестью давили массы безвозвратно потерянного времени».

Время как категория—постоянный объект изучения Л. Гинзбург, основа для анализа художественного творчества. Лирика, психологическая проза, литературный герой—последовательные ступени познания категории времени на классическом литературном опыте. Книга «О старом и новом» нова в ряду этих книг тем, что включает и личный, современный опыт автора в познании этой категории.

«В каком-то из закоулков какого-то из учреждений стояла женщина, обмотанная платками. С темным, неподвижным лицом она ела ложку за ложкой из банки кашу. По тогдашним понятиям, каши было довольно много.

— А у меня мать умерла,— остановила она проходившего мимо малознамого человека,— каша вот по ее талонам... Такая тоска, невероятная. И ни за что не проходит. Думала—какое счастье съесть сразу три каши, четыре каши... Не получается, не хочу... Глотаю и глотаю, потому что тоска, она там глубоко, внутри: мне все кажется—станет легче. Эта каша, жижа опустится туда, вниз, придавит тоску, обволокнет ее, что ли. Ем, ем, а тоска не проходит».

«Записки блокадного человека» — чтение жуткое и небывалое. То, что они написаны не писателем, а ученым, причем настоящим, как бы оправдывает их манеру. Точность факта, беспощадность наблюдения, свойственные науке, таковы же в этих записках, как в тонком лабораторном опыте,—но допустимо ли так исчислять трагедию, замерять страдания? Оказывается, допустимо. Возможно, потому, что это не человеческие страдания.

У художественности нет ограничений, но

есть диапазон. Диапазон, за пределами которого расположено не то, что «нельзя», а то, что невозможно для изображения: там исчезает художественная правда. Исчезает, между прочим, почему-то не только вместе с художественностью, но и вместе с правдой. Раздвинуть этот диапазон под силу лишь очень большому таланту либо очень значительной личности—тут требуется обеспечение.

«Записки...» — жуткое чтение. Жуткое, потому что об этом, жуткое, потому что такое могло быть, жуткое, потому что такое было. Жуткое, потому что об этом возможно писать, жуткое, потому что это написано, жуткое, потому что мы можем это читать, жуткое, потому что мы это читаем. Есть в этих «Записках...» откровение. Мы же много о блокаде знаем! Документы, хроники, памятники, Вечный огонь... сами пережили... Мало. Даже чем больше тем меньше. Событие удаляется в сознании, бронируется в мрамор. Так ли уж мы хотим это помнить — особенно пережившие? Помнить помним, это долг; в споминать не хотим. Страшно. Страшно, что такое могли пережить люди... Люди — это много. Это со временем становится как бы вообще. Не страшно. Страшно, страшнее даже оказывается другое: что такое мог пережить человек, один человек — величина, в ту пору неотъемлемая и неотделимая от общей массы людей. «Записки...» написаны в этой единице измерения — один человек. В этом смысле они оказались первыми, несмотря на обширнейший пласт общезвестного. Они про человека и оттого про людей, а не наоборот. Оттого же — это уже не мы читаем, смотрим, кладем цветы к памятнику, а Я (в каждом из случаев) читаю. И это мне страшно.

Под «Записками...» стоит тройная дата: 1942—1962—1983. Эти двадцатилетия, уходящие в тире (оно же минус), очень показательны. Значит, автор вел эти записки тогда (невыносимо представить!). Значит, он был способен взять их в руки для просмотра и переработки лишь через двадцать лет. Значит, еще должно пройти двадцать лет, чтобы и мы, читатели, стали бы способны прочесть их.

Да, именно через двадцать лет... Тогда же, когда Л. Гинзбург могла вернуться к своим запискам после пережитого, я запомнил поразительные ленинградские застоля двух поколений блокадников — дни рождений, именины, первомайские, ноябрьские, День Победы... Весело было! Хрустящие скатерти, уцелевшие и благоприобретенный хрусталь, икры, семги, языки, пи-

роги, салаты... Вкусно! красиво! Мы — молодые, и родители еще не старые... здоровые. счастье! И вот, когда уже отметили, когда насытились, за чаем, за тортом разговор наш с пятого на десятое, неизбежно уходил и уже не возвращался до за полночи, до опаздывания на метро, до вызова такси. до лестничной площадки с прощальными поцелуями и комплиментами кулинарным талантам хозяйки... С пятого на десятое... На десятое была блокада. Вместе с подкладываниями не отведенных еще тортов и варений. Совсем не плакали и очень много смеялись. Очень много оказалось смешного! Например, потеряли карточки, или опрокинулось с санок ведро с водой у самого порога, а два километра до проруби, или верхний сосед канализацию на нас спустил, и полметра такого льда в квартире. или столярный клей в самоваре варили, или... До слез хохотали. И это были единственные слезы. Если бы кто обратил внимание, о чем мы смеемся в этом пиру! Никто не обращал. Ужас этого очевидного наблюдения не достигал нас. Потому что ужас остался там.

«В дни большого голода люди много молчали», — пишет Лидия Гинзбург в своих «Записках...».

«Записки блокадного человека» — точное определение жанра. Ассоциативная связь не только с Достоевским (его человек передвинут не только в другое время и опыт, но и в другое измерение), но и с учеными записками. традиционной реферативностью: это записки человека, но и записки ученого. Стилль сух и точен, избегая выразительности, он обретает ее. Сухость эта однако. кажущаяся — столь разнообразен этот стилль. если приглядеться: ученого наблюдателя и философа. испытывающего физические муки, и возрождающегося в духе человека... Сухость эта не дерет ни горла, ни уха — она дерет душу.

Сами посудите может ли человек с нормальными эмоциями так написать.

«Количество страдания переходит в другое качество ощущений».

«В годы гражданской войны голодали иначе, стихийно и хаотически... Ели фантастическую еду: шелуху, крыс и т. п., в то же время что-то комбинируя, меняя; и вдруг добывали мешок картошки. Блокадный голод был голод неплохо организованный. Люди знали, что от кого-то невидимого они получают тот минимум, при котором одни жили, другие умирали — это решающий организм».

«Возрождение фактора денег было ду-

шевным переворотом... С этих именно пор еда стала средоточием умственных сил... стала сферой реализации и немедленно обросла разными психологическими деталями.

На фоне всеобщей, общегородской эволюции каждый проделывал свой собственный путь — от непонимания и легкомыслия до голодной травмы. Индивидуальное притом было включено в групповое, в типические реакции разных пластов населения на трагедию еды».

«Блокадные люди не угощали друг друга. Еда перестала быть средством общения».

«Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам осязательность. Прежде всего каждый продукт должен был перестать быть самим собой. Люди делали из хлеба кашу и из каши хлеб; из зелени делали лепешки, из селедки — котлеты. Элементарные материалы претворялись в блюдо. Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса»...

Пусть ум, наблюдательность, какая угодно точность... но если бы все было написано так, мы бы не превозмогли в себе вопроса: кто же это пишет, кто же это все видит, обмышляет да еще и записывает?.. И даже то, что пишет это человек, сам разделивший со всеми пайку, сам познавший всю меру, — освободило бы автора лишь от читательского лична, но не недоумения. Если бы все было написано так... Но вот что выясняет для себя автор путем подобных наблюдений.

«Обреченными были не самые почерневшие. исхудавшие и распухшие, но те, у кого было не свое выражение, дико сосредоточенный взгляд, кто начинал мелко дрожать перед тарелкой супа».

«Вспоминая зиму, Эн в основном вспоминал не еду и не голод, а хроническую болезнь с разными ее признаками и вообще маски голода, его психологических оборотней. И все это было менее унизительно и животно (разрядка моя. — А. Б.), чем то, что происходило с ним в пору начавшегося облегчения. Ему все время хотелось есть... И в этом были поглощенность и напряжение, какие он прежде знал, только додумывая, дописывая что-нибудь очень важное. Странное, искривленное отражение интеллектуального действия — оно было унизительнее всего».

«Иногда наступало просветление. Тогда хотелось наестся до тошноты, до отвращения к пище, до рвоты — чтобы только

покончить с этим стыдом, только бы освободить свою голову. Но дистрофическим мозгом овладевал страх — что же будет, если этого не будет? Если рассосется вдруг этот комплекс желаний и целей?

А на что это так омерзительно похоже? На что именно из прошлой жизни? Ах, да,— на неудавшуюся любовь, когда она медленно разжимает тиски, а человек боится потерять с нею уже не надежду, не чувство, но обеспеченное, привычное заполнение вакуума».

Вот слова страдающего сознания, привыкшего властвовать над собою, привыкшего уважать себя,— преодоление такого страдания есть торжество духа. Если бы в «Записках...» не торжествовал дух, у них бы не было читателя. Они сами и есть такое торжество. Потому что эти «Записки...» не только записаны, но и написаны, то есть претворены в произведение.

В своем совершенном пределе настоящий стиль незаметен, настоящая форма невидима. «Записки...» Л. Гинзбург настолько служат своей цели и исполняют назначение, что как бы и поглощаются ими, растворяясь в них, «Записки...» эти ничем кроме записок и не кажутся — будто бы последовательная и точная (честная) запись того, чему довелось быть участником или свидетелем. Так они и прочитываются, достигая как бы невольной цели — сопереживания читателя. Однако это не так.

О разнобразии интонаций внутри кажущейся сухости и наукоподобия уже было упомянуто. Интересно отметить и строение вещи. Оно весьма не просто, но сложность эта столь же не бросается в глаза (было ли то самозарождение формы или авторская организация текста через двадцать лет, или то и другое — неизвестно и неважно).

«Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания. Как его прорвать? Люди бегут по кругу и не могут добежать до реальности. Им кажется, что они воюют, но это неправда — воюют те, кто на фронте. Им кажется, что они не воюют, а только питаются, но и это неправда. потому что они делают то, что нужно делать в этом воюющем городе, чтобы город не умер».

Настоящая форма повторяет предмет, о котором повествует. Кажущееся помимо-вольным течение записей есть организованное кольцо, сама блокада, круг, который следует прорвать, написав о нем. Все построено и как последовательное описание блокадных дней и лет, и как один бесконечный день блокадного человека, причем

так, что внутри этого одного дня, от восхода до заката, помещаются годы. С подробностью и тщательностью описываются мельчайшие движения блокадника, пещерно добываемого огонь и воду, стоящего в очереди, приготавливающего пищу, отходящего ко сну.— технология умирания, практика выживания... Но как эта возмутительная дотошность подобна состоянию истощенного человека: она оказывается единственно возможным способом адекватно передать читателю ощущения и чувства, знакомства которыми не может быть в нормальном человеческом опыте. То, что нельзя, недопустимо писать «художественно», писать «стилем», обретает необходимые повествованию стиль и художественность, отвергая их. Эта концентричность времени во времени (помещение большого протяженного времени внутри малого и ограниченного) рождает героя повествования (протяженное время проживают люди, один день проживает человек) — некоего Эн (мужского рода). «Это человек суммарный и условный,— оправдывается Л. Я. Гинзбург в кратком предисловии,— интеллигент в определенных обстоятельствах». Но именно эта устранимость внешних узнаваемых черт Эн позволила ему стать героем повествования в высшем литературном значении — это образ той тени, тех обнаженных то чистых, то страшных значений образ той бестелесности, до которой не на бумаге, а в жизни был доведен в тех немислимых условиях человек (и тут то же высшее подобие формы). Отдельного анализа потребовало бы наблюдение тех неуловимых переходов героя Эн в обычного блокадного человека (уже и не Эн...), а блокадного человека в общую массу блокадных людей и обратный переход: из людей в человека, из человека в Эн. Будто герой на границах зыблющегося сознания меняет свое агрегатное состояние, перетекая из индивидуальной участи в частную, из частной в общую. Так оно и было: блокадный город был один организм, в нем не было отдельных смертей, а выживание было общим: «И все столпившиеся здесь люди — в том числе ламентирующие, ужасающиеся, уклоняющиеся,— повинувшись средней норме поведения, выполняют свою историческую функцию Ленинградцев».

Итак, стиль, архитектоника, герой, сложнейшим образом препарированное время как повествования, так и героя... Это — не просто записки ученого, это — художественная проза.

«Написать о круге — прорвать круг. Как-

никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное».

По-видимому, у каждого времени, как бы неопишимо и непроживаемо оно бы ни было, выживет очевидец, откроется со временем и летописец, вдвоем они обещают рождение художника. Удивительно, когда через сорок лет они совместятся в одном лице.

Изобличив в «Записках...» произведение, в мемуаристе художника, нам легче разобратся и в последующих «записях» Лидии Гинзбург. Последняя ее публикация «Из записей 1950—1960-х годов» уже из опыта, данного и нам в ощущении, правда, с разницей в целое понимание. Для читателя моего поколения тут, кроме читательского удовлетворения уровнем текста, лишь одно удивление: да, мы это уже знаем, мы тому свидетели, но понимать свое время стали значительно позже, чем оно с нами было... Здесь же то же самое время как бы осмысливается тогда же, в тот же момент, что и происходит. Мы готовы читать как собственные мемуары то, что с нами происходило в реальности, но не как реальность. Реальностью мое время, выходит, было для человека поколения отцов, на моей памяти ничего уже из нашей жизни не понимавшего. Я помню это заведомое непонимание... Так кто же кого не понимал? Неужели не они нас, а мы — себя?

«Между нами и теми, кто на двадцать пять, на тридцать лет моложе, разница заметная, но в основном негативная. Они тем-то не интересуются, того-то не знают или не любят, о том-то не думают. Но те из них, которые думают, — думают довольно похоже. Вместо того чтобы рвать нас молодыми зубами (по правилам девятнадцатого века), они смотрят ласково.

Трагедия отброшенных с переднего края истории, исконная, традиционная, бессчетное число раз описанная, перестала совершаться. От одного страдания человек двадцатого века все же избавлен — от трагической зависти к растущему и вытесняющему. В виде компенсации, что ли, ему дана если не вечная молодость, то, по крайней мере, вечная молоджавость.

Инфантильность стариков еще не самое плачевное: плачевнее инфантильность молодых.

Из незаполненного, ненасыщенного жизненного пространства выходит навстречу стареющий юноша — призрак инфантильного сознания».

1954 год...

«Не знаю, есть ли уже стилиаги, ставшие взрослыми. Возможно, что они вырастают предупредительными чиновниками и процветающими взяточниками. Протест — продукт молодости и скуки — выветривается, а жадность остается...»

Старики всегда недовольны новым... Старики учат молодых чувству современности».

А это писано в начале моих 60-х...

«О старом и новом», «Еще раз о старом и новом» и вот теперь — «О старости и об инфантилизме»... Это круги другой блокады — блокады времени, прорыв которой и есть победа жизни. «С младых ногтей» 1925 года до последних записей 60-х, сорок лет одного и того же развивающегося кружения: отцы и дети, интеллигенция и революция, традиция и новаторство, учителя и ученики, поколение и время, молодость и старость, зрелость и инфантилизм, динамика и остановка, жизнь и опыт, историзм и внеисторизм, современность и реальность... сорок лет работы со временем не как с категорией, а как с материей (первый признак современной прозы).

«О, какими ветрами все это замело! В частности, интерес к себе, который у меня, например, иссяк окончательно к тридцати годам.

Заменяя задуманную трагедию другой, ничуть на нее не похожей, история дотла изменяла человека».

И творчество — прорыв и победа над временем. Прустовские жесты монументально каменеют в конкретности лишь на одним принадлежащего опыта. Изящество мелкой пластики опытов (эссеев) XVIII века (Ларошфуко, Монтень) у Лидии Гинзбург слагается в сумме в эпос.

Три публикации — из 1925—1935-х годов, из 40-х (блокада), из 1950—1960-х годов, прочтенные последовательно, уже составляют книгу, которая, полагаю, не за горами. Она будет наверняка шире этих публикаций, но и тогда многое оставит за бортом (за переплетом) — на будущее. Эту большую книгу уже чувствуешь в рамках скромных публикаций: она — есть, ее — ждешь.

И вот на что, вообразив ее всю, можно теперь, вернувшись к ее началу, обратить наконец внимание — на строки краткие предисловия:

«Прозой Вяземского я занималась начиная с 1925 года. Тогда же это занятие навело меня на мысль — начать самой нечто вроде „записной книжки“».

Я и знал и обратил внимание, однако —

не дошло. «Читательская хронология», о которой рассуждалось выше, сработала: в конце пути за выдающиеся заслуги (как переводчику право на оригинальную книжку) ученому даруется право на мемуары... Что безусловно небезынтересно, поскольку — личность. Свобода для ученого воспринимается лишь как итог и заработанное право на отдых. Отблеск. Роскошь. Шалость. Закат.

Это и в массе случаев не так. Но здесь и еще особый случай.

Здесь вовсе не склон лет. Это писал молодой человек двадцати трех лет, потом двадцати четырех...

«Недели две тому назад... в час ночи позвонил Мандельштам...»

«Горький недавно говорил...»

«Тынянов сказал вчера...»

Ах вот когда это было! Тогда. Недавно и вчера. Шестьдесят лет назад.

И вот как готов этот молодой человек к этим предстоящим шестидесяти годам:

«Юность — это время приготовлений к жизни, и притом приготовлений не по существу. Хотеть быть кондуктором для интеллигентского ребенка психологически обязательно, потому что юность — это пора, когда человек не знает своего будущего и не умеет подсчитывать время.

Юность имеет занятия, но несовместима с профессией. В жизни человека есть период, когда он мыслит себя господином неисчерпаемого запаса времени... У взрослого человека время исчезает бесследно и навсегда. Так начинается приобщение к профессии».

Это пишет двадцатипятилетний. О блокаде напишет сорокалетний. Последние записи начнет человек пятидесятилетний.

И вот что будет написано через сорок лет после первых записей тем же человеком, не менее зрелым, но будто и не более старым:

«В старости не следует (по возможности) бояться смерти, потому что из теоретической области смерть перешла в практическую. В старости нельзя жаловаться, пото-

му что кто-нибудь может в самом деле пожалеть... Нельзя опускать руки, потому что в старости этот жест чересчур естественный.

Мы завидуем молодости — нет, не ее весельям. Молодость мы испытали в свое время и знаем, как она нерадостна и пустынна. Мы завидуем праву ее на страх, на чужую жалость, на глупость, на слабость и слезы в ночи... Ей можно, потому что где-то, на большой глубине, она не уверена, что все окончательно и всерьез.

Вот какие права дарованы юности. Мы же, если хотим жить, должны быть очень бодрыми и гордыми».

Автор убедился в том, в чем был убежден с юности...

В той же последней книге «О старом и новом» переиздана и работа 1929 года «Вяземский и его „Записная книжка“». В строении книги она сознательно «зарифмована» с собственными записями. В этой прекрасной, упругой, молодой статье «Записная книжка» обоснована как осознанный и выстроенный Вяземским жанр. Традицию русской эссеистики Л. Гинзбург постигает теоретически и принимает эстафету. Только — что вперед чего? «Записки» она начинает одновременно и ведет задолго до окончания работы над Вяземским. Наше шуточное предположение об «экспериментальном литературоведении», выдвинутое вначале, здесь оказалось не шуточным. Постичь законы прозы Вяземского исследователю удалось в результате собственного опыта. Прозаик Лидия Гинзбург здесь старше литературоведа. И что к чему окажется приложением — проза ли к литературоведению сегодня доминирующему в сознании читателей Л. Гинзбург, или литературоведение к ее прозе только начавшей поступать во времени, — неизвестно.

Настоящие заметки — еще не тот анализ, которого будет достойна эта растущая на наших глазах книга. Наша цель здесь лишь обозначить в сознании читателя самостоятельное значение прозы Лидии Гинзбург.

Андрей БИТОВ.



СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В вечном созвучии. Сборник стихов русских и латышских поэтов. М. «Современник». 1985. 423 стр.

В предисловии к сборнику составитель Л. Осипова отмечает, что цель его — знакомство всеобщего читателя с достижениями латышской поэзии. И действительно,

здесь представлены почти все значительные поэты Латвии. Среди переводчиков и те, кто открывал двадцатый век в отечественной литературе: Брюсов, Блок, Ахматова,

Вяч. Иванов, Шервинский — и нынешние мастера переводческого цеха. Кроме того, в сборник вошли стихи русских поэтов о Латвии или с Латвией связанные. Словом, культурно-информативная ценность антологии несомненна.

Открывается книга переводами латышских народных песен—дайн. Можно сказать, все оттенки человеческих переживаний нашли свое выражение в этих звенящих, проникновенно-лиричных миниатюрах. Красота мира и социальные отношения, школа нравственности и практическая житейская мудрость — все это несут в себе дайны...

Отражает антология и революционную эпоху конца XIX — начала XX веков. Это пронизанная мотивами горького одиночества и безысходности лирика Я. Порука. пейзажи В. Плудона и Ф. Барды, стихи первого революционного поэта Прибалтики Э. Вейденбаума, которые А. Упит назвал «колоколом, будившим рабочий класс Латвии», произведения Аспазии и Я. Райниса, в самом начале века написавшего энергичные, призывные строки: «На нить нанизанные звуки плывут и реют в вышине: моей души мечты и муки горят и плавают в огне! Душа горит, сгорает ярко, в огне расплавлена она. Пусть сердце полно кровью жаркой, душа огнем претворена!» (перевод В. Брюсова). Латышская поэзия 20—40-х годов наиболее значительно представлена в книге полными любви и боли стихами неповторимого урбаниста А. Чака, роскошными фантазиями утонченного мечтателя Э. Адамсона, воспевавшего непреодолимую красоту жизни, трагическими строками погибшей в двадцать два года А. Скуини...

Для новейшего периода, связанного с именами В. Белшевицы, О. Вацietиса, И. Зиедониса, И. Аузиня, Я. Петерса, М. Чаклайса, К. Скуениека, Я. Рокпелниса, У. Берзиньша и других, характерны социально-философская направленность, напряженный психологизм, изящное использование иронии и гротеска, элементов фантастики. Во многих произведениях явственно слышится эхо минувшей войны. Как, например, в стихотворении Вацietиса «Перед операцией»: «После операции прошу вернуть мне этот осколок. Он жил по соседству с сердцем, стенка была тоньше папиросной бумаги, и он все подслушал. А самое главное — нельзя отпускать на свободу осколки, которые побывали в груди человека и знают туда дорогу» (перевод Л. Азаровой).

К сожалению, в ряде случаев своеобразные и талант некоторые латышских поэтов

оказались как бы недопроявленными из-за неточной оценки и расстановки составителем современных переводческих сил. Думается, читателю трудно будет представить себе уровень Вацietиса без переводов А. Ревича и О. Чухонцева, Зиедониса — без А. Кушнера и Ю. Мориц, Белшевицы — без В. Шацкова... Ощущается и отсутствие переводов Л. Черевичника.

Русский раздел начинается стихами Батюшкова и Тютчева, а также основателей советской поэзии Брюсова, Маяковского, Тихонова, Сельвинского... Революционное прошлое Латвии и таинственно-прекрасная Рига, чудо Янова дня и прибрежные, морские пейзажи определили образный строй большинства стихотворений русских авторов. Однако прав, по-моему, молодой рижский поэт и прозаик Н. Гуданец, считающий, что в этом разделе слишком много случайных текстов «экскурсионного» характера, которые вряд ли способны раскрыть латышскую тему («Даугава», 1986, № 6). Из малоизвестного широкому русскому читателю хотелось бы выделить навеянные балтийским фольклором тревожные образы Л. Копыловой, подробно точные, пронизанные светом рижские пейзажи Ольги Николаевой, стихи Л. Азаровой, в чьем творчестве, как уже отмечала критика, удачно соединились русское и латышское поэтические начала.

Одна из важнейших задач искусства — объединять людей великой целью. Той, о которой сборник «В вечном созвучии» говорит строками писателя-революционера, коммуниста Л. Паэгле (перевод А. Штейнберга), поднимающего эту вечную задачу искусства на высоту, достойную революционно-романтического духа эпохи:

Светить, пылать — пути нам нет иного!
В сердцах мы солнце бережно храним,
и возрождаемся мы вместе с ним,
в бесчисленных формах возникая снова.

Мы распускаем крылья даже в зимы,
когда седеет иней на заре,
стремясь в далекий город на горе,
сияющий красой недостижимой

Завершая эту краткую рецензию, мне бы хотелось сказать несколько слов и об основе многих переводов — о подстрочниках. Ведь в переводе нас интересует не только художественная сторона, но и точность, адекватность тексту оригинала. В многочисленных (особенно ныне!) дискуссиях о переводе не раз отмечалось, что писатели, знающие языки наших республик, просто физически не могут освоить весь материал, достойный перевода. Вот почему так важна роль подстрочника.

Союз писателей Латвии — один из застрельщиков фундаментального подхода к этому вопросу. В Риге небольшими тиражами сравнительно регулярно выпускаются сборники новейшей латышской поэзии, где рядом с текстами первоисточников печатаются профессионально выполненные подстрочники. Практическая ценность таких сборников очевидна. Читатель, глубоко интересующийся современным состоянием латышской поэзии но не знающий языка, может достаточно полно познакомиться с фактурой оригиналов, с теми деталями, которые к сожалению, нередко оказываются вне поля внимания переводчика. Да и то сказать: любой честный подстрочник куда более художественен, нежели торопливая шабашка ремесленника, и именно он подсказывает мастерам перевода верный путь.

Читаю подстрочники и не могу не оценить их емкость и свежесть:

Еще не время уходить еще не перевалило
 через полночь еще
 Лес мечтая бродит по зеленому туману
 о скажи
 Скажи мне.
 И петух на насесте спит его клюв подвязан
 тишиной

Словно черной траурной лентой

(П. Зирнитис, «Ноктюрн»)

Или:

Все хорошее далеко, хорошее так мало,
 эта земля — вишневая косточка в галактике.
 И от того далекого, далекого солнышка
 всем тепла — сколько угодно.

(В. Авотиньш, «Все хорошее далеко...»)

Стихи ли перед нами? Вне всякого сомнения. А ведь эти строчки — то, что мы порой пренебрежительно считаем чем-то вроде черновика...

Следует почаще вспоминать, что подстрочник отнюдь не тождествен буквальному переводу, ибо предполагает знание не только обоих языков, но и «соединяющихся в тексте» культур географических, исторических, бытовых и прочих реалий. Задача подстрочника — прежде всего точная передача смысла каждой строки, строфы, произведения в целом. Пусть это и не относится к художественному творчеству, но это полноценный литературный труд, очень серьезный.

И рецензируемый здесь сборник «В вечном созвучии», и томики «Подстрочников», выпускаемые Союзом писателей Латвии, — в конечном счете явление одного порядка, они служат одному общему делу, являя собой связующую нить между двумя культурами — русской и латышской.

Эдуард ПРОНИЛОВЕР.



Политика и наука

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В. М. Лесиовский. Тайна гибели Хаммаршельда. М. «Мысль», 1985. 351 стр.

...Весь полет 17 сентября 1961 года от Леопольдвилья, столицы Конго (ныне Республика Заир со столицей Киншаса), до окрестностей Ндолы, небольшого города Северной Родезии (Республика Замбия), проходил нормально. После полуночи с самолета информировали диспетчера в Ндоле, что видят огни аэродрома, и запросили высоту снижения. Это, как считается, был последний радиосигнал «Альбертины».

Примерно в 00 часов 10 минут «Альбертина» прошла на заданной высоте над аэродромом. Оставался один поворот для выхода на полосу. Диспетчер видел огни снижавшегося самолета. А через одну-две минуты произошла катастрофа.

Самолет упал в двенадцати километрах от взлетно-посадочной полосы на склоне холма, обращенном к аэродрому. Густой мрак тропической ночи был разорван столбами яркого пламени. Временами над по-

жаром взлетали фонтаны искр и вспыхивали молнии рвущихся сигнальных ракет — казалось, что оттуда, с холма, подаются сигналы бедствия гибнущие в огне люди. Их было шестнадцать, летевших в Ндолу, и среди них генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Даг Яльмар Хаммаршельда.

Так — трагедией и смертью — завершилась скоропалительно организованная в самый канун очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассчитанная на три, но затянувшаяся на пять дней поездка Хаммаршельда в Конго, формально предпринятая для разрешения острого военно-политического кризиса в этой стране.

Разобраться в истинных причинах и обстоятельствах гибели Хаммаршельда, приоткрыть завесу тайны, которой окружали катастрофу «Альбертины» империалистические силы, стоявшие за спиной непосред-

венных организаторов и исполнителей заговора,— такую задачу ставил перед собой Виктор Лесиовский в книге «Тайна гибели Хаммаршельда». Это первая и, к сожалению, последняя книга безвременно ушедшего из жизни советского дипломата, долго работавшего в Секретариате ООН.

По жанру книгу можно было бы отнести к политическому детективу, не будь она исторически правдива. Автор сумел рассказать о необычном периоде в деятельности ООН — крупнейшей из предпринятых ею операций с использованием вооруженных сил, которая началась по просьбе молодого правительства Конго, но обернулась против народа этой страны. Одним из организаторов насилия над Конго, а вместе с тем, как оказалось, и жертвой стал сам Хаммаршельд. Но за его спиной стояли США, Англия, Бельгия.

...Утром 15 сентября 1961 года Хаммаршельд должен был принять важное для себя решение. Время его визита в Конго истекло, ему следовало возвращаться в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на открытии XVI сессии Генеральной Ассамблеи. Но три дня его пребывания в стране ничего не дали. Войска ООН, несмотря на годичное присутствие здесь, не только не принесли решения проблемы, но усугубили положение. Бои в Катанге, которая объявила об отделении от Конго, продолжались. Могли возникнуть новые осложнения. С таким багажом Хаммаршельд не хотел возвращаться в штаб-квартиру ООН: группа афро-азиатских стран лишила бы его доверия. К тому же президент Кеннеди и госсекретарь Риск выразили свою чрезвычайную обеспокоенность тем, что ООН, прежде чем предпринимать новые действия в Конго, не проконсультировалась с правительством США, которые несли основные финансовые расходы по всем операциям ООН в этой стране, обеспечивали транспортные перевозки и связь. А прибывший специально из Лондона заместитель министра иностранных дел Великобритании лорд Ленсдаун, имевший личные финансовые интересы в Катанге, в беседе с Хаммаршельдом предупредил его: Англия не допустит ликвидации независимости Катанги. Лондон и Вашингтон в совместном послании настоятельно предлагали Хаммаршельду остаться в Конго, чтобы «продемонстрировать серьезность, с которой генеральный секретарь относится к своим обязанностям по выполнению резолюций ООН».

Это требование компрометировало Хаммаршельда перед всеми членами ООН и оскорбляло его лично; теперь его задержка

в Конго выглядела как выполнение ультиматума. И все-таки он принял решение встретиться и провести переговоры с Мойзом Чомбе — вождем раскольников и сепаратистов Конго, убийцей первого премьер-министра этой страны Патриса Лумумбы. К этому Хаммаршельда подталкивали американцы и англичане. На протяжении нескольких дней англичане тайно готовили такую встречу в Ндоле.

Как высшее административное лицо ООН во всех своих поездках по миру Хаммаршельд встречал заботу и внимание, обычные для высоких гостей. Но в этот раз он и его спутники оказались почему-то никому не нужны. Ожидавшие прибытия Хаммаршельда в аэропорту Ндолы верховный комиссар Англии в Северной Родезии лорд Альпорт, а также лорд Ленсдаун, начальник аэропорта Вильямс и другие «высшие чины» спусти некоторое время после того, как над их головами пролетел приземлявшийся, но так и не севший самолет, спокойно ушли спать. Свое странное поведение они впоследствии объясняли тем, что якобы не видели катастрофы и решили, что Хаммаршельд в последнюю минуту дал приказ улечь в другое место.

Что же на самом деле произошло в ту ночь в маленьком родезийском городке?

В. Лесиовский рассказывает, как три комиссии — две родезийские и одна от ООН (допущенная к месту катастрофы пять месяцев спустя, когда фактически не осталось следов) — вели свое расследование. Их деятельность (прежде всего это касается, естественно, первых двух комиссий) сводилась к тому, чтобы полностью выгородить родезийские власти, несшие вкуче с англичанами ответственность за безопасность самолета «Альбертина» с Хаммаршельдом на борту. Судя по всему, силы, заинтересованные в устранении «изжившего» себя генерального секретаря, приложили немало стараний, чтобы тщательно спрятать все концы в воду. Это достигалось с помощью круговой поруки всех замешанных в деле лиц, преднамеренного замалчивания фактов, подделок показаний и тенденциозного подбора свидетелей, которые были разбиты на «надежных» и «ненадежных», запугивания очевидцев. И еще — с помощью технической экспертизы, которая проводилась ради уничтожения улик, а не их выявления.

Большую часть этих действий можно квалифицировать как должностные преступления. Самым вопиющим из них была, пожалуй, преднамеренная задержка поисков разбившейся «Альбертины»: они начались десять часов спустя после катастрофы, при-

чем самолеты были посланы в противоположную сторону, хотя с самого начала вокруг места аварии были выставлены полицейские кордоны! Власти, очевидно, давали самолету возможность полностью сгореть, чтобы быть уверенными: никого не осталось в живых. Когда же выяснилось, что личный телохранитель Хаммаршельда сержант Джулиан, много часов пролежавший раненым под жарким африканским солнцем, доставлен в больницу, ему помогли поскорее отправиться на тот свет, беспечность, как бы морской пехотинец не сказал чего лишнего.

Много неприятностей родезийским комиссиям по расследованию доставляли свидетели-африканцы — угольщики, работавшие в ту ночь в лесничестве Западная Ндола неподалеку от места катастрофы, жители расположенных рядом поселков. Только десятеро из них осмелились дать показания и по простоте душевной говорили о том, что видели. Эти люди не могли взять в толк, чего хотели белые господа, требовавшие, чтобы они отказались от своих слов. — ведь их показания начисто подрывали официальную версию событий. Так, африканец по имени Канкаса показал, что самолет Хаммаршельда, летевший с сигнальными огнями, нагнал маленький самолет без огней. Другой свидетель, Мазибиса, ночевавший около угольной печи, проснулся среди ночи и увидел два самолета. Он хотел было снова лечь спать, но вдруг услышал громкий взрыв, а потом — яркий свет, озаривший все вокруг. На следующий день, побывав с товарищами на месте взрыва, он видел, как горели обломки самолета. Комиссия, чтобы подорвать доверие к этому свидетелю, обвинила его в том, что он слушает радио Москвы. Угольщик Диксон Булени из поселка Камалашы рассказал: около полуночи он увидел в небе самолет а за ним позади метрах в ста пятидесяти — другой. Потом большой самолет взорвался и упал. Поднялся огромный столб огня. Маленький самолет сделал круг и улетел. Булени утверждал: «Огонь из большого самолета вырвался до падения. Сначала я услышал выстрел, потом увидел огонь, потом самолет упал».

Аналогичных свидетельств было несколько, но ни одно из них не приняли во внимание. Комиссии с негодованием отвергли показания двух африканских служащих аэродрома в Ндоле, которые сообщили: с затемненной взлетной полосы во время пролета «Альбертины» поднялись два реактивных истребителя...

Автор привлекает внимание читателей к

совпадениям, которые в свое время были квалифицированы как «случайные». В ночь прибытия высокопоставленного гостя, когда следовало принять особенно строгие меры безопасности, на вышке в Ндоле почему-то бездействовали радары, не работал магнитофон, записывающий переговоры с самолетами, регистрационный журнал оказался «потерянным», исчезли другие важные вещественные доказательства, включая значительную часть обломков самолета.

В течение длительного времени оставалось загадкой, почему тело Хаммаршельда нашли в полусидячем положении вне зоны огня, как будто его кто-то вынес и оставил умирать. Африканцы показали, что они видели как к месту катастрофы ночью подъезжали джипы с белыми людьми. Загадочно? Несомненно. Чудовищное преступление? Эта версия, однако, казалась настолько дикой, что в нее мало кто верил. И вот много лет спустя В. Лесновскому довелось говорить с человеком, который предпочел остаться инкогнито, — в книге он назван «очевидцем». Этот человек поведал следующее: «Если вы помните, когда самолет Хаммаршельда был на подходе к Ндоле, Вильямс вышел на поле с лордом Ленсдауном и лордом Альпортом. Случилось так, что я вышел подышать воздухом и стоял недалеко от них. У нас на глазах оттуда, куда улетел самолет Хаммаршельда, донесся звук взрыва и польхнула яркая вспышка. Потом над холмами поднялось зарево, и через некоторое время, подобно солнечным протуберанцам, из него вырвались языки пламени и снопы искр.

Группа Вильямса некоторое время наблюдала эту сцену молча. Потом раздался голос, я не разобрал чей:

„Ну что же наша миссия теперь закончена. В результате подобного взрыва вряд ли кто-нибудь останется жив. Мы можем улетать“. „Подождите, — сказал другой голос. — Нужно дать указание господину Вильямсу“.

Вильямс не бездействовал. В частности, именно он приказал пожарным и «скорой помощи» никуда не выезжать без его санкции. Когда были отданы все необходимые распоряжения Вильямс вызвал два «ленд-ровера» и сам отправился к месту аварии самолета.

«Доехали мы быстро, минут за пятнадцать — двадцать, — продолжал «очевидец». — Одна из проселочных дорог перерезала наискось площадку, где упал самолет, и нам пришлось остановиться. Горящие обломки перекрыли нам путь. Огонь был неравномерным. В некоторых местах, там,

где вылилось горячее, он полыхал, другие обломки только дымились. Площадка освещалась ярко, и мы быстро увидели переднюю часть самолета, как бы расколотую пополам. Она еще не была охвачена огнем.

Удивительно, но в этом хаосе я сразу заметил Хаммаршельда, его отбросило в сторону вместе с частью сиденья. Ничего больше не замечая, я бросился к нему. Со мной подбежал еще кто-то, и нам вместе удалось отнести его в безопасное место и приклонить к муравьиному холмику. Он не стонал и не подавал признаков жизни, хотя тело его было еще теплее и как будто живое. Глаза его были закрыты, а на лице застыла печать успокоенности.

Кажется, мы были около него недолго, всего две-три минуты, нас окликнули. «Лендроверы» уже развернулись и стояли с работающими моторами, готовые двинуться в обратный путь».

Это было вскоре после полуночи. Официальные поиски начались в 10 утра и не давали результата несколько часов, хоть родезийским пилотам было очевидно, очень трудно «не замечать» пылавшие неподалеку от аэродрома обломки...

Хотя книга В. Лесиовского и не дает ответа на все вопросы, связанные с гибелью генерального секретаря ООН, читатель узнает из нее много нового. Основанная на строго документальном материале, на подлинных фактах, книга раскрывает политическую роль Хаммаршельда, пытавшегося поставить себя над ООН в нарушение устава этой организации и тем самым нанесшего ей колоссальный моральный ущерб, содержит многочисленные, доселе неизвестные подробности его гибели и событий, которые этому предшествовали, в том числе обстоятельное описание трагической истории убийства Патриса Лумумбы.

Хаммаршельд был устранен в то время, когда Соединенные Штаты по инициативе директора ЦРУ Аллена Даллеса только приступили к закладке фундамента политики государственного терроризма. Книга В. М. Лесиовского послужит хорошим «наглядным пособием» всем, кто задумывается об истоках этой печально зарекомендовавшей себя политики, серьезно пытается разобраться в ее целях и методах.

Г. КУЗНЕЦОВ.



ОБРАЗ МИНУВШЕГО

Культура Древнего Рима. В 2-х томах. М. «Наука». 1985.
Т. I, 431 стр. Т. II, 397 стр.

«При основании Рима Ромул кривым жреческим посохом очертил в небе квадрат, ориентированный по странам света, так называемый *templum*, и когда в нем как доброе предзнаменование и доказательство благорасположения богов появились двенадцать коршунов, он был спроецирован на землю и определил территорию города. На ней вырыли круглую яму, *mundus*, бросили туда все, что олицетворяло силу и богатство народа — первины урожая, куски сырой руды, оружие, влили вино и кровь жертвенных животных, закрыли ее ульевидным сволом и замковым камнем. Так земля соединилась с преисподней, мир живых с миром мертвых: пуповину, навечно связавшую сегодняшней город с погружившимися здесь в подземный мир былыми поколениями, нельзя было ни оборвать, ни создать заново».

Так рассказывает о происхождении «вечного города» Г. С. Кнабе в одной из глав коллективного труда, написанного историками, филологами и искусствоведами.

Интереснейшие встречи и открытия ждут читателя, взявшего в руки этот двухтом-

ник. Достаточно назвать имена Вергилия, Горация и Овидия, Плиния и Сенеки, Цезаря и Цицерона, достаточно вспомнить такие понятия, как право, гражданин, свобода, рабство, чтобы осознать, сколь многим обязаны мировая культура и цивилизация уникальному явлению, которое мы именуем Древним Римом. И тем не менее некоторые исследователи неоднократно ставили вопрос о том, можно ли вообще говорить о римской культуре как о самобытном целостном феномене. Почему же мог возникнуть такой вопрос? Во-первых, считали эти исследователи, Рим, создавший теорию права и правопорядок, основанный на свободе граждан, является образцом цивилизации, а не культуры. Во-вторых, Рим с VI века до н. э. оказался втянутым в орбиту греческой культуры, которая долгое время рассматривалась как недостижимый образец. В глазах ее ревнителей римляне выглядели эпигонами, подражателями, переимчивыми копиистами. Авторы рецензируемого труда также взвешивают своеобразие интересующей их эпохи на весах Греция — Рим, но сколько же самобытного и неповторимого

возникает под пером самых беспристрастных и скептических из них!

Действительно, греко-римские контакты были устойчивы и благотворны. Вначале посредниками служили этруски, владевшие Римом в VI веке до н. э., и жители Кампании, в IV веке до н. э. ставшей римским владением. Покорив Южную Италию и подступив к греческим и карфагенским владениям в Сицилии, Римское государство вышло на международную средиземноморскую арену, где греческий язык был интересен национальным. Овладение греческой культурой стало, по выражению М. А. Гаспарова, «делом международного римского престижа» и делалось оно основательно и «победительно», напоказ.

Но нельзя было демонстрировать одни только чужие успехи. Завоевывая многочисленные народы, сталкиваясь с кельтской, галльской, малоазийской, североафриканской культурами, римляне сумели сохранить ромоцентризм при широкой открытости духовному опыту других народов, что для римской культуры сыграло первостепенную роль.

Древний Рим привычно и неразрывно связан в нашем сознании с рабством. И это понятно. Почти у каждого римского автора встречаются упоминания о рабах в самых разнообразных контекстах. «Понятия, связанные с рабством, выступают как общий язык римской культуры, а выражаемое ими содержание как ее существенная сторона», — пишет В. М. Смирин в главе «Патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян».

Отношения раба и господина наилучшим образом были представлены в сочинениях юристов — специфически римских источниках. В них раб упоминался и среди вещей и среди лиц, что свидетельствовало об изначально не расчлененном единстве лиц и вещей. Но «право, относящееся к лицам», охватывало всех людей, как рабов, так и свободных. Вследствие этого часто возникали ситуации, при которых статус человека оставался неопределенным. «Сорок лет пробыл я в рабской службе. — говорит один персонаж у Петрония. — но никто не знал, раб я или же свободный». В некоторых текстах идет речь и о свободных людях, которых продают вместо рабов «ибо не так-то легко может быть различен свободный человек от раба» Такие ситуации не казались странными современникам. Римский юрист II века Гай писал, что «одни лица суть лица собственного права, другие же подчинены праву другого» Среди людей, зависимых от «права другого», рабы

парадоксальным образом оказались вместе с лицами, которые по обыденным представлениям были свободными. Речь идет прежде всего о детях, независимо от их пола и возраста. Власть отца над детьми в Древнем Риме была полной и пожизненной. Сопоставление сына с рабом находит свое отражение в источниках. «Наши рабы и сыновья крадут у нас, — написано у Ульпиана в начале III века, — но за кражи они не отвечают: тому, кто может распорядиться вором (господину, отцу. — С. Н.), нет нужды в судебном разбирательстве». Положение сына в отличие от отца семейства римское правосознание рассматривало как двусмысленное. Эта двусмысленность проявилась в представлении об эманципации (выведении из-под отеческой власти) как об умалении прав. «Никто не может быть эманципирован, минуя приведение в воображаемое рабское состояние». Что это значит? Оказывается, при эманципации сын терял «фамильные права» — например, право по смерти отца стать главой дома, продолжить преемственную связь поколений. Ибо в правосознании римлян именно подвластность была источником будущего права для сына или отпущенного на волю раба.

Как видим, важнейшие для современности понятия «гражданин» и «свободный» были наполнены у римлян совсем иным содержанием. Они не были синонимами: гражданство предполагало свободного человека, но свобода предполагала рабство. Свобода и рабство не накладывались друг на друга, не присоединялись друг к другу, а образовывали внутри себя напряженнейшее единство. Человек, ставший рабом, предположим, в результате пленения, не воспринимал это состояние как совершенно новое — он уже был им в семье. По Смирину, бессмысленно задавать вопрос, почему римские землевладельцы столь часто предпочитали рабов свободным рабочим. Не предпочитали. Это «и предполагалось, и требовалось всей системой общественного сознания».

Право и гражданство были главными составляющими эпохи. Только римский гражданин имел право на владение землей или на добычу, захваченную в военных походах. Только гражданин мог принимать участие в общественных делах, в *res publica* — народных собраниях. Только гражданин был юридически правоспособен. Гражданская община была основана на идее исконного единства людей «при неразрывной связи блага отдельной личности с благом всего коллектива» (Е. М. Штаерман), на идее верховной власти народа, ставшей

античный город на недостижимую высоту по сравнению с теми государствами, где над подданными-рабами правил царь.

Постоянные войны, которые вел Рим на огромной территории, в значительной степени определили строй его жизни. Железная воинская дисциплина требовала развития таких добродетелей, как мужество, верность, достоинство. Абсолютная власть отца семейства приучала к повиновению. Законы XII таблиц запрещали предоставление личных привилегий любому, даже самому уважаемому человеку, если он ставил себя выше остальных граждан. Более того, в отличие от греков, возмечивавших своих героев, римляне считали, что могущество их государства образуется благодаря всему народу, который, однако, состоял не из безликой толпы, но из индивидуально значимых лиц.

Своеобразие жизненных установок отразилось и на мифологии. Она была, по сути, иной, чем у других народов в тот же период времени. Речь идет о так называемом римском мифе. В его основе лежала идея исключительности судьбы Рима, предначертанной свыше. Под влиянием этой идеи преобразовывался и заимствованный у греков божественный пантеон: боги не определяли этики римлян, но зато способствовали возвышению «вечного города», к их «посредничеству» прибегали при решении сомнительных вопросов.

Сознательное строительство цивилизации, воссоздание себя как цивилизации было культурным делом римлян. Это зафиксировано во множестве текстов, ибо римляне относились к этой проблеме чрезвычайно серьезно, внимательно следя, как она разрабатывалась у соседей. «Нельзя даже поверить, насколько беспорядочно — прямо-таки до смешного! — гражданское право всех народов, кроме нашего», — говорит один из собеседников в Цицероновом диалоге «Об ораторе».

Философия, призванная быть наивысшим и свободным проявлением духа, разрабатывала проблемы, что есть свобода, а что — рабство, что такое индивидуализм и как он соотносится с идеей гражданства, что такое власть и какой тип государственности предпочтительнее: например, тирания или республика. Тридцать тиранов, рассуждал Сенека, терпели Сократа, а став свободными, Афины убили его Цицерон, отдавая предпочтение республике, рассматривал ее как трудное и кропотливое дело и считал этот способ правления фактом самой природы. Римлянам была присуща этическая философия, разрабатывавшая нравственные

категории — любви, дружбы, ответственности человека за свободно принятые решения. Такой была и вся римская проза, особенностью которой можно считать героизацию персонажей, воспитание в них духовной свободы и независимости, «интерес к личности», нашедший выражение «в повышенном внимании самых разных слоев общества к биографиям не только цезарей, но и... риторов, софистов, философов и т. д.»; она была рассчитана «не на века, а на повседневные нужды читателей» (В. Н. Илюшечкин).

В изобразительном искусстве соединились два, казалось бы, взаимоисключающих элемента — сугубая индивидуальность, экспрессивность и стремление выразить идеальную красоту, которая «работает» на создание идеала «хорошего гражданина». Поэтому вряд ли изобразительное искусство Древнего Рима можно определить просто «как явление переходного периода от одной художественной системы к другой, как мост от антики к средневековью» (Г. И. Соколов). Скульптурный портрет, представлявший исполненный гражданственности образ и отражавший самые разнообразные, менявшиеся от века к веку чувства, «то возвышенные или скорбные, то порой будничные и резкие, даже грубоватые», суть явление не культурного «моста», а самой культуры.

Право и гражданство — тот центр, вокруг которого сосредоточивались представления римского общества о себе, трансформируясь в образы. Образ общества, созданный правосознанием, — это ли не задача культуры? Однако в латинском афоризме *summum jus—summa injuria* (высшее право — высшее правонарушение, или высшая свобода от права) уже заключен трагический разлом, который современный философ В. С. Библер объясняет существованием двух полюсов культуры: по его мнению, *summum jus* олицетворяет Цицерон, а *summa injuria* — его современник Катулл, поэзия которого — воплощение лиризма. Глава «Поэт и поэзия в римской культуре», написанная М. Л. Гаспаровым, является блестящим подтверждением идеи Библера.

Центральными понятиями для определения литературного творчества римлян Гаспаров считает *negotium* — дело (к нему относятся и право) и *otium* — досуг (свободу от всех дел, в том числе от правообязанностей). В литературе к делу относилась проза, романы, к досугу — поэзия. Составившая истинную славу Рима Она прошла укоренный путь развития. В IV веке до н. э. Рим еще жил устной, народной словесностью, а к I веку н. э. авторская поэзия не

только оформилась, но и превратилась в замкнутое искусство для искусства, почти утратившее практическую связь с другими формами общественной жизни. В Греции такой переход потребовал шесть столетий.

Поскольку поэзия была заимствованной в Греции формой литературы, поэт изначально был пришельцем, чужаком и, соответственно, лицом низкого звания. «Первый римский поэт» Ливий Андроник — грек из Тарента, раб, затем вольноотпущенник в доме сенатора Ливия Салинатора, учитель его детей. Но в I веке до н. э. утвердился новый статус поэта. Сенаторское и частью всадническое сословие представляли собой к тому времени читающую публику, готовую к восприятию греческой и латинской словесности. В эпоху Августа книжные лавки уже не редкость, появляются и частные библиотеки, открытые всем желающим. Поэт начинает воплощать тот самый досуг, который соотносился с наивысшей духовностью и свободой. Сохранились предания, что в Риме толпы сбегались поглядеть на Вергилия... Социальной ячейкой поэтов являлся дружеский кружок, возглавляемый меценатом-покровителем, для которого поэт был клиентом, но, по словам Гаспарова, «социальное неравенство покровителя и клиента ступевывалось аффектацией духовной общно-

сти и эмоциональной близости». Трагедия — высший греческий жанр — в Риме уступает место комедии. Монументальный эпос, столь жизненный в Греции, в римской поэзии продолжает существовать только по традиции, будучи не нужным ни массе, ни элите. Зато возникает новый жанр сатур, или сатир, — поэзия для образованных сословий. Если «negotium был делом общим и строил литературные произведения вокруг общепринятых тем и идей», отмечает Гаспаров, то «otium был делом личным и строил произведения вокруг индивидуальных ассоциаций».

Богатейший материал для размышлений дают нам авторы «Культуры Древнего Рима». Мы слышим и их собственные голоса: они — в самой постановке проблем. Их суждения по одному и тому же вопросу не всегда согласуются — авторы как бы ведут неявный спор и комментируют друг друга, понемногу сдвигая смыслы, переставляя акценты, что, впрочем, делает изложение особенно интригующим. И в этом смысле повесть о культуре Древнего Рима — это повесть и об идеях нашего времени, с помощью которых мы пытаемся угадать постоянно меняющиеся лица ушедших эпох.

С. НЕРЕТИНА,
кандидат философских наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



А. ТАРАСОВ. Болотный марш. Роман. «Знамя», 1986, № 1.

С главным героем романа «Болотный марш» Григорием Котляром я не мог быть лично знаком хотя бы потому, что Котляр — фигура вымышленная. Но вот какое дело: чем внимательнее вчитывался в роман, тем отчетливее вспоминал встречи и разговоры с подобными героям конкретными людьми — строителями Иркутска, рыбаками Владивостока, нефтяниками Тюмени... Их суждения о жизни, их размышления, порою даже их интонации отчетливо угадываются в «Болотном марше», и это лишний раз убеждает в том, что образ честного, добросовестного, трудолюбивого строителя Котляра типичен. Не потому ли Котляр так привлекает и не потому ли ему веришь, несмотря на его максимализм, что он живой, правдоподобный, что его заботы действительно насущны, злободневны?

«„Болотный марш“ дает право думать о роли личности — обыкновенной, как вы и я,— в истории... Он (Котляр.— И. П.) из породы людей, на чьих плечах стоит земля» — это критика уже сказала о романе А. Тарасова и герое его романа. Произведение рождает в нас потребность задуматься над особенностями времени, в которое мы живем, поразмышлять о своем месте среди людей, об ответственности своей, личной за общее дело, о совести.

Котляр — строитель. Под его руководством и по его инициативе осушается вековое болото, строится дамба, чтобы на этом месте раскинулись рисовые поля, чтобы земля приносила пользу людям. Самому Котляру его принципиальность и самоотверженность часто только усложняют жизнь, так как он, всего себя отдавая делу, требует с других, как с себя, независимо от чинов и рангов, единственным критерием считает правду, а не связи, знакомства и пробивные способности. Жить по правде, по совести для него основное. Это нелегко. Приходится порой жертвовать благополучием, покоем, потому что пока далеко не все разделяют такое отношение к жизни и труду. Но по-другому Котляр не может, не привык и не хочет, и сила его убежденности увлекает многих: Степана Полушко, Прохора Прохоровича, библиотекаря и поэта Германа Блохина, дядю Тыхву и других героев романа.

Я далек от мысли идеализировать «Болотный марш». В нем есть неоправданные длинноты, просчеты в композиции, не всегда ровен стиль. «Литературная газета» (1986, № 6) не без основания впрекнула автора в том, что конфликт в его романе воссоздается «как своего рода «дуэль» между героями, где всем остальным отводится роль безгласных свидетелей», однако отметив при этом «сюжетную динамичность, стремление автора нарисовать образ современного положительного героя». Думаю, впрочем: иногда и «дуэль» допустима, если

она подчеркивает невозможность разрешения проблемы тем или иным компромиссом, полумерой. В отличие от Литератора из «ЛГ», уверенного, что «назвать это произведение безусловной удачей критики, наверное, поостерегутся», Т. Иванова в «Советской России» и С. Алиева в «Литературной России» не «поостереглись».

«Болотный марш» — произведение современное и своевременное. В нем отражена нынешняя действительность и, что особенно важно, тот дух, тот настрой, которые присущи переломному нашему времени. Ведь, в сущности, в «Болотном марше» идет постоянная борьба за те качества в человеке, без которых невозможен разговор о честном, сознательном труде, высокой производительности. Идет борьба за человека, каким он должен быть. В этом он весь, герой романа «Болотный марш» Григорий Котляр: в борьбе за справедливость, а по большому счету — за будущее. Это только называется так — строительство дамбы. А на самом деле идет строительство прежде всего самого себя, своего характера.

«Главное, что мы строим,— это система людей» — есть в романе такая мысль, и не согласиться с нею невозможно. Котляров пока не так уж много, к сожалению. Но они очень нужны. Роман А. Тарасова посвящен именно им.

Иван Панкеев.



ИВАН КИУРУ. Неунывающий клевер. Книга стихов. М. «Советский писатель», 1985. 119 стр.

Открывая этот сборник стихов, оказываясь в причудливом и сложном мире. В театре одного актера имеющего множество веселых и грустных лиц, легко играющего интонацией: то грустно-иронической, то карнавально-балаганной, то дерзко-насмешливой.. «Эксцентрики, юродивые и шуты, — утверждает поэт, — некоронованные короли народов!»

Шутка, ирония помогают Ивану Киуру разрушать стереотипы, поэтические штампы, как, впрочем, помогает и непривычная ритмическая структура стихов, неожиданность логического строя, «странные» метафоры («венец повседневности», «нейтронный Нерон»...). Избегает привычных путей И. Киуру и в своем стремлении найти объединяющее начало жизни — будь то сотворчество, история народа или феномен детства как особого творческого состояния.

Поэт все время чувствует себя «под прицелом эпох». В дне вчерашнем ищет ключи к дням нынешним. В стихах Киуру природа, история и сознание современного человека — это живое триединство. И тогда — как скажем, в пейзажной зарисовке «Закат» — ликующая красота стихийного, самодельного бега жизни! («Конница тумана мчится по ложбине: ветровые гривы сере-

ристо-сини...») естественно соединяется с грозным дыханием истории и памятью о тех безымянных воинах, для кого этот курган стал могильным («...тихо спит дружина древнего тумана...»).

И все же И. Киуру убежденный оптимист, искренне верящий, что человек не только способен выстоять в «каменоломнях быта», но и сохранить благодарность судьбе за лучшие минуты:

Целую пыль твоих дорог,
И звезды над тобой целую.
И жизнь, где горько я продрог,
И тяжесть зноя злую.

Значительную часть книги составила философская пейзажная лирика. Это не случайно, ибо по роду своего дарования И. Киуру прежде всего живописец. Свободно ложатся краски: «Лист черемухи — алый, золотой и зеленый, кожу черную гибкого затуманил ствола». Порой образ рождается из звукописи: «Тинистые волосы — зеленые нити ветлы да лозы принимались вити».

Зримо присутствует в книге И. Киуру и город. Непринужденность разговорной речи, раскрепощенность повествования, живые детали и ритмы оригинальной «Мистерии рынка» и других стихотворений городского цикла будто подсказаны поэту шумной столичной улицей. Понять и принять эту вихревую, подчас суматошную городскую жизнь максималист и романтик может лишь при одном условии: «Только главные ритмы лови!» Книга «Неунывающий клевер» убеждает, что И. Киуру это удается.

Можно было бы упрекнуть поэта в некоторой отвлеченности, пренебрежении деталями быта, которые в нашей жизни, конечно же, не мелочи. Не всегда оправданны новации в стихе, подчас именно сильные стороны поэзии Киуру оборачиваются слабостями: эксперименты с метафорами становятся претенциозными, сравнения — выпреними, причудливость размеров и строф не диктуется художественной необходимостью.

Символично название книги И. Киуру — «Неунывающий клевер». Перечитывая одноименное стихотворение, чувствуешь горькую иронию поэта, понятную тем, кто знает, что переводчик автор популярных песен и стихов для детей в течение долгих лет ждал эту свою первую «взрослую» книгу. А ведь публикации его стихов появились еще в начале 60-х, и уже в 1964 году С. Маршак отмечал, что в поэзии молодого Ивана Киуру «есть особая тонкость, северная сдержанность вместе с подлинной лиричностью»

Л. Звонарева.



М. А. ГОРДИН. Жизнь Ивана Крылова. М. «Книга». 1985. 284 стр.

Неожиданность, способная вдруг удивить и озадачить, предполагает непривычное в привычном. Вот и я успел уже привыкнуть к не слышном частым, но заметным появлениям исследовательских работ ленинградца Михаила Гордина: помню его журнальную статью о Блоке, монографию «Театр Ивана Крылова» (совместно с Я. Гординым),

«Путешествие в пушкинский Петербург» (совместно с А. Гординым). Роман «Жизнь Ивана Крылова» — первая книга, написанная в одиночку, и она разительно не похожа на издававшееся прежде, неожиданна.

Собственно, роман ли это, как о том заявлено в предисловии Андрея Арьева? Своеобразная, яркая, занятая проза — да, без сомнения. Но роман... Впрочем, учитывая зыбкую текучесть романной формы, можно и согласиться с определением жанра, добавив: роман в новеллах. Или, что менее складно, но, возможно, более точно: роман в версиях.

В театре, как известно, короля играет его свита. «Свита» гениального русского человека Ивана Крылова представлена в книге весьма разнообразно, если не сказать более: мы прикосновенны к тому, как понимают, видят, ощущают Крылова многие и многие — и ревниво присматривающийся Карамзин, и любимица, «фавориточка» Ивана Андреевича Варвара Оленина, шеф жандармов Орлов, брат Левушка, внучка Наденька, вплоть до ничтожного шулера Волжина и, смешно выговорит, Милушки, комнатной собачки княгини Голицыной. Даже она (читателю пока придется поверить мне на слово) участвует в создании, а может быть, и воссоздании своеобразнейшей атмосферы, сформировавшейся вокруг Крылова, долгие годы бывшего средоточием влюбленных и завистливых, недоброжелательных и снисходительных (но всегда неотрывных) взглядов Книга, повторяю, неожиданна. Говорю это без комплиментарности, всего-навсего констатируя то, что вижу. Стиль ее метафорически бросок, композиция прихотлива, признаюсь, что по моему вкусу я предпочел бы более простую, но все это слышком искусно «сделано», чтобы стал настаивать на своем.

Вышеупомянутые новеллы (или версии) напоминают кристаллы, выпавшие из перенасыщенного раствора — перенасыщенного знанием исторической и культурной жизни эпохи, вернее двух эпох, в которых жил и прижился Крылов. знанием бытовых реалий. Если Чехов советовал начинающим беллетристам отсекать начало рассказа, ибо в нем почти наверняка содержится нечто необязательное, понадобившееся лишь для разгона, то здесь автор вообще словно бы убрал очень многое, от чего ни в коем случае не отказался бы сочинитель традиционно добротного исторического повествования, прежде всего строгую биографическую последовательность. И к тому же негласно обязал нас братья за его книгу несколько подготовленными к чтению, что, впрочем, ничуть не означает высокомерного расчета на элитарность: Крылов, слава богу, на слуху и общей памяти. С детства.

В книге нет даже попытки раскрыть так называемый творческий процесс писателя, но ее принципиальная удача, с моей точки зрения, в том, что образ Крылова, в котором читатель, без сомнения, откроет для себя немало нового (и подчас обескураживающе нового), «сходится» с тем, рискну сказать, хрестоматийным образом, который создают самые добросовестные из свидетелей, то бишь крыловские басни и комедии...

Читая недавно вышедший сборник «Кры-

лов в воспоминаниях современников» (к коему также приложил руку М. Гордин), примечашь: для многих и звавших Ивана Андреевича горделивейшая любовь к нему — уже почти не просто как к человеку, а как к национальному ритулету — сочелась с пусть нежной, но снисходительностью. Да, дескать, гений, да, всероссийский «дедушка», однако и легендарный лежебока и сказочный объедала — все в размерах, лстящих тому сознанию, которое величие охотно пугает с величиной.

Книга Михаила Гордина, щедрая на юмор, этой снисходительности не то что не потакает — противостоит, притом резко. Драматическая судьба Крылова, его сокрушительные разочарования, легенда, творимая вокруг него (и не с его ли помощью, не по его ли намеку?), многое из того, что было и о чем далеко не все из нас осведомлены, — все это, явленное в книге, создает убедительное ощущение гигантского крыловского темперамента, души великой и страстной, ума пронизательного и отважного.

Ст. Рассадин.



А. СТАРКОВ Ступени мастерства. Очерк творчества Константина Федина. М. «Советский писатель». 1985. 335 стр.

К широко известным в читательских кругах книгам о жизни и творчестве Константина Федина, написанным Б. Брайниной, П. Бугаенко и М. Кузнецовым, добавилась новая монография А. Старкова. Автор не случайно озаглавил ее «Ступени мастерства». В последней фединской статье «Наши крылья», увидевшей свет в журнале «Коммунист» в 1977 году, уже после смерти писателя, сказано так: «Для нас. сынов и граждан Советского Союза моего поколения, живущих в шестидесятом году Великой Октябрьской социалистической революции, особенно ярко видны все ступени пройденного пути, все его события. по значению своему равные открытию неведомого континента». По этим ступеням открытия нового мира, мира социализма, вместе со всей страной, вместе со всем народом шел и большой мастер отечественной литературы Константин Александрович Федин. Понять особенности его творчества проследить рождение замысла и ход работы над семью романами, многими повестями и рассказами, над известными книгами статей и воспоминаний «Горький среди нас» и «Писатель. Искусство. Время» — вот задача, которую поставил перед собой и успешно в целом решил А. Старков в своем очерке творчества Федина.

Самое, пожалуй, ценное в нем — это убедительное, аргументированное (с привлечением обширного и порой малоизвестного историко-литературного материала) обоснование той творческой установки, которую Федин считал для себя определяющей: «Для меня искусство литературы имеет единственный смысл — как деятельность, служащая обществу народу».

Писатель Константин Федин стоял у истоков советской литературы вместе со всеми выросал как верно заметил М. Шолохов, «под мягким, добрым крылом Алексея Максимовича». Путь Федина в литературу был сложным, книги — неравно-

значными, но лучшие, наиболее зрелые произведения, такие, как «Города и годы», «Санаторий Арктур» и особенно трилогия «Первые радости», «Необыкновенное лето» и «Костер», сделали его имя хорошо известным не только читателям нашей страны, но и далеко за ее пределами. В 50—70-х годах — почти двадцать лет — академик, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР К. А. Федин был одним из руководителей писательской организации страны и одновременно постоянным, активным и авторитетным членом редколлегии журнала «Новый мир».

В работе А. Старкова рассказано о начале творческой деятельности Федина, о поиске им своего героя, своей главной теме, о лучших фединских книгах, в которых четко слышна поступь истории, революции, победившего социализма.

Автор проанализировал творчество Федина с учетом нынешнего исторического опыта и общего хода литературного процесса в нашей стране. Шаг за шагом пройдя путем Федина-художника, литературовед приобщил нас к эстетическому миру писателя — классика советской литературы. Особенно интересны, с моей точки зрения, страницы книги, посвященные творческой истории романа «Санаторий Арктур» и историко-революционной трилогии, прежде всего заключительной ее части, оставшейся, к сожалению, незавершенной: роману «Костер».

Если в «Санатории Арктур» символично (при всей реалистичности художественных образов) показана обреченность буржуазной Европы в момент острейшего экономического и политического кризиса, показана так называемая изнанка мира капитала, то в «Костре» — романе о Великой Отечественной войне — просто и взволнованно рассказано о подвиге русского народа в час вторжения врага на родную землю и о победе в битве под Москвой, открывшей новую страницу в истории советской России, Европы, мира. Не случайно в этом романе звучит переключка с темой революции и гражданской войны, коей посвящены первые две части трилогии. Ни над одним своим произведением писатель не трудился так долго и терпеливо, как над «Костром». Каждый образ, каждое описание, каждое слово были тщательно отобраны и как бы проверены на точность и емкость. Филигранная работа.

Произведения Константина Федина надолго, навсегда вошли в художественную сокровищницу нашего общества. А книга А. Старкова о ступенях мастерства этого писателя помогает уяснить, в чем сила и притягательность фединского слова.

Владлен Котовсков.

Ростов-на-Дону.



ДЖЕЙМС ЛИНКОЛЬН КОЛЛИЕР. Становление джаза. Популярный исторический очерк. Перевод с английского. Предисловие и общая редакция Александра Медведева. М. «Радуга». 1984. 390 стр.

На первый взгляд книга Дж. Коллиера «Становление джаза» адресована специалистам. Однако круг ее заинтересованных чи-

тателей значительно шире. И это можно понять. По себе сужу: даже зная джаз профессионально, более или менее ориентируясь в джазовой литературе, я читал книгу не отрываясь, как увлекательный роман. В ней неповторимый мир джаза, интереснейшие факты, динамичный «сюжет», по ходу которого легендарные артисты переживают и взлеты славы, и горечь разочарований, и жестокие драмы... Словом, все как в романе. А еще точнее — как в жизни. В книге Дж. Коллиера оживает история, раскрывается судьба искусства и его творцов. В данном случае судьба джаза.

Автор предисловия к книге А. Медведев справедливо пишет: «Джаз, как разновидность музыки, в сущности, феномен — исторический, эстетический, социальный. Он не сопоставим ни с одним классическим музыкальным жанром, чье развитие совершалось веками. За какие-нибудь 70—80 лет джаз, это талантливое детище негритянского народа, проделал невиданный путь: возникнув в замкнутой социальной среде, будучи поначалу бытовой, чисто прикладной музыкой, он щедро, чуть ли не каждое десятилетие, рождал все новые и новые формы, преобразил музыкальный быт современного мира и наконец стал в наши дни явлением поистине интернациональным, без которого уже невозможно представить культуру XX века».

Добавлю: сегодня без джаза нельзя представить и картины многонациональной советской музыки. Джаз утвердился в ней прочно, его достижения очевидны. Можно напомнить о талантливых солистах и коллективах, с успехом гастролирующих в нашей стране и за рубежом, о представительных джазовых фестивалях, молодежных джаз-клубах в Москве, Ленинграде, Таллине, Риге, Тбилиси, Ярославле, Донецке, Новосибирске и в других городах, о регулярных радио- и телепередачах, об огромных тиражах джазовых грамзаписей... Недоумение вызывало лишь отсутствие литературы о джазе, и специальной и популярной, тогда как нужда в ней росла год от года.

Думается, не случайно из обширного списка зарубежной джазовой литературы для первого издания на русском языке была выбрана именно работа известного американского музыковеда Джеймса Линкольна Коллиера «Становление джаза» — серьезный, обстоятельный, компетентный труд. В нем нет никаких «вольностей», сплетен и баек, столь засоряющих иные издания о джазе. Эволюцию жанра, его компоненты Дж. Коллиер рассматривает глубоко, всесторонне, как настоящий профессионал. Читатель доверяет автору, а это многое стоит. Отмечу, что наряду с собственно музыкальными проблемами в книге высвечен (хотя и не всегда отчетливо) социальный фон американского общества, в недрах которого зародился джаз.

В четырех разделах книги («Истоки», «Новый Орлеан», «Эра свинга», «Современность») движение джазовой истории показано детально и последовательно. Прослеживаются связи африканской и американской культур, их слав и развитие в Новом Свете; проанализированы некоторые противоречивые тенденции современного джаза, находящегося в поиске нового языка,

новых форм. Но даже критикуя (и порой резко) некоторые из таких новшеств, автор не изменяет своей пылкой юношеской влюбленности в джаз. Это привлекает.

Книга Дж. Коллиера многолюдна. В ней целая галерея джазистов. Причем не только корифеи: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Ч. Паркер, М. Девис, Д. Колтрейн (каждому из них посвящена отдельная глава), но и множество других замечательных музыкантов, знаменитых или малоизвестных, чей вклад в развитие джаза неоспорим.

Есть, по-моему, в этой интересной книге и недостатки. Прежде всего отмечу явную скоропись автора при освещении европейского джаза. А советский джаз вообще выпал из поля зрения автора. Досадно. Но, говоря по правде, в том есть и доля нашей вины. Советский джаз находится сейчас на подъеме, однако мы этого словно не замечаем, критика почти не пишет о джазе, не пропагандирует его достижения. И потому зарубежные музыканты часто находятся в неведении, для них советский джаз — terra incognita. Сам Дж. Коллиер, будучи недавно в Москве, говорил об этом. Впрочем, обнадеживающие факты есть. Недавно вышло в свет интересное исследование В. Колен «Рождение джаза». Скоро должна появиться книга «Советский джаз». Хочется верить, что наши издательства и впредь будут радовать читателей выпуском отечественной и зарубежной литературы о джазе.

Ян Френкель.



Г. А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ. Монеты — свидетели прошлого. Популярная нумизматика. М. Изд-во МГУ. 1985. 176 стр.

Собирать старинные монеты начали еще в средние века. Коллекции их, находившиеся в частных руках и при дворах европейских властителей, подвергались со временем все более тщательному изучению, пополнялись. Одну из лучших коллекций античных монет собрал великий итальянский поэт Петрарка. Знающим нумизматом был уроженец Падуи Джованни Кавини, использовавший, однако, свои познания далеко не в благовидных целях. Он мастерски подделывал античные монеты и выгодно сбывал свои изделия как антикварные ценности. После его разоблачения долгое время всякие подделки под старинные монеты называли падуанцами. Нумизматика развивалась, совершенствовались методы исследования монет, изучались их формы, размеры, состав металла, изображения и надписи.

Об этом и о многом другом рассказано в книге, автор которой не только литературно одаренный человек, но и крупный ученый; ряд наблюдений и выводов, в ней изложенных, явился результатом его собственных исследований в области нумизматики.

Первые монеты появились в малоазийском государстве Лидия в VII веке до н. э. Особое внимание уделяется в книге античным монетам, в частности, греческим и римским развитию техники их изготовления, борьбе с фальшивомонетчиками, среди которых,

как полагают, в молодости был и знаменитый философ Диоген, впоследствии прославившийся презрением ко всем благам мира, в том числе и к деньгам.

Античные монеты были весьма разнообразны. Так, в Ольвии, древнегреческой колонии на Черном море, монеты делали одно время в форме дельфинов, а уж потом обычные, круглые с изображением дельфина в когтях орла. Своей необыкновенной красотой славилась монета, чеканенная в Сиракузах. Ими восхищался Микеланджело, а Гёте о них сказал так: «Эти чудесные монеты представляют собой бесконечную весну цветов и плодов искусства».

На монетах Древнего Рима с необыкновенной полнотой отразились подлинная и легендарная история, политика, искусство и другие стороны жизни и культуры этой величайшей державы древности. В 44 году до н. э. за месяц до убийства Цезаря чеканится монета с его изображением — первый прижизненный портрет римлянина (до этого на римских монетах изображались лишь великие предки или статуи с неясными чертами лица) с новым титулом «постоянный диктатор». А вскоре после убийства появляются монеты с изображением Цезаря, более напоминающим карикатуру на него...

История монетного дела таит в себе немало загадок. Почему, например, в средние века происходила неуклонная «порча» всех видов монет? Лишь в XVI веке был понят экономический закон, управляющий одновременным обращением на рынках монет, одинаковых по номинальной стоимости, но разных по содержанию в них драгоценного металла, что и предопределяло «порчу». Если какой-либо феодал или город оставили бы неизменным состав металла своих монет, то монеты эти вскоре исчезли бы из обращения, переливаясь в слитки и оседая в виде кладов у их соседей. Те же, кто чеканит такие монеты, сами оказались бы в зависимости от соседей, наводнивших их земли своими плохими монетами. Закон об исчезновении из обращения монет с более высоким содержанием ценного металла был сформулирован Николаем Коперником в 1526 году в трактате, представленном им польскому королю Сигизмунду I.

Много загадок, и раскрытых и еще не разгаданных, содержит история монетного обращения на Руси, которой посвящен отдельный большой раздел.

Книга Г. Федорова-Давыдова — интереснейший и поучительный рассказ об истории монетно-денежного дела от его зарождения до наших дней. Можно не сомневаться, что она будет иметь очень широкий круг благодарных читателей.

Г. Федоров,
доктор исторических наук



АЛЛА ГЕРБЕР. Судьба и тема. Этюды об Инне Чуриковой. М. «Искусство». 1985. 143 стр.

Оказывается, Баба Яга одинока и несчастна — триста лет она безответно любит Лешего и никто не только не сочувствует ей, но даже и не замечает ее трагедии. Такой увидела актриса Инна Чурикова Бабу Ягу

и сыграла в московском Театре юного зрителя. Такой ее увидел там режиссер Глеб Панфилов и взял на роль Тани Теткиной в свой первый фильм «В огне брода нет». С этого эпизода начала Алла Гербер свою повесть об Инне Чуриковой, увидев в ее трактатке роли Бабы Яги некий генетический код отношения актрисы к жизни и судьбам своих героинь.

Писательница рассказала в книге обо всех театральных и кинематографических героинях Инны Чуриковой, помогая читателю понять, что их объединяет; это общее и есть явление Чуриковой в искусстве. Паша Строганова и Жанна д'Арк («Начало»), Сарра («Иванов») и Елизавета Уварова («Прошу слова»), Сашенька Николаева («Тема») и баронесса фон Мюнхгаузен («Тот самый Мюнхгаузен»), Вера («Военно-полевой роман») и Неле («Тиль»), Комиссар («Оптимистическая трагедия») и Анна («Валентина»), Офелия («Гамлет») и Васса Железнова... Даже далеко не полный перечень ролей актрисы дает представление об историческом и психологическом многообразии ее репертуара. В то же время все чуриковские героини близки друг другу: они исполнены любви — к человеку, к делу, к идее, мечте. Да и сама Инна Чурикова в разговоре с автором книги признается, что Гертруда в «Гамлете» — это как раз то, что ей интересней всего в женщине, потому что «все в ней смешалось, перепуталось. Все страсти, все чувства — и женские, и материнские, и вдовьи... и страх предательства, и острота его, и жажда быть королевой, и проклятие ею быть. И вина перед сыном, и неудержимое влечение к Клавдию. Она любит, но несчастна».

Искусство Инны Чуриковой подчинено мысли, серьезно, обогащает духовным опытом самостоятельно думающего и чувствующего зрителя, потому что актриса любит его, отнюдь не стараясь, так сказать, усладить, успокоить, убаюкать его, напротив, она будоражит, волнует, тревожит, побуждает к сотворчеству.

Зритель ждет от искусства потрясения — его он и испытывает при встрече с Чуриковой, например, в спектакле «Три девушки в голубом», поставленном по пьесе Людмилы Петрушевской Театром имени Ленинского комсомола. Обыденная, повседневная жизнь нашей современницы Ирины, роль которой исполняет Чурикова, — и, считает автор книги, «одновременно эпическая высота переживаний, которые выходят за пределы ежедневности и живут на уровне судьбы». Алла Гербер показывает, что актриса всегда играет личность и, соприкасаясь с вечными темами искусства, оставаясь во времени, поднимается до обобщений.

Стремление Инны Чуриковой к поиску взаимосвязей этического и эстетического в жизни и искусстве созвучно творческим интересам Аллы Гербер. Два десятилетия назад писательница в своих первых книгах, обращенных к старшеклассникам, начала разговор о самостоятельности мышления, исканиях совести о любви, достоинстве, подвиге, о воспитании эстетического вкуса; потом вышла в свет «Беседы в мастерской», где ее собеседниками были известные режиссеры, сценарист, оператор, а тема бесед — художник и искусство в его жизни;

появилась своего рода веселая педагогика — книга о детстве и волшебнике детского кино Илье Фрэзе, книга о Василии Ливанове, чья жизнь вмещает труда и актера, и режиссера и писателя.

В сущности, все книги Аллы Гербер — о неповторимости личности, о счастье говорить собственным голосом, о творчестве, необходимом в жизни каждого человека. Художественная манера автора достаточно полно выразилась и в этюдах об Инне Чуриковой. Это художественно-документальная проза со стремительными диалогами, выразительными образами, динамичным сюжетом. Мысль или настроение собеседников подчеркивают поэтические строки Пушкина, Маяковского, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой. Блока... Как сказал Михаил Ульянов в предисловии к книге, Инна Чурикова — «художник, актриса, которой «объективное», беспристрастное письмо не идет. О ней надо говорить непривычными словами, не классифицировать, а сопереживать ей... Автор являет собой, своей интонацией, образ зрителя, пораженного чудом искусства. Книга... не научно-критическая литература, а нечто совсем иное, ни на что не похожее. В этом — и ценность, в этом и удача».

М. Вашкевич.



ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ. Туристская поездка в Англию. Невыдуманная повесть. М. «Советский писатель». 1986. 240 стр.

Убийственную характеристику тем, кто покидает социалистическую родину в надежде найти счастье в чужих краях, дал когда-то Уинстон Черчилль, заявив, что не следует торопиться возлагать на этих людей непосильную им обязанность могильщиков коммунизма, ибо среди них попадаются персонажи такого сорта, что невольно возникает мысль: своим бегством из мира коммунизма они его никак не ослабили, а наоборот...

Как раз о таком человеке рассказывает невыдуманная повесть Василия Ардаматского.

О том, что трехстепенный киносценарист Никольский в составе туристической группы едет в Англию, британская разведка знала заранее. Фигура Никольского привлекла внимание агентов: хоть и не знаменитый, но все-таки человек из мира искусств. После первых же контактов с ним в досье спецслужбы появляется характеристика: «...политическое мышление примитивно... он все рассматривает, так сказать, через себя... Он из тех, кто все видит через собственное «я», и это в нем развито очень сильно, можно сказать, вошло в плоть и кровь, это мешает ему мыслить, он же ни разу не возражал... по существу наших предложений и шел на подсечку как голодная рыба».

На эгоцентризм Никольского и сделана ставка. Капитан Грю, через руки которого уже прошло несколько советских невозвращенцев, знает, что операция должна состоять из двух этапов. Факт невозвращения

выгоден сам по себе, но затем предстоит нечто более трудное: использовать невозвращенца в подрывных целях. Было решено, что Никольский напишет книгу о попрании советской цензурой свободы творчества. К нему приставили соавтора, такого же, как он, невозвращенца, уже имеющего опыт в антисоветской пропаганде. Никольскому оказалось не под силу написать такую книжку — всю работу за него фактически выполнил соавтор. Возникает новая идея: пусть Никольский переработает свой когда-то отвергнутый Одесской киностудией сценарий, по нему британское телевидение снимет антисоветский фильм. Никольский корпит над сценарием. Но работники спецслужбы, люди неглупые, безоговорочно бракуют его изделие — хватит им книжки, которую никто не покупает...

Тупик. И для Никольского и для спецслужбы. Однако если Никольский не может самостоятельно найти выход из тупика, у спецслужбы он есть. «Несостоявшиеся» кадры перебрасываются американской разведке. Для таких невозвращенцев есть точный адрес: ФРГ, Мюнхен, радиостанция «Свобода».

Книга Ардаматского знакомит нас с этим совершенно невероятным с точки зрения нормального человека учреждением (по сути — европейским филиалом ЦРУ), которое могло быть создано только американцами с их непоколебимой верой в то, что все на свете продается и покупается, в том числе и человеческая совесть. Этажи громадного дома, где размещена радиостанция, заполнены подлецами разных рангов и сортов; это невозвращенцы, перебежчики, изменники, бывшие подручные гитлеровских палачей, убежавшие от наказания уголовники и прочие. Все они с утра до вечера заняты тем, что лгут и клеветают на свои страны и народы. Один из персонажей повести, работающий в этом доме, называет его Новым ковчегом, набитым только парами нечистых. Даже кое-кто из американцев относится к своим «кадрам» с нескрываемой брезгливостью: они люди низшего сорта. Жалки и отвратительны старания Никольского занять какое-то положение в этой помойной яме. Его оттирают подлецы более высокой квалификации...

Интересно, выпукло написан автором еще один персонаж — перебежчик из Советской Эстонии Рони, парень с характером мелкого авантюриста, еще сохранивший в своей душе остатки элементарной человеческой совести. Дружба с ним спасает Никольского от холодной тоски одиночества. Когда Рони находит в себе силы вернуться домой, Никольский еще острее чувствует безысходность своей судьбы. Он тонет в беспробудном пьянстве, и однажды вечером в центре Мюнхена его, пьяного, собьет автомашина.

Повесть Ардаматского читается с большим интересом. На протяжении всей невыдуманной истории автор исследует характеры своих персонажей, тем самым усиливая строгую достоверность рассказа.

Сергей Аианьин.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1986 ГОД

Генрих Боровик. Разные этажи Женевы. II—3.

Валентин Петрович Катаев. VI—2.

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Чингиз Айтматов. Плаха. Роман. VI—7; VIII—90; IX—6.

Джон Апдайк. Кролик разбогател. Роман. Перевела с английского Т. Кудрявцева. IX—131; X—160; XI—128; XII—134.

Георгий Баженов. Витушок. Рассказ. VII—65.

Юрий Вигорь. Свой почерк. Рассказ. V—172.

• Теодор Вульфвич. Там, на войне. Повесть. VI—134.

• Тимур Гайдар. Голиков Аркадий из Арзамаса. VII—109.

• Евг. Долматовский. Международный вагон. Повесть без вымысла. V—6.

Б. Екимов. Солонич. Челябинский зять. Рассказы. III—58.

Олег Ждан. Согласно штатного расписания... День рождения. Рассказы. III—96.

Н. Залка, М. Сапрыкин. Испанский дневник генерала Лукача. Фрагменты из повести-хроники о жизни Матэ Залки. IV—125.

Сергей Зальгин. «Женщина и НТР». Рассказ. VI—73.

Фазиль Искандер. Табу. Рассказ. I—132.

Валентин Катаев. Сухой лиман. I—8.

Надежда Кожевникова. В легком жанре. Повесть. III—7.

Владимир Красильщиков. Звездный час. Главы из повести. X—101.

Владимир Крупин. Прости, прощай... Повесть. XI—5.

Виктор Лесков. Вертикальный взлет. Повесть. II—138.

Юрий Максимов. Виноград на красной скатерти. Рассказ. III—144.

Владимир Муссалитин. Рассказы. II—118. Рассказы писательниц ГДР:

Мария Зайдемани, Бригитте Мартин, Кристине Вольтер, Хельга Шуберт, Хельга Кёнигсдорф. Перевела И. Щербакова. III—153.

Александр Рекемчук. Тридцать шесть и шесть. Роман. Часть вторая. X—14; XI—59; XII—34.

Акселеу Сейдимбеков. Проводы невесты. Рассказ. Перевел с казахского Игорь Захоронко. VII—90.

Георгий Семенов. Ум лисицы. Повесть. VII—6.

Владимир Солоухин. Камешки на ладони. VIII—154.

Юрий Стефанович. Два рассказа. XII—7.

Анатолий Стреляный. Депутатский запрос. II—24.

Василий Субботин. В другой стране. Повесть. I—48.

Валерий Суров. Последний паром. Рассказ. VI—125.

Анатолий Ткаченко. Вы его знаете. Сатирическая повесть. IV—83.

Виктория Токарева. Длинный день. Повесть. II—79.

Татьяна Толстая. Петерс. Рассказ. I—123.— Поэт и муза. Факир. Серафим. Рассказы. XII—113.

Н. Тропников. Ручная работа. I—100.

Алла Тютюник. Утренние сны. Рассказ. Перевел с украинского Александр Лисняк. III—134.

Борис Шишаев. «Я встретил вас...». На огни. Рассказы. V—157.

Юрий Шишенков. Предупредить бы... Записки инженера. VI—89.

Илья Штемлер. Поезд. Роман. VIII—7; IX—67.

Юлиу Эдлис. Антракт. Роман. IV—6; V—84.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Валентин Берестов. Утренник в тридцатых годах. Стихи. IV—176.

Виктор Боков. Новые стихи. II—20.

Бахтияр Вагабзаде. Разбуженный зовом. Стихи. Перевел с азербайджанского Анатолий Передрев. I—98.

Константин Ваншенкин. Из книги «Примета». Стихи. III—3.

Зоя Велихова. В Красном Форте. Стихотворение. III—132.

Евгений Винокуров. Минута. Стихи. IX—3.

Юрий Воронов. Стихи разных лет. V—81.

Расул Гамзатов. Стихи. VI—70.

Владимир Гордейчев. Пора весомых слов. Стихи. VIII—179.

Геннадий Гоц. Три стихотворения. IV—177.

Владимир Дагуров. Сокровенное. Стихи. V—171.

Муса Джалиль. Стихи. Перевели с татарского Вероника Тушнова, Виль Ганиев, Илья Френкель. III—151.

Юлия Друнина. Стихи. XII—29.

Михаил Дудин. Сегодня. Из новой книги. Стихи X—3.

Лучезар Еленков. Стихи. Авторизованный перевод с болгарского Сергея Бобкова. VII—105.

Натан Злотников. И раздумий добро... Стихи. II—115.

Василий Казанцев. Хотелось сердцу спеть... Стихи. II—180.

Алим Кешоков. Стихи. VI—123.

Юрий Кобрин. Вильнюс. Стихотворение. IX—130.

Яков Козловский. Когда... Стихи. XI—187.
Геннадий Красников. В пути. Стихи. VII—62.

Марк Лисянский. Стихи. XI—125.

Иван Малухаткин. Колосья. Стихи. VIII—87.

Лариса Миллер. Три стихотворения. VI—88.

Владимир Михановский. Три стихотворения. VII—65.

Бидзина Миндадзе. Стихи. Перевел с грузинского Владимир Дагуров. XII—112.

Сергей Мнацаканян. Стихи. IV—78.

Джубан Мулдагалев. Мечтая небом статья. Стихи. Перевел с казахского Вл. Савельев. II—77.

Александр Николаев. Стихотворение. X—159.

Борис Олейник. Стихи. VI—3.

Сергей Островой. Городские пейзажи. Стихи. X—98.

Лев Ошанин. Мои фестивали. Лирический репортаж. III—55.

Анатолий Преловский. Круг забот. Стихи. I—43.

Юрий Разумовский. Стихи. V—171.

Леонид Решетников. Из книги «Третий круг». Стихи. XI—3.

Роберт Рождественский. Из новой книги. Стихи. I—3. — Круги. Стихи. XII—3.

Валерий Рубин. Север. Стихи. VIII—151.

Ной Рудой. Как много связывает нас. Стихи. IV—124.

Эльдар Рязанов. Письмо другу. Стихи. III—142.

Владимир Савельев. Обычай. Стихи. III—92.

Виктор Смирнов. Тень березы. Стихи. IV—123.

Марк Соболев. Стихи о ровесниках. VII—3.

Владимир Соколов. Из новой книги «Посещение». Стихи. VIII—3.

Валентин Сорокин. Блещут звезды. Стихи. IV—81.

Николай Старшинов. Стихи. V—3.

Михаил Стригалева. Связующая нить. Стихи. II—178.

Василий Субботин. Восемь стихотворений. V—152.

Александр Ткаченко. Тишина каштанов. Поэма. Вступительное слово Андрея Вознесенского. XI—191.

Виктор Федотов. В летний день. Стихи. VIII—5.

Илья Френкель. Время. Стихи. IX—65.

Яков Хелемский. Воскрешая довоенный год... Стихотворение. II—136. — Пять стихотворений. VII—175.

Олег Хлебников. Стихи. VIII—149.

Владимир Цыбин. Из книги «Личное время». Стихи. IV—3.

Александр Шаталов. Малая Молчановка. Стихотворение. I—122.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

• Марк Баринов. Праздники в Михайловском. Публикация С. Малиновской-Бариновой. X—200.

Писатель и война: Всеволод Азаров. Дом и корабль Александра Крона; Константин Поздизев. Встречи с Павлом Антокольским; Зигмунд Хирев. Овечкин, Павленко — 1945-й... V—217.

Лион Фейхтвангер. Черт во Франции. Предисловие и перевод с немецкого Л. Миримова. VIII—197; IX—228.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Леонид Жуховицкий. Цена любви. VIII—180.

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь Бестужев-Лада. Середняк в науке. V—180.

Борис Клюев. Раджниш и его поп-мистика. XI—197.

Александр Левиков. Ремесло. IV—180.

Юрий Рюриков. По закону Тезея. Мужчины и женщина в начале биархата. VII—174.

Николай Смеляков. На внешнем рынке. III—183.

Михаил Щербаченко. Четвертое измерение. VI—174.

Прикамье — продолжение встреч

Н. И. Бех. Обновление. VII—166.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. Черниченко. Комбайн просит и колотит... XII—190.

Навстречу XXVII съезду КПСС

Анатолий Иващенко. Земля. I—151.

Виктор Казаков. Третий горизонт. II—182.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Карэн Хачатуров. Когда уходят диктаторы. X—213.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Реваз Маргиани. Стихи. Публикация Н. А. Маргиани. Перевела с грузинского Елена Николаевская. XII—186.

Леонид Мартынов. Стихи. Публикация Г. Суховой-Мартыновой. I—146.

Борис Слуцкий. Стихи. Публикация Юрия Болдырева. VII—162.

Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев. Публикация, составление, примечания и вступительное слово Э. Г. Герштейн. IX—196.

Николай Тихонов. Стихи. Публикация и вступительное слово Ирины Чепик. XI—197.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Большевики. Письма Анны Кравченко и Александра Спундэ (1917—1923). Предисловие И. Минца. Публикация, комментарий и примечания И. Брайнина. I—193; II—198.

Ярослав Голованов. Комета Галлея. III—200.

П. А. Капица. Письма к матери (1921—1926). Публикация и примечания П. Е. Рубина. V—192; VI—194.

Неизвестные письма М. Горького. Публикация и вступление Н. А. Пакина. I—183.

Вяч. Полонский. На взгляд редактора. Публикация М. Вашкевич и К. Эгон-Бессер (Полонской). Вступительная статья и примечания М. Вашкевич. VII—199.

Тамара Шилейко. Легенды, мифы и стихи... IV—199.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. Барлас. Ассоциативный поиск. Публикация Т. В. Барлас. VII—224.

Александр Белорусец. Интерес к бесконечности. Категории времени и пространства в современной художественной прозе. III—223.

И. Борисова. Уроки чтения. IV—232.

Игорь Дедков. Возможность нового мышления. X—229.

Сергей Залыгин. Культура и личность. К 80-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. XI—238.

Карло Каладзе. В этом я вижу свой долг художника. VI—234.

Л. Лазарев. На всю оставшуюся жизнь... Заметки о повести Василя Быкова «Карьер» и некоторых проблемах литературы, посвященной Великой Отечественной войне. XI—217.

Ирина Луначарская. Дружба, испытанная временем. А. В. Луначарский и Ромен Роллан. I—240.

Анатолий Медников. Время действия — наши дни. II—224.

Молодые о молодых: **Елена Стрельцова.** Первые страницы главной книги; **Андрей Мальгин.** «Мы — поколение Нового Арбата...». IV—213.

Светлана Овчинникова. Слово берет театр. IX—242.

Борис Панкин. На грани стихий. VIII—248.

С. Пискунова, В. Пискунов. Между быть и не быть. Натурфилософский роман: опыт прочтения. V—238.

И. Роднянская. Незнакомые знакомцы. К спорам о героях Владимира Маканина. VIII—230.

Евгений Сидоров. Под знаком времени. О поэмах Евгения Евтушенко. II—232.

Анатолий Стреляный. «Районные будни». К тридцатилетию выхода в свет. XII—231.

Строка Белинского: **Л. Аннинский, А. Бочаров, Н. Гей, А. Гулыга, Вл. Гусев, А. Дубровин, Д. Затонский, И. Золотуский, Г. Макогоненко, П. Николаев, В. Новиков, Л. Новиченко, А. Нуйкин, С. Чуприн.** VI—219.

Е. Сурков. Сколько было Гамлетов? XII—212

С. Торопцев. Разрушение «великой стены» VII—240.

Ольга Чайковская. Пиковые дамы. X—235.

Борис Яковлев. Испытание правдой По поводу одной книги и некоторых других. VII—218.

С. Яковлев. Збытый классик?. Полемические заметки VI—237

150 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова

С. Вайман. Ключ, врученный Добролюбовым I—228

Л. Скоринго. Провозвестник. I—224.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

О. Алякринский. Биография жанра (Николай Анастасьев. Обновление традиции Реализм XX века в противоборстве с модернизмом). VI—247.

Вадим Баевский. Пристальное зренье (Александр Кушнер. Стихотворения. Александр Кушнер. Дневные сны. Книга стихов). XI—247.

Григорий Бакланов. Америка мне виделась такой (Генрих Боровик. Пролог). I—248.

Татьяна Бек. По лестнице лет (Наум Кислик. Лестница лет. Избранные стихотворения и поэмы. Наум Кислик. Зимний свет. Стихи). VI—245.

Андрей Битов. Прорвать круг (Лидия Гинзбург. Из старых записей. Лидия Гинзбург. Еще раз о старом и новом. Лидия Гинзбург. Записки блокадного человека. Лидия Гинзбург. За письменным столом). XII—235.

Ю. Богомолов. Пограничная ситуация (М. Туровская. На границе искусств. Брехт и кино). VII—258.

А. Бочаров. Мера нашей ответственности (Витаутас Мартинкус. Охота в заповеднике. Роман). XI—243.

Евг. Виокуров. Присяга верности (Ной Рудой. Возраст). V—250.

И. Виокурова. Наедине с собой (Борис Слуцкий. Сроки. Стихи разных лет). I—251.

Ирина Гитович. Спутники Чехова (Спутники Чехова. Писатели чеховской поры. Избранные произведения писателей 80—90-х годов в двух томах. Л. А. Авилова. Рассказы. Воспоминания. Н. Д. Телешов. Избранные произведения). X—253

Ал. Горловский. Принцип определенности (В. Кардин. Точка пересечения. В. Кардин. Минута пробуждения. В. Кардин. Секрет успеха). VIII—256.

Валерий Дементьев. Ток времен (Арон Вергелис. Волшебство. Стихи и поэмы). III—244

Искра Денисова. Рабочие руки (Владимир Савельев. Избранное). II—253.

Сергей Дмитренко. Действительность смеха (Д. Николаев. Сатира Гоголя. Д. Николаев. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк) IX—263.

А. Дубровин. Репетиции кинозрителя (Я. Варшавский. Если фильм талантлив). II—255

И. Зайцева. Поэт и его эпоха (Алла Марченко. С полорожной по казенной надобности. Лермонтов. Роман в документах и письмах) IV—249.

Сергей Залыгин. Свидетельство (Андрей Шимонфи. Перелет. Исторический роман-коллаж). II—256

Игорь Золотуский. Донкихот из Вейска (Виктор Астафьев. Печальный детектив. Роман) VII—248

Мария Зоркая, Сергей Дмитренко. Сад, где гропинки сойдутся (Библиотека журнала «Иностранная литература»). XI—251.

Ю. Каграманов. Читать Феллини (Федерико Феллини. Делать фильм) III—252

Ю. Кантор. Защищая человека (Генрих Бёлль. Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести. Повесть). X—259.

Валентин Катаев. Магистральные линии (Вацлав Михальский. Тайные милости. Романы. Вацлав Михальский. Все уносящий ветер... Роман, повести, рассказы). III—241

А. Коган. Служба памяти (Л. Овчинникова. Улица среди окопов). VII—246.

С. Кормилов. Изнутри литературного процесса (Юрий Суровцев. В 70-е и сегодня. Очерки теории и практики современного литературного процесса). X—257.

Сергей Костырко. Обретения и издержки публицистичности (Юрий Аракчеев. Ростовская элегия. Повесть, Юрий Аракчеев. Зажечь свечу. Повести и рассказы). XII—231.

Владимир Красильников. На документальной основе (Ирина Ирошников. Москва — Крутоборск. Семейная хроника. Роман). II—248.

Н. Малиновская. Сто лет латиноамериканской литературы (В. Столбов. Пути и жизни. О творчестве популярных латиноамериканских писателей). VII—255.

Алла Марченко. Опыт общественного романа (Чингиз Гусейнов. Семейные тайны). IX—256.

А. Михайлов. Поэт и поколение (Екатерина Шевелева. Костер на снегу. Стихотворения и поэмы). XI—246.

Дм. Молдавский. Освященные окна поэзии (В. Орлов. Здравствуйте, Александр Блок). I—259.

Рафаэль Мустафин. Слово о мятежном атамане (Леонард Лавлинский. Солнце красное. Повесть в стихах). I—257.

Павел Нерлер. Фольклор полевых дворян (Сказки и песни, рожденные в дороге. Цыганский фольклор). IX—261.

И. Питляр. Современные притчи Арво Валтона (Арво Валтон. В чужом городе. Рассказы, повести). IV—243.

Н. Попова. Магия простых слов (Поль Элюар. Стихотворения). VIII—252.

Эдуард Пронилов. Связующая нить (Вечном созвучии. Сборник стихов русских и латышских поэтов). XII—243.

Валех Рзаев. Слово об огне (Олжас Сулейменов. Стихи). IV—246.

Б. Рунин. Книга памяти (Строка, оборванная пулей. Издание 2-е, дополненное). V—247.

Б. Сарнов. Дорога (Наталья Ильина. Дороги и судьбы. Автобиографическая проза). V—252.

Вадим Сикорский. Стихи и время (Однажды непременно. Стихи современных поэтов Турции). V—251.

Николай Скатов. Много лет назад и всегда (Физиология Петербурга. Шестидесятники). III—249.

Петр Спивак. На языке реальных событий (Елена Ржевская. Знаки препинания. Повесть. Елена Ржевская. Ближние подступы. Повести, рассказы). IX—259.

Наталья Старосельская. Ханамити Такэси Кайко (Такэси Кайко. С высоты Токийской башни. Художественная публицистика и документальная проза). V—257.

Карен Степанян. «Победитель» после победы (Руслан Киреев. Ровно в семь у метро. Рассказы и короткие повести. Руслан Киреев. Стрекозья бухта. Повести и рассказы. Руслан Киреев. Светлячок. Повесть. Руслан Киреев. Песчаная акация. Повесть). VI—241.

Л. Теракопян. Между бедой и виной (Владимир Бэзкман. Коридор. Роман в письмах). II—250.

Дмитрий Урнов. Момент критики (В. Гусев. Герой и стиль. К теории характера и стиля. Советская литература на рубеже 60—70-х годов. Владимир Гусев. Рожде-

ние стиля. Статьи. А. Турков. Вечный огонь). IV—251.

Илья Фоняков. Во все глаза (Наталья Кончаловская. Стихотворения). X—251.

В. Фортунатова. Портрет на фоне времени (Юрий Брезан. Портрет отца. Романы). VI—251.

Сергей Чупринин. Пир памяти (Андрей Вознесенский. Прорабы духа). I—253.

В. Этов. Современность классики (В мире отечественной классики. Сборник статей). III—245.

Политика и наука

А. Андреев. Сокровищница идей (Ленин. Философия. Современность). IV—255.

В. Бибихин. Далекое и близкое (Культура Византии. IV—первая половина VII в.). III—257.

А. Валентинов. Гигант духа и мысли (Г. Е. Павлова, А. С. Федоров. Михаил Васильевич Ломоносов. 1711—1765). XI—259.

А. Галкин. Дорога в никуда (В. В. Витюк. Под чужими знаменами. Лицемерие и обман «левого» терроризма. С. А. Эфиоров. Покушение на будущее. Логика и футурология «левого» экстремизма). IX—264.

Вик. Ерофеев. Наедине с Марком Аврелием (Марк Аврелий Антонин. Размышления). XI—262.

А. Знатнов. «...будем хранить эту красоту...». К 25-летию первого полета человека в космос (А. Т. Гагарина. Память сердца. Ярослав Голованов. Архитектура невесомости). IV—258.

В. Зяблов. Помощница в дерзаниках (Н. Моисеев. Люди и кибернетика. Н. Моисеев. Слово о научно-технической революции). II—261.

В. Казаков. На весах публицистики (Шаги. Очерк и художественная публицистика. Выпуск десятый). III—253.

Ю. Корнилов. Взгляд, основанный на фактах (Владимир Николаев. Американы. Очерки). X—262.

Михаил Коршунов. Разговор на «ты» (Виктор Пекелис. Как найти себя). VIII—261.

И. Крупченко. Полководец новой армии (В. М. Иванов. Маршал М. Н. Тухачевский). VIII—259.

Г. Кузнецов. По следам одного преступления (В. М. Лесиовский. Тайна гибели Хаммаршельда). XII—245.

И. Куликова. Боец ленинской гвардии (О Сергее Кирове. Воспоминания, очерки, статьи современников). III—260.

С. Ларин. Тяжелая память (Светлана Алексиевич. У войны — не женское лицо. Светлана Алексиевич. Последние свидетели. Книга детских рассказов). VI—253.

Валерий Лейбин. Наука и будущее планеты (Кибернетика и ноосфера. Кибернетика, ноосфера и проблемы мира). X—265.

Л. Маркелова. Ради мира и прогресса (Борьба СССР за мирное использование космоса, 1957—1985. Документы и материалы в двух томах). XI—256.

В. Мотылев, Н. Метелкина. Теории-при-служницы (А. Я. Лившиц. Миражи капиталистического регулирования). IX—266.

В. Мшвнерадзе. Тирания отчуждения (Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин. Современный Левиафан. Очерки политической социологии капитализма). IV—261.

С. Неретина. Образ минувшего (Культура Древнего Рима. В 2-х тт.). XII—248.

Николай Паниев. Хроника нефтяной эпопеи (Н. К. Байбаков. Дело жизни. Записки нефтяника). I—264.

Еремей Парнов. Цель исследования — будущее (И. В. Бестужев-Лада. Поиск социального прогнозирования: перспективные проблемы общества. Опыт систематизации). II—258.

Е. Савицкий. Отдать себя без остатка (Д. А. Волкоганов. Феномен героизма. Книга о героях и героическом). V—260.

Всеволод Софинский. Наперекор эпохе (Э. А. Чепоров. Ольстер. Время остановилось?). I—261.

В. Хайт. В битве за культуру (Алехо Карпентьер. Мы искали и нашли себя. Художественная публицистика. Николай Гильтен. Перелистывая страницы. Мемуары). VII—264.

Виктор Цоппи. Революция, личность, бланкизм (Николай Молчанов. Огюст Бланки). VII—262.

Ю. Шараров. Новый вклад в Лениниану (Ленинский сборник XL). VII—261.

КОРОТКО О КНИГАХ

А. Филимонов. — Рассказ-83. Владимир Михановский. — Рукопожатие. Советско-венгерский сборник рассказов и очерков. Владимир Савельев. — Мумин Каноат. Избранное. Стихотворения, поэмы. Александра Спаль. — И. Мотышов. Георгий Марков. Аркадий Гаврилов. — С. Л. Абрамович. Пушкин в 1836 году. Предыстория последней дуэли. Семен Борзунов. — Яков Захаров. Возвращение из неизвестности. Непридуманная повесть С. Яковлева. — Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Б. Пустовалов. — Василий Емельяненко. В военном воздухе суровом... I—266.

Азат Егиазарян. — Анаит Саинян. Жажда. Роман. Леонид Володарский. — Рюрик Ивнев. Избранное. Стихотворения и поэмы. 1907—1981. А. Турков. — Валентин Берестов. Идя из школы. Стихотворения. В. Берестов. Нофелет. Стихи. Петр Майданюк. — Анна Гвоздева. Колокола истории. О творчестве Николая Задорнова. Леонид Быков. — Мстислав Козьмин. Путь к человеку. Атнер Хузангай. — М. И. Исметов. Йыван Кырля. Очерк жизни и творчества. Н. Зелов. — Вдохновенный Лениным. Александр Тодорский: произведения о родном крае, биографические и другие материалы. В. Ветлина. — Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Петр Черкасов. — А. В. Аникин. Золото. Международный экономический аспект. Михаил Кривич. — Книги, открывающие мир. II—264.

Андрей Орлов. — Муса Джалиль. Красная ромашка. Избранное. Муса Джалиль. Лирика. Муса Джалиль. Моабитская тетрадь. 1942—1944. Е. Горбунова. — Г. Н. Щеглова. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова. Владимир Дагуров. — Виктор Яковенко. Вечерняя лыжня. Лирика. Н. Макарова. — Владимир Сапожников. Родительская суббота. Повесть. Виктор Широков. — Петр Серебряков. Наяву. Стихи. Вл. Новиков. — М. В. Панов. Занимательная орфография. С. Свойский. — Китайская пейзажная лирика III—XIV вв. Стихи, поэмы, романсы, арии. Н. Долотова. — Ф. Спрунов. Своим путем. Л. Юзефович. — С. О. Шмидт. Российское государство в середине XVI столетия. А. Грунт. — К. А. Хмелевский. Сыны степей доджих. О. Ф. Г. Подтелков и М. В. Кривошлыкове. А. Валентинов. — Ускорение. Актуальные проблемы социально-экономического развития. III—263.

А. Л. Романов. — Павел Степовой. Гатов. Роман в двух книгах. Сергей Дмитриенко. — Михаил Булгаков. Самодетный быт. Рассказы и фельетоны. Вс. Троицкий. — Ростислав Артамонов. Руки. Стихи. Александр Баженова. — Георгий Гула. Рембрандт. Роман. Аркадий Гаврилов. Александр Мулярчик. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века. А. Ходоров. — Дм. Хренков. День за днем. Лирический дневник критика. Виктор Ильин. — Юрий Адрианов. Нижегородская отчина. Книга вторая. Литературные портреты. Страницы лирического дневника. М. Вашкевич. — Ф. Поттешер. Знаменитые судебные процессы. В. Острогорский. — Д. С. Давидович. Гамбург на баррикадах. IV—265.

Н. Демин. — Лев Николаев. Кабульские рассветы. В. Лобачев. — Карэн Симонян. Микаэл Налбандян. И. Лапин. — Исаак Фридберг. Арена. Пять новелл о человеческих странностях. Ген. Сухорученко. — В. И. Фролов. Земной поклон. Стихи. И. Дрейцер. — И. Г. Сапего. Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. Ю. Лукасик. — Александр Асеевский. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. Михаил Буянов. — Т. Н. Гусарова. Воины в белых халатах. Документальная повесть. V—267.

Михаил Вальбе. — Леонид Бежин. Гуманитарный бум. Рассказы, повесть. Г. Владимирова. — Борис Костюковский. Избранное. Виктор Федотов. — Юрий Поройков. Лесов зеленый вздох. Стихотворения и поэмы. Татьяна Очирова. — Гарай Рахим. Отзовись, лето... Стихи. Гарай Рахим. Истин глубина. А. Аникст. — М. М. Филиппов. Очерки о западной литературе XVIII—XIX вв. М. Ефетов. — Жизнь и творчество Николая Носова. Марк Григорьев. — Мансур Абдулин. 160 страниц из солдатского дневника. И. Кон. — Б. Н. Миронов. Историк и социолог. А. Ирри. — Калин Донков. Такси на тротуаре. Очерки. VI—265.

А. Старков. — Даниил Гранин. Выбор цели. Публицистика. Проза. Г. Федо-

ров. — Вадим Ковда. Житель. Лирика. Вадим Ковда. Стихи. Андрей Василевский. — Андрей Белый. Армения. Очерк, письма, воспоминания. И. Дубашинский. — Маргарет Форстер. Записки викторианского джентльмена. Уильям Мейкпис Теккерей. Игорь Белоус. — Юрий Жуков. Журналисты. VII—268.

М. Кораллов. — Я. С. Дабкин. Четверо стойких Карл Либкнехт. Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Цеткин. Документальная повесть. Борис Багарицкий. — Анатолий Медников. Проспект Мира. Владимир Шленский. — Любомир Левчев. Лирика. Леонид Володарский. — Николай Старшинов. Дорога к читателю. В. Лобачев. — Русская элегия конца XVIII — начала XIX в. Сатира русских поэтов первой половины XIX в. Русская романтическая поэма первой половины XIX в. Антология. Владимир Станцо. — Анатолий Эфрос. Продолжение театрального рассказа. Л. Истягин. — В. М. Острогорский. Осторожно: «Немецкая волна». Юрий Давыдов. — Русская Америка в «Записках» Кирила Хлебникова. Ново-Архангельск. Борис Хавкин. — А. С. Бланк. Неонацизм — реваншизм Мифы «психологической войны». А. Майкапар. — Колокола. История и современность. VIII—264.

Равиль Бухараев. — Владимир Шленский. Снегири на антеннах. Стихотворения и поэмы. Владимир Шленский. Скворец на асфальте. Стихи. Г. Петрова. — Владимир Кантор. Два дома. Повести. С. Алякринская. — Н. А. Халфин. Запрет свободы над Кабулом. IX—269.

Александра Пистунова. — Д. С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. Андрей Василевский. — Степан

Писахов. Сказки. Очерки. Письма. Татьяна Кузовлева. — Ренат Харис. Присядь к очагу моему. Стихотворения и поэмы Александр Ливанов. — Вадим Сафонов. Вечное мгновение. Этюды и размышления о литературе. X—268.

Т. Ланда. — Михаил Шатров. Так победим! Шесть пьес о Ленине. Владимир Тучков. — Сергей Дрофенко. Стихотворения. Лев Разгон. — С. Николаева. Анатолий Алексин. Очерк творчества. Александр Фюрстенберг. — Антон Лигов. Со строкой наперевес. Афоризмы, шутки, каламбуры. Н. Попова. — Рене Андрие. Стендаль, или Бал-маскарад. В. Григорьев. — П. В. Московский, В. Г. Семенов. Ленин в Италии, Чехословакия, Польше. Григорий Резниченко. — Николай Иванов. Встречи в ГДР. С. Неретина. — Т. В. Васильева. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля. XI—268.

Иван Панкеев. — А. Тарасов. Болотный марш. Роман. Л. Звонарева. — Иван Киуру. Неунывающий клевер. Книга стихов. Ст. Рассадин. — М. А. Гордин. Жизнь Ивана Крылова. Владлен Котовский. — А. Старков. Ступени мастерства. Очерк творчества Константина Федина. Ян Френкель. — Джеймс Линкольн Коллиер. Становление джаза. Популярный исторический очерк. Г. Федоров. — А. Г. Федоров-Давыдов. Монеты — свидетели прошлого. М. Вашкевич. — Алла Гербер. Судьба и тема. Этюды об Инне Чуриковой. Сергей Ананьин. — Василий Ардаматский. Туристская поездка в Англию. Невыдуманная повесть. XII—257.

Из редакционной почты. V—265; VI—258, 260; VIII—263.

Книжные новинки. I—XII—272.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Аргументы. 1986. 175 стр. Цена 30 к.
М. Березовский. Непременно скандал. Перевод с польского 240 стр. Цена 55 к.

Б. Ванцан. Помилования не прошу. Повесть о Петре Слинько. «Когда им было двадцать!» 190 стр. Цена 30 к.

Ф. Кастро. Избранные произведения 1952—1986 гг. 567 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Современная кубинская повесть. Перевод с испанского. 446 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Толстой. Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного. 127 стр. Цена 1 р. 40 к.

Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй. Роман. Перевод с китайского. Т. 1. 447 стр. Цена 2 р. 20 к. Т. 2. 495 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Э. Басария. И говорили они до утра. Рассказы. Повести. 254 стр. Цена 90 к.

И. Зиедонис. Все-таки. Перевод с латышского. 350 стр. Цена 1 р. 20 к.

Я. Ругоев. Кантеле. Стихи. поэмы. Перевод с финского 175 стр. Цена 75 к.

И. Шиларевский. Пoesия — львица с гривой. 142 стр. Цена 45 к.

«РАДУГА»

Война началась в Испании. Испанские писатели о национально-революционной войне. Перевод с испанского. 544 стр. Цена 3 р.

В. Караманчев. Рождение. Рассказы. Перевод с болгарского. 247 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Павлик. Река. («Современная зарубежная повесть») Перевод с чешского 230 стр. Цена 90 к.

Э. Тайлер. Обед в ресторане «Тоска по дому». Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Н. Афанасьев. Народ-художник. Миф. Фольклор. Литература. («Библиотека русской критики») 367 стр. Цена 1 р. 10 к.

Герцен и Россия. Альбом. 167 стр. Цена 6 р. 10 к. (в футляре).

Е. Лопатина. Твой рабочий лицей («Писатель и время») 110 стр. Цена 15 к.

И. С. Никитин. Стихотворения. («Поэтическая Россия») 286 стр. Цена 95 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Д. Каинчин. Ожидание весны. Повести, рассказы. Перевод с алтайского 253 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Крупин. Ямщицкая повесть. 96 стр. Цена 30 к.

В. Сидоров. Семь дней в Гималаях. Документальная повесть. 230 стр. Цена 45 к.

А. Филиппович. Стая Рассказы. 239 стр. Цена 85 к.

«ИСКУССТВО»

Ш. Бодлер. Об искусстве. Перевод с французского. 422 стр. Цена 2 р. 80 к.

Г. И. Вздорнов. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век 383 стр. Цена 2 р. 40 к.

Л. Зорин. Избранное. Драматические повести. В 2-х тт. Т. 1. 671 стр. Цена 2 р. 40 к.

М. Ильичева. Ирина Колпакова. («Солисты балета») 204 стр. Цена 2 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого...) 429 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. Гулиа. Стихотворения. («Поэтическая библиотечка школьника») 159 стр. Цена 35 к.

Люблю Отчизну я... Стихи, рассказы, сказки русских писателей 494 стр. Цена 1 р. 10 к.

Т. Т. Хаугер. Сигурд Победитель Дракона. Повесть. Перевод с норвежского 142 стр. Цена 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Козлов. Советь. Роман «Московский рабочий». 240 стр. Цена 95 к.

Р. Погодин. Мост. Боль. Дверь. Повести. Лениздат. 480 стр. Цена 1 р. 60 к.

О. Султаньяев. Публицистика Чокана Валиханова. О языке и художественных особенностях публицистических произведений Ч. Валиханова. Алма-Ата. «Мектеп». 104 стр. Цена 20 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер. д. 1/2 Тел 200-08-29.

Сдано в набор 17.09.86 г. Подписано к печати 05.11.86 г. А 10680.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать Объем 17 п л (238 усл.печ. л.)
27 14 уч. изд. л.

Тираж: 414 000 экз (1-й завод 1 — 214 000 экз). Зак 3277.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 12, 1 — 272.